Иностранная литература

12
1965

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

СТЭН БАРСТОУ — Любовь... любовь? (Окончание) 51

ПОВЕСТИ

ЕЖИ СТАВИНСКИЙ — Пингвин 8

АЛЕКС ЛА ГУМА — И нитка, втрое скрученная... (Послесловие Брайана Бантинга) 126

СТИХИ

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Крылья (В переводах И. Кашежевой, Юрия Ряшенцева, Игоря Волгина, Юнны Мориц, Валентина Корчагина, Риммы Казаковой) 4

СТИХИ МОЛОДЫХ

СТЕФАН ЦАНЕВ — Исповедь без патетики 55

АДА К. АГВУ — Где-то в Африке 59

МИКУЛАШ КОВАЧ — Освенцим, 1958. Музей 64

НАОКИ УСАМИ — Страшись! Девушка и дерево гингко 68

ДЕННИС БРУТУС — Канун 69

ГЕЙНЦ КАЛАУ — Смысл бытия 75

КОШТА АНДРАДИ — Поэма обвинения (Фрагменты) 81

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ — Признание 89

МИКАЭЛЛА ЛАФОНТАН — Они хотели б... 95

МОРИН ДАФФИ — Воробьи 101

В. С. РЕНДРА — Он уже ушел 107

ДОДОНГ ДЖИВАПРАДЖА — Клич 107

12

ДЕКАБРЬ

1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

С. АНАНТАГУНА — Ночь на корабле 108
ФЕРЕНЦ БАРАНИ — Простые слова — слова к матери. Нас свяжет все 113
СВЕТЛАНА ЛИЛОВА-ТИХОМИРОВА — Зеркала 114
ГАУСУ ДИАВАРА — В пальмовых зарослях. Водопад. Путь поэта 119
ЭРИХ ФРИД — О руках 120

30 СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ

РОБЕРТ ФИЦДЖЕРАЛЬД, ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ, ОДРИ ЛОРД, ДАВИД ШАЙНЕРТ, ЭЖЕН ГИЙЕВИК, АРТУР ЛУНДКВИСТ, ГЕЙНЦ КАЛАУ, КОРРАДО ГОВОНИ, ЛЕОПОЛЬД СТАФФ, БЕРНД ЙЕНЦШ, ЖАК ПРЕВЕР, ЭЛИО ПАЛЬЯРАНИ, АНДРЕ ФРЕНО, ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ, АРМАН МОНЖО, ЭРИК ЛИНДЕГРЕН, ТАДЕУШ КУБЯК, ИНГЕБОРГ БАХМАН, ДЖОРДЖ ЛАВ, КАРЛ СЭНДБЕРГ, ОРХАН ВЕЛИ, ЭЛЛИ ПАПАДИМИТРИУ, МЭЙ САРТОН, ЛЕОПОЛЬД СЕДАР СЕНГОР, РАДОВАН ЗОГОВИЧ, РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР 197

АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Мальчики станут отцами 211

МОЛОДЫЕ О СЕБЕ

ПОКОЛЕНИЕ ИКС (Интервью и письма английских тинэйджеров) 214
ИЗ ДНЕВНИКА ПОЛЬСКОГО ЮНОШИ 225
ИЗ ПРАЖСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «МЛАДЫ СВЕТ», 1965 г. 229
АКИХИКО ОКАМУРА — Пусть люди узнают 234

СЛОВО О МОЛОДЫХ

НИКОЛАЙ АТАРОВ — Тинэйджеры 237
БОРИС ПОЛЕВОЙ, ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ, ВИКТОР РОЗОВ, ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Четыре интервью 243
МОЛОДЕЖЬ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ И ЛИТЕРАТУРА О НЕЙ («Круглый стол» редакции журнала «Иностранная литература») 247

ЗАРУБЕЖНАЯ КАРИКАТУРА. Из альбома польского художника З. Ленгрена 125

КНИГИ О МОЛОДЕЖИ, КНИГИ МОЛОДЫХ

Григорий Бакланов — Искренний талант. ◇ М. Кораллов — Зрелая молодость. ◇ Г. Громан — В поисках нового слова. ◇ Л. Бакашова — Переступи черту... ◇ А. Марченко — Говорят молодые поэты 274

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ЗА 1965 г. (№№ 1—12)

284

В номере использованы рисунки болгарских и советских художников Н. НИКОЛОВА, Д. РАЙКОВА, В. ЛАКТИОНОВА и др., работы фотомастеров Р. БУРРИ (Швейцария), В. ТАРАСЕВИЧА (СССР), К. КЕЙЛИШЕРА (США), К. МАЙНО (Италия), М. МАККЕНА (Южная Родезия), снимки из фотосборников и журналов Чехословакии, ФРГ, США, а также фотохроники Вьетнама.

Варианты репродуцирования фотографий И. СМИРНОВА.

На обложке гравюра художника АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА.

Цветная вкладка с репродукциями работ молодых зарубежных художников.

МОЛОДЕЖИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ, ЕЕ БОРЬБЕ, НАДЕЖДАМ И СВЕРШЕНИЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭТОТ НОМЕР

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

КРЫЛЬЯ

Знакомясь с работами как известных, так и молодых поэтов-переводчиков, мы не раз задумывались о том, как хорошо было б попросить нескольких поэтов перевести одно и то же стихотворение, выступить на страницах нашего журнала в таком своеобразном творческом соревновании. И вот, готовя к печати номер, посвященный молодежи, мы предложили шести молодым поэтам перевести стихотворение выдающегося чешского поэта Витезслава Незвала «Крылья».

Молодые поэты, к которым мы обратились, с большим интересом отнеслись к нашему предложению.

Ниже мы публикуем оригинал стихотворения «Крылья» и шесть переводов этого стихотворения на русский язык.

VÍTEZSLAV NEZVAL

KŘÍDLA

Ne s ptákem do výšky nad triangulační bod,
ne s vážkou nad rybník, ne s letem šídla,
ne s tryskovým letadlem o závod
rozpínám křídla.

Ne nad mešity či nad vítěznou bránu,
ne nad hromosvody a nad kormidla,
ne nad supy a hejna kormoránů
rozpínám křídla.

Ne nad bukolický podvečer,
ne nad olše, ne nad bělidla,
ne nad chrámy do mezihvězdných sfér
rozpínám křídla.

Ne nad vichřice,
ne nad pěnivá tryskající vřídla,
ne nad sady, dušné velkoměstské plíce,
rozpínám křídla.

Ne nad rozhoupaný zvon,
ne nad hory mračen, ne nad královská sídla,
ne nad pyramidy, jež stavěl faraón,
rozpínám křídla.

Ne nad bojiště,
kde horká krev národů tváří v tvář slunci stydla,
ne nad malebná dětská hřiště
rozpínám křídla.

Ne nad Himálaje,
jež lidská pýcha jenom ve snách zhlídla
a proti nimž zeměkoule malá je,
rozpínám křídla.

Nad všední den,
prostě lidský,
nad lidský sen
každodenní a heroický,

nad lásku a nenávist,
která se nikdy na prodej nenabídla,
jak vlaštovky nad teplo svých hnízd
rozpínám křídla.

И. КАШЕЖЕВА

Нет, не птицей, не маленькой запятой,
которую в небе сентябрь поставил,
не стрекозой
над водой золотой
я крылья расправил.

Не там, где качаются колокола,
звоном тревожа темные своды...
Не задевали мои крыла
вставшие дыбом громоотводы.

Не над источником, льющимся вниз,
не над взмывающей вверх
эскадрильей,
не над храмами с шорохом шелковых
риз
расправил я крылья.

Не оставлял я тени-следы
на пирамидах, молчащих гордо,
и подо мной не вздыхали сады —
больные легкие города.

Я не бросался коршуну вслед,
корчась в злобе бессилья,
буколистических сумерек свет
не пал мне на крылья.

Не над дворцами чужой страны,
не над аркою нашей победы,
не над стынущей лавой войны,
которая — в полпланеты.

Не над стадионами с криками: «Гол!»,
где спорят мальцы из-за сложных
правил,
и не над мертвым безмолвием гор
я крылья свои расправил.

Небо мое — человеческий день,
свершенье мечты — кульминация
взлета.
И уже позади пережитого тень,
и еще впереди недопетое что-то.

Славлю будничность жизни с борьбой
и трудом,
славлю так, как всегда человек ее
славил.
Над Землею, как ласточка над
гнездом,
я крылья расправил.

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Не птицей, в зенит устремляющей
путь,
не бабочкой, тянущейся к георгину,
и не самолетом отнюдь
я крылья раскину.

Ни храмам — с крестом ли они,
без креста,—
ни коршуну, ни журавлиному клину
не плыть подо мною, когда
я крылья раскину.

Не над буколическим сумраком сел
иль стадом домов, переросшим
в махину,
где с прачечной рядом — костёл,
я крылья раскину.

О нет, не над гроздьями пыльных
садов —
над теми прокуренными наполовину,
усталыми легкими городов
я крылья раскину.

И не над дворцами владельцев
корон,
не над пирамидой, где в мертвую
глину
давно превращен фараон,
я крылья раскину.

И уж не над полем, где роты легли,
в кровавую топь обращая равнину,
и не над площадкой для детской игры
я крылья раскину.

Встают Гималаи — земля им тесна,
мы разве в мечтах попираем
вершину—
над ней лишь в объятиях сна
я крылья раскину.

Но въявь—над простым человеческим
днем,
с простой его темой, то светлой,
то гневной,
и над постоянно светящейся в нем
любовью, трагической и повседневной,

над ненавистью, ни до нас,
ни потом —
вовек не продажной, убийцей
насилья,
как стриж над родимым гиездом,
раскинул я крылья.

Игорь ВОЛГИН

Не птицей, взмывающей в небосвод,
не как истребителей эскадрилья
и не стрекозой над безмятежностью
вод
простираю я крылья.

Не над мечетями и обелисками всех
веков,
не над громоотводами, что торчат в
изобилье,
не над коршунами и не над чайками
меж облаков
простираю я крылья.

Не над сумерками, которые так тихи,
не над храмами, чьи к звездам
вздымаются шпили,
не над прачечными и не над ветвями
ольхи
простираю я крылья.

Не над метелями, не над ручьями,
рвущимися из берегов,
не над садами — не над этими
забитыми пылью,
задыхающимися легкими больших
городов
простираю я крылья.

Не над колоколами, чей гул
сотрясает зенит,
не над дворцами, не над камнями
бастилий,
не над невозмутимостью египетских
пирамид
простираю я крылья.

Не над полями ожесточенных боев,
где реки крови под солнцем застыли,
и не над полями футбольными и
гомоном детских садов
простираю я крылья.

Не над Гималаями, не над вершиной
одной,
что человека тенью своей накрыли,
рядом с которыми маленьким
кажется шар земной,
простираю я крылья.

Лишь над днем — привычным,
каждым,
над судьбой совсем простою,
над обычной и отважной
человеческой мечтою.

Над любовью и ненавистью до слез,
которых не купили и не истребили,—
как ласточки над теплом своих гнезд,
простираю я крылья.

Юнна МОРИЦ

Не чайкой, летящей над мачтой
свистящей,
не стайкой стрекоз над покоем озер,
не вслед истребителю в небе
над чащей
я крылья простер.

Не над аркой старинной и яркой
рябиной,
не над парусом гордым, не над
ярусом гор,
не над дикарской ордой ястребиной
я крылья простер.

Не над селом в буколической
млечности
с паром из прачечной, с тропкой
в костел,
не над соборами, льнущими
к вечности,
я крылья простер.

Не над садами у кровель готических,
с трудом очищающими простор
страдающих астмой столиц
склеротических,
я крылья простер.

Не над тобою, рождественский звон,
не над тобой, императорский двор,
не над гробницей твоей, фараон,
я крылья простер.

И не над бойней,
где в небесах остывает кровавый
костер,
не над ребячьей зеленой площадкой
футбольной
я крылья простер.

Не над тобой, гималайский восток,
это библейское стойбище гор,
против которых земля — лепесток,
я крылья простер.

Над человеческой вечной мечтой,
над ежедневной, как хлеб и вода,
над самой обычной и самой святой,
как тайна любви и как таянье льда.

Над незапятнанными сердцами
неподкупных братьев моих, сестер,
словно ласточка над птенцами,
я крылья простер.

Валентин **КОРЧАГИН**

Не с птицей, которая сквозь облака
проходит, блистая сталью,
не со стрекозами у ивняка
крылья мои распластал я.

Не в брызгах прибоя у гнейсовых стен,
где черных бакланов проносится стая,
не над лесами мачт и антенн
крылья мои распластал я.

Не там, где собор вознес купола,
в созвездья крестами врастая,
не там, где качаются колокола,
крылья мои распластал я.

Не над бульварами пыльных столиц,
где дремлет листва, от астмы усталая,
не в отсветах залпов, закатов, зарниц
крылья мои распластал я.

Не над дворцом, где поныне гремит
эхо расстрелянного восстанья,
не над величием пирамид
крылья мои распластал я.

Не там, где стынет кровь на траве,
где в ружьях враждебность не стынет
старая,
и не над арками в синеве
крылья мои распластал я.

Нет, не над Гималайской грядой,
где снег — только снег! — царит,
не растаивая,
где тонет в туманах весь шар земной,
крылья мои распластал я.

Над человеческим днем
с заботой обыкновенной,
с любовью, которой не тесно в нем,
которая, наверно,

себе не узнает цены никогда,
великая и простая,—
как стриж, берегущий тепло гнезда,
крылья мои распластал я.

Римма **КАЗАКОВА**

Не со стрекозами медлительными,
что пруд синевою прикрыли,
не с ястребком, не с истребителем
я расправляю крылья.

Не над мечетями, не над мачтами,
не над рукой на кормиле,
не над бакланами, над морем
мчащими,
я расправляю крылья.

Не над сумерками, бездонными,
как глаза,
не над прачечными в пене и мыле,
не над храмами, пронзающими
небеса,
я расправляю крылья.

Не над кипеньем ключей
клокастых,
что тихую землю взрыли,
не над городами, больными астмой,
я расправляю крылья.

Не над мятущимся колокольным
звоном,
не над дворцами, где цари царили,
не над пирамидой, поставленной
фараоном,
я расправляю крылья.

Не над полями недавно стихших
битв, которых не было кровавей
и постылей,
не над площадками, где резвятся
ребятишки,
я расправляю крылья.

Не над вершинами Гималаев,
которые мы лишь в мечтах покорили,
хоть в этом признаться себе
не желаем,
я расправляю крылья.

Над днем обычным,
человечным,
и героичным,
и не вечным,

над светом любви и ненависти
потемками —
ведь это непродажно, что бы там
ни говорили,—
как ласточки над гнездами своими
теплыми,
я расправляю крылья.

ЕЖИ СТАВИНСКИЙ

Польский писатель и кинодраматург, известный в нашей стране (род. в 1921 г.). Публикуемая в этом номере повесть «Пингвин» («Pingvin», 1965) положена в основу сценария одноименного фильма.

ПИНГВИН

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского
З. ШАТАЛОВОЙ

Я пишу все это только потому, что лежу в постели и зализываю раны, как какой-нибудь повстанец или мученик; времени у меня предостаточно, и я слушаю магнитофонные записи, а особенно часто ту, с моим голосом. Как раз вчера, когда предки ушли, я и записал его: сначала на этой ленте идет какой-то твистик, потом Хелена Майданец, а потом мой голос. Я ужасно много наболтал и уже несколько раз прослушал все, но не знаю, пожалуй, лучше уже не выйдет. Вот оно: «...не могу сказать тебе это прямо в глаза, потому что стал бы путаться и все вышло бы очень глупо, кто теперь говорит такие вещи, я бы не выдавил из себя ни слова, а так, на ленте, у меня это получается легче, ведь я должен сказать тебе, что чертовски тебя люблю...»

На этом месте я выключаю магнитофон, не дожидаясь конца, потому что как-то глупо слушать такие слова, хотя в комнате никого нет,— о, черт, неужто я дам ей это слушать, неужто у меня хватит духу включить при ней ленту?

Вон он я, в зеркале: герой-любовник Ромео, с эдакой уродливой от рождения мордой, к тому же обмотанной сейчас бинтами, с синяками и ссадинами повсюду, с переломами в нескольких местах.

Но надо с самого начала, а то трудно понять, почему я лежу здесь, избитый, как самый паршивый пес, и не могу шевельнуться, оттого что все болит, и почему записал на пленку такую странную речь.

Началось это в прошлую субботу, хотя назревало раньше, с той самой минуты, когда я ее уви-

дел. В ту субботу я вышел с факультета один — солнышко, весна кругом — и остановился у доски с объявлениями, хотя знал их наизусть, чтобы ждать здесь, делая вид, что вовсе не жду, как обычно и поступают такие робкие, пугливые и стыдливые, как я. Я уже прочитал списки, вывешенные деканатом, и объявление о воскреснике по уборке столицы, который проводится завтра утром где-то в скверике, потом начал было читать все сначала, но тут увидел их.

Было хуже, чем я ожидал: рядом с Баськой шла вся троица — Адась Бончек, Марек Бояновский, Антек Вализка и еще одна девушка, Магда Козакевич. Черт, не замечать их? Но я же поклялся себе, что обязательно подойду и присоединюсь к ним. Да и Баська тоже, не могла себе найти общества получше, вечно летят на нее разные Бончеки и Вализки, как мошкара на свет в открытое окно, а ведь она не стреляет глазками, не зазывает, как другие, не заигрывает с ребятами. Я на нее насмотрелся, как следует разглядывал на лекциях, в коридорах, в разных очередях и на улице, она всегда мрамор, Коперник и Цезарь, эдакое лицо карточной дамы, безо всяких гримас и улыбочек, вроде бы модная, но загадочная какая-то, что ли. Видно, это и привлекает к ней тех гавриков, эта ее загадочность, а тут еще ее фигура — что за ноги! — да ведь она не такая уж раскрасавица: широкоскулая, довольно бледная, но очень уж современная, изящная, умеет одеться, из ничего конфетку сделать, так и зажигает своим видом.

Она не раз снилась мне, и я часто о ней мечтал, мне хотелось докопаться до главного, понять, что там кроется, под этой оболочкой, о чем она думает, что в ней сидит внутри, должно же что-то там быть, я чувствовал, что ее каменное лицо карточной дамы — просто защитная маска. После занятий она всегда куда-то исчезала, очень торопилась, наверное, у нее была какая-то другая жизнь, может, там она смеялась и много болтала, черт ее знает, но здесь никогда.

Этот Адась Бончек давно уже ее обхаживает, а с ним его сателлиты — Бояновский и Вализка. Я всегда держался от них подальше, но при ней они были как дети, и она всегда удирала от них. Адася, этого папенькиного сыночка, так и трясло, он не любил не получать того, что хотел иметь, очень не любил. А нынче, в субботу, наконец дорвался до нее, и они шли вместе, а ту, Магду Козакевич, он отдал Бояновскому, она ко всем добра. Адась шел рядом с Баськой, вел ее, как пойманную овцу, а она не удирала, шла на своих длинных ногах, со своим каменным лицом. Они уже подходили ко мне, и в последнюю минуту, собрав всю силу воли, я заставил себя отклеиться от доски объявлений.

— Адась, есть парочка новеньких твистов,— сказал я эдак небрежно.

— Ну так давай,— скомандовал Адась и протянул руку.

Я вынул из сумки пластинку, приготовленную именно на этот случай, но Баська не проявила ни малейшего интереса. Странно, девчонка с такими ногами должна отлично танцевать!

Адась взял пластинку, рассмотрел ее и засунул к себе в сумку с книгами.

— Но-но, только без штучек,— возразил я.— Эта безделушка стоит сто пятьдесят злотых.

— Я тебе выпишу чек,— ответил Адась,— а пока можешь выпить за мой счет пивка. Пошли, Баська.

Он потащил ее к ларьку на углу, обняв за плечи, но она выскользнула из-под его руки — теперь можно было и не отставать от них, у меня был предлог. Я встал рядом с Баськой, Адась заказал шесть кружек. Чуть поодаль двое пьянчуг поносили какого-то Мальца, этот Малец — кошмар, несчастье, зараза, он дико бесил их, бегал докладывать по начальству, изображал из себя служаку, а на самом деле был стервецом и вором.

Баська взяла кружку, не спеша поднесла к губам, глотнула раза два — у нее была великолепная шея, длинная, стройная, гладкая,— потом слегка поморщилась и поставила кружку обратно. Остальные быстро выпили эту кислятину, вокруг воняло тухлым; я тоже отодвинул почти полную кружку, поставил ее

рядом с Баськиной, она взглянула на меня как-то серьезно, без улыбки, а я улыбнулся, у нас было теперь кое-что общее — недопитые кружки с этой гадостью возле вонючего бара для нищих.

— Да уж, с пильзенским сие не спутаешь,— заявил Адась, отер рот, вытащил горсть монет и небрежно, не считая, швырнул на прилавок.

Он разыгрывал из себя эдакого шикарного парня из кинофильма — в присутствии Баськи ему было наплевать на злотый-другой. А она как будто даже не заметила ничего или сделала вид, что не заметила, и мы пошли дальше.

— Холера! Ну и что? — спросил Адась.

— А ничего,— ответил Вализка.

— Нет у тебя сотняги? — спросил меня Адась.— Завтра отдам, завтра мой старик возвращается из Бинго-Банго.

— Мои капиталы в банке,— ответил я шутливо. Кажется, он вообще уже считал меня круглым идиотом.

— Что за жизнь без денег,— вздохнул Бояновский.— Да еще в субботу!

— Сплошное прозябание,— добавил Вализка.

— Я бы хотел быть уже старым, очень старым, усталым и слабым, хотел бы иметь три должности, разные консультации, совещания и гонорары,— вздохнул Бояновский.— Тогда бы я все деньги отдавал молодому двадцатилетнему сыну.

— А также машину, дачу и возможность разъезжать по заграницам,— добавил Адась.— Ничего, скоро хозяевами станем мы.

— Ну на самом деле, зачем им деньги? — спросил Бояновский.— Ведь их уже ничего не волнует. Сидят себе дома, да и все.

— Они только о деньгах и думают,— сказал я Баське. Она слегка шевельнула губами, самым уголком рта. Вот сюда я хотел бы ее поцеловать, в этот уголок, подвижный, мягкий и теплый. Адась Бончек взглянул на меня, удивленный, что я вообще осмелился что-то сказать.

— А ты, Пингвин, чем сыт? Идеалами? Или, может, плодами онанизма?

Я знал, что он напустится на меня, напустится в ее присутствии, чтобы разбить наше безмолвное единство, высмеять меня, обозвав Пингвином — черт его знает, как это прозвище попало из школы на факультет, какая-то скотина рассказала. Все рассмеялись, вроде бы я такой и есть — нескладный, смешной, некрасивый и несмелый с девушками, но Баська и глазом не моргнула.

— Оставь ты эту мямлю,— предложил Вализка,— видишь, у него уши покраснели. Он же тебе дал пластинку.

— Это точно, на сегодня он откупился,— сказал Бояновский, облапив Магду за талию, эдакий супермен, автомат для держания девушек за талию.

— Лишь бы он только город не взорвал,— снова вступил в разговор Адась,— он там, дома, наверное, атомную бомбу мастерит, Пингвин несчастный. Вы и понятия не имеете, сколько в этих пингвинах злости на людей скопилось. Надо бы о нем в милицию заявить.

— Ну, если я этой бомбой тебя взорву, человечество не много потеряет,— попробовал я сострить, но получилось неудачно.

— Дама скучает,— заметил Адась, глядя на Баську,— не будем утомлять ее Пингвином.

Вот как он меня уничтожил, одной-единственной фразой, этот самоуверенный папенькин сынок. Уши у меня горели, я должен был что-то сделать, дать ему в морду, плюнуть и с презрением удалиться, как-нибудь гордо уйти, но здесь была Баська, и я хотел уйти с ней, я не мог уйти просто так, она сочла бы это трусостью.

— Ну что ж, привет! — сказала Баська, дойдя до угла.— Я пошла.

— Погоди минутку,— возразил Адась и обхватил ее за талию, обхватил вроде бы в шутку, но я-то видел, как его чертовски тянет к ней. Она повернулась и снова выскользнула из-под его руки, изящно, как танцовщица. Боже, до чего ж она изящна, какая она стройная! Держать такую девушку в объятиях, прижать к себе... в ней должно что-то быть: если бы можно было прочитать ее мысли, проникнуть в них, послушать их хотя бы минуту, полминуты, пять се-

кунд! — Погоди,— повторил Адась.— Есть сообщение. Приходите ко мне в шесть часов. Сегодня последний вечер свободна хата, завтра предок возвращается из Бинго-Банго.

Это было уже нечто, он сразу овладел ситуацией, сразу стал на голову выше других — в нашу эпоху бурного роста и перенаселенности свободная хата ценнее золота. И вдобавок какая хата! Старый Бончек архитектор и часто ездит в Африку, потому что наши строят там какой-то президентский дворец, Адась никак не может дождаться отца, чтобы вытянуть из него денег, хотя денег у него полным-полно. Я смотрел на Баську: согласится или нет? Ведь он из-за нее пригласил всех, этот Адась, он знал, что одна она не пойдет, на остальных-то ему было плевать, особенно на меня.

— Придешь, Баська? — спросил Вализка, верный сателлит.

— Ясно, придет,— ответил Адась.— Никакой скуки, гарантирую. Только ритмы, развлечения и напитки. Никаких разговоров о Пингвине.

Я выдержал и это. Баська не отвечала, и все ждали ее ответа. По ее лицу, как всегда, ничего нельзя было понять.

— Может, и приду,— сказала она наконец.— Привет.

И свернула за угол. Мне тоже надо было в ту сторону, но я не смел бежать за ней, стеснялся пойти за ней на глазах у этих быков и прирос к тротуару, не зная, что сказать. Я как бы раздвоился: какая-то бешеная сила так и тянула меня за угол, но другая, не меньшая, удерживала на месте, и я, точно пьяница у дверей кабачка, не решался ни войти, ни остаться.

— Вот это вышагивает,— сказал Вализка,— что-что, а ноги у нее сила.

— У нее все сила,— убежденно заявил Адась.

— Ну, я пошел, привет,— наконец выдавил я из себя,— а пластинку заберу вечером.

И подчеркнув тем самым факт, что приглашение Адася принято мною и я отнюдь не намерен откупаться пластинкой, я вроде бы не спеша направился к углу. Они наверняка сказали про меня какую-то гадость, потому что сразу же начали гоготать. Я был смешон, я чувствовал это; я был смешон, и Магда — этот мешок с мясом — тоже запищала, ее выгонят через год, невелика потеря: что ей до механики, она пришла на факультет, чтобы найти себе парня, и нашла их двадцать, правда, на несколько дней, а теперь пошла по рукам, к ней, как в пункт «скорой помощи», бегал весь институт.

Я медленно шел по направлению к углу, их гогот холодил мне затылок, как дуло пистолета, стегал сзади автоматной очередью из рассказов отца. Уши у меня горели, должно быть, они были очень красными, вырвать бы их или отморозить, что ли. А те гогочут, все время гогочут, и зачем только я к ним сунулся, сам виноват — книгами, учебой заниматься надо. А все из-за этой Баськи... Нет уж, я никогда не стану ихним.

Наконец я дошел до угла, скрылся за ним и тут же бросился бежать. Это была аллея Независимости, широкая улица, все кругом видно, и я сразу заметил Баську, она стояла на остановке, ей надо было ехать далеко, она жила где-то на Жолибоже, когда-то я наткнулся на ее адрес в каком-то списке и переписал его. Я замедлил шаг, чтобы она не заметила меня. К счастью, не видно было ни трамвая, ни троллейбуса, вот бы сейчас какую-нибудь аварию — город без тока, гигантскую пробку... Прячась за людьми, я подошел к ней, встал рядом, она меня все еще не заметила и вообще глядела невидящими глазами куда-то вдаль, думая, напряженно думая. О чем она думала, кто она, такая каменная, настоящая карточная дама. Я впервые был с ней вдвоем, хоть и на улице.

— Ты тоже едешь? — глупо спросил я и почувствовал, как у меня краснеют уши.

Она слегка вздрогнула, но тут же овладела собой. Мое присутствие мгновенно превратилось в ничто, я мог только застать ее врасплох, испугать, помешать думать, как внезапно залаявший пес.

— Еду,— ответила она.
— А ты далеко живешь?
— На Жолибоже.
— Там у вас просторно, гулять хорошо.
— Тому, у кого есть время гулять.
— А ты так занята?
— А я так занята.

Теперь уж я совсем не знал, что сказать. Приближался какой-то трамвай, я чувствовал себя навязчивым, она отвечала нехотя, не знала, как избавиться от меня, высматривала трамвай, ожидая его, как спасение от зануды, который притащился сюда и задает глупые вопросы. У меня оставалось несколько секунд. Я должен был что-нибудь выдавить из себя в эти несколько секунд, даже если бы мои уши полностью сгорели.

— Знаешь, я тебя сразу приметил в институте. В первый же день.
— Я так бросаюсь в глаза?
— Нет... просто ты такая... Ну... такая интересная. Сразу останавливаешь на себе взгляд.
— Спасибо,— ответила она без улыбки.— Я поехала. До свидания.
— До вечера! — крикнул я.

Она быстро села в трамвай, в первый же подошедший трамвай, чтобы избавиться от меня. Как я глупо говорил, из-за своей робости едва бормотал что-то. Придется вечером что-нибудь сделать, иначе все пропало, она даже не оглянется в мою сторону, всегда будет уезжать с первым же трамваем.

Наконец я доплелся до своей хибары — такого скучного стандартного дома с аллегорическими фигурами на крыше, какие строили давным-давно,— мы жили там в семнадцатом подъезде, третий этаж, пятые двери направо, в двухкомнатной квартире. Я тихо отворил дверь и услышал голос отца. Конечно, ведь была суббота, отец вернулся из института раньше!

— Вот именно... Но послали Богданюка. Делать доклад поедет Богданюк. Решение Главного. Что я мог сделать? Не буду же я просить за себя...
— Богданюк! — со злостью воскликнула мать.— Опять Богданюк! Всюду Богданюк! Этот Богданюк должен из милости тебя добить! Зачем тебе продолжать мучиться?! Пусть Богданюк сжалится, пусть уничтожит тебя до конца и произнесет над твоим гробом красивую речь!
— Я не стану принимать участия ни в каких закулисных интригах,— ответил отец усталым голосом.— Мне это противно. Пусть с Богданюком воюет Врачек. Увидишь, все равно в конце концов всем станет ясно, кто чего заслуживает...
— Вот именно! Дождешься ты этого! — воскликнула мать, но я громыхнул чем-то в коридоре, и они сразу замолчали...
— Анджей пришел,— произнес отец предостерегающим тоном.

Я знал, что в моем присутствии о Богданюке не будет произнесено ни слова, хотя мне и так многое было известно о нем из тех разговоров, которые предки вели тайком от меня, но которые я все же слышал. Отец был работяга, добивался всего тяжким трудом, по́том и кровью. Он не умел похлопотать за себя, не бегал по влиятельным людям, не ловил их в коридорах, не навязывал своих услуг. И для такого человека Богданюк был постоянным кошмаром, он всегда умел все устроить, применить отличную тактику, он всюду лез, стал незаменимым, ничего без Богданюка, ни одного решения без Богданюка, ни одного совещания без Богданюка, он обогнал отца на целый круг, на три круга, хотя, как говорили, не умел и половины того, что умел отец. Отец не упоминал при мне о Богданюке, он вообще старался скрыть от меня все, что могло прозвучать нелояльно, он делал вид, что все вокруг обстоит хорошо, что наш мир очень правильно устроен, что все люди именно такие, какими и должны быть: он никогда не затрагивал ни одной темы, которая могла бы вызвать тень сомнения в совершенстве этой его действительности. В разговорах с ним я тоже делал вид, что все обстоит

наилучшим образом, что лучше устроить просто невозможно, что в голове у меня бродят только самые что ни на есть образцово-показательные мысли и что милиция всегда во всем бывает права. В конце концов отец все же чувствовал себя ответственным передо мной, но он был винтиком в машине, работал в Институте организации экономики, готовил диссертацию, хотел упорядочить весь мир, он не любил непорядка, а Богданюк был этим непорядком, так же, как и нехватка чего-нибудь в магазинах.

Мать выбежала в коридор, она просто дрожала от ненависти к Богданюку; ее гнев должен был обрушиться на мою голову, сейчас она что-нибудь придумает, я угодил в самую плохую минуту.

— Ты принес оливковое масло? — спросила она.

Разумеется, я забыл купить оливковое масло, было мне когда о нем думать! Баська, а не оливковое масло заполняла все мои мысли. В нашем районе не было этого масла, и я должен был поискать его в центре, в больших магазинах, в «Деликатесах», в диетическом и в гастрономе возле института — какая-то знакомая сказала матери, что оно там есть. Мои предки ели все только на оливковом масле, это была единственная роскошь, которую они себе позволяли, у них отказал не то желудок, не то кишки, не то печень, и я уже три дня подряд приносил им это оливковое масло. Я-то мог спокойно есть все даже на машинном масле, для меня сейчас существовала только Баська. Я сказал, что магазин закрыт на учет.

— Врешь! — вскричала мать.— Ты отвратительный эгоист! Тебе нет никакого дела до родителей! Ты тут как квартирант, попробуй допроситься, чтобы помог по дому! От тебя стакана воды не дождешься! Не дай бог заболеть — ты же будешь равнодушно смотреть, как мы тут с отцом мучаемся, как подыхаем! Тебе ни до чего нет дела! Ты ничего не видишь дома! Тебя интересуют только собственные удовольствия и развлечения! Что тебе до того, что родителям необходимо оливковое масло?! Что отец весь скорчился от приступа печени? Что мать все время тошнит, что у нее все ноет внутри?! Что мы по ночам не спим?! Себялюб, мерзкий себялюб! Янек, поговори с ним, у меня уже нет сил!

И она, хлопнув дверью, убежала на кухню. Я вошел в комнату к отцу. Меня прямо трясло от этого крика. Я был виноват, конечно, я был виноват и оттого злился еще больше. У меня-то было оправдание — Баська, но только ведь в собственных глазах! Я не мог сказать им о Баське, это было бы просто глупо. Что для них Баська в сравнении с оливковым маслом? Об оливковом масле нельзя забывать даже ради ста Басек. Я знал, что сейчас будет. Отец никогда не кричал, он был кроток, как первые христиане, он выполнял долг — отец должен по-мужски поговорить с сыном, и он будет петлять, повторяя одни и те же слова.

Я был зол и, подойдя к столу, незаметно выдвинул ящик. В нем стоял магнитофон, моя собственность, мое богатство, моя гордость, предмет, ради которого я шел на многие лишения, на всем экономил. Микрофон я подключил вчера и загородил его книжками, так что он не был виден, мать не прикасалась к моему письменному столу, я сам убирал его.

Отец крякнул, закашлялся, так как много курил, и беспомощно взглянул на меня.

— Придется нам поговорить серьезно, Анджей,— торжественно начал он.

Меня ожидала беседа из телевизионных передач, несколько слоев стружки, снятой при помощи гладеньких фраз и новоявленных истин, вроде «ученье свет, а неученье тьма» и тэ дэ, взрослые всегда правы, кто не ест супа, обязательно умрет, кто тебя родил, неблагодарное создание, «Гей, ребята-удальцы!», образцовый сын, студент-отличник и сознательный гражданин... Иногда мне становилось его жалко, ему было так трудно, я видел, как он мучается, пытаясь произнести что-нибудь толковое, вырваться из круга этих пустых фраз, но у него всегда выходило одно и то же, все та же пластинка.

Я включил магнитофон, одновременно скрипнув для маскировки стулом. В окно доносились отголоски уличного шума, диски магнитофона крутились тихо, я опустил глаза, как полагается раскаивающемуся грешнику, и немного сгорбился.

— ...поговорить серьезно, Анджей. Нельзя так пренебрегать своими обязанностями... Я вообще тебя не понимаю... Не могу понять почему... Не забывай, что тебе созданы прекрасные условия и твои успехи в жизни зависят только от тебя... то есть, значит... от твоих способностей и знаний. Все тебе приготовлено, пододвинуто под нос, подано на этом... на блюде. Перед тобой гладкая и прямая дорога, тебе ни о чем не надо заботиться, только учись и веди себя прилично. Мы не требуем от тебя ничего, кроме простой благодарности, соблюдения правил человеческого общежития, хоть немного сердечности, помощи хоть в чем-нибудь, ведь на это способен каждый, ты же не каменный, разве мы хотим многого? Неужели за все, что мы для тебя сделали, ты хочешь вознаградить нас пренебрежением? Подумать только... если бы я имел в начале своего жизненного пути такие условия, как ты...

Он всегда в своих проповедях упрекал меня этими условиями, будто я был виноват, что он родился в Польше, в «центре циклона», как говорят, что он бегал в детстве без башмаков и жил среди бедноты, в каких-то трущобах и что потом, в каком-то там году, вспыхнула новая война и были построены ужасные концлагери, а он сражался, и сидел в одном из них, и пережил все это человекоубийство, а учился лишь после войны, без отрыва от производства, и что потом, когда я уже начал ходить, наступил сталинизм и отцу тоже было тяжело, и что, когда наконец-то полегчало в жизни, ему уже стукнуло сорок.

То были плохие времена, говорят, будто мир должен был через это пройти, потому что он сам лез во все это, как в санпропускник, но при чем тут я, чем я виноват? Может, на Марсе или во Флориде все было лучше, а сейчас шестидесятые годы двадцатого века, и то, что было, а не есть, не идет в счет. Что меня, спрашивали, что ли? И вообще, разве кто-нибудь у кого-нибудь спрашивал его мнение об этом? Я тоже могу произносить речи и предъявлять претензии, что все выглядит так, а не иначе, что отец вроде бы доволен тем, как они все в этом мире устроили, а можно было бы, пожалуй, устроить все и получше, без притворства и замалчивания, без этих сладких нескончаемых речей, без разных табу — ясно и открыто.

Когда-то, когда я был наивным ребенком, я хотел всегда говорить то, что думал, и, хотя я не всегда разумно мыслил, я задавал искренние вопросы. Теперь мне скоро будет уже двадцать, я совершеннолетний, у меня есть собственный паспорт и право ходить ночью по городу одному, покупать водку и смотреть в кино любые фильмы, так что теперь я разговариваю уже с каждым по-разному: в институте иначе, чем дома, с профессорами иначе, чем с коллегами, с отцом иначе, чем с матерью, а с бабушкой и вовсе иначе — она меня ужасно любила, но приходила, только когда отца не было дома, и умоляла ежедневно молиться, а также, для спокойствия ее души, ходить в костел на воскресные службы.

Я раз и навсегда убедился, что могу говорить то, что думаю, только если мои убеждения совпадают с убеждениями того, кто меня слушает, отражают их, как зеркало. А так вовсе не было, и я кипел от бешенства оттого, что мне навязывали все эти прописные истины, я их ненавидел и бунтовал против них. Узнай об этом старшие, их затрясло бы от злости, потому что каждый хотел видеть во мне свою копию, отражение его правд и принципов, его рецептов и отношения к миру. Они вообще считали меня молокососом и нулем, а вернее — мешком, в который надо быстро затолкать свой багаж, свое пропотевшее тряпье, пока этот мешок не перехватил кто-нибудь другой. Поэтому они тянули его за края каждый к себе, вырывали друг у друга и сейчас же запихивали внутрь все подряд — пса, кота, лису, канарейку и жабу, а потом еще удивлялись, что там что-то шебаршится, прыгает, кусается, рычит и пищит.

Отец уже перестал говорить, и ему явно полегчало. Я выключил магнитофон. Вся его речь была теперь у меня на пленке. Но ведь мне еще нужно было выбраться из дома, а я не мог сказать о вечеринке, атмосфера была не та.

— Ты прав, отец,— сказал я покорно,— я виноват. Под вечер я выйду и куплю это масло, а после зайду к товарищу.

— Да? К какому же?

— К Адасю Бончеку, там будет дискуссия о счастье.

— Что, что?! — изумился мой старик.

— О счастье. Знаешь, его отец тот самый известный архитектор, он дает нам квартиру. Счастье — это серьезная проблема.

— А кто же организует дискуссию? Союз молодежи, Студенческий союз?

— Нет. Мы сами решили, стихийно, инициатива снизу, вне рамок организации, в кругу друзей.

Отец смотрел на меня с сомнением, должно быть, он счел инициативу такого рода подозрительной. В его мире для дискуссий раз и навсегда были установлены рамки и вывески; дискуссия, выскользнувшая из ежовых рукавиц, всегда может удрать в кусты и показать оттуда язык или даже задницу.

— О счастье...— вздохнул отец.— Ну что ж, дискутируйте на здоровье.

И он склонился над своими бумагами. Он был работяга, писал докторскую диссертацию на экономические темы, твердо решил перейти с административной работы на научную и корпел над диссертацией по ночам, а тут Богданюк, мать с ее подсчетами, как дотянуть до получки, сын-эгоист, очереди за мясом, чувствительная печень и больные кишки, ванна засорилась, штукатурка в коридоре отлетает, брюки протерлись и радиоприемник каждую неделю портится — какое уж тут счастье, когда ему думать о счастье, какие-то глупые разговоры о счастье; стоит людям обзавестись собственными ваннами, как они сейчас же разводят дискуссии о счастье, учиться соплякам надо и не висеть на подножках трамваев.

После обеда я попробовал читать — не шло, опять о концлагерях и смерти, о пищеводе и смерти, плевал я на смерть, на преисподнюю и на небытие. Какой-то там парень боится смерти, а я боюсь войти в комнату, полную людей. Почему все время пугают смертью, изводят разговорами о смерти, ждут ее, и подтрунивают над ней, и заигрывают с нею — написали бы лучше о жизни, как завоевать Баську, как все это провернуть, как войти без страха в комнату, полную чужих людей.

Я переоделся в ванной, надел свою лучшую рубашку и свои тесноватые брюки и выскользнул из дома, вроде бы за этим оливковым маслом, и действительно отправился за маслом, повиснув на подножке трамвая. Вечно они разбухшие от людей, эти беременные трамваи. Я нашел тот магазин самообслуживания, где было масло, вот и корзинки, и скандал с продавщицей. «Вы мне будете указывать? Нет уж, указывать я вам буду! Я же вас вежливо спросила, есть ли яйца, а вы хамите в ответ!» — «Вот именно, я вежливо отвечаю, а вы-то как раз хамка! Яиц нет и не было, что я их, под юбкой, что ли, прячу? Были бы у меня лично яйца, так я бы вам их во все дырки напихала, очень мне нужны ваши яйца!» — «К вам под прилавок заглянуть, так не только яйца найдутся, небось и сосиски припрятаны, и лимоны, и филейная колбаса, уж я-то вас знаю!» — «Заглядывать у себя дома можете куда хотите, а не в магазинах, подумаешь, инспекторша какая выискалась, будут тут всякие ходить да под прилавками копаться, напялила горшок на голову и воображает, что важная!» Они загородили проход, скандал разгорался, обе раскраснелись, я искал взглядом свое масло, оливковое масло в консервных банках, а не в бутылках, испанское масло «Aceite de oliva puro». Я пролез через проход, продавщица размахивала руками и угодила мне по лицу, даже не заметив этого. Испанского масла уже не было, осталось только масло в бутылках, если бы я пришел раньше, утром, например, бессовестный сын... Я подошел к продавщице совсем близко, так, чтобы оказаться прямо перед ее глазами, метавшими громы и молнии.

— Будьте любезны, оливковое масло в консервных банках! Испанское!

Продавщица услышала — я как раз угодил в секундную паузу,— она вдруг перестала кричать про яйца и опустила руки, мое робкое вмешательство оказалось кстати, теперь она могла показать той покупательнице свое истинное лицо: изысканная, безукоризненно воспитанная продавщица, продавщица-дама.

— К великому огорчению, мы продали последнюю банку масла несколько часов назад, мне очень жаль. Но в бутылочках масло тоже из натуральных оливок, греческих или еще каких-то, никто не разберет каких, оно очень хорошее, я сама его беру для салата и, как видите, совершенно здорова, никаких прыщей, никаких болей, можете смело покупать, я отвечаю...

В магазине все окаменели от удивления, потрясенная покупательница яиц молча испарилась, ибо продолжать спор о яйцах было уже невозможно, а я чуть не поддался уговорам продавщицы — вежливость ее и меня пронзила до самого сердца,— но все же, пробормотав слова благодарности, я выбежал из магазина. Я сам был во всем виноват: не забудь я просьбу родителей, у них было бы их масло, масло-лекарство, масло-спасение, именно это, одно-единственное, в банках, а не в бутылках.

Я побежал дальше, у меня было еще немножко времени. Повсюду очереди — суббота, да еще день зарплаты, нигде нет масла в консервных банках, раскупили все испанское масло в банках, всюду полно масла в бутылках, груды масла в бутылках; до этого масло повсюду было только в банках, а в бутылках нигде, ни за что, масло в бутылках было редкостью. Я бежал по площади Конституции, по Маршалковской, по Ерозолимским аллеям и содрогался от угрызений совести. Негодный сын, себялюб, эгоист с прыщавой мордой, не мог же я вернуться домой без оливкового масла. Скоро шесть часов, может, Баська уже там, борьба между чувством и долгом, между Баськой и маслом, долг победит, всегда прежде всего долг, это достижение человечества вопреки эгоистам и себялюбам. Что за конфликт, что за драма, к счастью, все это только до семи часов, потому что в семь магазины с маслом закрываются.

Свернув с освещенных улиц центра к Мокотову, где жил Адась, я влетел на Раковецкую улицу. Небольшая тренировка, марафонский бег за маслом, по дороге зигзаги в боковые улочки — время близилось к половине седьмого. Где-то в темном переулке неоновые буквы «Овощи», гаснут и зажигаются кружочки, черточки, треугольнички, неоновое разноцветное чудо, все действует, даже красная точка горит, наверное, только вчера смонтировали, надпись — скоропреходящее чудо, надпись — двухдневный мотылек, в витрине грязь, пыль, земля-матушка, капуста, брюква, свекла, перевернутые ящики, червивые яблоки под сказочной неоновой надписью, есть и банки, есть оливковое масло!!! Полно оливкового масла в банках, сплошь оливковое масло в банках, только оливковое масло в банках, никто никогда не слышал об оливковом масле в бутылках.

Я хватаю банку, две банки, четыре, мать выдала пятьдесят злотых, добавляю свои кровные пятьдесят, все, что у меня есть, я не бессовестный сын, пятидесятизлотовая бумажка действует на нечистую совесть, как мыло, бегу дальше, к дому Бончека. Чем ближе к нему, тем тяжелее мысли — все уже там веселятся, я влезу ни к селу, ни к городу, буду среди них как кролик среди кошек, зачем мне все это нужно, куда я лезу за этой Баськой, ведь она меня даже не замечает, я сам выдумал весь этот роман, он ничего общего не имеет с действительностью, она никогда не заметит меня, глупого Пингвина, никогда не полюбит, да и за что меня любить? Домой, Пингвин, брысь домой, к своим книжкам! Что за победы тебе снятся? Вот если б ты совершил что-нибудь великое, стал знаменитым, победил на соревнованиях по слалому-гиганту, сыграл главную роль в фильме... На это нужно время, а здесь время не ждет, у меня нет подходящих условий, через пятнадцать лет я могу стать главным инженером, но она не будет ждать, может, у нее уже кто-нибудь есть, я ничего не знаю о ней, у нее наверняка кто-нибудь есть, она бежит к нему после лекций, может, он сегодня уехал или у его тети именины, и потому она согласилась прийти к Адасю, а что я?

Бончек жил в особняке для двух семей, черно-желто-белая роскошь, гараж, отдельная комната с окном в сад, через это окно можно было приводить девушек. В холле полно масок, тамтамов, пищалок, тотемов, эбеновых изделий, тростника, сплошная Африка-загадка — там скульптура, тут палица, женщина или столб на двух ногах. Адась торчал среди всего этого, и в его башке все время кружили черные мысли: где-то рядом, в шкафу или в письменном столе, есть несгораемая касса, а в ней шахтеры *, он метался, как псина у колбасной лавки: как бы добраться до окорока? Мать его бегала по городу, сидела в кафе и парикмахерских, я ее видывал и с молодыми, и со старыми, надо думать, она не слишком хранила верность Бончеку-отцу, но тот, наверное, не обращал на это внимания, он все время был в разъездах, а Адась только злился. Очень, поди, песик Адась мучился возле окорока...

У меня-то все было иначе, отец целиком отдавал зарплату матери, и они распределяли ее на весь месяц. Впрочем, теперь стало хуже, урезали работы по договорам, мать все реже приносила домой переводы, старики выбивались из сил, дышали на каждую десятку. Раньше, когда отцу случалось подработать или у матери бывал гонорар за перевод, дома устраивался праздник, появлялись деликатесы, разговоры о комиссионных магазинах и даже намеки на то, что хорошо бы, мол, завести малолитражную «сиренку» — словом, король с королевой на один вечер, они выпивали маленько, несмотря на печень, утром просыпались охая, и все возвращалось на свое место, все шло своим чередом. «Лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым»,— говорила в утешение бабушка, все у нее в голове перепуталось, один только святой Антоний занимал ее думы.

Дверь мне открыла мать Адася, она как раз выходила из дому. Глаза подведены — сверху фиолетовым, по углам черным карандашом, ресницы торчат от туши, как щетка, кремов, красок и запахов столько, что чихнуть охота. Ухоженная, ведьма, шикарная, вся собранная, натянутая, подтянутая, налощенная.

— Здравствуйте, пан... не помню... ах, Анджей! Пожалуйте, пожалуйте...— Она смотрела на меня, заметила меня, крепко пожала мою лапу. Знаю я таких, у нее-то я имел бы шанс, таким как раз по вкусу мои девятнадцать лет.— Все сидят у Адася.

Она ушла, захлопнув дверь. Я полез вверх по лестнице. Слышалась музыка. Мне надо было избавиться от масла, банки распирали карманы. Я поставил их на столике возле зеркала, под какой-то черно-красно-желто-голубой мордой из дерева, прилизал волосы, теперь пора было входить. А входить было страшно, я же мало знал эту банду и не любил их. Что они говорили обо мне? Они считали меня дубиной, бараном, тюфяком, пацаном, я не был ихним, притворялся, что чувствую себя с ними свободно, но это у меня не выходило, каждое будто бы свободное движение было неестественным и слишком свободным, громкий смех скрывал дрожь и был слишком громким — судорога, сводящая скулы, оцепенение, паралич. Я бы не мог быть оратором, актером, деятелем, душой компании, самым мировым парнем во всем классе, любимцем девушек и избранником судьбы. Уметь бы играть на чем-нибудь, на пианино или лучше на саксофоне, или руководить джазом! Все тебя слушают, девушки не отрывают глаз, ребята проталкиваются к тебе, приглашают, угощают, ожидают. Петь бы, как Седака, чернокожий Тейлор,— вокруг рев, взбесившаяся публика, свист, летят стулья, проваливаются полы, зал в обломках, все друг друга уродуют, душат, все, кто жив, воют, врываются на эстраду, не помогает ни милиция, ни Союз молодежи, ни дружина, ни горсовет, на мне рвут брюки, меня кусают, лижут... потом сирены, кареты «скорой помощи», носилки, я уже пою за решеткой, решетка отгораживает эстраду от зрительного зала, толпы на улице, два миллиона девушек, миллион писем в день, а я внимательно смотрю, велю поднять решетку, спускаюсь в зрительный зал, вижу Баську, выбираю ее, она не верит своему счастью...

---

* На стозлотовой купюре изображен шахтер.

Наконец я открыл дверь в комнату Адася. Он кривлялся посредине, извивался в твисте перед сидевшей в кресле Баськой.

У него был и радиоприемник, и стереофонический проигрыватель, и заграничный магнитофон, и зеленый телефон (в коридоре я видел красный). Бояновский в углу «пилил» твист с Магдой, Вализка, умелец во всякой механике, ковырялся в радиоприемнике. Они едва заметили меня. Адась сказал: «Валяй, влезай, Пингвин», он был весь какой-то взвинченный, возбужденный, наверное, уже глотнул чего-нибудь из отцовского буфета. Баська сидела со своей застывшей каменной миной и даже не смотрела на все его аппараты. Адась сменил пластинку и поглядывал на Баську. Вся эта затея была ради Баськи, мы были ему нужны только для того, чтобы заполучить Баську, чтобы иметь возможность похвалиться перед Баськой этой своей отдельной комнатой с зеленым телефоном и заграничным магнитофоном. Он выбежал куда-то в холл, позвякал бутылками и вернулся с армянским коньяком, английским виски и кубинским ромом. Все это зверски дорого стоит в гастрономе, такие цены просто оскорбление для народа и дренаж рынка. Силен Бончек, какие балетные па перед Баськой выделывает, гвоздь программы, свет прожекторов на гвоздь программы, одна бутылка — это почти вся ее стипендия. Он наливал, произносил, рассуждал, знаток вонючий, к виски-де полагается вообще не содовая вода, а соки, а марка «Блэк энд уайт» лучше «Белой лошади», наверное, дольет потом воды, чтобы старик не заметил убыли, когда вернется. Он возбуждался, и дергался, и говорил, говорил, говорил о путешествиях в Африках, о том, что старик отдаст ему свой «фольксваген», что они поедут на Адриатическое море, потом снова переменил пластинку, сложил стереофонический проигрыватель, снова сбегал в холл, вернулся с негритянским барабаном, тамтамом, и включил заграничный магнитофон. У него были ленты — запись с приемника самых что ни на есть последних новинок, самых модных мелодий в исполнении богов рева, сплошной ритм — мечта, а не ритм, просто гашиш, а не ритм. Он отбивал ритм на тамтаме, топал, гнулся, ритмично извивался, потом швырнул тамтам Вализке, схватил Баську, потащил ее, она начала танцевать рокк, сохраняя это свое каменное выражение лица, мелькнули только ее ноги, он хотел притянуть ее к себе, прижать, но она не далась, не далась! Она выскользнула и села с тем же выражением лица, а он остался стоять посередине с пустыми руками, дышащий жаром, как раскаленная кафельная печь; он наткнулся на стену, и от нее отлетели все его хвастливые заходы, все разлетелось вдребезги — столько слов, столько ужимок, столько бутылок, столько аппаратов!

Я любил Баську, я вдвое больше любил ее за это, я хотел бы встряхнуть ее как следует, чтобы она улыбнулась или заплакала, сбросила с себя привычное выражение лица — такая девушка, что за ноги, даже жарко становится, изящна, как само изящество, должно же в ней быть что-то!

Адась постоял с минуту, видно, он был взбешен, он уже настроился на Баську, он хотел иметь эту Баську, как «фольксваген», еще секунда, и он начнет реветь и топать ногами: «Я хочу Баську!!! Я хочу Баську!!!» Это уже был конец, Мацейовицы *, гроб, нокаут на глазах у всех, нокаут, да еще при ком — при Вализке, Бояновском и при мне! Этого Адась не простит! Но нет, он только разогнулся, выпил рома, усмехнулся, выключил заграничный магнитофон, Бояновский и Магда бухнулись с разбега на тахту, Вализка еще раз стукнул кулаком по тамтаму.

— Сыграем во что-нибудь? — предложил Адась.

— Сыграем,— поддержал его Вализка.

— В «минуту искренности»! — воскликнул Адась.

Я не любил таких игр, я не мог быть искренним с ними ни минуты и не мог ничего сказать искренне Баське — тут-то они бы уж завыли, что пришел

---

* Название деревни, возле которой в 1794 году было разгромлено повстанческое войско Костюшки.

конец света, если даже глупый Пингвин лезет со своими чувствами. Им эта игра нужна была для всякого свинства, они могли говорить, что хотят, их искренность была ужасной, они без стеснений спрашивали обо всем, все топтали ногами, лезли сапогами в душу, раздирали грязными когтями кишки и ковырялись в живой, пульсирующей аорте, в ее красной мягкой ткани, льстиво квакая, живьем хватали и раздирали на куски птичку, чтобы заглянуть ей внутрь, туда, где бьется сердце.

— Я не буду играть в искренность,— заявила Баська очень твердо.— Иначе мне пришлось бы сказать тебе, что я о тебе думаю.

Вализка стукнул в тамтам и загоготал, Адась стоял, словно ему дали по морде. Должно быть, она думала о нем то же, что и я, и он понял, что Баська его не выносит, что ничего с ней не выйдет ни сегодня, ни завтра, ни в следующем семестре, что время потеряно зря и игрушку не добыть ни за какие деньги. Он даже задохнулся, эта игра в искренность была последним номером в программе, больше у него в запасе уже ничего не осталось... Я был отомщен, Баська отомстила за меня, за этого глупого Пингвина, за все. Но Адась снова усмехнулся, и усмехнулся очень зло, потом взглянул на приемник — видно, он задумал что-то, поймал какую-нибудь муху и будет обрывать ей крылышки.

— Может, ты хочешь узнать, что думают о тебе? — процедил он.

— А что обо мне думают? — задорно спросила Баська.

— Сейчас услышишь,— усмехнулся Адась.

Наверное, он подготовил и этот номер, все возможно. Возле зеленого телефона лежал кусок кабеля, должно быть, он забавлялся таким образом не впервые — прием известный,— он соединил этим кабелем телефон с приемником, включил приемник и еще раз взглянул на Баську, на ее каменное лицо. Он что-то затаил, припрятал за пазухой какую-то основательную мерзость, это сразу видно было по его глазам.

Я сидел сбоку, рядом с остальными и, как зритель в театре, затаив дыхание следил за развитием действия. Я весь был покрыт красными пятнами, уши у меня горели от напряжения, но это было зрелище, и я не мог ворваться на сцену. Адась поднял трубку и медленно набрал номер. Баська даже не шелохнулась. В динамике приемника мощно трещало, пока он набирал цифры, потом что-то стукнуло и загудел сигнал. Он включил динамик на полную катушку, радио загудело на весь дом.

— Слушаю! — рявкнул мужской голос.

— Лукаш? — спросил Адась.

— Собственной персоной.

— Привет, старик.

— Привет.

— Ты можешь разговаривать?

— За двоих.

— Что поделываешь?

— Вернулся и ухожу.

— А у тебя случайно нет Баськи Орачевской?

— Уже давно нет. А что, ты ее хочешь?

— Быть может...

— Тогда будь осторожен, старик.

Я посмотрел на Баську. Она сидела, опершись о спинку кресла, такая же, как всегда, только, пожалуй, глаза у нее были расширены чуть более обычного. Вализка захохотал, но Адась тут же утихомирил его жестом.

— Это почему же?

— Да так. Трудно отвязаться.

— Э-э-э, фасонишь!

— Ничуть.

— Она не из таких!

— Вот именно из таких. Могу доказать. Хочешь, прочту?

— Что?

— Письма. У нее нет телефона, поэтому она пишет письма.

В приемнике загрохотало, послышались шаги, видно, Лукаш направился к столу или к шкафу. Эти шаги терзали мои пылавшие уши. Баська почти не дышала и смотрела на приемник, какая-то совсем уже окаменевшая. Лукаш быстро вернулся к аппарату, видно, он держал ее письма под рукой, верно, прочитывал их перед сном или показывал гостям.

— Первое попавшееся... вот! «Я сегодня встала раньше обычного, в восемь первая лекция, дома серо и холодно, за окном моросит дождь. Мне было очень худо, но я подумала о тебе, милый, и сразу же у меня на сердце засветило солнышко, стало тепло, прошла тоска...»

Баська сидела, не шевелясь, и только смотрела на этот приемник, как на двадцатый круг ада. Вализка тихонько хихикал, те двое глупо ухмылялись.

— Да это же поэзия! — вскричал Адась.

— Мне, старик, на дамочек везет. Слыхано ли, чтобы кто-нибудь теперь писал такие письма? Например, эдакое: «Сегодня ночью я снова думала о тебе... Все время меня не оставляет тревога, кажется, что нам что-нибудь помешает, ворвется в наши отношения, я это предчувствую и боюсь, дрожу за нас... Достаточно тебе не прийти на наше место, как это было сегодня... Я ждала почти два часа, милый... Я знаю, у тебя много дел, и ты не обещал ничего наверняка...»

Вдруг Баська шевельнулась, словно что-то ослабело у нее в позвоночнике, но она все еще и бровью не вела, другая давно бы уже сбежала. Те, все, глупо прыскали со смеху, скоты. Адась торжествующе поглядывал на Баську. Это и была его мерзость — наверное, обдумал заранее такую месть Баське за ее презрение. А тот подлец продолжал шелестеть бумагой.

— Или вот еще: «Ты снова не пришел сегодня, хотя я весь вечер вслушивалась в шаги на лестнице. Зачем ты так мучаешь меня, милый? Почему ничего не говоришь, ни слова? Ты и представить себе не можешь, как ужасно такое ожидание, какая мука сидеть вот так и ждать тебя... Не делай этого больше, прошу тебя!»

Я увидел в глазах у Баськи слезы, не помогла ей ни каменная маска, ни стиснутые кулаки, она не смогла удержать слезу, покатившуюся по щеке. Я не мог больше выдержать этого, не мог взглянуть Баське в лицо, меня больно бил каждый звук. Я вскочил, подбежал к приемнику и вырвал из него кабель.

— Хватит! — крикнул я и потянул Баську за руку. Она сразу встала. Послушно поднялась и пошла за мной! Этот Адась, наверное, забыл обо мне, я тихо сидел в углу, я вообще не шел в счет, скорее уж он мог ожидать, что появится американский шериф с револьверами из ковбойских фильмов, чем произойдет то, что я сделал. Он схватил меня за плечо.

— Ты... глупый Пингвин?! Ты что, спятил? Ну, погоди же...

Я оттолкнул его, и притом довольно сильно, как это случается с человеком в состоянии аффекта — тогда для него нет сильных, он бросился бы и на чемпиона мира в тяжелом весе. Мы с Баськой были уже возле дверей, а Адась еще только поднимался с пола, там, где стоял стереофонический проигрыватель; слышно было, как Лукаш что-то тихо хрипит в трубке, он, наверное, не понимал, в чем дело, и прервал чтение.

Мы выбежали на улицу. Баська нуждалась в темноте, это было ей как повязка на рану. Она часто и глубоко дышала, глаза ее были полны слез. Я ничего не говорил — о чем было говорить, нужно было дать ей пережить свой стыд в одиночестве. Ох, и выкинула же она номер, вечный ты неудачник, глупый Пингвин, собрался ей объясняться, нечего сказать, самое время для объяснений в любви; вот что было у нее внутри, этот Адась просветил ее насквозь, расковырял ткани, все сосуды и сердце — влюблена, как ребенок! А этому Лукашу, как ему удалось столько из нее выжать, из всякой ли девушки можно столько выжать, подумать только, что ему это даже и не нужно, плевал он на это, видно, мате-

рый сукин сын; как она, должно быть, смотрела на него — подумать только, черт! — как она, должно быть, смотрела на него, сколько бы я дал, чтобы она так взглянула на меня, чтобы так написала мне, я бы стоял у ее дома день и ночь, но теперь все пропало, теперь у нее надолго пропадет вкус к сладким словечкам, может, навсегда, теперь она уже избавилась от этого, уже не будет писать таких писем, это ее отучит. Растратила понапрасну свои взгляды и слова, выложилась перед стенкой, шкафом, для него это все как розы для шимпанзе, как духи для коровы, а ведь многие отдали бы за это не знаю что, сколько их мечется по городу, без отдыха, с утра до ночи,— тех, которые не могут допроситься и дождаться, бьются головой о стену и воют, как собака на луну.

Я бежал рядом с ней и ничего не мог сказать, я был парализован мыслью, что все прозвучит сейчас глупо, у меня вообще все всегда звучало глупо, а теперь это уже было бы верхом всего.

Так мы добежали до угла аллеи Независимости и Раковецкой, светофор как раз вспыхнул красным, Баська остановилась, видно, подсознательно отреагировала на красный свет. Она не смотрела на меня и плакала, уже не сдерживая слез, только отирая их, губы ее дрожали, она вздрагивала всем телом — вот в какую бедную девочку она сразу превратилась! Маленькая бедная девочка, которую обидели в большом городе Варшаве, та-та-та, сказка для маленьких. Каменная маска полетела к чертям, вся оболочка лопнула, сгорела от жаркой обиды, но я не мог коснуться Баськи, не мог и подумать о том, чтобы прикоснуться к ней. Я дрожал рядом с ней и не мог коснуться ее даже пальцем.

— Не расстраивайся, Баська,— сказал я, пытаясь изобразить безразличие. Но голос выдал мою дрожь.

Она взглянула на меня, внезапно пораженная, испуганная, должно быть, она вообще обо мне забыла, не знала, что я все время бежал рядом, ей было все равно, есть я или нет, лучше даже, чтобы меня не было, ибо что я вообще такое? Ничто.

— Что? — резко спросила она.

— Я говорю — не расстраивайся.

Она смотрела на меня еще с минуту, ее лицо уже снова было неподвижным, таким, как всегда,— потом, совершенно непонятно почему, начала смеяться. Черт, она начала смеяться!

— Ну, ясно! Утешать меня вздумал! Ты что ж, решил, что я это всерьез, да? Я — и эдакие вещи?! Глупый ты, ведь я же переписала это из одного романа! А он... всякий из вас сейчас же и верит, что его любят до безумия! Все должны вас любить до безумия! А если из любви к вам не умирают, то вы ужасно изумляетесь! Привет!

И она перебежала на другую сторону. Я бросился следом.

— Подожди, Баська! Может, отвезти тебя домой?

— А может, дать мне нюхательной соли? Может, брому? С чего это я вдруг свой дом не найду?

Подошел троллейбус, она вскочила в него, затерялась в толпе, исчезла. Мне было чертовски неловко и за себя, и за нее. Троллейбус тронулся. Теперь она осталась одна, прибежит домой, вот когда она задаст ревака в подушку, но лучше уж пусть ревет, чем так смеяться. Надо переждать, терпеливо переждать, пусть забудет этого Лукаша, а я, болван, чуть не сунулся к ней с объяснениями, это при моей-то роже, да я бы ему, скотине, зубы повышибал, чтоб он выплюнул их все из своей пасти, Адасю тоже причитается, гляньте-ка, ведь выкопал же откуда-то этого Лукаша, подружился с ним — свояк свояка видит издалека, они всегда найдут способ отыграться на девушке.

Я открыл дверь, тихо вошел в коридор, и тут меня как по лбу стукнуло: масло! Я оставил его под цветной мордой у Адася! Из комнаты слышался голос матери:

— В понедельник пойдешь к директору и скажешь: «Или Богданюк, или я!» Пусть выбирают! Пусть наконец решится! Или карьеризм, подлизывание и интриги, или честный, добросовестный труд для института! Это будет пробным камнем! Если они предпочитают карьеристов, то могут их иметь! Целые тонны! Целые вагоны карьеристов!

— Но, Иренка, пойми, Главный не откажется от Богданюка... Он нуждается в нем! Богданюк расхваливает его на всяких собраниях! Всегда его поддерживает! Выдвигает его кандидатуру! Ему пришлось бы найти вместо него другого, но конечно же не меня. Я не гожусь в кадильщики, в подхалимы; может, Врачек подойдет, он же ученик Богданюка, не знаю только, будет ли Врачек лучше...

— Что ты мне Врачеком в глаза тычешь?! Врачек — ничто! Мы говорим о Богданюке и о тебе! Кто окончательно подорвал свое здоровье, просиживая в институте после работы? Кто трудится в поте лица, пока тот бегает по городу, торчит на разных совещаниях, заседаниях и вечерах, как какая-нибудь кинозвезда? Кто тащит на себе весь институт? Кто лишился возможности сделать карьеру, не пожелав оставить институт, потому что институту нужны кадры?! И за все эти мучения ни одного доброго слова, никакой признательности! Где уж там! Выдвижение — повысить Богданюка! Премировать — Богданюка! Командировка за границу — Богданюку! Медали — Богданюку!

Богданюк засел у матери в самых кишках, она уже не могла без него жить, о чем бы она говорила с отцом, если бы не было Богданюка! Он стал для нее наркотиком, этот Богданюк. Отец отказывался от всякой борьбы с ним. Богданюк растер бы его в порошок, разложил на молекулы, Богданюк сидит в ста местах одновременно, выглядывает из каждого кабинета, из каждого зала собраний, чарует по телевизору, выступает по радио, вот он уже в Щецине, Познани, Сан-Франциско, Аккре и Конакри, он позирует перед объективом, лезет на все фотографии, чтобы не остаться в тени, за кадром, это ужасно — остаться за кадром, но нет, он попал в кадр, стоит рядом с председателем, Главным, министром, Главный улыбается ему, все хорошо, все ему улыбаются — ведь это Богданюк! — даже министр улыбается, Богданюк всегда изучает улыбки, улыбка Главного — не изменилась ли она, может, она стала более холодной? Нет-нет, улыбка приветлива, Богданюк может спать спокойно, жизнь — это постоянное карабканье по шатким лесам, завтра кто-нибудь может нашептать Главному, накрутить его, опутать, подложить Богданюку свинью, эдакую огромную свиноматку, потом могут снять Главного, может наступить новый этап, этап без Богданюка! Богданюку снится, что настал новый этап без Богданюка, он рычит сквозь сон, задыхается и хрипит, он просыпается потный, садится на кровати, нет, наяву все прекрасно, Главный улыбается как всегда, этап тот же, нет еще этапа без Богданюка, Богданюк необходим, незаменим, еще незаменим, нет никого, кто мог бы занять его место, выжить его, до этого еще никто не дорос...

Успокоившись, Богданюк ложится, но тут же снова садится. Врачек! Врачек — его любимчик, его вскормыш, согретый на собственной груди, введенный Богданюком в жизнь, внедренный в организмы, тела и комиссии, чтобы иметь там свою руку, Врачек — эхо Богданюка, его верное отражение, его рычаг и электронный мозг, который включается им, когда нужно провернуть собрание, совещание, подтолкнуть список комитета, решение, резолюцию или предложение, войти в состав комиссии, правления, консультативного органа, определить состав делегации, даты заграничных командировок или приема гостей на месте. У Богданюка на висках снова выступает пот, ибо недавно именно этот Врачек, вылепленный Богданюком из пластилина и оживший благодаря тому, что Богданюк вдохнул в него собственное дыхание, этот робот Богданюка, настроенный на его частоту, действующий безотказно и четко, Врачек — ничто, Врачек — собачье мясо, дохлое без Богданюка, несуществующее, безмолвное, никакое,— этот Врачек встал и высказал собственное, неинспирированное мнение. Мнение его было вредным, глупым, противоречащим мнению Богданюка, косвенно атакующим Богданюка, недопустимым, скандальным, хулиганским и анархическим, а что еще

хуже. Врачек заупрямился, отстаивал свое мнение, управление роботом совершенно разболталось, импульсы уже не воспринимались им — бунт робота, кошмар. робот, живущий собственной жизнью!

Напрасно Богданюк тряс его за грудки, чтобы у него внутри все встало на свое место, чтобы он начал действовать, как прежде,— Врачек отстаивал это свое глупое мнение бесстыдно и цинично, повторял его с упорством, верил в него, вдруг поверил в собственное мнение, застопорился начисто! Это могло стать началом конца: да ведь если Врачек будет иметь собственное мнение, если каждый вот так будет иметь собственное мнение — тогда конец. Кто поддержит предложение Богданюка, кто выберет Богданюка, кто пошлет Богданюка делегатом? Не поможет чувство долга по отношению к Богданюку, чувство признательности, наоборот, они сейчас же забудут, чем они обязаны Богданюку, они все охотно позабудут, никто не хочет быть никому ничем обязанным, будто они всего достигли сами, собственными талантами, а кем бы он был, этот Врачек, если бы не Богданюк!

И вот Богданюк, весь взмокший, извивается и думает обо всем самом худшем. Над его головой все выше поднимается и набирает соков Врачек — Троянский конь, Врачек — Конрад Валленрод *, Врачек — архангел с мечом, который сразит Богданюка.

Все это в таком виде рисовалось в моей голове на основе подслушанных разговоров родителей. Это были гнусные делишки, и я был целиком на стороне отца, одобряя то, что он не вмешивается в них, а просто работает, что он не умеет выступать на сцене и не любит шума. Я, глупый Пингвин, отлично понимал его, но мать хотела шума, деятельности, успехов, повышений и орденов, ее честолюбия хватало на них обоих, отсюда и Богданюк, вечно Богданюк, всюду Богданюк, Богданюк нашей жизни, образец, враг, звезда.

— ...если ты в понедельник не пойдешь к Главному и не скажешь: «Или я, или Богданюк»...

Я открыл дверь, чтобы прийти на помощь отцу, и мать оборвала фразу на полуслове, но она еще не высказалась до конца, она выпустила пар только наполовину, и то, чему не миновать, должно было незамедлительно последовать...

— Масло я купил, четыре банки, но забыл их у Бончеков. Завтра схожу, принесу.

Матери только того и надо было. Не могла же она остаться под давлением своего пара! Клапан открылся:

— Разумеется! Забыл! То, что нужно родителям, ты забываешь, но о своих делах хорошо помнишь! А если бы я вдруг хоть раз забыла тебя накормить? Выстирать белье? Сменить постель? Пришить пуговицы и заштопать свитер? Накопить гро́ши, чтобы ты мог поехать в горный лагерь в Закопане? Простоять полдня в очереди, чтобы принести тебе апельсинчик? Почему я ничего не забываю, почему? Потому что я не эгоистка! Отвратительный себялюб! Жестокий, грубый себялюб! Сибарит, выросший на родительских хлебах, политых тяжким потом! Богданюк!

И она выбежала, хлопнув дверью. Мне нечего было сказать. Вообще не следовало ни отвечать, ни оправдываться, я же не мог сказать о том, что было в действительности.

Отец вглядывался в меня измученными от чтения глазами, эта беспрерывная работа добивала его.

— Ну, как ваша дискуссия о счастье? — спросил он.

— Трудный это вопрос,— вздохнул я.

— Труднее, чем тебе кажется.— улыбнулся отец.

Мне захотелось вдруг все рассказать ему, но уже через секунду это желание пропало. Что они поймут!.. Отец завоевал мать так, мимоходом, они вместе

---

* Герой одноименной поэмы А. Мицкевича, ставший символом борьбы за национальное освобождение польского народа.

были в подполье; военный герой, подвергавшийся опасности, девушки любили героев, раз-два, стрельба, смерть поджидает за каждым углом, любовь приходит сама, патриотическая любовь к герою, на ходу, между перебросной гранат и комендантским часом, завтра мы, может быть, погибнем, нет времени на охи и вздохи, прощай, ухожу в лесной отряд, явка провалена, приказано исчезнуть из города, привет, дорогая, сердце в вещмешок, рыдай о храбром воине, борьба продолжается. Потом его схватили, вывезли, мать целые дни простаивала в очередях с передачами, он кое-как выжил, не погиб, вернулся, и вот они теперь сидят вместе, обсуждают Богданюка.

Я бы тоже так завоевал Баську, уж тут-то я бы наверняка ничего не боялся; я бы взорвал сто поездов с врагами, да еще казармы, пять складов боеприпасов и двадцать две цистерны с бензином, уж тогда бы она должна была меня заметить, я наделал бы столько шума, был бы так прекрасен в своей отваге! Наверное, ни один герой на войне не имел трудностей с женщинами, вон как они все разговаривают в кинофильмах, достаточно сходить посмотреть на них в кино, там каждого из них любили — и красавцев, и тех, у кого кривые ноги или уродливый нос. Все времена по-своему хороши, но, по крайней мере, тогда, на войне, сразу стало бы ясно, чего стоит такая собачонка, как Адась, или такой мерзавец, как Лукаш, тогда человек был наг, в счет шло только главное — отвага, преданность, идеалы и тэ дэ.

Мы с отцом молчали, разговор у нас не клеился, его голова была забита законами стоимости, труда и производства, товарной массой, методами, цифрами, у меня были свои волнения — Баська, и его экономику нельзя было увязать с моей Баськой. У каждого из нас была своя тема в жизни, у матери тоже был ее Богданюк, и ни один не мог говорить непринужденно на другую тему.

Я пробовал читать, не вышло. Наконец мы сели ужинать. Мать стучала тарелками, сохраняя гордое молчание, отец включил телевизор — это был выход из создавшегося положения. На экране мелькали какие-то машины, мы смотрели на них, не видя их, гремела плясовая музыка, диктор весьма бравым тоном расхваливал машины, потом замелькали, двигаясь в обратном направлении, другие машины, и, хотя отец не раз подчеркивал роль механизации, он все-таки не выдержал и выключил телевизор, и мы продолжали сидеть молча, погруженные каждый в свои думы.

Наконец мать нарушила тишину.

— Ты был у Бончека?

— Ага.

— Я читала в газете о его отце. Он опять получил какую-то награду.

— Да. Говорят, он очень хороший архитектор.

— Было бы неплохо, если бы ты подружился с этим Бончеком. Ты познакомился с его матерью?

— Познакомился.

— Симпатичная?

— Очень симпатичная.

— Кто у них был еще?

— Несколько человек. Вализка.

— Вализка? Кто это?

— Один из наших соучеников.

— Симпатичный?

— Очень симпатичный.

— И хорошо вы развлекались?

— Хорошо.

— А танцы-то хоть были?

— После дискуссии. Немного.

— И ты тоже танцевал?

— С двумя девушками.

— Красивые девушки?

— Красивые и симпатичные.

— А что ж вы так рано разошлись?

— Да так уж получилось, действительно, на редкость рано.

— Что же вам помешало?

— Ничего, просто завтра утром отец Адася возвращается из Африки, и Адасю надо на аэродром.

— Видишь, какой он хороший сын.

— Вижу. Хороший.

Отец посмотрел на меня, должно быть, он что-то смекнул, старина. Я давился, глотая хлеб с ветчиной. Теперь наступила тишина, тишина-ширма, тишина-духота. При первой же возможности уйду из дома. Я знал, что для этого пришло время. Наступает пора, когда птенец, даже самый жалкий, покидает свое гнездо, когда даже самый паршивый щенок покидает свое логово. Я уже не вернусь сюда. Мне было жаль их, особенно каждого в отдельности, но это уже конец — благодарность, чувства и тэ дэ. Нельзя больше жить вместе, я уже тоже взрослый, а здесь я всегда буду сопляком. Я могу снимать угол, лишь бы только закончить институт, дотянуть до диплома, но без этого сюсюкания: «Послушные детки идут спать», все послушные, все знают, что хорошо, а что плохо.

Потом среди ночи, да нет, пожалуй, уже на рассвете, в шестом часу утра, зазвонил телефон. Его звонок был хорошо слышен в обеих наших комнатах. Он так и звенел у меня в ушах, но я чертовски крепко спал — заснул я уже после полуночи, голова была полна Баськой и всем происшедшим. Телефон стоял возле тахты, где спит отец, и я услышал его голос:

— Да... Кто? Ага... Пожалуйста, пожалуйста... Нет, ничего не знаю... Сейчас разбужу Анджея.

Я босиком подбежал к телефону, придерживая рукой пижамные штаны, потому что в них лопнула резинка.

— Пан Анджей? Говорит Бончек, мать Адася. Вы не знаете, что с ним могло случиться? Его нет дома! Я вернулась сейчас от знакомых, а его нет...

— Когда я ушел, он оставался с товарищами дома...

— Да, а потом они тоже ушли. Я только что говорила с Мареком Бояновским. Адась простился с ними около одиннадцати вечера и собирался вернуться домой... Я уже звонила в «скорую помощь» и в милицию... Ведь через несколько часов приезжает муж!

— К сожалению, он ничего мне не говорил. Просто не представляю, что могло случиться... просто не представляю.

Пани Бончек буркнула что-то и повесила трубку. Видно, струсила не на шутку: до последней минуты шлялась по гостям, веселилась вовсю, а тут бац, нет Адася, и как раз тогда, когда возвращается муж, ну и утречко у нее!

— Горе с этими детьми,— проворчала в темноте мать,— растишь их, растишь, столько лет жизни им отдаешь, вот они уже вроде бы взрослые, кажется, можно и отдохнуть, заняться наконец собой — ведь вон какой бык вырос, пусть дальше сам шагает, можно бы уж и не волноваться о нем, а он вдруг берет да и не приходит ночевать. Не приходит, и все! Убили его, под грузовик попал, сбежал, в тюрьму угодил, влип в какую-нибудь грязную историю?.. И опять у родителей сон прочь, мучайся, дрожи, страдай, убивайся!

— Никуда этот Адась не денется, мама, можешь быть спокойна. Скорее сто других, куда лучше его, пропадут,— заверил я мать и вернулся к себе, но спокоен я отнюдь не был. Мне мерещились разные ужасы, и все они, конечно, были связаны с Баськой — может, он выкрал ее, изнасиловал, убил, а может быть, просто напился на какой-нибудь вечеринке или заночевал у девчонки?

Я заснул, когда было уже совсем светло. Однако спать пришлось недолго, в это воскресенье мы должны были работать на уборке скверика — общественный почин,— расчищать места для игр пацанят, студенты — пацанам, создадим сквер для пацанят, чтобы они не обрывали дверные ручки, не звонили в квартиры, не били стекла в окнах, не расписывали свежепобеленные стены разными

словечками, не поджигали помойки, не кидали камни в фонари и прохожих, не выламывали части у автомашин, не топтали цветы, не играли на чердаках в крестоносцев, ковбоев, полицейских и робингудов, но чтобы они делали куличики из песка на скверике и съезжали бы на попке с горки.

Я быстро встал. Отец уже сидел над своей экономикой, просто танк, а не человек! Я позвонил Бончекам, старый Бончек как раз только что вернулся из Африки — сумасшедший дом, отчаяние, об Адасе ни слуху, ни духу, Адась знал, что отец приезжает, что он привезет подарки, Адась ни за что не пропустил бы такого момента, это и в самом деле было странно, ведь у него наконец появилась возможность дорваться до старика и как следует его очистить. Пани Бончек умоляла меня прийти.

Однако сначала я побежал на скверик. Кучи кирпичей, обломков, вокруг новые дома, стекло, желтые балконы... Здесь так красиво, светло, кипит жизнь, растет наша Варшава — что за дома! Именно в них и производят пацанят, даже стекла дрожат от этого производства.

Наши уже собрались. Роман Жильский, деятель из молодежной организации, раздавал лопаты. Ни Баськи, ни Адася не было. У кучи кирпичей махал лопатой Вализка, мужик сильный, как бульдозер, даже свистело вокруг, когда он взмахивал лопатой.

Я тоже начал махать лопатой, куда ж деваться! Вализка уже все знал, старый Бончек поймал его утром в общежитии. Вализка смеялся надо всем этим, говорил, что Адася украла баба-яга, которая уже давно занимается его просвещением, она вроде бы разведена, муж оставил ей однокомнатную квартиру и сбежал от нее чуть ли не на границу с ГДР, Адась бегал к ней всякий раз, когда не было лучшей перспективы. У него, у Вализки, тоже была такая баба, муж постоянно разъезжал, он был официантом в вагоне-ресторане и катался по Польше, подавая водочку и бризоли, а Вализка тоже чуть не половину Польши исколесил в его постели, отлично в ней ездилось, мягко, как в вагоне первого класса, для того, кто живет в паршивом общежитии, это, браток, роскошь, ого-го!

У Вализки была угловатая здоровенная морда, эдакий голубоглазый блондин, который нравится девушкам, от него веяло бычьей силой, но он, как никто другой, мог извергать потоки мерзости. Откуда в нем эта злоба, кому он мстил? Он приехал из Млавы, может, у него было тяжелое детство или еще что-нибудь, может, к нему плохо относились в школе, может, он подкидыш, может, его мать была женщиной легкого поведения — отчего ему хотелось так все оплевать, облить помоями?

Должно быть, он почувствовал, что меня, робкого Пингвина, тошнит от всего этого, ибо я не отвечал ему в том же духе, и он стал изрыгать свои гнусности еще громче, назло себе и мне, теперь он поносил женщину, с которой встречался, и старался не оставить на ней ни одного чистого местечка, топтал ее в самой грязной грязи, волочил за волосы, а ведь он ее обнимал, и она охватывала его шею руками, прижималась своей щекой к его щеке...

Я изо всех сил махал лопатой и так кидал камни, что кругом только посвистывало. Всю свою злость вкладывал я в эту работу. Наконец Вализка выдохся, должно быть, выплюнул из себя все, что мог, и закурил, довольный собой, настоящий мужчина, полубог. Но, видно, ему этого было мало. Его злило, что я молчу и только вымахиваю лопатой, он просто не мог вынести, что кто-то рядом с ним не валяется в грязи, смеет увиливать от этого, ему хотелось вонзить в меня нож по самую рукоятку, и он прогнусавил:

— Ну и выкинул же вчера номер Адась, разделал эту Баську под орех!

В самое сердце угодил мне Вализка! Я перестал махать и взглянул ему в глаза.

— Ни под какой орех он ее не разделал. Никто из вас и не способен ее «разделать».

— Дурень ты, Пингвин, вот именно, что он ее под орех разделал, подстриг под ноль, да еще как! Небось теперь не будет нос задирать, паскуда! Подумаешь, какая нашлась, лучше других, что ли? Такая же шлюха и дешевка!..

Я бросился на него, даже не подумав, стоит ли это делать. Вообще ни о чем я не мог думать, мне хотелось только искромсать, изувечить эту грязную пасть, заткнуть ее! Я как следует двинул кулаком в его большую злобную морду, он даже чуть не упал, из губы у него брызнула кровь. Такого он не ждал — конец света, Пингвин полез драться! — я успел еще лягнуть его под колено, он согнулся, но тут же выпрямился и бросился на меня. Он влепил мне так, что у меня потемнело в глазах и я опрокинулся на кучу камней. К нам сразу же все сбежались, поднялся шум, крики о хулиганстве, вот-де какой пример студенты подают детям, будущему народа! Я был в глазах всех зачинщиком, я напал на бедного Вализку — не мог же я объяснять, что я рыцарь, что он оскорбил мою даму и только кровь может смыть такое оскорбление! К счастью, я был известен как тихоня, который только и знает, что учиться, вдобавок я уже успел нашвырять гору земли на этот скверик для цветов нашей жизни, для милых деток, и, кроме того, их рассмешил мой вид, мое нападение на быка Вализку, моська и слон, так что нас наконец оставили в покое и даже не сделали выводов.

Я слез с кучи камней, на которой валялся, все тело у меня болело — падая, я ободрал себе лапу и теперь слизывал с нее кровь, а этот Вализка начал гоготать во всю глотку. Я даже не взглянул на него, не на что было смотреть. Подумать только, что когда-нибудь эдакая мразь может оказаться руководителем и командовать людьми, ведь не выгонят же его ниоткуда за то только, что он скотина, тем более если он будет хоть как-то учиться и говорить при ком надо что надо.

Отряхнувшись, я во всю прыть пустился к автобусу. Там я вытащил бумажку с адресом Баськи — все было поводом, чтобы увидеть Баську, плевал я на Адася и его исчезновение, раз это не имело отношения к Баське; даже с общественной точки зрения его исчезновение не было исчезновением, оно не создавало никакой пустоты, так же как если бы кто-нибудь зачерпнул кружкой воды в озере. Адась был настоящим эгоистом, я по сравнению с ним — самокат против реактивного самолета, никто его не любил, никто не нуждался в его обществе, если к тому не было особого повода, никто не почувствовал бы, что его не хватает, что в рядах образовалась брешь. Конечно, предки его — дело другое, им и положено горевать, они же его родили, пичкали шоколадами, осыпали подарками, разными погремушками и стереофоническими проигрывателями, но даже и в их жизни он не занимал почти никакого места — они жили, каждый сам по себе, встречались только у чемоданов с барахлом и пластинками, которые привозил старый Бончек, и встревожились из-за сына, лишь когда он не пришел ночевать.

Я тоже не находил общего языка со своими предками, мы все больше отдалялись друг от друга, потому что они иное поколение, из другой эпохи, «у нас никогда не было ванной, мы впервые в жизни живем, как цивилизованные люди, с ванной и центральным отоплением», «есть хлебушек, не падают бомбы и не арестовывают зря...» Но я знал, что мои предки не спускают с меня глаз, иногда я доходил до бешенства оттого, что они так любят своего отпрыска, так им занимаются и так страдают потому, что он уже ускользает из их рук, для них я все еще был беспомощным птенцом, но, пожалуй, это было лучше, чем то, что у Адася.

Наконец я дотащился до чертового Жолибожа, ткнулся в одну сторону, в другую, мне указывали то направо, то налево, в конце концов я нашел ее улочку — три с половиной домика, садики какие-то, почти деревня. Домик Баськи еще носил следы бурь, стены были изрешечены шрапнелью или чем-то в этом роде, видно, здесь тоже когда-то была жуткая мясорубка, штукатурка на лестничной клетке вся ободрана... Баська жила на втором этаже, три звонка. Я позвонил три раза и стал ждать, вслушиваясь в звуки за дверью. Там шумела вода, мурлыкал голос диктора, ведущего воскресный концерт по заявкам: «Лучезарной пани Ивоне, сверкнувшей на дороге моей жизни между станциями Мальборк

и Гданьск-главный, посылает эту песню пораженный в самое сердце Ежи Бегус из сельхозкооператива в Моронге». Что-то зашелестело, двери открылись, в них стояла Баська в халате. Я с облегчением вздохнул: она дома, ничего не случилось, этот Адась не украл ее. Лицо Баськи, как всегда, ничего не выражало, но в глазах у нее мелькнул испуг, и она сделала такое движение, точно хотела преградить мне вход.

— Ты? Что случилось?

— Бончек не вернулся домой ночевать.

— Знаю. Они уже были у меня. Я сказала, что ушла вместе с тобой, когда все еще оставались. В комнату я тебя не могу пустить, потому что мать спит, она только в воскресенье и может выспаться.

Она стояла в дверях, придерживая на груди выцветший апельсиновый халатик, и казалась жутко худенькой и бледной, а тут еще эти темные круги под глазами, плакала или не выспалась, что ли, черт, до чего она в этот момент была чужая и какая-то недосягаемая! Страшная для нее ночь осталась позади, Баська была не из тех, кто вскрывает себе вены из-за любви, но я был свидетелем того, как ее унизили, растоптали в грязи все, что шло прямо из сердца, и теперь она стояла, ощетинившаяся, и, наверное, ненавидела меня так же, как тех, теперь-то уж мне совсем не на что надеяться, никогда.

Я лизнул свою лапу.

— Это что у тебя? — спросила она.

— Содрал кожу в порыве трудового энтузиазма на воскреснике.

— Лопатой тоже надо умеючи махать!

Она смотрела на мою лапу, я был смешон со своей «раной» и все же отважился, я знал, что из этого ничего не выйдет, но все-таки отважился:

— Может, вылезешь сегодня из дома? Погулять, в кино или еще куда-нибудь, а, Баська?

— Нет. Дать тебе бинт?

— Спасибо, не надо. Я ее еще малость полижу.

Она взялась за ручку двери, и я понял, что мне пора уходить. Говорить больше было не о чем, тоненькая нить оборвалась, Баська была как мертвая, все, что я мог ей сказать, не дошло бы до ее сознания, оно не действовало, было холодно, как выключенная батарея. Для того, чтобы включить его, нужно было потрясти ее чем-нибудь очень сильным, но мог ли я, глупый, бледный Пингвин, вообще потрясти ее чем-нибудь?

— Ну что ж, Баська, привет,— сказал я.

— Привет.

У меня горели уши, я шел от нее, как тот глупый вшивый Вертер, плевала она на мои порывы, и если б я даже издох у ее порога, она не хранила бы обо мне память, тоже еще Дон-Кихот чокнутый выискался, рыцарь, ободравший лапу в бою за честь возлюбленной, как будто нет других девушек — да их полно, как мороженого зимою!

Я снова вскочил в автобус и, полизывая лапу, доехал до Раковецкой, но, прежде чем доплелся до дома Бончеков, у меня уже созрел новый план. Моя глупая башка, заполненная Баськой, беспрерывно работала, мысли вертелись только вокруг Баськи и всего, что имело к ней отношение,— как бы подобраться к ней поближе, начать действовать, во что бы то ни стало что-то делать. Это была чертовской силы энергия, на ней могла бы работать водяная мельница, заводская электростанция, с ее помощью я мог бы смолоть все запасы кофе в гастрономе или запускать ракеты; меня носило по городу, я должен был бегать, действовать, это давало надежду, поддерживало надежду, я не мог бы сейчас зажать в себе чувство и страдать втихомолку, ничем не проявляя его; и, хотя я был смешон, я должен был сейчас — при моей-то роже и патологической робости — быть победителем сердец, петухом, ловеласом, Казановой или кем-нибудь еще в том же духе, до того меня проняло, до того меня трясло и заносило на поворотах.

У дома уже стоял «фольксваген» старого Бончека, видно, старик гонял по городу в поисках своего сокровища. В квартире был ералаш, торопливо распаковывались чемоданы, на столе лежало разное бабье барахло — нейлоновое, шелковое, кожаное, причиндалы для прикрывания, обнажения, размножения, все красное, черное, блестящее, сверкающее — дань супруге; были также маски для развешивания по стенам, пластинки для увеселений, Тейлоры и Седаки, Бренди и Элвисы, «попмюзик» * и гитаристы моих снов — в общем, праздник в доме, день сплочения семьи у чемоданов... А тут — нет Адася, это неслыханно, Адась не явился в такой момент, он погиб смертью храбрых, пропал без вести или еще что-нибудь... Меня тут же отвели в комнату Адася, рядом уселись отец с матерью, где-то там бегали еще бабушка и дядя, в общем, похороны, сплошная могила. Пани Бончек даже не сделала обычной косметической маски, позабыла о красках, кремах и туши, по всему ее лицу, обвислому и бледному, дрожали морщинки, вся морда была испещрена ими, все сразу вылезло на эту ее физию — и ее годы, и забавы, и балетик нынче ночью, и этот страх.

— Я всюду был, у всех его друзей. Никто ничего не знает. Он простился с ними у гостиницы «МДМ» и пошел прямо домой. Его нет ни в одной больнице, ни в одном отделении милиции, он не значится ни в одном перечне несчастных случаев... Вы ничего не знаете? Вам ничего не приходит в голову? Куда бы он мог пойти?

Мне ничего не приходило в голову, о его разведенной с мужем даме говорить было трудно; если он закатился к ней, то и так вот-вот явится.

— А может, он просто дал деру, может, «ударил в Польшу» **? — робко подал я мысль...

— То есть как это «дал деру», «ударил в Польшу»?! Куда? Зачем? Что ему, дома плохо, что ли?

— В день приезда отца? Не предупредив? Это исключено!

— Ведь у него было все, что он хотел! Все, о чем мечтал!

Они замолчали, глядя друг на друга все более неуверенно, святое возмущение, вся эта их святая невинность начали сходить с них; и зачем только я выплюнул это, теперь они будут грызться. И действительно. Старик начал первым:

— Знаешь, дорогая... Теперь мне уже полезли в голову всякие мысли... Может, он специально выбрал такую минуту? Может, мы виноваты перед ним? Не уделяли ему должного внимания? Может быть, у нас оставалось для него слишком мало времени?

Долго уговаривать пани Бончек не пришлось, старт был взят с места в карьер:

— Конечно! Мы его забросили! Мы жили рядом с ним, как чужие! Мы даже не знаем толком, чем он жил, о чем мечтал! Мы не знали души нашего ребенка! Это ты виноват! Ты все время разъезжаешь по командировкам, живешь своей жизнью, какое тебе дело до ребенка, какое тебе дело до всего, что делается дома!

— А ты?! Носишься всегда по городу, терпеть не можешь своего дома, бежишь из него, боишься его, у тебя в голове одни только тряпки, флирты, собственные развлечения, тебе хочется догнать время, взять от жизни все, ты боишься прозевать что-нибудь, мечешься... Матери так не поступают!

— Боже! Он такой впечатлительный, должно быть, он мучительно переживал, что мы такие эгоисты... он чувствовал себя ненужным... Он ушел, он просто ушел!

— Лишь бы он только вернулся!

— Вподек, обещай мне... если он вернется... мы должны вознаградить его за все... И надо же мне было вчера тащиться в этот театр!

---

* Популярная музыка.

** Идиома, означающая «загулять вовсю».

— А зачем ты ходишь по театрам? Я же купил вам телевизор.

— Да что там телевизор! Я теперь вспоминаю, как Адась посмотрел на меня, когда я вчера уходила... В его взгляде был упрек! Да, упрек!

— Я ему привозил все новейшие пластинки...

— Дело не в пластинках! Отделываться подарками мало! Ребенок нуждается в сердце! Ему нужно отдавать время и сердце! А он этого не видел! Боже, подумать только, ведь с ним могло что-нибудь случиться! Я теперь покоя себе не найду!

Я вжимался в кресло, чтобы меня здесь было как можно меньше, но они убивались, не обращая внимания на мое присутствие, они забыли обо мне, я не шел сейчас в счет, как воздух. Они действительно были в отчаянии, она, вдобавок, наверняка еще с похмелья, после бурно проведенной ночи, а он — невыспавшийся в дороге, оба все время поглядывавшие на зеленый телефон: не зазвонит ли? Задним умом что-то понявшие, такие по-человечески страдающие, такие любящие, жаль мне их было. Если бы Адась, эта скотина, сейчас вернулся, он бы мог их как следует обобрать.

Пани Бончек вдруг заметила меня и умолкла, ей стало стыдно, она даже одернула свое куцее платье, прилегающее и облегающее, безуспешно пытаясь прикрыть высоко обнажившиеся ноги. Ноги были у нее на двадцать лет моложе физиономии, на них еще можно было смотреть.

— Значит, вы ничем не можете нам помочь, пан Анджей? — спросила она.

— Да вот я как раз все время думаю... Не знаю... Вчера, когда мы сидели здесь и слушали пластинки, Адась звонил одному парню, Лукаш его зовут.

— Знаю! — вскричала она.— Лукаш Брода! Он здесь был раза два. Милый паренек, но для Адася не слишком хорошее общество. Он бросил учебу, неизвестно чем занимается, еще может дурно повлиять на Адася... Знаешь, это сын того Броды из Бюро путешествий, который был руководителем нашей туристической группы в Югославии.

Она оживилась, стала копаться в телефонной книге, потом схватила трубку, набрала номер. Двадцать восемь, двенадцать и еще что-то, последнюю цифру я не разглядел под ее ладонью.

— Пан Брода? Это пан Лукаш? Говорит мать Адася Бончека. Нет, на этот раз я вам звоню. Адась вчера ушел из дому и до сих пор еще не вернулся... Кажется, он вчера вам звонил... Ага... И больше ничего? Он не говорил, куда идет? Встревожена? Вы еще спрашиваете, встревожена ли я? Ну-ну... благодарю вас.

Она положила трубку, эта впавшая в отчаяние мама, желтая, как подгнивший лимон.

— Опять ничего. Они только договорились созвониться. Адась должен был сегодня позвонить ему, обещал показать подарки, которые ты ему привезешь. Ну, сделай же что-нибудь, Влодек, сделай же, наконец, что-нибудь!

Отец Адася бегал по комнате и действительно не знал, что делать. Угрызения совести гоняли его то туда, то сюда, от одной стенки к другой, жаль было смотреть на него. Когда-то у нас подохла от чумки собака, я был тогда еще маленький, и меня тоже мучали угрызения совести из-за того, что я измывался над ней при жизни, подымал ее за хвост, привязывал к хвосту заведенный автомобиль и надевал на морду материн эластичный чулок. К сожалению, она издохла, и я уже ничем не мог вознаградить ее за страдания.

— Влодек, сделай же что-нибудь, я повешусь от всего этого!

— Сделай! Что я могу сделать? Я уже всюду был! Всюду! Надо ждать! Ничего другого не остается, будем ждать!

— Ждать! Да я с ума сойду! — вскричала пани Бончек и тоже начала бегать по комнате.

С меня было вполне достаточно. Своим напряжением они так накалили все вокруг, что мне тоже захотелось пуститься в кросс по комнате. Просто невозможно было усидеть на месте. Наконец я встал, не зная, как отшвартоваться — то ли прервать их беготню и проститься, то ли исчезнуть беззвучно, испариться

из этой наэлектризованной комнаты. Но пока я, раздумывая, переступал с ноги на ногу, зазвонил телефон. Звонок прозвучал, как на сцене,— в самый драматический момент. Он так и полоснул по нервам, этот звонок!

Разумеется, они оба бросились к аппарату, обгоняя один другого, но отец был более прытким, более развит физически, по сути дела он вообще был симпатичный парень, загорелый от этого его африканского солнца, худощавый, малость уже седоватый, поди, вволю изменял там под пальмами своей размалеванной мумии... Одним словом, он добежал первым, схватил трубку, которая от волнения запрыгала у него в руках, гаркнул «алло» и потом уже, только один раз сказав «да», слушал, слушал, слушал, и глаза его прямо-таки выскакивали из орбит, он даже согнулся весь над аппаратом, до того это, наверное, было важно, и сжимал трубку, чтобы не пропустить ни слова.

— Громче, говорите громче! — вдруг рявкнул он и снова стал слушать.

Меня это тоже захватило, хотя собственные мои дела были поважнее, и мы стояли так возле него с маман, разгоряченные, она вся в пятнах, а я с пылающими ушами.

— Хорошо,— снова сказал он.— Да-да, разумеется. Все будет сделано. До свидания.— Он отложил трубку и, обернувшись, тихо сказал: — Адась похищен.

— Похищен?! — закричала мать.— Кем?!

— Не задавай глупых вопросов! Не знаю кем! Если б я знал, кто его похитил, я велел бы его арестовать! Этот тип по телефону требует сто тысяч! Мы должны дать им сто тысяч!

— Когда?

— Завтра! Где я возьму сразу сто тысяч? Надо бежать одалживать...

— Боже, сто тысяч! Они еще сделают с ним что-нибудь!

— Я обещал не заявлять в милицию. Пан...

— Анджей,— подсказал я.

— Пан Анджей, я побегу собирать сто тысяч, но во имя всех святых, во имя вашей матери, умоляю, никому ни слова, потому что они могут что-нибудь сделать с Адасем. вы же знаете, такие вещи уже случались...

— Можете быть спокойны,— серьезно ответил я.— В таких делах я — могила.

— Благодарю вас! — простонал бедный отец и выбежал из комнаты.

Жена бросилась за ним с криком: «Бандиты! Бедное мое дитя!» Эти сто тысяч сильно потрясли их, но им придется извернуться, задолжать, адье барахлишко, адье поездочка на Адриатику. Впрочем, для выкупа за похищенного это не такая уж большая сумма, вполне умеренная сумма, примерно столько стоит «шкода-октавия». Бандюги соблазняли дешевизной выкупа, сто тысяч за жизнь взрослого сыночка — это недорого, почти задаром, ведь они крупно рисковали, похищая такого здорового быка, он мог вырваться, опознать потом, это же не «пэжо» украсть, это скорее уж напоминает номерок с Синатрой — тому тоже было двадцать лет, но и выкуп за него требовали в 240 тысяч долларов, легендарную сумму, чтобы собрать эдакое, потребовалась бы складчина сотни таких Адасевых папаш, да и того было бы мало. Я за Адася и пятерки не дал бы, нестоящий товарец, красная цена ему — стоимость его джинсов да самописки с фонариком. До чего ж, однако, судьба справедлива: вчера свинство с Баськой, сегодня самого украли, может, они там дадут ему по заднице, чтоб не дрыгался, пусть хоть денек пострадает, узнает, что такое жизнь, превратности судьбы, страх, голод и холод.

Делать мне тут больше было нечего, я вышел на улицу. Бедные его предки, конечно, заплатят по счетику, как глупые олени. Меня-то уж никто не похитит, даже если б я сам стал набиваться, с моего предка что возьмешь — две зарплаты с премией, больше и нет ничего.

Обо всем этом я думал только одной половиной своей черепушки, в другой все время сидела Баська. даже во время разговора по телефону я только наполовину был разгорячен и только наполовину им захвачен, теперь я выключался

из всего этого дела Адася и возвращался к Баське. Она была моим электроприводом, моим топливом, и так меня сразу раскрутила, что я помчался бегом. В ближайшей автоматной будке телефонной книги не оказалось. Но я и так знал, куда бежать. С цифры двадцать восемь начинались номера телефонов центрального района города, значит, в центр, может быть на Мокотовское поле, ага, вот и троллейбус, долетим до Ерозолимских аллей, там рядом вокзал «Срюдместе», телефоны, телефонные книжки, большой мир. Вокзал «Срюдместе», иногда мы захаживали сюда посидеть,— чудо Варшавы 1963, салоны, неоны, Европа, электропоезда въезжают во дворец; если это и есть социализм — милости просим, человеку уже живется лучше и веселее, даже без денег в кармане. Контролер у входа не поспевал проверять билеты, морда как щетка из щетины, я крикнул ему в ухо: «Побрейся, пан!» — он остолбенел, но билета не спросил, только провел рукой по щекам, видно, не лишен чести, еще исправится. На перроне стоят телефоны-автоматы, ну и броня! На цепочке от телефонной книги можно повесить лошадь, толщина цепи обратно пропорциональна вере в честность. Бродов в книге было несколько, но я помнил первые четыре цифры: двадцать восемь двенадцать, есть такой! На Натолинской улице, в доме 10 действительно живет счастливый возлюбленный. Я содрал бы с него шкуру и надел на себя, я бы согласился выглядеть, как Лукаш,— поди, морда великолепного болвана,— но если уж она так его любила, значит, что-то в нем все-таки должно быть. Время было довольно позднее, в горле все пересохло, у меня же во рту с самого утра маковой росинки не было, предки давно сидят за столом и ждут, но что поделаешь, больно здорово меня проняло. Ее письма доконали меня, я влюбился еще и в эти ее смешные фразы из романа, я бы отдал всю свою жизнь вместе со всеми своими способностями, лишь бы только она так писала мне и говорила со мной, именно это желание и разжигало меня так сильно, потому что от одной только мысли об этих словах меня обдавало жаром даже сейчас, на Маршалковской улице, между «Деликатесами» и Домом культуры Чехословацкой Социалистической Республики. Ее слова были не просто слова, болтать-то можно разную дребедень, а тут были слезы, дрожь, бессонные ночи, блеск в глазах, руки, жарко сплетенные на шее, улыбка, от которой в человеке тает весь лед. Вот какая Баська была на самом деле, под этой ее маской застывшей карточной дамы.

Я вбежал на Натолинскую улицу. Сплошь новые дома, списки жильцов в подъездах, есть в доме 10 и фамилия Броды, квартира 65. Вежливо позвонив, я вытер ноги о соломенную подстилку и стал ждать. Потом позвонил еще и еще раз и уже не знал, что делать, когда за дверью что-то тихо стукнуло, точно кто-то задел о стул. Тогда я начал звонить долго и часто, тревожно и неотступно. Видно, это для Лукаша было уже слишком, он не выдержал, хотя сперва решил не отворять двери, да кто ж в состоянии выдержать такие звонки, они высасывают человека из квартиры, гипнотизируют, как индус кобру, заставляют думать бог знает что. Послышался скрип половиц, строители-бракоделы торопились, поди, поскорее наклеить паркет, щелчок замка, и двери открылись. Передо мной стоял эдакий красавчик, шатен, был он выше меня ростом, и нос у него был лучше моего, джинсы приклеены к ногам, острижен коротко, как джазмен, вообще весь чрезвычайно современный молодой человек, необычайно современный, сама современная мода, просто жуть, до чего современен, его, даже никогда не видя, можно было представить себе во всех деталях. С первого взгляда было ясно, что эти письма не для него, писать ему такие письма — все равно что подавать заявления с просьбой о жилплощади или угощать корову апельсинами.

— Лукаш? — спросил я.

— А что?

— Есть разговор.

— А ты кто?

— Соученик Адася Бончека.

Он с неохотой пожал плечами, продолжая загораживать собой дверь.

— Я его не видел. Я же говорил его матери.

— Да черт с ним! Я не о нем.

— А о чем?

— Мы что, так и будем разговаривать на пороге?

— Так и будем. У меня девушка. Впрочем, можно сойти вниз, только быстро, чтоб раз-два.

Он захлопнул за собой дверь, и мы сошли вниз. У выхода из подъезда он спокойно оперся спиной о стену.

— Ну что?

— Хочу поторговать.

— Чем?

— Пластинками.

— Торгуй себе, парень, на здоровье, я-то здесь при чем? У меня девушка наверху!

— Постой... Знаешь какие у меня есть... Седака. Две сотни ведь стоит. А я тебе так отдам.

Это его заинтересовало.

— Что значит «так отдашь»? А я тебе что должен дать? Ты псих, что ли? И вообще мне, парень, некогда. Меня там девушка на тахте дожидается.

— Я хочу за них только Баськины письма.

Он посмотрел на меня так, точно не поверил собственным ушам, чего-чего, а такого он никак не ожидал. Лукаш рассмеялся. Все у него было на месте, все, как полагается, и нос, и рот, и зубы, эдакая чарующая улыбка, завлекательная улыбка для девушек, улыбка, от которой их тут же бросает в трепет.

— Джентльмен не торгует письмами женщин.

— Он читает их по телефону.

— А, так ты и есть тот малый, который выдернул провод! Спасибо, друг, спасибо, ты настоящий парень. А этому Адасю я набью морду, дай только встречусь с ним.

— Я тебе дам в придачу еще пластинку с твистом.

— Сказал же я тебе. Шагай домой, парень, привет!

Я загородил ему дорогу.

— Погоди... Я тебе все отдам... все свои пластинки. Они не меньше полутора тысяч стоят.

Он еще раз взглянул на меня, весьма снисходительно взглянул, хам паршивый. Я был смешон, глупый червяк, какая уж я угроза для него, он играл со мною.

— Что мне твои полторы тысячи! Я эти письма внукам читать буду, чтоб знали, как их дедушку любили. Кто теперь пишет такие письма, ну скажи сам, парень? Такие письма поценнее всех твоих Седаков. Я, парень, их каждое воскресенье перечитываю, и во мне сразу восстанавливается подорванная за неделю вера в человека, понимаешь, друг? А тебе они на что? Какое-нибудь грязное дельце затеваешь?

— Я их Баське отдать хочу.

— Вот еще, тоже опекун нашелся, тихий обожатель! А доверенность у тебя есть?

— Нет.

— Ясно, нет. Ей этот адрес хорошо известен, если она захочет забрать свои письма, так может лично их получить, и вовсе не за деньги. Ты, наверное, думаешь, что за деньги все можно получить? Фи, друг, до чего ты развращен! Ты совсем не веришь в человека! Надо верить в человека, друг!

— Постой... ты... я тебе магнитофон отдам!

— Глупый ты, друг! Нынче воскресенье, день отдыха, а ты меня так обижаешь. Ну да ладно уж, прощаю я тебя и даже по роже тебе не съезжу. Понимаешь? Не съезжу тебе по роже!

И он пошел. Я мог еще побежать за ним, двинуть его ногой, набить ему морду, я был так разгорячен, что стал думать: может, подговорить ребят? Объ-

яснить им, что к чему, у нас много хороших ребят, они бы мне помогли, мы бы его в вонючую кашу превратили... но я хорошо знал, что никому не открою своей тайны. Почему он не хотел ни пластинок, ни магнитофона, зачем ломался и разыгрывал из себя что-то, скотина? Я ему, гниде, хотел отдать все, что у меня есть. Наверное, у него и так полно денег, но не от отца же! Отец его работает в Бюро путешествий, конечно, много ездит, он ведь руководитель туристических групп, а может, и спекулирует чем-нибудь, какими-нибудь сигаретами, аппаратами, икрой, транзисторами, консервами, шубами или еще черт знает чем. Если бы его предок не ездил, может, у них с Баськой и не дошло бы до этого, у этого Лукаша слишком часто бывает свободна хата. Стервец! И откуда только возле этой Баськи столько всяких подонков, неужели красивая девушка всегда таких вот трутней к себе притягивает. Вчерашний спектакль с телефоном они, конечно, тоже заранее срежиссировали, договорились между собой, Лукаш перепродал Баську Адасю, что ему до нее... И вдруг мне пришло в голову простейшее из объяснений, от него даже жарко стало, казалось, кровь с силой застучала не только в сердце и висках, но и в животе и даже в ногах — я подумал, что он просто не может продать эти письма, даже если бы ему и хотелось это сделать, что он уже отдал их ей или разорвал при ней. А может, даже в тот момент, когда я, Вертер занюханный, глупый Пингвин, скулю здесь, вымаливая ее письма, предлагая отдать за них все, что мог бы отдать, может, именно она и сидит там у него на тахте, ожидая, пока он вернется, ибо она все ему простила, потому что он ее объехал на кривых, замазал ей глаза, заговорил зубы. Влюбленной девушке можно внушить все на свете, потому что она хочет верить, она чертовски хочет верить и поверит тебе, что снег черный, что слова значат совсем другое, чем то, что они действительно значат, что ты так не думал, как говорил, что с той, другой, ты вовсе не спал, а беседовал о нефтепроводе «Дружба» и мирном сосуществовании государств. Может, теперь Баська уже обнимает его и снова говорит все свои глупые слова, те самые слова. Я стою здесь, у его дома, уже понемногу темнеет, а он рассказывает ей обо мне, о том, как я хотел купить ее глупые письма за такие деньги, точно это были письма Шопена или какая-нибудь средневековая рукопись, и при этом лопается от смеха, а она вторит ему, потому что хочет ему нравиться, хочет думать так, как думает он, быть им, смеяться, когда он смеется, плакать, когда он злится, лишь бы только он был с нею, всегда был с нею, не оставлял ее ни на минуту, а я для нее ничего не значу, для нее никто ничего не значит, она от отца и матери отречется, лишь бы только он ее хотел, потому что он, скотина, красавчик с чарующей улыбочкой, истинно мужской мужчина, который всех подряд косит, не то, что я.

Я метался так между высокими домами по Натолинской улице, гонимый ударами собственного разъяренного пульса. Добежал даже до автобусной остановки на Кошиковой, чтобы съездить к Баське — убедиться, дома она или нет. Однако сразу вернулся обратно, потому что это ничего бы не дало, она могла уйти с матерью в кино, или к подруге, или пойти отсиживать воскресный визит у тети, никто не ответит мне на мои три звонка, и я никогда не узнаю, была она у Лукаша или нет. Я снова подошел к его дому. Улочка была пуста, кое-где стояло только несколько «октавий» и «вартбургов» да один «оппель-рекорд». Уже стемнело, в окнах зажигали свет. Я знал, что не уйду отсюда, пока она не выйдет от него, пока я не удостоверюсь, не подгляжу, не услышу, даже если бы мне пришлось ждать до утра. Чертова сила бушевала во мне, лишая способности соображать. Я добежал до его подъезда, взлетел по ступенькам вверх, выглянул в лестничное окно и определил, где должны быть окна Лукаша: первые два-три окна налево от лестницы. Выбежав на улицу, я увидел, что у него горит какая-то лампа, свет которой едва пробивается сквозь цветные занавески на окнах. Всюду такие занавески в модных пятнах, сплошные амебы и эмбрионы, желтые, красные, серые, вся Варшава в эмбрионах, эмбрионы — в массы, может, они благотворно влияют на плодовитость и сон. Напротив стоял похожий дом, тоже высокий кубик, времен переходного периода, сменившего эпоху излишеств

в архитектуре, узкие аккуратненькие окна, занавески с эмбрионами. Я вбежал на третий этаж, есть! Окно Лукаша напротив, чуть пониже и чуть левее моего, занавески плотно закрыты, иногда лампу загораживает чья-то тень. Это хорошо, что они время от времени ходят по комнате, может, он рассказывает ей сказочку для наивных, хвалится. Я присел на подоконник и стал ждать, пока что-нибудь произойдет или хотя бы приоткроется занавесь и станет видно ее лицо. Нет, мне совсем не хотелось увидеть это лицо, я дорого дал бы, чтобы его сейчас не видеть. Хоть бы у него была другая девушка, неважнецкая девушка, какая-нибудь Магда Козакевич, эдакая снотворная таблетка... По лестнице поднимались и спускались люди, разные пары, совершающие торжественный воскресный выход в кафе или кино, вокруг пацанье, где-то хлопали двери; всякий раз, как нажимали на кнопку, трещал автомат, освещающий лестницу, я отсчитывал сорок секунд, и свет на лестнице гас; делая вид, что ожидаю кого-то, кто должен спуститься сверху, я иногда задирал голову. В какой-то момент внизу послышались голоса целой банды: «Ты, Веся, танцуешь, как Матейко!», «Когда танцует Веся твист, вокруг лишь ветра слышен свист!», «Томек, отвяжись от меня!» Взрывы смеха, их смешит все без разбору, они тащат магнитофон, бутылки с вином, наверное, идут на вечеринку, воскресенье, во всех домах вечеринки, высший демографический показатель вечеринок. Первым поднимается по лестнице с гитарой под мышкой их поэт, король жизни, душа общества, весельчак, парень из тех, что нарасхват, уверенный в себе и довольный собой до ужаса. Для такого войти в комнату, где сидят чужие люди, раз плюнуть: что он ни скажет — взрыв смеха, нет вечеринки без Томека, Томек говорит стихами на любую тему, Томек бренчит на гитаре, Томек поет.

Эллипс, космос, атом, НАТО,
Много ль нам от жизни надо,
К черту слов высоких плесень,
Мы без слов приляжем с Весей!

Снова рев хохота, Веся тоже смеется, гордо шагает с гитарой трубадур вечеринок, вот он забренчал твист — всякое время имеет своего трубадура. Они прошли мимо меня равнодушно, едва взглянув — что им грустный парень, пусть стоит на лестнице, как стоял, что нам до него, мы веселимся,— и вкатились в какие-то двери. Я снова стал смотреть на окно Лукаша, пожалуй, прошел еще час, прежде чем занавесь шевельнулась и из-за нее выглянула мордочка Лукаша. Она была хорошо видна в свете уличного фонаря. Лукаш внимательно посмотрел вдоль улицы направо и налево и снова исчез. Я продолжал ждать. Если у него Баська, то она, конечно, пойдет домой, к матери, она не сделает такой подлости, не оставит мать ночью одну, не может же она быть такой свиньей, она обязана считаться с матерью, кто же ее родил, если не мать! На душе у меня стало тошно и вообще начала грызть досада на Баську оттого, что у нее нет никакого характера. Я злился, что она так исподличалась, унизилась, пресмыкается именно перед Лукашем, который ее так опозорил, облил грязью. В ней нет ни капли достоинства, все-таки существуют границы, которые нельзя переступать, даже если подыхаешь от боли, а то что же тогда вообще останется от человека! Но, видно, она была такая же, как и другие,— эгоистка, поглощенная своей болью, лишь бы только ей не было больно, лишь бы облегчить эту боль, обмануть ее хоть на минутку, любой ценой! А люди пусть думают, что хотят, пусть болтают, что я, мол, тряпка, таких тряпок много; это и есть новая романтичность, теперь все носятся со своими страданиями, цацкаются с ними, используют всякие лекарства против них, тут все средства хороши — будь то бальзам, будь то навоз.

Я так пристально вглядывался в эту занавесь, что у меня даже заслезились глаза, и вообще я уже совсем поверил в то, что Баська там. О девушках столько рассказывали, как они завоевывают парней и как они бегают за ними, прячутся у них под кроватью или за шкафом, как стоят часами возле их дома или беспрерывно звонят по телефону, потому что нынче такие времена, когда девушки завоевывают парней, этих мягкотелых, податливых парней с бабьим характером,

торгуют ими между собой, вырывают друг у друга из рук, как лимоны в «Деликатесах» и тэ дэ, лишь бы только «он» протянул руку, «ему» даже не надо вставать, пусть только протянет руку, и она уже стоит и ждет, чтобы «он» ее взял. А я стою здесь, как болван, и никто меня не хочет, никто ко мне не подходит и не подойдет. Мне вдруг стало дьявольски жаль, что я типичный неудачник, а она, оказывается, такая же, как другие, потому что именно она, однаединственная, должна быть гордой, неприступной, полной достоинства, назло остальным должна быть самой лучшей, самой прекрасной и недосягаемой, как облако в небе. Стыдно сказать, но, стоя на лестничной клетке, я начал реветь, как глупая сопливая девчонка в каком-нибудь жалостном фильме; слезы текли у меня по лицу, а я отирал их своей грязной лапой и размазывал засохшую на ней кровь. Я всхлипывал и сопел, как мальчишка, весь перепачканный липкой смесью слез и крови, я ревел, как несчастный, неуклюжий пацан, который заблудился, напуган окружающим и хочет к маме.

Прошло еще полчаса. Вечеринка наверху была уже в полном разгаре, вовсю гремел магнитофон, слышались стуки, громкие голоса, шарканье ног, Томек резал всех подряд, подражал Седаке и Тейлору, ни одна девушка не устоит перед ним... Улица была пуста, воскресенье, я немного успокоился и стал облизывать лапу, потому что из нее опять пошла кровь. Мне было необходимо знать наверняка, сидит Баська у Лукаша или нет, от этого зависела моя судьба, вся моя жизнь, без этого не существовало завтра, меня не интересовало никакое завтра, если она там.

И вдруг, как по заказу, как в театре, цветная занавеска с пятнами и эмбрионами приоткрылась, это Лукаш подошел к окну и отдернул ее в сторону. Видно, им было там душно. Я увидел на мгновение фигуру человека, сидевшего на тахте. Этим человеком был Адась Бончек. В одной руке он держал бокал, в другой — карты.

Наконец-то жизнь улыбнулась мне, шесть точных попаданий в Тото-Лётек *, мерзавец, стоимостью в сто тысяч, «шкода-октавия» с электрозажигалкой. он сидел здесь, воскрешая во мне надежду на победу, прелестный Бончек, любимый Адась, он сидел, потягивал винцо и играл, разгоняя скуку, в картишки. Номерок из классики, какого же черта он делал на этой галере, зачем полез на эту галеру, плати́те. богачи, за сынка, Скапен из вас все выжмет. Я сплясал рокк под музыку, доносившуюся сверху, и снова раскровянил лапу, но все это была чепуха, я бежал вниз по лестнице и любил Адася. Бедненький Адась, просто боженька дал ему эгоистичных родителей. а он всего лишь эгоист в квадрате, жертва унаследованного от родителей эгоизма. По телевизору разные дамы тоже говорили о детях, ребенок — это хрупкое растение, его нужно не только удобрять азотом учебы и общественного воспитания, но и поливать родниковой водой родительской любви. Адась вырос обделенным, потому что его не поливали. Вализка ругался, как извозчик, потому что у него было тяжелое детство, говорят, у него вообще не было родителей, поди, опять последствия человекоубийственной войны. Лицом к детству, поливать растеньица, удобрять их, иначе они вырастут хиляками, так говорили дамы, и, пожалуй, были правы. А что делать при такой морде, как у меня, и при такой робости — этого они не сказали, видно, об этом говорилось по другой программе. Ладно уж, да здравствует Адась, обделенное судьбой растеньице, пусть живет и здравствует за то, что сидит там вместо Баськи. Любовь меня облагораживала, я вдруг стал таким снисходительным, всепонимающим, всем бы я все простил, всех оправдал. Сбегая с лестницы, я летел на крыльях, как цесарка, и все во мне радостно кудахтало. Но я выбежал на улицу и очутился лицом к лицу с действительностью. В жизни никто не спрашивает, у кого какие были родители и не роняла ли его в детстве бабушка.

---

* Спортивный тотализатор. Каждую неделю из 49 номеров, представляющих собой названия спортивных дисциплин, выигрывает 6, участники заранее сдают купоны с зачеркнутыми номерами. Если все 6 зачеркнутых номеров совпадают с выигравшими, владелец купона получает миллион злотых.

Человек должен страдать за свои грехи, а я должен бороться за Баську. И я побежал на Кошикову улицу, строя на ходу разные планы.

Все автоматы поблизости не работали, и мне пришлось бежать до самой площади Конституции. Там было полно людей, двигавшихся замедленным темпом. Они сидели, стояли, сновали, одолеваемые липкой воскресной скукой, за ними так и тянулся какой-то густой след скуки. Я ворвался в эту толпу, как человек, для которого уже нет никакого воскресного вечера, я был среди них утренне-понедельничным человеком и на какой-то момент нарушил весь их ленивый хаос. В будке автомата ворковали две девушки, я переступал с ноги на ногу, мигали рекламы «Лёт» и «КЛМ» *, настоящая авиапровокация — всего несколько часов отделяют тебя от бомбеев и шанхаев, ривьер и бординьер, аккр и конакр, только сядь в самолет,— а тут площадь Конституции, вся из домов стройки 1952 года, когда воздвигали сплошь монументы, это тоже было сто лет назад, я тогда пошел в первый класс, а теперь здесь воскресная толпа и на стоянке автомашин «тундербирты», «сирены», «волги», «фиаты» и «варшавы», хром, сверкание, никель, световая газета вспарывает небо красными буквами: «Эсэсовцы из Освенцима продолжают прикрываться на процессе отсутствием памяти». Это тоже было тысячу лет назад — человекоубийство, эсэсовцы, лавочники, аптекари, адвокаты и врачи, иная действительность, вокруг несколько разных действительностей, совершенно не связанных друг с другом, площадь Конституции, «Лёт», «КЛМ», эсэсовцы-аптекари, «сейчас я дам вам, дорогая фрау Браун, какое-нибудь снотворное, бессонница — это мучение, к счастью, есть современные средства, вот таблетки, они навевают сон, вся радость моей профессии заключается в том, чтобы помогать людям и избавлять их от боли». Нынче таблетки, а когда-то газ, сон и смерть, целые поезда навсегда усыпленных, избавленных от боли.

Девушки в будке автомата продолжали трещать, выхватывали друг у дружки трубку, я злился, как черт, а они кудахтали, пищали, извергали потоки глупости. «Нет, она врет! Когда этот Юзек пришел, я сделала вид, что даже не вижу его, а он сейчас же подлетел ко мне и давай вовсю рассыпаться: «Ты мне больше нравишься, эта Ромка — дрянная девка, таскается с кем попало, да еще нос дерет». В общем, он всю дорогу со мной танцевал, и прижимался ко мне, и говорил все такое, сама знаешь, а потом заказал вино и венгерский торт и вообще все время за руку меня держал, так что парень вовсю втрескался...» Вторая вырвала у нее трубку: «Да не верь ты ей, Зоська, врет она, сама к нему все время приставала, позлить нас хотела, доказать, что может сходу его окрутить, по правде, ничего у нее не вышло, за это вино и торт венгерский нам пришлось самим платить, и мы все, кто сколько мог, дали, а он и платить даже не собирался, взял да и ушел, вроде в уборную пошел, а его целый час не было...» На мое счастье, первая девчонка обиделась, двинула по рычажку телефона и разъединила вторую, видно, ей не хотелось, чтобы Зоська все знала. Она выскочила из будки, вторая за ней: «Стой, психа несчастная, ты же сама знаешь, как все было...» Я влетел в будку, она вся воняла духами этих девчонок, в нос било какой-то дешевой дрянью.

Мне снова пришлось долго ждать, пока звонки заставили его подойти к телефону. Свою речь я уже не только продумал, но и выучил наизусть:

— Лукаш? Слушай, парень, внимательно, что я скажу, и не прерывай. Во-первых: родители Адася очень волнуются, плачут и убиваются. Ты, парень, малость разложившийся элемент, но ты не будешь таким, тебе придется проявить уважение к человеку, облегчить страдания Адасевых родителей, вернуть им дитя, вернуть Адася! Пусть-ка этот мерзавец бросит карты, быстренько допьет свое вино, сгрызет несколько зернышек кофе, дабы предки не унюхали аромату, а потом пусть вылезет из галеры и быстренько побежит броситься им на шею. И притом совершенно задаром, парень, без всяких ста кусков. Сто кусков испа-

* «Лёт» — польские авиалинии, «КЛМ» — голландские королевские авиалинии.

рились, друг, как дымок от «Махорочных», в рулетке выпало нечетное число, проиграл ты, друг, проиграл, и все тут. Но зато ты поверишь в человека, друг, увидишь, как старики обрадуются, как расцелуют свое дитя, как эти бедные родители заплачут от счастья. Ты будешь доволен, друг, из глаз твоих брызнут слезы, что там сто тысяч в сравнении с этими искренними слезами! Подумай, друг, а вдруг существует загробная жизнь? Тогда тебя ждет за такое благодеяние солидное вознаграждение, оно будет твоим вкладом в банке, можешь грешить теперь вовсю, этот вклад все превысит, теплое местечко в раю тебе обеспечено, ангелочки уже надпись на солнышке прибивают, прямо возле президиума: «Для Лукаша, который верил в человека». Ну, ладно, уже семь часов. Даю Адасю час, в восемь он должен быть дома. А теперь второй вопрос. Ты соберешь все письма Баськи, все до единого, друг, положишь их в карман и принесешь в два счета на площадь Конституции. Буду ждать тебя возле будки милиционера на площади и предупреждаю: если сфилонишь, я тут же обращаюсь к этому самому милиционеру в будке, и мы вместе звоним в отделение милиции, откуда через пять минут будет машина. Насколько я знаю Адася, он парень слабый, он еще не верит в человека и свалит все на тебя, скажет, что ты его на самом деле запер у себя, напоил и не пустил к маме, так что ты, друг, можешь загреметь на парочку лет. А так — могила, никогда ничего не было. Ты все понял? Я же тебя спрашиваю!

Он молчал довольно долго, этот красавчик. Что ж, удар по скуле вышел что надо, и у него, непобедимого боксера, малость помутилось в глазах. Он уже не улыбался, его, поди, впервые так стукнули. Должно быть, он лихорадочно искал какую-нибудь лазейку, соображал, как бы смыться куда-нибудь с Адасем, но сто кусков им уже улыбнулись, разве что он пристукнет меня, труп ничего никому не скажет, но это же мокрое дело, процесс, телевидение и головка с плеч. Пожалуй, он не из таких, какой-нибудь тупица, точильный камень, может, и рванулся бы на такое, а он парень сообразительный, вон как у него глазки блестели, он дальше не пойдет, он будет играть в границах дозволенного, наверняка, сидя в теплой квартирке.

— Ну, что, друг? У меня нет времени. Я спрашиваю, ты все понял?

— Не очень... Ты там плетешь чего-то пятое через десятое. Я только одно и понял: очень тебе нужны зачем-то эти письма. Но откуда же мне знать, что ты их не используешь в низких целях, что-то у меня нет в тебя веры.

— Придется тебе, друг, поверить в меня. Просто тебе не остается ничего другого, как только преисполниться этим прекрасным чувством веры! Увидишь, твоя вера в человека окупит себя, благодаря ей ты избежишь решетки, вот тебе сразу и награда. Итак, жду на площади еще пятнадцать минут, запомни: возле милицейской будки, недалеко от почты.

Я повесил трубку и не спеша направился к будке милиционера. Он как раз куда-то звонил, вокруг будки медленно и неуклюже, как майские жуки под акацией, ползали по-воскресному неторопливые люди, здесь Лукаш не мог мне ничего сделать, ни один номер не пройдет. Приятно быть доброй феей, взять и вот так, всего-навсего только телефонным звонком, покарать зло и воздать за добро, внести какой-то смысл в эту нарушенную последовательность. Я стоял возле милицейской будки и зорко смотрел вокруг, он должен появиться со стороны Кошиковой улицы, так что я увижу его издалека. Световая газета беззвучно сообщала: «Химическая промышленность выполнила план... Инициатива Польши в вопросе создания безъядерной зоны в Европе...» Я увидел его, он шел быстро, двигаясь мягко, небрежно и изящно. Вдруг я понял, почему он не хотел продать эти письма, они же ждали сто кусков, завтра они хапанули бы у папы по пятьдесят кусков на рыло, стоило ему мараться с такой мелочью, как пара моих тысчонок, он мог позволить себе широкий жест, но его погубил этот жест, погубила воровская прихоть разыграть из себя джентльмена. Он подошел ко мне и сунул руку в карман.

— Письма?

— Есть.

— Давай.

— Минутку... Раньше дай слово, что не будешь больше трепаться об Адасе, бросишь этот бред...

— Даже в горячке, даю слово. Пусть он только будет ровно в восемь дома.

— Ой, друг, ой, друг...

— Что «ой, друг»?

— Послушайся-ка моего совета, забудь ты вообще об этом Адасе.

— Письма.

Он смотрел на меня, вроде бы улыбаясь, но это не была улыбка номер один, та самая, которую обожали девушки. Должно быть, он был дьявольски зол, этот Лукаш, я видел это по его улыбочке и по его глазам, глаза у него просто исходили злобой. Милиционер вылез из будки и стал прогуливаться между столбиками, которыми была обнесена площадь. Лукаш рванул из кармана письма и протянул мне. Это были разрозненные странички, вырванные из блокнота.

— Все?

— А где ты видел больше? Наверное, у своей бабушки?

Я положил письма во внутренний карман пиджака, в самый низ.

— А теперь, друг, забудь о том, что у тебя был приятель Адась. Утешайся, друг, этими письмами, читай их с утра до вечера и воображай, что она пишет это тебе, что это она тебя так любит, пусть тебе снится, что ты каждый день получаешь по такому письмецу, ибо ты же знаешь, друг, что, даже если ты из кожи вон вылезешь, если заберешься на шпиль Дворца культуры или родишь близнецов, тебе все равно никто не напишет таких писем, ибо ты, друг, не из тех, не из тех, и всю жизнь ты будешь только бегать да подслушивать, подглядывать за другими и стонать, глядя, как девушка твоей мечты тискается с кем попало, и будешь бегать с доносами.

— Адась должен быть дома в восемь часов, друг. Я позвоню к ним ровно в восемь.

— Ой, друг, в последний раз тебе говорю: забудь ты об Адасе! Сразу же забудь, сию минуту. Не твое это дело, друг, твое дело письма, можешь торчать у ее дома всю ночь, вздыхать, любить. А об Адасе забудь, друг.

— Адась в восемь должен быть дома.

— Глупый ты человек, друг, очень глупый. Жаль мне тебя, друг, так далеко не уедешь, того и гляди, несчастье догонит.

— Что ж поделаешь. На то и пословица: несчастья не в лесу живут, а по людям ходят. Так вот в последний раз повторяю: Адась должен быть дома в восемь часов,— быстро сказал я и побежал, потому что к горлу у меня подступили слезы.

Я должен был как можно скорее уйти. С трамвайной остановки как раз отходил вагон, я вскочил в него — этот Лукаш знал, куда меня пырнуть,— трамвай вез меня в сторону Мокотова, Баська живет на Жолибоже, но мне надо сперва сбегать домой за деньгами. Сегодня меня весь день преследует ощущение чего-то несделанного, ага, вспомнил, оливковое масло, без него мне нельзя показаться дома; забегу к Бончекам, заберу масло, проверю, вернулось ли сокровище, отдам матери масло, возьму у отца денег в долг, у меня имеются собственные доходы, негритянская работа, чертежи, я их забросил, но завтра опять возьмусь за них, все с завтрашнего дня, сегодня только Баська, у меня ее письма.

Меня вдруг толкнул какой-то здоровенный бык, я упал на кондукторшу, она удержалась сама и удержала меня — привычная, видно; нет, этот бык толкнул меня случайно, просто неловко уступил место старушке с ребенком: «Пожалуйста, садитесь». «Все-таки есть достойные молодые люди»,— старушка садится, благодарит, все вокруг смотрят на них, рядом сидит какой-то пацан, вокруг полно старушек, пацан окружен венком старушек, толпой старушек с детьми на руках, он притворяется спящим, но чувствует себя глупо, боится открыть глаза, проклинает быка за то, что тот уступил свое место старушке, нарушил солидарность пацанов — тоже еще выскочка, баран чертов. Теперь все старушки рас-

храбрились, алчно смотрят на пацана, он чувствует на себе их жадные взгляды, не помогут ему закрытые глаза, моральное давление сильнее — видно, пацан еще не окончательно исхамился и зачерствел; он желает старушкам внезапной смерти, пусть катятся домой убирать, готовить, слушать радио, смотреть телевизор, трамваи для здоровых и сильных, в трамваях борьба за существование, закон джунглей, старики, женщины и дети для меня ничто. Но пацан не выдерживает безмолвного общественного давления, он сломлен, сдается, обмякает, как тряпка, может, из него еще выйдет человек — вот он поднимается, разъяренный, делает вид, что ему выходить, но ничего не говорит, какое-нибудь эдакое словечко у него в глотке застрянет, он пробирается на площадку, прячется в самый ее дальний угол, сбоку от мотора, жертва компромисса, побежденный трамвайный пацан. Старушка красно-зеленого цвета, толстая, как сто свиноматок, садится, отдувается, удовлетворенно чмокает, сопит, разглаживает платок на голове, прижимает к себе сумку, чтобы из нее ничего не украли — в трамваях воруют в дни получек. Она рассаживает малышей по углам, укутывает ими себя, как овчиной, это же счастье — сидячее место, кто бы мог надеяться, в воскресенье-то вечером, когда все старушки со всеми малышами возвращаются из гостей, навестив разных тетей, дочек и внуков.

На углу Раковецкой я выскочил, улица была пуста. Подойдя к фонарю, я вытащил Баськины письма, они жгли меня, это уже был просто мазохизм, какое-то ковыряние шпилькой в зубе с оголенным нервом, меня тянуло к этим письмам, хотелось причинить самому себе боль. Я взглянул на верхний листочек, она писала самопиской, должно быть на лекциях: «Любимый, ведь ты не можешь быть плохим...» Нет, не буду я этого читать. Этот бандюга не может быть плохим! Каким же она его тогда видела, как он сумел так замаскироваться, так влюбить ее в свою морду, в свою улыбочку, он все прятал за этой улыбочкой, такой современный, как сам атом,— это его непроницаемое лицо, ирония, улыбочка, держится на расстоянии, кошачьи движения, эдакий аристократ с Вислы, никаких сдерживающих центров, никаких тормозов, к черту тормоза, долой тормоза, кому это надо сдерживаться, во имя чего, только во имя страха! Я снова спрятал письма в карман, оглянулся вокруг, было пусто, им, пожалуй, и в голову не пришло, что я потопаю к Адасю. Лукаш, верно, работает по принципу телефонных звоночков, мошенничества, угроз, шантажа, но все это, однако, всухую, без мокрой работы.

Когда я приплелся к Бончекам, до восьми оставалось минут пятнадцать, «фольксваген» снова стоял у дверей, маман сразу же открыла мне, она была уже более подтянутая, подмазанная, зашпаклеванная, даже улыбнулась печально.

— Извините, пожалуйста, я вчера оставил у вас оливковое масло... В передней... четыре банки...

— Масло! Господи, до масла ли мне сейчас! Ну, войдите, поищите сами...

Маман впустила меня, через открытые двери было видно, как, сгорбившись, сидит за письменным столом папан. Бросив на стол газету, он обернулся.

— А, это вы... Вы помните наш уговор?

— Помню. Можете быть во мне уверены.

Он ответил улыбкой и приподнял газету. Деньги уже были собраны и лежали стопками по пятьсот злотых, он начал снова пересчитывать их. Сто кусков. Анонимный благодетель, я не испытывал благородного удовлетворения; я сохранил им кучу денег, могли бы и они отвалить с десяток сотен — мне не помешал бы приличный костюмчик, и Баську можно было бы завалить цветами; да что уж тут говорить, известно, на всякого бедняка довольно и добродетели.

Моих банок с маслом под висячей мордой не было, вместо них там стояла какая-то фарфоровая штуковина.

— Не знаю, может быть, прислуга отнесла в кухню. А вам необходимо сегодня это масло? Может быть, вы зайдете завтра?

Она поглядывала в комнату, на эти кучки денег, должно быть, мысленно переводила их в разные модные материалы, всякие эластики и нейлоны, косметики и побрякушки, ей хотелось как можно скорее сплавить меня, своего благоде-

теля, знала бы, что к чему,— руки бы мне целовать должна была, чучело эдакое, грязь из-под ногтей вылизывать, уж она на эти деньги набросится, как только Адась вернется, бедный Бончек не вынесет их отсюда, она со своим сыночком расхватает их, отберет у Бончека, она-то их не упустит, тут же ринется в город за шиншиллами с соболями да за всякими кружевами-парчами.

— Вы уж меня извините, но это масло очень нужно моей маме, она на нем готовит, они с папой не могут есть на другом, у них желудок и печень больные, я вчера весь город избегал в поисках этого масла, мне обязательно надо принести его домой, а то мама будет ужасно сердиться...

Она со злостью взглянула на меня. Тут похищен Адась, сто тысяч на столе покоя не дают, она даже лицо не загримировала как следует, а я суюсь со своим дурацким маслом, зануда малокровная, маменькин сынок несчастный. Но без масла ей от меня не избавиться.

— Ладно, пойду посмотрю на кухне,— раздраженно ответила она и вышла.

Я стоял у цветной морды на стене, сам, как эта морда, только бледный, до того бледная морда отражалась в зеркале, что мне даже тошно стало, так бы и бил по ней, да еще и смотрел бы, как распухает. Маман гремела в кухне кастрюлями, звякала, брякала, наконец позвала меня туда. Когда я вошел, она стояла на стуле, снизу на нее смотреть было куда приятнее, она, как рыба, портилась с головы. Две банки уже были найдены, маман продолжала искать остальные, разгребая все подряд в стенном шкафу. Оттуда посыпалась какая-то крупа.

— Больше нету,— сказала она и, сойдя со стула, взглянула на окно.

— Вот и третья банка стоит. К сожалению, прислуга уже открыла ее, она, наверное, думала, что это я принесла...

Одну банку она открыла, другую свистнула, чтоб у нее все сгорело на этом масле, черт меня дернул еще свои собственные деньги доплачивать. Я схватил уцелевшие банки, и в эту минуту в подъезде что-то загрохотало. Маман онемела, точно это было каким-то предзнаменованием. Хлопнула входная дверь, и в переднюю торопливо вошел Адась. Я с облегчением вздохнул.

— Сынок! — взвизгнула маман и бросилась целовать и обнимать его. Вслед за ней, наивно оставив на столе денежки, к Адасю кинулся папан. Меня-то этот их любимый сынок сразу заметил, у него даже язык отнялся; конечно, он не ожидал встретить меня здесь, а может, просто перетрусил, думая, что я продал его, нарушил джентльменский уговор. Старики окружили Адася, рвали его друг у друга из рук, наперебой осыпали нежностями. Я, как дурак, стоял со своими банками, Адась то и дело стрелял в меня поверх их голов злобными взглядами. Теперь уж они выделят ему такую порцию нежности, что ему тошно станет, расползется весь, как мыло в воде, но до денежек-то он, как пить дать, дорвется, старики ему, поди, мотороллер купят и вообще все, что он захочет. А пока этого скота трясло от бешенства и досады.

— Что случилось, Адась? Что за похищение? Ну скажи же, деточка, как это случилось? Где ты был? Может, это была чья-то глупая шутка? Расскажи же, сыночек!

Его чертовски смущало мое присутствие, ни секунды не колеблясь, он с наслаждением растоптал бы меня, впрочем, я и сам торопился, но уйти сейчас было неловко, и я тихонько стоял у стены, сторонний свидетель семейного счастья. Было любопытно, как он вывернется, что соврет, что они там вдвоем придумали. Он еще раз скосил на меня свое миндалевидное око.

— Я убежал,— сказал он.

— Убежал?! Вот это молодец! Ай да сынок у нас! Ты слышишь, Влодек, он сбежал от бандитов! А ты знаешь, сынок, что они потребовали за тебя сто тысяч? Папа сегодня бегал по всему городу за деньгами! Он как раз только недавно их принес. А как тебе удалось убежать?

Адась стрельнул глазами в комнату, уж я-то знал почему, деньги были дома, может, еще не все пропало, он уже что-то снова обмозговывал насчет того, как бы их выудить, а пока что включил пластинку:

— Они откуда-то куда-то меня перевозили, я и сам не знаю куда, глаза у меня были завязаны не то шарфом, не то бинтом или еще чем-то, я притворился, что сплю, даже похрапывал, вдруг машина затормозила, что-то ей помешало. Теперь или никогда, сказал я себе, я не допущу, чтобы они выудили из моих родителей деньги. Я нащупал ручку дверцы, раз-раз, и, прежде чем они спохватились, был уже на тротуаре — срываю с глаз повязку, а тут толпа, несчастный случай, трамвай столкнулся с автофургоном, милицейские машины, спецы меряют сантиметром расстояние... Я влез в толпу, поближе к милиции, те, в машине, дали задний ход и дёру, только я их и видел, а я сел в трамвай, где ехали какие-то военные, и вот приехал.

— Ты запомнил их номер? Какая у них машина? Мы сейчас же позвоним в милицию, сообщим обо всем!

— Да где там! Чего сообщать-то? Смылись — и ладно. На улице ведь темно было, ничего не видно, даже машину и то толком не разглядишь. Марка, по-моему, «варшава», а вот цвет не то вишневый, не то темно-серый.

— Ну хорошо, может, ты запомнил какой-нибудь адрес, какие-нибудь приметы...— настаивал отец.

— Какой уж тут адрес... они меня схватили возле дома, набросили сзади мешок, потом долго везли и посадили в пустую комнату без окна... Это могло быть и в районе Таргувка, и на Белянах, и в любом другом месте.

Стоять дольше не имело смысла, он как следует вызубрил свою легенду, а они поверят всему, что он скажет, герой, он же спас сто тысяч, зачем их Адасю, их сыночку, врать.

— Браво, Адась,— сказал я из своего угла.

Все обернулись. Я протянул ему руку, он подал мне свою, и мои пальцы попали под гидравлический пресс, он вложил в это благодарное рукопожатие всю свою ненависть, уж он бы сейчас как следует изуродовал мою морду, но вынужден был продолжать разыгрывать из себя пай-мальчика, нежного сыночка и тэ дэ. Я сказал:

— Браво, Адась. Желаю тебе всего самого лучшего, мы тут очень беспокоились о тебе, родители просто были в отчаянии, а ты вон какой герой оказался, шутка ли, сто тысяч родителям сберег. Ну, привет, я пошел, мои родители тоже заждались, наверно. Желаю вам всем всего хорошего. Доброй ночи.

Они едва ответили мне, я для них не существовал, они под руки вели свое сокровище в комнату.

— Идем, деточка, сыночек наш любимый, ты у нас такой молодчина, идем, Адась, идем, дорогой. Теперь ты отдохнешь как следует, выкупаешься, мама тебе сейчас ужин приготовит, мы тебя уже не пустим из дому, мы тебя уже больше не выпустим, наш сыночек теперь будет сидеть дома с мамой и папой...

Сыночек чувствовал себя на верху блаженства от этого предложения! Уходя, я еще встретился с ним глазами, они были полны бешенства. Так ему и надо, пусть посидит дома, теперь они по крайней мере целую неделю, а то и две подержат его дома, во всяком случае, вечерами ему наверняка придется сидеть дома, его ждет теплое семейного очага, ужины в кругу семьи, ласки, никаких штучек, никаких разведенных дамочек, никаких шалостей, пока старикам снова не надоест эта возня, пока они не оправятся от шока.

Я выбежал на улицу. Было чуть больше восьми. Надо заглянуть на минутку домой, отнести масло, взять денег. Интересно, удастся ли Адасю позвонить Лукашу, сообщить, что он видел меня. Я вскочил в троллейбус, все-таки три остановки, я и так сегодня уездился. А там, у них, сто кусков, уж этот Адась заставит их хорошенько платить ему за каждый день их любви.

Возле нашего дома обычное движение, на лестнице шепчется и хохочет какая-то парочка, у этих одна только проблема — хата, влюбленные без базы, любовь цветет на улице, весь воскресный день они в городе, кино, кафе, потом прогулка, лестничная клетка, вокзал, улица, снова кафе — климат нас губит, любовь под открытым небом возможна только один месяц в году.

Я тихо открыл дверь, в комнате мать говорила о Богданюке, снова накачивала отца, вытряхивала его из его книжного мира:

— Завтра ты пойдешь к Главному, обещай, что ты завтра пойдешь к Главному, ты не можешь это терпеть дольше!

— Но я же тебе говорю, что только Врачек, только Врачек может заменить Богданюка!

Я вошел в комнату, держа в руках по банке, бесценное оливковое масло в банках, оно было моей защитой против матери. Но нет, мать обернулась, и я понял: она снова полна Богданюком, я снова угодил в самый плохой момент, масло не спасет меня, ни к чему моя беготня, сыновье самопожертвование и тэ дэ, моя морда не нравилась матери, ей надо было еще поорать, это сидело в ней, рвалось наружу, оно зрело и разбухало в ней целый день.

— А-а-а-а, добрый вечер! Мы уже и не рассчитывали на столь приятный визит! Мы уже потеряли надежду! Я его часами жду обедать, ужинать, бегаю, подогреваю шницелек для сыночка, жарю картошечку, готовлю салат, супчик любимый, сама недоедаю, может, он захочет покушать, может, он изволит заметить, похвалить, оценить материны труды, два часа толкотни по очередям, три часа в кухне, мусор уже три дня не вынесен, а его нет, плевать ему на все! Даже позвонить из автомата за пятьдесят грошей не может, за целый день ему ни один автомат не попался, мы же в джунглях живем, у него ручки отвалятся, если он наберет наш номер, зачем, с родителями можно не считаться, эгоист, павлин, трутень, в нем нет ничего человеческого, чудовище. Янек, поговори с ним!

Разумеется, мать была по-своему права, это была ее вымученная в очередях, выстоянная у плиты правота. Она выбежала в кухню звенеть тарелками и разогревать ужин, бедная мать, ей хотелось, чтобы все было как можно лучше, я чувствовал себя последней свиньей. Но меня все-таки опять понесло: некогда до чертиков, надо еще одолжить денег, вообще какое-то дурацкое положение, а тут еще шницелек с салатом, при чем тут шницелек с салатом, до них ли сейчас! Я мог есть сухую картошку, как они во время войны, глотать кота в собственном соку, брюкву, все равно что. Меня даже затрясло, до того я раздражился Отец поглядывал на меня из-за книжек, чувствовалось, что он затравлен уже этим Богданюком, матерью, мною. Пластинка с его «речью» уже заведена, и сейчас я, конечно, услышу его фразочки, те самые, что и всегда, он их пробурчит, как заученный урок, и оба мы с ним почувствуем себя глупо.

Я поставил масло на стол и выдвинул ящик с магнитофоном.

— Анджей, опять я должен говорить с тобой.

Я нажал на кнопку, диски с лентой завертелись. Отец на секунду замялся, этого как раз хватило на то, чтобы магнитофон нагрелся, из ящика заскрипел его голос:

— ...придется нам поговорить серьезно, Анджей. Нельзя так пренебрегать своими обязанностями... Я вообще тебя не понимаю... Не могу понять почему... Не забывай, что тебе созданы прекрасные условия и твои успехи в жизни зависят только от тебя... то есть, значит... от твоих способностей и знаний. Все тебе приготовлено, пододвинуто под нос, подано на этом... на блюде. Перед тобой гладкая и прямая дорога...

Отец сидел не поворачиваясь. Этот голос ударил его по голове, по спине, он сгорбился, опустил глаза, растерянно снял очки и провел рукой по лицу. Он был беспомощен в отношениях со мной, беспомощен с матерью, беспомощен с Богданюком. Он становился слепым и беспомощным, как только его отрывали от работы, от книг, лишали его привычного мира взаимосогласованных правил и заранее определенных процессов, мира, в котором были гармония и порядок. Я шел против его порядка, мать не подчинялась его порядку, Богданюк разрушал его порядок, все вокруг противоречило его порядку.

Он еще некоторое время сидел так, сгорбившись, потом, повернувшись, взглянул на меня. Я выключил магнитофон.

Мы смотрели друг на друга в этой внезапно наступившей тишине, и трудно было сказать, кому из нас было более горько, оба мы были напряжены, оба были на грани слез, оба жаждали правды и искренности, но как к этому прийти, как найти общий язык — я не пережил человекоубийства и периода искажений, а он, что он знал о моем мире, я же не могу ему ничего рассказать, он такой организованный, разложенный внутри по полочкам, весь правильный и устроенный, я только нарушу в нем все это... И что же, неужели мы так и разойдемся на всю жизнь?

Это продолжалось всего секунду, ну, может, три или пять секунд. Мы так напряженно смотрели в глаза друг другу, что у меня даже заболело все внутри. Вдруг глаза отца посветлели, помягчели, и он неожиданно разразился смехом. Я тоже расхохотался от всей души, и мы смеялись так оба, нос к носу, ужасно весело смеялись, мы ждали этого смеха, мы задохнулись бы без этого смеха, это был кислород, азот, витамины и вообще все.

— Я тебе хотел сказать что-то,— начал я.

— А ты, случайно, не влюблен? — прервал меня отец.

Я даже подскочил от удивления, до того метко он угодил!

— Влюблен!

— Но это не освобождает тебя от обязанности выносить мусор.

— Да я сейчас вынесу. Просто это были исключительные дни.

— Их будет еще немало, этих исключительных дней. Или у тебя не все в порядке, заминка какая-нибудь?

— Ага.

— Это мне знакомо. И со мной так было. Я тоже был застенчивый. Придется тебе это преодолеть. Со временем все пройдет.

— У меня нет времени.

— На это должно быть время. У меня тоже не получалось.

— Тебе было легче. Ты же ходил в героях.

— Ничего подобного. Я очень дорого платил. За все в своей жизни я платил очень дорого. Ты тоже должен дорого платить. И это хорошо.

— Хорошо?

— Иначе по-настоящему ничего не добьешься и ничего не оценишь. Надо быть щедрым, сынок.

— Стараюсь.

— Но ты должен быть уверен, что то, чего ты добиваешься, стоит того. Тогда ты и до неба допрыгнешь.

— Мне надо идти, пап. Мне сейчас надо обязательно сходить кой-куда.

— Тогда иди. Может, тебе нужны деньги?

— Немножко надо бы. Я верну на будущей неделе...

— Ладно.

Он вытащил две сотни. Больше у него в бумажнике ничего не было, только эти две сотни.

— Ты же останешься без денег? — спросил я.

— Мне не надо. Бери.

Помявшись немного, я все же взял обе бумажки.

— Я вижу, тебя здорово захлестнуло,— как-то печально констатировал он.— Ну, иди уж.

Конечно, ему хотелось еще поговорить со мной в этот первый вечер взаимного понимания, но я должен был идти. Мне было жаль его и жаль отказываться от возможности поговорить с ним, он многое понимал. Я поговорю с ним завтра, обязательно поговорю завтра, ведь у нас наступил перелом, мы докопались, пробурили навстречу друг другу тоннель, пробили его под горой с обеих сторон, да здравствует техника и магнитофон, лишь бы отец подождал до завтра, ведь я сегодня действительно не могу, ну просто не могу.

— Ты, пап, не переживай из-за этого Богданюка. Он и сам лопнет как мыльный пузырь.

Отец с удивлением взглянул на меня, рухнула еще одна трухлявая липа, исчезло еще одно табу. Я побежал в кухню, мать ковыряла вилкой в сковородке, я схватил помойное ведро, сказал: «Извини, мамочка, я не могу есть, сейчас я ничего не могу есть, отец тебе все объяснит», мать подняла вилку, чуть не выколола мне глаз, но я уже, трахнув дверью, сбегал вниз по ступенькам. Четыре этажа. ведро воняло падалью всего мира, но мне было радостно и легко. Что мне вонища, я бы сейчас все вытерпел, даже все человекоубийство, пережитое отцом, любовь тоже надо заслужить. Любовь, не окупленная страданием, это не любовь, она растает, как дым, она не может продолжаться долго и сгорит с шипением, как бенгальский огонь, любовь должна выплавиться в страдании, как сталь, тогда из нее что-нибудь будет. Одни только улыбочки, свидания, ухаживанья, постель или даже женитьба — этого мало, из этого никогда ничего не бывает, через год — измена и все в пух и прах.

Выбросив всю эту ужасную вонищу в помойную яму, я помчался наверх, размахивая ведром, как знаменем любви, прыг-прыг через пять ступенек, потом тихо отворил дверь, поставил ведро на кухне, матери там уже не было, схватил плащ и выбежал на лестницу. Мать, конечно, слышала, что я ухожу, но молчала, отец ей, наверное, сказал. Она до сих пор очень любит отца, это после двадцати с лишним лет супружества, и Богданюк ведь тоже проявление ее любви к отцу, они никогда не изменили друг другу и никогда не расстались бы, может быть, они действительно дорого заплатили за это тогда, когда человек был наг. Теперь она допоздна просидит над переводом с русского, который с победоносным видом притащила несколько дней назад, будет сидеть, все время думая о Богданюке, все время проклиная Богданюка. У каждого есть свой Богданюк или свой Лукаш, и каждый ненавидит его, презирает и в чем-то ему завидует, завидует оттого, что тому легко дается все, чего ему самому достигнуть так тяжело.

Я выбежал на улицу и вскочил в трамвай. Время близилось к девяти. Меня охватила такая лихорадка, такое нетерпение, что я не мог стоять на месте. Я пробежал весь вагон, выскочил на переднюю площадку, вылез на подножку, потом опять поднялся наверх. На площади Конституции я соскочил с трамвая. Здесь еще должен быть открыт частный цветочный магазин, государственные магазины уже давно закрыты, нет, и этот закрыт, только и можно полюбоваться на гвоздики в витрине — бегом на Мокотовскую, там есть такой малюсенький магазинчик, увы, и он уже закрыт; почему это не бывает дежурных цветочных магазинов, есть же дежурные аптеки — стекло, что ли, выбить или еще что-нибудь сделать, я должен принести ей цветы, именно сейчас, самые лучшие цветы в мире. Скорее на Вильчую, там тоже есть такой закуток с цветами, наконец-то, открыто, здесь открыто! Я вбежал в магазинчик, розы по 20 злотых, гвоздики по 15, розы бледные, гвоздики красные, даешь красные гвоздики, нынче идет в счет только красный цвет. Я выложил обе отцовы сотни, к черту деньги, их как раз хватит на тринадцать гвоздик, неудачник приносит тринадцать гвоздик, надо бросить судьбе вызов, вот куплю тринадцать гвоздик, и все!

Я выбежал с цветами на улицу, к счастью, вокруг пусто и темно, в автобусе я забился в угол, цветы спрятал за спину. Пингвин едет объясняться в любви! Лукаш-то ей наверняка никогда не преподнес даже самого дохленького цветочка, он не из тех, кто даст хоть что-нибудь, это опозорило бы, осрамило его, он только берет, берет, как свое, все, что хочет.

Спрыгнув на площади Парижской Коммуны, я побежал вниз, оставив позади яркий свет уличных фонарей. Здесь было мрачновато и безлюдно. Улочка налево, улочка направо, теперь ее улочка. На углу какая-то старушка высаживает у забора маленькую собачонку, ласково воркует над ней, просит ее любовно, уговаривает, как ребенка, только эта собачонка и осталась у нее от всей ее жизни, последний объект любви, без любви она не может доживать свой век. Я убавил шаг, третий дом от угла, обшарпанный, стоявший здесь еще с довоенных времен. Сердце мое забилось так, что удары его заполнили меня с головы до пят, и весь я стал сплошным пульсом. Дотронувшись до кармана, я услышал,

как зашелестели в нем под рукой письма, еще двадцать метров... о, меня уже ждут!

Я разглядел их в темноте, эти три или четыре фигуры, они ждали у забора напротив, опираясь на него, повернув головы к Баськиному дому, видно, глазели в ее освещенное окно. Они услышали мои шаги, но еще не видели меня как следует и не могли узнать. Все же они приготовились, один из них даже наклонился вперед. Они знали, что я сюда приду, на эту пустынную улочку, приду наверняка. О боже, возле меня в ограде из проволочной сетки пролом, сетка внизу совсем развалена, ее можно перепрыгнуть. Я перепрыгнул через сетку — не видать им Баськиных писем,— бумага, в которую завернуты цветы, порвалась о проволоку, я пробежал, перепорхнул через этот садик или палисадник перед домом и ворвался в подъезд. На лестнице светло, внизу стукнула калитка, они спохватились, да поздно, я уже был на втором этаже и позвонил три раза. Господи, только бы Баська оказалась дома! Внизу я услышал их шаги, они остановились и ждали, вслушиваясь, нас разделял один ничтожный этажишко, но они, наверное, работают втемную, без свидетелей, а здесь выскочат жильцы, поднимут шум — ясно, я и так от них не уйду, я уже как мышь в мышеловке. За дверью послышались шаги, Баськины шаги, дьявольское счастье, я спрятал гвоздики за спину. Баська открыла, оказавшись в полосе слабого света, падавшего от грязной лестничной лампочки. Лицо ее даже не дрогнуло, снова это каменное спокойствие, ну теперь-то я заставлю ее сбросить обычную маску, она сбросит ее для меня и из-за меня, хоть бы это стоило мне не знаю чего!

— А, ты! Что случилось?

Я услышал, как внизу что-то хрустнуло, кто-то из них переступил с ноги на ногу, кто-то приоткрыл дверь.

— Можно мне войти?

Она замялась, видно, ей не хотелось принимать гостей, в другое время я бы, конечно, смылся, терпеть не могу быть непрошеным гостем, мне самому это всегда обходится дороже, чем хозяевам, сейчас, однако ж, я был тверд.

— Влезай...— сказала она.

Я влез, продолжая держать цветы сзади. Она направилась в комнату, я пошел за ней. Комната у них была большая, радиоприемник тихо наигрывал какую-то песенку, все кругом было заставлено, буфет с разными фигурками, две тахты, грязноватый потолок и довольно обшарпанные стены, на окне электрическая плитка, чайник; пачка дешевого чая, хлеб и кусок сыра. Мне повезло — матери не было дома. На Баськиной тахте раскрытая книга — наверное, пыталась обмануть себя, делая вид, что читает,— на столе стопка школьных тетрадок.

Она вопросительно взглянула на меня, я вытащил из кармана ее письма и протянул их ей вместе с цветами в разорванной бумаге. Должно быть, у меня слегка дрожали руки, когда я все это вот так подал ей. Глаза у нее вдруг стали большими, она схватила письма, видно, сразу узнала их и стояла так молча, с этими листками в руках, зажав в ладонях все, что осталось от ее великой любви. Я не знал, что мне делать с собой и с этими цветами, не отправит же она меня с ними обратно...

— Что ты хочешь за это?

— Чтобы ты взяла цветы, а то я стою с ними, как дурак.

Видно, она только теперь заметила цветы и, положив письма на стол, взяла у меня из рук букет, развернула его — право, этих гвоздик я мог не стыдиться,— поставила в вазу и вышла в кухню, за водой. Я подошел к окну, оно было приоткрыто, раздвинул занавеси, но ничего в темноте не увидел и не услышал, радио заглушало все звуки снаружи, должно быть, меня ждали на лестнице, боясь, что я снова смоюсь через какую-нибудь дыру. В трубе заурчала вода, и в комнату вошла Баська с вазой. В ее движениях было что-то, что наводило на мысль о похоронах, особенно то, как она несла эти красивые гвоздики, такие бессовестно свежие и красные, просто пылавшие на фоне серой комнаты. Она поставила вазу на стол и, по-прежнему избегая моего взгляда, принялась спо-

койно и методически рвать свои письма — сначала на большие куски, потом на более мелкие, потом совсем на мелкие клочки. Она вырывала все это из своей жизни, вырывала очень тщательно и именно сегодня, в воскресенье вечером, чтобы в понедельник утром этого в ее жизни уже не было, в понедельник много дел — занятия, собрание, дискуссия,— голова должна быть как следует прочищена. Все клочки она сложила в пепельницу, включила электрическую плитку, зажгла от нее бумажку побольше и положила в пепельницу. Костер разгорелся быстро, бумажки, охваченные огнем, выгибались, точно от нестерпимой боли, пробовали взлететь кверху. Баськино лицо было освещено огнем, мы стояли, молча вглядываясь в язычки пламени, это соединяло нас, она уже больше не таилась, не лгала, хотя я грубо ворвался в ее жизнь; Баська не пыталась травиться какими-нибудь порошками или газом, потому что была сильной, и ее не унизила обманутая любовь, это был всего лишь проигранный матч, один — ноль в пользу жизни. Она должна теперь быть более бдительной, более подозрительной и недоверчивой, она уже не позволит застигнуть себя врасплох, никогда не обнаружит своего слабого места, не даст вонзить нож прямо в сердце.

Догорели последние клочочки, огонь уменьшился, потом затух, от писем осталась лишь кучка пепла, дунуть на нее — и развеет на все четыре стороны всю проблему. Конец. Точка. Не будем больше возвращаться к этому.

Она подняла голову, увидела цветы и взглянула на меня. У нее был такой вид, словно она только что обнаружила мое присутствие — что-то надо было со мной делать, ведь я торчал здесь, возле нее, и подглядывал за ее жизнью.

— Прекрасные гвоздики. Спасибо.

— Что это ты делаешь? — я кивнул в сторону тетрадей.

— Проверяю домашние задания.

— Разве ты учишь в школе?

— Нет, мать учит. Она взяла еще и частные уроки. Я ей просто помогаю.

— Тоже даешь частные уроки?

— Дубинам.

— А я могу записаться в их число?

— Ты не дубина,— серьезно ответила она. Должно быть, это был комплимент, но какой-то очень скромный.— Адась вернулся?

— Вернулся,— неохотно ответил я и машинально взглянул в окно.

Хотя радио продолжало играть, мне вдруг показалось, что кто-то из них захохотал. Они наверняка стояли у самого дома, в нескольких метрах от нас. Я чувствовал их спиною.

Из-за зеркала, висевшего возле окна, торчала небольшая фотография, на ней был мужчина с большой светлой шевелюрой.

— Брат?

— Отец.

— Жив?

— Жив.

Больше спрашивать было нельзя. Но вся ее искусственная загадочность и так уже рассыпалась в пух и прах, за каменным лицом карточной дамы крылись труд и заботы, ежедневные стычки с жизнью и больно ранящие занозы; такой она нравилась мне куда больше, она оказалась настоящим человеком, проверяла вместо матери тетрадки сорванцов, пила дешевый чай, ела на ужин засохший сыр и не искала пути полегче.

Я все так и стоял в плаще, пряча в кармане ободранную лапу с засохшей на ней кровью, кажется, сегодня кровь вообще крупно брызнет из меня... Баська все еще не предлагала мне сесть, и я был в идиотском положении, но у меня не хватало силы уйти, мне нужно было пережить что-то большее прежде, чем я сойду вниз, к тем, я еще не был к этому готов. А что, если подойти к ней и обнять ее, сжать, поцеловать в этот уголок рта, в шею, ну просто обыкновенно взять и поцеловать, как это давно сделал бы на моем месте любой другой парень? Лукаш, поди, даже и не вставал, так, приподымался только, улыбался и притяги-

вал ее к себе, на тахту, одной рукой, прижимал мягко и лениво, потом целовал, и она уже была его. Это может удаться только раз, а мне нельзя этого делать, мне нельзя ничего того, что делал он, все должно быть иначе, ничего общего с ним, не то я проиграю, все раз и навсегда проиграю. Впрочем, я и не умел так улыбаться, у меня была другая линия рта, да я бы и дрожать сразу начал, я боялся этого, не мог сказать ей, как страшно я ее люблю. Я шепнул бы это в пустоту — после того, что она выстрадала, эти слова показались бы ей ненастоящими; она теперь не воспримет слов, высмеет меня за них, слова уже никогда ничего не будут для нее значить, а мне все это дастся нелегко, не так, как другим, я должен буду заслужить ее страданием, таким же большим, какое испытала она сама.

Из приемника доносилась какая-то ужасно слащавая песенка, неизвестная дева рыдала о том, что все еще ждет «его». У меня вдруг что-то сжалось внутри, и я почувствовал, как на глаза, откуда ни возьмись, наворачиваются проклятущие слезы.

— Пожалуй, я пойду,— сказал я, услышав, что по лестнице кто-то тяжело и шумно поднимается.

— Погоди,— вдруг сказала она.— Я не могу предложить тебе посидеть у меня, потому что сейчас придет мама, ты сам видишь, как у нас тесно...

— Да, я понимаю,— ответил я.

Конечно, я понимал, что в довершение ко всему она ужасно глупо чувствует себя и из-за этой комнаты, и из-за этого засохшего сыра на ужин, и из-за этих моих бессовестно ярких гвоздик.

— Но я могу ненадолго выйти с тобой... прогуляться.— Она внимательно посмотрела на меня. Лицо ее было очень бледным.

— Нет, Баська,— ответил я.— Тебе же неохота сейчас никуда выходить. И я ведь ничего этого не прошу... Я просто пойду, и все.

— А то, может, все-таки...

— Нет, Баська, сегодня нет... Если захочешь, давай завтра.

— Что ж, будь по-твоему... давай завтра.

Когда она говорила это, лицо ее как-то на мгновение посветлело. Она смотрела на меня и, может быть, в эту секунду не помнила обо всем том, а может быть, подумала сейчас обо мне и я перестал на какое-то мгновение быть смешным Пингвином, может, в ней рождалось что-то хорошее ко мне, может, я должен сейчас схватить ее, обнять, прижать к себе...

— Спокойной ночи, Баська. Добрых тебе снов.

— Спокойной ночи, Анджей. Спасибо... за все.

Она протянула мне руку. Я осторожно взял ее руку и с минуту подержал в своей заскорузлой лапе. Я почувствовал, как ее кровь бьется рядом, совсем рядом с моей. Теперь я уже мог идти.

Когда я вышел на лестницу, в квартире напротив захлопнулась дверь. Кто-то тяжело ворочался за ней. Вдруг послышался женский голос:

— Явился, падаль ты эдакая, явился! К жене, к детям пришел! Вспомнил! С двенадцати утра до самой ночи пил, все воскресенье, чтоб эти твои дружки передохли все, чтоб их всех, вместе с их шлюхами паралик разбил! А ну, катись из дома! Слышишь, вон отсюдова, не то...

Я начал медленно спускаться вниз. Крик женщины взвивался все выше, как реактивный самолет, переходя уже в сверхзвуковой писк.

— Кому говорю вон?! Катись, откуда пришел! Нечего мне здесь зубы заговаривать! Хоть бы детей постыдился, гадина эдакая! Где у тебя деньги, трепло бессовестное, где, покажь, покажь свои деньги? Это столько-то ты мне с детями оставил?! Что ж, мы теперь с голоду подыхать должны? Через твою пьянку, что ты ее с утра развел и всех дружков поил? Ах ты подлец ты эдакий, стерва ты окаянная, ни стыда, ни совести у тебя нет!

Что-то глухо стукнуло, я закрыл уши ладонями. Я стоял уже внизу, у дверей, за ними меня подстерегала темнота улицы и те, кто жаждал расплаты. Я был готов платить, но совсем не за то, за что они предъявляли мне счет.

Шагнув в темноту, я успел только закрыть за собой дверь, и в ту же секунду меня ослепил сноп света от большого фонаря, нацеленного мне прямо в глаза.

— О, пардон,— сказал кто-то, и свет погас.

Я ощущал их вокруг себя — двоих, троих, четверых, черт знает скольких. Должно быть, они уже пропустили по стаканчику, им было тепло, они чувствовали себя по-царски, для полного счастья не хватало только избить кого-нибудь.

— Ты, ну-ка, дай папироску,— прохрипел второй голос.

Они развлекались, разыгрывая случайную встречу, так, мол, от нечего делать, разговорились.

— Не курю.

— Не куришь? А что ты здесь делаешь?

— Вот именно, что он здесь делает?

— А может, он тут кого-нибудь вынюхивает?

— Факт, вынюхивает!

— Он же стукач. Подглядывает за людьми в квартирах.

— Да его сразу видно, что стукач.

— А мы не любим стукачей!

Их было трое, Лукашем и не пахло. Наверное, указал на меня и смылся, чистая работка, его никогда не было, а они — просто соскучившиеся в воскресный вечер рыцари темной улицы, романтики отбитых желудков и легких. Целую тройку спустил он с цепи против одного глупого Пингвина.

— А кого он тут вынюхивает?

— Ты кого вынюхиваешь, стукачок?

Не отвечая, я шагнул вперед, чтобы облегчить им дело. Кто-то из них тут же толкнул меня, другой придержал. Я молча смотрел на них.

— Ну, чего вылупился на нас, стукач!

— Пошли, заберем его отсюда, этого стукача, пусть люди живут спокойно.

— Ну-ка, стукач, шагай за своей судьбой.

Они вытолкнули меня на середину улочки, но тут я остановился. Я решил не уходить из-под Баськиного окна. Из квартиры пьяницы уже не было слышно никаких криков, видно, он заснул на полу, там, где упал, а жена устала его отчитывать. Теперь была слышна тихая песенка из Баськиного приемника.

Один из них схватил меня за плечо, я оттолкнул его, тогда второй размахнулся изо всей силы. Я увернулся, видно, он был пьян и бил неточно, кулак угодил мне в плечо. Как умел, я лягнул его в колено. Он завыл от боли, и все разом бросились на меня. Я не кричал, не хотел звать на помощь, в нескольких метрах от меня Баська слушала песенки, может быть, проверяла тетради, поглядывая иногда на мои бессовестно яркие гвоздики. Я сопел, извивался, вырывался, бил, снова сопел, лягался, давал сдачи, но они сомкнули вокруг меня кольцо, их было трое. Лишь бы только не упасть, ни в коем случае нельзя упасть, иначе затопчут, убьют, держаться на ногах во что бы то ни стало, они пьяные, бьют неточно, держаться, несмотря на боль, несмотря на разбитую скулу, на выбитый зуб, на кровь из носа или черт ее знает откуда еще, заслонять живот, не дать им попасть в живот, двинуть кому-нибудь из них как следует, пока я еще вижу, пока кровь не залила глаза. Я видел все больше и больше, сателлиты, ракеты и взрывы, космические сотрясения и метеоры, меня распирало во все стороны, я рвался на части, наверное, я уже лежал на земле, наверное, меня уже топтали, они были вынуждены бить меня здесь, под Баськиным окном, я не дал им утащить себя в ночь... Глаза, надо заслонить руками глаза, я глотал кровь, во рту было полно крови, вдруг стало светло, блеск света, треск мотора, много-много света, треск мотора и тишина. Теперь, свободный, я поплыл куда-то вверх, слегка покачиваемый не то волнами, не то ветрами, невесомый, повиснувший в каком-то ватном и ослепительно светлом пространстве.

— Молодой человек! Эй, парень, ты живой, а? Отзовись, ты жив?!

В какой-то момент я увидел того, кто выкрикивал все это. Он стоял надо мной, в полосе света от направленных на меня фар, огромный мужик, держащий заводную ручку,— казалось, он достигает неба.

— Пожалуйста...— прошептал я.— Пойдите, пожалуйста, туда...

Я хотел указать ему на окно, на это светившееся напротив окно, но не смог ни шевельнуть рукой, ни добавить хоть слово, что-то снова потянуло меня назад, мне уже не надо было ничего говорить, потому что Баська стояла возле меня, она ворвалась в свет, услышала шум, несмотря на радио, а может, мне только показалось, что она подбежала, узнала, крикнула:

— Анджей!!!

Я снова нырнул куда-то в волны, в светлую вату. И даже не успел улыбнуться ей или ее призраку, вызванному лихорадочным воображением.

И вот я уже несколько дней лежу дома, в постели; отец, как всегда, пошел в институт, что-то неладное стряслось там с Богданюком, говорят, должно состояться собрание, на котором больше не выберут Богданюка, выберут, наверное, Врачека, в институте наступил новый этап; мать готовит в кухне обед, праздничный, торжественный обед в честь падения Богданюка, а я прокручиваю эту пленку, потому что вот-вот должна прийти Баська. Она придет в первый раз, ведь до сих пор я все не разрешал ей приходить, а теперь можно, она увидит большой кусок лица — мне уже приоткрыли щеку, глаза, нос и весь подбородок, и я лежу и записываю эти свои слова на пленку, но у меня ни черта не получается. Вот я еще раз прокручиваю пленку с самого начала, сперва ничего, какой-то твистик, Хелена Майданец, а вот и оно! Я снова повторяю в микрофон:

— Я не могу сказать тебе это прямо в глаза, потому что стал бы путаться и все вышло бы очень глупо, кто теперь говорит такие вещи, я бы не выдавил из себя ни слова, а так, на ленте, у меня это получается легче, ведь я должен сказать тебе, что чертовски тебя люблю и не знаю, можешь ли ты полюбить меня, я хотел тебя заслужить, но не знаю, заслужил ли, может, я смешон со всем этим своим докладом, может, я вообще смешон, но знаешь, я еще смогу очень многое, я сделаю для тебя все-все, и тебя наверняка никто не будет любить так, как я...

На этом кончаю болтать, я и так уже напорол видимо-невидимо, дальше снова идет музыка, та самая песенка, которую мы слышали у Баськи по радио, я ее случайно записал. Все. Сейчас придет Баська и я буду все знать. Конечно, если наберусь духу пустить эту пленку. Вот и все об этой моей истории. Я не стану дописывать конец, зачем мне конец, я и так его узнаю, а писал я так просто, от скуки, потому что надоело лежать в кровати и ждать, пока все срастется и заживет.

А вот и звонок. Бросаю перо, наверное, Баська...

СТЭН БАРСТОУ

Любовь... любовь?

РОМАН

Перевод с английского
Т. КУДРЯВЦЕВОЙ и Т. ОЗЕРСКОЙ

глава 4

Снова святки. В тот день, когда мы закрываем магазин на праздники, у нас с мистером ван Гуйтеном происходит небольшая беседа, и он говорит мне, что чрезвычайно доволен тем, как у нас идут дела. Приятно сознавать, что и от тебя есть какой-то толк. Я получаю от мистера ван Гуйтена праздничные премиальные — пять фунтов — и тут же раскошеливаюсь на пудреницу для Ингрид, иду и выкладываю три фунта десять шиллингов.

На святках в День рассыльных * Крис и Дэвид приглашают нас к себе на годовщину их свадьбы. Просто не верится, что уже пролетел год, с тех пор как они поженились, но как подумаешь обо всем, что за это время произошло со мной... Наш Старик, как всегда, отпускает свои заплесневелые шуточки насчет того, что только первые семь лет трудно, а им теперь осталось всего каких-нибудь шесть. Они отшучиваются и от него, и от нашей Старушенции, которая все съезжает на то, что у них скоро пойдут дети, в то время как у них никаких признаков детей нет еще и в помине. Может, у них по этой части не все в порядке, размышляю я, а потом прихожу к выводу, что ведь они женаты всего год и в конце-то концов какое кому дело, когда у них пойдут дети и сколько их будет. Но как же это похоже на нашу Старушенцию: сначала ей все не терпелось, чтобы Крис поскорее выскочила замуж, а теперь ей уже не терпится стать бабушкой. Интересно, за кого она теперь примется? За меня, по всей вероятности. Каждую минуту я жду, что она начнет делать намеки на мой счет. Конечно, в принципе я не против женитьбы. Но ведь надо, чтобы посчастливилось встретить хорошую девушку и знать, что это уже настоящее, а не мимолетное увлечение, как с Ингрид. Мне кажется, брак это нечто совсем особое, если Крис и Дэвид после целого года совместной жизни выглядят такими счастливыми. Во всяком случае, глядя на них, я еще острее чувствую разницу в моем отношении к Ингрид тогда, год назад, и теперь.

Как-то утром в январе я спускаюсь вниз к завтраку и вижу возле моего прибора письмо. Адрес на конверте написан рукою Ингрид. Са-

---

Окончание. Начало см. в № 11.

* Один из дней на святках, когда по английскому обычаю полагается делать подарки рассыльным, письмоносцам, слугам.

жусь за стол, беру письмо и чувствую, что наша Старушенция следит за мной в оба, хотя и стоит ко мне спиной — это уж она так умеет, словно у нее еще одна пара глаз, на затылке.

— Письмо от твоей подружки?

— От какой подружки?

— От какой подружки?— Я слышу, как шипят яйца, которые она выливает на сковородку.— От той девчонки, с которой ты хороводишься,— говорит она. Верно, думаю, видела меня где-то с Ингрид, но тут она говорит:— От девчонки, которая прислала тебе поздравительную открытку в твой день рождения и подарила тебе портсигар.

— О, эта... Так это было несколько месяцев назад.

— А теперь ты что же — больше с ней не встречаешься?

Кто ее знает, что она могла пронюхать. У нашей Старушенции не сразу-то разберешь, с ней легко попасть впросак.

— Да так, время от времени. Мы с ней в общем-то дружим.

— Так чего ты тогда виляешь?— говорит она.— Ты что, стыдишься ее или как?

Она оборачивается ко мне, и я опускаю глаза в тарелку с кукурузными хлопьями.

— Просто я не хочу, чтобы ты вообразила себе невесть что.

Она снова отворачивается и поливает яичницу растопленным салом.

— Что такое я могу вообразить?

— Ну, что это серьезно и прочую муру.

Она покачивает головой.

— Понять не могу, что такое творится с молодежью нынче! Сами не знают, чего им надо. Все хотят только позабавиться — сегодня с одной, завтра с другой. Когда я была молодая, у нас парни либо ухаживали за девушкой всерьез, либо оставляли ее в покое.

Она снимает сковороду с плиты и широким кухонным ножом раскладывает куски яичницы по тарелкам: одно яйцо Джимми, одно — мне. Потом дает нам еще по куску бекона, ставит сковороду обратно на плиту и выключает газ. Берет свою чашку и принимается пить чай, поглядывая, как мы с Джимми уплетаем яичницу.

— Теперь все по-другому,— говорю я,— времена меняются. Знаешь, как теперь говорят: нужно перебеситься до брака, чтобы потом не потянуло.

— Бывает и иначе: парень только побаловаться хочет, а его хлоп — и окрутили,— говорит Старушенция.

Разговор этот был мне не по нутру с самого начала, а теперь он и вовсе принимает такой оборот, что нравится мне все меньше и меньше, поэтому я умолкаю и не произношу больше ни слова. Минуты бегут, мы продолжаем молча есть, и через некоторое время Старушенция говорит:

— Что же ты не распечатаешь письмо?

— Прочитай письмо, Вик, будь паинька,— говорит Джим.— А мы послушаем, что новенького.

— Придержи язык, пока не получил хорошего подзатыльника,— говорит Старушенция.— Это будет самая для тебя подходящая новость.

Джим сидит к ней спиной, он прячет голову в плечи, высовывает язык и страшно таращит глаза.

— Я прочту в автобусе,— говорю я, стараясь не улыбнуться, чтобы не выдать Джима.— Верно, какая-нибудь ерунда.

— Ну, едва ли!— говорит Старушенция крайне сухо.— Зачем бы тогда стала она тебе писать?

Однако, как она ни старается, я не поддаюсь на удочку, и, когда я спускаюсь с холма к автобусной остановке, письмо, все еще не распечатанное, лежит у меня в кармане. Я здорово зол на Ингрид за то, что она послала это письмо и растревожила нашу Старушенцию. Точно нельзя

было позвонить по телефону, если ей хотелось мне что-то сообщить! На остановке я разрываю конверт.

«Дорогой Вик,— пишет Ингрид,— у меня что-то с желудком, и я не была сегодня на работе и не пойду и завтра (в четверг), а значит, не смогу с тобой встретиться. Но сегодня вечером мамы не будет дома, и ты, если хочешь, можешь прийти к нам. Ты знаешь, где я живу. Постучись с черного хода. Любящая тебя Ингрид.

P. S. Не приходи раньше половины восьмого, потому что мама уйдет только в семь».

Что ж, это действительно хорошая новость. Я еще никогда не был у Ингрид, но уж, наверное, у них там найдется кушетка или большое кресло, и это будет куда удобнее, чем в парке.

— Я никак не могла позвонить тебе, потому что мама целый день была дома,— говорит Ингрид.— Тогда я нацарапала эту писульку, сказала, что хочу немножко погулять, пошла и отправила.

— Ты ничего не рассказывала своей маме обо мне? — спрашиваю я.

— Нет, не рассказывала. Ведь мы с тобой... Понимаешь, если бы мы были помолвлены, тогда другое дело...

— Да... конечно.

— А твои родители тоже ничего не знают обо мне?

— Да вроде и знают, и не знают. Они видели твою открытку и догадываются, что какая-то девушка подарила мне портсигар, но как часто мы встречаемся и что вообще у нас с тобой — этого они не знают.

Ингрид слегка краснеет.

— Надеюсь, что нет... В этом-то вся беда, верно? Мы ведь никому не можем сказать о том, что у нас с тобой, верно?

— Для тех, кому это интересно, ну, для тех, кто мог видеть нас вдвоем, мы с тобой просто приятели, которые проводят иногда вместе время, и все.

Она ничего не отвечает, смотрит на огонь в камине и оправляет — машинально, я полагаю,— юбку, стараясь прикрыть колени. Ноги-то у нее открыты много выше колен, потому что она вообще носит очень короткие юбки, а эти мягкие кресла так устроены, что в них совсем тонешь.

Мы сидим в столовой. У них в доме такой же, по-видимому, порядок, как и у нас,— гостиной пользуются редко. Но столовая очень уютная: кожаные кресла, стулья и кушетка — все из одного гарнитура и большой ковер во весь пол. По одну сторону камина консольный телевизор, по другую — радиола на маленьком столике. Мамаша Ингрид, должно быть, отъявленная монархистка, потому что над камином у них огромная цветная фотография королевы в коронационном наряде. В камине жарко пылает огонь, и я чувствую себя славно, совсем как дома, я даже снял пиджак и повесил его на спинку стула.

Ингрид, кажется мне, немного взволнована от того, что принимает меня здесь потихоньку от матери,— она как-то ненатурально весела и все время хихикает. Вернее, все время хихикала, пока мы не заговорили о наших с ней отношениях, а теперь она примолкла, словно этот разговор заставил ее задуматься, сидит и смотрит на огонь. А я как раз думал о том, что сейчас подойду и поцелую ее. Нам здесь так хорошо и уютно, мы в первый раз так по-настоящему, совсем уединились, и мало ли что может случиться? Я вижу линии ее тела под бледно-розовой блузкой, и мне хочется поглядеть как следует. Хочется убедиться, что мои руки не обманывали меня и я не зря думал, что она чудо как хороша.

Я встаю, достаю сигарету. Вытаскивая из кармана портсигар, я нечаянно выгребаю оттуда еще разные мелочи: расческу, бумажник и ма-

ленькую книжечку с фотографиями голых красоток, которая приглянулась мне, когда дня два назад я покупал сигареты в табачной лавчонке. Ингрид в этот момент встает, чтобы задернуть шторы, и мне не удается спрятать от нее эту книжонку — она так и остается валяться на полу. Ингрид видит ее — видит эту красотку на обложке, и тут уж никуда не денешься. В ту же секунду Ингрид наклоняется, хватает книжонку и отпрыгивает в сторону, когда я делаю попытку отнять ее.

— Перестань, дай сюда!

Она смеется.

— Нет, я хочу посмотреть и убедиться, какой ты, однако, старый, грязный паскудник.

Она прячется за спинку кресла. Ну, ясно: чтобы получить обратно книжонку, я должен гоняться за Ингрид по всей комнате и отнять ее силой. Чувствую, что краснею, но не собираюсь поднимать из-за этой книжонки целую бучу, сажусь в кресло и закуриваю. Ингрид видит, что меня все это не слишком трогает, подходит ближе, садится и начинает перелистывать страницы. Мне кажется, что она всерьез увлечена этим занятием: не хуже любого парня разглядывает подробно каждую фотографию и время от времени хихикает — должно быть, когда находит что-нибудь особенно, по ее мнению, пикантное. Я подхожу, сажусь на ручку ее кресла и заглядываю ей через плечо. Довольно-таки острое ощущение — разглядывать с ней вместе эти фотографии, руки у меня дрожат, и кровь стучит в висках.

— Не понимаю, как они могут все это проделывать,— говорит она.— Как это можно — стоять перед фотографом в таком виде.

— Мне кажется, они к этому по-другому относятся. Это профессия. Используют, так сказать, свои природные ресурсы.

— Я уверена, что этим дело не ограничивается.

— Так кто здесь старый паскудник? У кого грязные мысли?

— Ну хорошо, ну скажи, если бы ты целый день фотографировал подобным образом женщин, разве бы тебе тоже не полезло это в голову? Ну посмей сказать, что нет!

— Не знаю, не пробовал. Я видишь ли, понятия не имею, где и кто этим делом занимается. Мой отец, конечно, поступил бы очень толково, если бы догадался отдать меня на выучку к одному из этих фотографов.

Она толкает меня локтем в ляжку.

— Пошел ты!— И снова переворачивает страницы.— Вот эта — прелесть, ничего не скажешь! Точно литая вся, верно?

— Ты не хуже ее,— говорю я и рад, что она не видит, как пылают у меня щеки.

— Ах, отстань,— говорит она.— Ты надо мной смеешься.

— Вовсе нет, я считаю, что ты сложена ничуть не хуже ее.

— Да ты погляди, какая у нее грудь! Ручаюсь, что она даже не носит бюстгальтера.

У меня пересохло в горле, и мне не сразу удается вымолвить.

— У тебя очень... красивая грудь. Я давно это заметил.

— Перестань,— говорит она.— Ты вгоняешь меня в краску.

Я вижу, как у нее розовеют шея и уши.

— Конечно, голову на отсечение не дам, поскольку я... Я хочу сказать...

— Знаю я, что ты хочешь сказать,— говорит она.— Можешь не вдаваться в подробности.

Я наклоняюсь к ней, поворачиваю к себе ее лицо. Я целую ее, но она почти не отвечает на мой поцелуй.

— А мне бы хотелось, чтобы мы это могли,— говорю я.

— Что могли?

— Вдаваться в подробности.

— А тебе не кажется, что ты слишком многого хочешь?

Наклонившись к ней, я тихонько шепчу ей кое-что на ухо, а она переворачивает страницы, делая вид, что хочет досмотреть до конца. Я встаю с кресла, подхожу к ней вплотную, беру ее за локти, заставляю подняться и снова целую. Но она по-прежнему почти не реагирует. Я чувствую, что она в каком-то капризном настроении, но я уже снова совсем без ума от нее, и она, конечно, слышит, как колотится мое сердце, когда я ее к себе прижимаю.

— Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, Ингрид,— говорю я.

— В том-то и беда,— говорит она,— что не знаю.

— Ни с кем у меня еще не было так, как с тобой,— говорю я, и говорю истинную правду.

— Но ты ведь не всегда это чувствуешь, верно? И тогда ты даже не вспоминаешь обо мне.

Я молчу в замешательстве. Что я могу сказать ей?

— Я сам не могу в себе разобраться иногда,— говорю я.— Со мной ведь ничего подобного никогда еще не бывало. Я знаю, что тебе иной раз кажется, что я подонок, но это выходит у меня против воли, и на самом деле я не такой. Просто иногда у меня возникает какое-то поганое чувство, и тогда мне начинает казаться, что продолжать все это как-то нечестно по отношению и к тебе, и ко мне... Я ведь хотел все покончить, ты же знаешь, когда увидел, что получается не так, как я думал...

— Но я стала бегать за тобой...

Все это мне совсем не нравится. Мы не плохо обходились без этих разговоров, и мне казалось, что мы оба уже понимаем, чего можем друг от друга ждать, и Ингрид решила примириться с тем, что есть, хотя бы это и было не то, о чем она мечтала. Но с другой стороны, этот разговор дает мне по крайней мере возможность несколько оправдаться в ее глазах, показать, что я понимаю, каково ей; ведь на первый взгляд может показаться, что я просто обыкновенный эгоист и стараюсь только добить-

СТИХИ МОЛОДЫХ

СТЕФАН ЦАНЕВ

БОЛГАРИЯ

ИСПОВЕДЬ БЕЗ ПАТЕТИКИ

Прежде чем тебя поцеловать,
я хотел тебе сказать,
каков я.
Но не успел:
мы поцеловались внезапно.
А потому теперь,
прежде чем ты зальешь меня
золотыми волнами своих кудрей,—
выслушай.

Уж давно меня не называли
самым добрым человеком на свете,
и я забыл,
что значит быть добрым.
Мое прошлое —
прошлое
романтичного юноши,
танцующего на столах и
на крышах,—
ведь нет ничего скучнее
безопасной глади
танцевального зала.

Я часто падал,
от преувеличенной искренности...
я терял равновесие.
Я вырос на вокзалах, в ресторанах,
на автостанциях,
я в гостиницах видел
свои сны.
Я не имею постоянного
местожительства
и не хочу его иметь —
я боюсь власти вещей,
неподвижного горизонта за окнами
и людей с неподвижными
горизонтами...

Впустую ли я прошел по дорогам,
много ли приобрел
или больше растратил —
но сейчас нет у меня ничего другого,
кроме самого себя,
кроме тихого желания
раздать себя до последнего атома.

Если этого хватит —
ты меня залей
золотыми волнами своих кудрей...

Перевод с болгарского
Виктора ВИНОГРАДОВА

ся своего. К сожалению, в каждом человеке есть две стороны, и Ингрид пробуждает далеко не лучшее, что есть во мне.

— Может быть, ты хочешь покончить?— говорю я. В таком состоянии, как у меня сейчас, нелегко произнести подобные слова, но я считаю, что обязан пойти ей навстречу, если это то, чего она хочет.— Едва ли я могу осуждать тебя.

Несколько секунд она молчит и, по-видимому, размышляет, стоя совсем близко ко мне и глядя в пол. Потом говорит:

— Нет, я не хочу покончить.

И когда она поднимает голову и целует меня, в ее поцелуе я снова чувствую все то, что она раньше старалась подавить в себе.

Я принимаюсь расстегивать на ней блузку, и она не противится, потому что мы и раньше проделывали это. Но когда я хочу пойти дальше, она удерживает мою руку.

— В чем дело?

— Кто-нибудь может прийти.

— Разве ты кого-нибудь ждешь?

— Нет, но ведь никогда нельзя поручиться.

— Запри дверь.

— Я уже заперла.

— Ну так если кто-нибудь придет, ты можешь сделать вид, будто принимала ванну,— говорю я первое, что приходит мне в голову.

— О, Вик...

— Прошу тебя, Ингрид, прошу тебя.

— Ну зачем, право же, этого не нужно.

— Это тебе не нужно. Ты девушка. А для меня это очень много значит. Я иногда не могу думать ни о чем другом. Лежу в постели и все время представляю себе...

— Но я же не могу раздеваться, пока ты здесь. Ты должен выйти.

— Ну прошу тебя. Я бы сделал это для тебя.

— Нет, Вик, я не могу, честное слово. Ты должен выйти.

— Ну хорошо,— говорю я. Нельзя же требовать сразу всего.— Я пойду в ванную.

— Поднимись по лестнице — ванная наверху, первая дверь направо. Только не приходи слишком скоро, ладно?

Я смотрю на часы.

— Сейчас половина. Я вернусь без двадцати.

Она зажигает лампочку возле телевизора и выключает верхний свет. Потом подходит к камину и, опершись рукой о каминную полку, стоит и смотрит в огонь.

Я выхожу из столовой, иду по коридору и поднимаюсь по лестнице. Чувствую под ногами толстый ковер. Дом невелик, но обстановка производит на меня большое впечатление. По-видимому, мистер Росуэлл тратит немало денег на то, чтобы Ингрид и ее мамаше уютно жилось в этом доме, пока сам он где-то там путешествует. Стены ванной выкрашены в розовый цвет и облицованы черным кафелем примерно на высоту человеческого роста. У нас дома ванна стоит на четырех чугунных ножках, похожих на лапы, а здесь она по-новомодному утоплена в пол и тоже облицована черным кафелем.

Я совершенно не знаю, куда себя девать эти десять минут, которые нужно выждать, но, бросив взгляд в зеркало над раковиной, вижу, что не мешает причесаться, и некоторое количество времени уходит у меня на то, чтобы пригладить вихры. Затем я мою руки голубым душистым мылом, подношу их, сложив лодочкой, к самым губам, дышу и стараюсь проверить, не пахнет ли у меня изо рта. Это не очень надежный способ, но у меня нет оснований особенно беспокоиться на этот счет. Потом я опускаю крышку унитаза и усаживаюсь. Смотрю на часы и вижу, что

остается еще пять минут. Я сижу и думаю об Ингрид там, внизу, в столовой, думаю о том, что она сейчас делает. Совершенно неожиданно в памяти всплывают слова, которые изрекла как-то наша Старушенция, когда я вляпался в одну историю... Не помню уже, что такое со мной тогда было, помню только, как она сказала: «Никогда не делай того, в чем ты постыдился бы признаться матери». О господи! — думаю, видела бы она меня сейчас! Послушать ее, да и Старика, если на то пошло, тоже, так я и теперь еще должен был бы верить, что детей находят под капустным листом и что вся разница между мужчиной и женщиной только в том, что у женщин волосы растут преимущественно на голове, а не на подбородке и им не надо бриться. И я думаю: какая все-таки странная штука это различие полов и то, как мужчины теряют из-за женщин голову и совершают всевозможные безумства. Так оно было с сотворения мира, а вот теперь случилось со мной, и никто не знает, когда и чем все это может кончиться.

Я нарочно задерживаюсь наверху еще лишние две минуты. Когда я спускаюсь по лестнице, ноги у меня как ватные.

III

Несколько дней спустя выпадает первый настоящий снег. Он идет всю ночь, а утром, когда все спешат на работу, снегоочистители уже стараются на улицах вовсю. Снег держится почти целые две недели, и даже, когда он начинает таять, в полях и в разных закоулках, где никто не ходит, еще долго лежат грязновато-белые комья. И по-прежнему холодно. Холоднее даже, чем в те дни, когда шел снег. Теперь все покрыто льдом, мороз здорово пощипывает, и просто не верится, что когда-нибудь опять будет тепло. Словом, наступает самое скверное время для любовных встреч под открытым небом, и мы с Ингрид чаще ходим в кино. Но все же время от времени мы не можем не пойти в парк, хотя бы просто для того, чтобы укрыться там в какой-нибудь беседке. В такие вечера, когда руки у меня словно две ледышки, мне вспоминается их уютная столовая, камин и кушетка. Но снова побыть там, как тогда, вдвоем, нам больше не посчастливилось ни разу.

Но кое-что изменилось. Было время, когда даже помыслить о том, чтобы дойти с Ингрид до самого конца, было для меня так же невозможно, как задумать ограбление банка. Ведь это значило бы просто накликать на себя беду. Но с тех пор, как я увидел ее без одежды, узнал, какова она, убедился в том, как она и в самом деле ослепительно хороша, соблазн уже поселился во мне и словно какой-то чертенок сидит на плече и нашептывает в ухо: «Чего ты медлишь, познай то, что тебе хочется познать. Тебе уже двадцать один год, а ты еще никогда ни с кем этого не пробовал. Ты уже зашел так далеко, почему не пойти чуть дальше? Ничего в этом нет дурного, все это делают, а она сама хочет».

И вот однажды вечером, когда мороз внезапно спал и в воздухе опять потеплело, мы направились к нашему старому местечку под деревьями. Чертенок на этот раз нашептывал особенно настойчиво, и, право, можно подумать, что он или какой-то его дружок нашептывал то же самое и Ингрид, потому что это произошло. Мне не пришлось принуждать ее, не пришлось, в сущности, даже уговаривать; она, казалось, так же была готова к этому, как и я, и мы опомнились лишь после того, как все уже случилось.

— Все будет в порядке, Вик? Как ты думаешь? — спрашивает она меня шепотом.

— Что именно? А, ну конечно! — Откуда мне знать, черт побери!— думаю я. Дай бог, чтобы было в порядке, вот и все, что я могу сказать.

— Но мы больше не будем так рисковать, хорошо?

— Нет, не будем. Я что-нибудь раздобуду.— Когда на меня снова это накатит и я захочу видеть ее, я постараюсь что-нибудь раздобыть. Я еще сам не знаю как. Нельзя же войти в аптеку и спросить это, как пачку папирос! Надо будет посоветоваться с Уилли, он-то уж знает. А по мне, сейчас, так хоть бы это никогда больше не повторилось. Теперь, когда все позади, мне странно, почему этому придают такое значение, и я жалею, что мы зашли так далеко, когда можно было получать удовольствие без всякого риска, как мы это делали прежде.

Но проходит дня два, и мне уже не терпится все это повторить, и я даже важничаю в душе, чувствую себя настоящим мужчиной. Этаким искушенным во всех делах пижоном с любовницей, которая влюблена в него по уши и всегда к его услугам. И я начинаю поглядывать по сторонам в надежде, что мне попадется где-нибудь Уилли, но именно теперь, когда он мне так нужен, Уилли словно сквозь землю провалился. И вот однажды вечером я отправляюсь к нему, хотя и не очень рассчитываю застать его дома. Я прежде был у Уилли всего раз, и мне у него очень не понравилось. Он живет на крутой грязной улочке, где дома лезут в гору и лепятся друг над другом и все дворы кишмя кишат сопливыми мальчишками, у которых штаны мешком свисают с задницы. Старшие братья Уилли — шайка отъявленных хулиганов и вечно под мухой, и мать у них довольно-таки гнусная с виду тетка. Наша мать грубовата на язык и всякое такое, но она никак не чета такой неряхе.

Когда я иду по улице, из какого-то дома с ревом выбегает малыш. Лет пяти-шести, замызганный как черт. Ревет так, что я останавливаюсь. Ребятишки вечно ревут по каждому пустяку, но этот уж так рыдает, так рыдает, что кажется, у него сейчас разорвется сердце. Я никогда не слыхал, чтобы ребенок мог рыдать с таким отчаянием, и у меня вся душа переворачивается.

Уилли нет дома, и я спрашиваю его мамашу, не знает ли она, где он обретается.

— Нет,— говорит она, стоя на крыльце и сложив руки под засаленным передником.— Откуда мне знать? Он никогда не говорит, куда идет. А ты бы поискал его в пивных, он больше там околачивается.

— Я его еще нигде не искал. Пришел прямо сюда.

— А ты знаешь, куда он ходит?

— Знаю одну-две пивные, где он любит пропустить кружку пива.

— Ну вот, поищи там. А может, он в кино пошел. Этот малый почитай что каждый вечер торчит в кино. Кончит тем, что ослепнет раньше времени. Я уж ему сто раз говорила.

— Пойду поищу, пожалуй.

— Ну да, пойди поищи.— Она оглядывает меня с головы до пят, рассматривает, что на мне надето. Я вижу, она меня не узнает.— А что, он тебе так больно нужен?

— Да нет. Просто мы с ним учились вместе. Давно его не видал, ну и решил заглянуть.

Она кивает.

— Понятно. Ну что ж, ступай поищи в пивных. Где-нибудь наскочишь на него.

Я иду по улице, а она смотрит мне вслед, стоя на крыльце. Потом окликает меня.

— Мне что-то помнится,— кричит она,— он вроде как поминал насчет биллиарда. Ты знаешь, где здесь биллиардная-то?

Я говорю ей, что это мне известно и что я попробую заглянуть сначала туда. И ухожу, думая о том, что ей ровным счетом наплевать, где шляется Уилли, лишь бы он не вертелся под ногами. Интересно, думаю, как бы я себя чувствовал, будь у меня такая мамаша. Да уж моя в мил-

лион раз лучше, хотя и любит совать нос в чужие дела.

Поднимаюсь по деревянной лестнице в биллиардную, которая помещается на рыночной площади, на углу Кооперативной улицы. Отсюда в базарный день хорошо видны все парусиновые навесы палаток, вплоть до стеклянной крыши главного рыночного здания. Уилли, скинув пиджак, играет на одном из четырех биллиардов под яркой лампой с круглым абажуром.

— Привет, Уилли!

— А, Вик, старый хрыч! Как жизнь?

— Помаленьку.

Уилли натирает мелом кончик кия и наклоняется над биллиардом.

— Хочешь сыграть? — спрашивает он.

— Нет, я искал тебя. Заходил к тебе домой. Твоя мать сказала, что ты, верно, здесь.

— У тебя срочное дело?

— Нет, просто хотел тебя проведать. Давно не видались.

— Тоже правильно, — говорит Уилли.

В зале еще человек пять каких-то парней, и этот малый, с которым Уилли играет, тоже мне не знаком. Они играют американку. Уилли посылает шар, и он с треском ударяется о борт.

— Я сейчас, только утру Фреду сопли и отправлю его домой к мамочке, и мы с тобой пойдем выпьем пива, ладно?

Парень, которого зовут Фредом, ухмыляется:

— Ну, такими ударами ты не скоро отправишь меня домой к мамочке, Уилли,— говорит он.

— А! — невозмутимо бросает Уилли.— Вся соль не в том, как играть, а в том, чтобы получать от этого удовольствие. Я вот получаю больше удовольствия, чем ты, потому что ты играешь, чтобы выиграть, а мне интересно и так.

Я расстегиваю плащ, закуриваю и сажусь — жду, когда они кончат. Этот малый, Фред, вчистую обыгрывает Уилли, и тот ставит кий на место, улыбается и подмигивает мне.

СТИХИ МОЛОДЫХ

АДА К. АГВУ
НИГЕРИЯ

ГДЕ-ТО В АФРИКЕ

По утрам встает светило
Где-то в этой Африке.
Только нет псалмов хвалебных,
Ибо людям все постыло —
И светила и молебны
Где-то в этой Африке.

Дует ветер, новый ветер
Где-то в этой Африке.
Но не ласковый, не с моря —
Завывают на рассвете
Вихри горечи и горя
Где-то в этой Африке.

Отняты мужья судьбою
Где-то в этой Африке.
Нет их дома днем и ночью;
Не семьею, а пальбою
Каждый нынче озабочен
Где-то в этой Африке.

Горько женщины рыдают
Где-то в этой Африке.
Тошно жить на белом свете,
Если дети голодают,
Если умирают дети
Где-то в этой Африке.

Ребятишки клянчат, плача,
Где-то в этой Африке
Корку хлеба, ложку пищи,
Невдомек мозгам ребячьим,
Что таких вещей не сыщешь
Где-то в этой Африке.

Ловкачи-политиканы
Где-то в этой Африке
Предают народ злосчастный,
Безучастный к чистогану,
К авантюрам непричастный,
Где-то в этой Африке.

Перевод с английского
Асара ЭППЕЛЯ

— Порядок. Теперь пойдем выпьем. Пойдешь с нами, Фред?

Фред отказывается — он хочет сыграть еще разок, и я очень этому рад, потому что мне надо поговорить с Уилли с глазу на глаз. Мы спускаемся по лестнице и заходим в «Корону», которая помещается рядом. В этот вечер здесь тихо и пусто — мы с Уилли чуть ли не одни во всем зале. Мы пьем пиво и болтаем о том, о сем, прежде чем я решаюсь приступить к делу.

— Послушай, Уилли, когда у тебя дела с девушкой, ну, понимаешь, когда они идут уже на полный ход, где ты достаешь свои принадлежности?

— Ого! — говорит Уилли.— Так вот оно что! Тебе это понадобилось?

С Уилли надо говорить напрямик, и я выпаливаю:

— Ну да, у меня есть девушка, и у нас с ней все на мази, только я не хочу рисковать.

— А может, возьмешь меня в долю? — спрашивает Уилли.— Расходы пополам.

— Она не шлюха, Уилли. Просто она любит меня. Мы с ней уже давно встречаемся.

— А как ее зовут? Я ее знаю?

— Нет. Она не в нашем районе живет... Понимаешь, мне только бы достать эту штуку и у меня будет полный порядок.

— Везет тебе,— говорит Уилли.

— А ты где это достаешь? Есть у тебя при себе?

— Признаться, я сам сейчас сижу на мели. Ну, да ты можешь купить. Пойди в аптеку и спроси.

— В какую аптеку?

— Да в любую. А разве твой парикмахер не держит их для своих клиентов?

— Я не знаю.

— Почти все они это делают.

— Наш-то парикмахер, видишь ли, друг-приятель моего Старика.

— Да мало ли где можно достать.

— А представь, зайдешь в аптеку, и продавец там — девушка?

— Ну и что? Она не хуже других знает, для чего это предназначается.

— Я не смогу спросить это у девушки, Уилли. Мне будет стыдно.— Я глотаю пиво.— Послушай, Уилли, может, купишь для меня? Денег я тебе дам.

— А сам-то ты почему не можешь? Придется же тебе когда-нибудь самому.

— Мне кажется, я не смогу, Уилли. Я буду бояться, что они станут спрашивать, сколько мне лет или еще что-нибудь.

— Ну и пусть, ты совершеннолетний.

— Ну да, но мне будет стыдно.

— А, чепуха все это!

Я вижу, что он увиливает, и у меня закрадывается подозрение, не заливал ли он всегда малость.

— Кто была эта девчонка — первая, с которой ты гулял, Уилли?

— Да так, одна чувиха.

— А когда последний раз это у тебя было?

— На прошлой неделе.

— Но только в твоем разгоряченном мозгу, верно, Уилли?

— А какое твое собачье дело? — говорит Уилли.

Я ухмыляюсь во весь рот и протягиваю руку к пустой Уиллиной кружке.

— Не сердись, давай выпьем еще.

IV

— Ты что-нибудь достал?.. Ну, ты понимаешь...— спрашивает она.

— Нет. В субботу я был в городе, но так и не решился зайти в аптеку и спросить.

— Тогда нам... Пожалуй, тогда нам не следует заходить слишком далеко, правда?

— Нет, мы не будем заходить слишком далеко.

Я подталкиваю ее на мой плащ, расстеленный на земле, целую ее, прижимаюсь к ней всем телом и... Какой же я кретин несчастный! — думаю я. Вот здесь наконец-то все к моим услугам, а я из-за какой-то дурацкой застенчивости упускаю это.

А потом опять все, как всегда, как было прежде, и мне кажется, что на этот раз я уже покончил с этим навсегда, даже ни на одну женщину больше не погляжу. Вот в такие минуты, только в такие минуты, когда все как-то проясняется у меня в голове, я чувствую себя так, словно меня выпустили на волю из тюрьмы... и впереди — простор и столько всяких замечательных вещей, и ничто уже не мешает этим пользоваться, не зудит тебя, как прежде, когда, что ты ни делаешь — читаешь ли книгу, слушаешь ли музыку, сидишь ли в кино,— мысль о какой-то девчонке ни на секунду не оставляет тебя в покое, и ты только и думаешь о ней, и о том, что тебе хочется ее касаться, и чтобы она касалась тебя. Однако для того, чтобы совсем, полностью освободиться от этого наваждения, я должен быть далеко от нее, потому что, пока я здесь, я не могу не чувствовать себя последним подонком из-за того, что так обхожусь с ней. Мне кажется, что люди порой ведут себя совсем как животные, как бродячие псы, которые занимаются своим делом прямо на улице и плевать хотят на то, что мимо них взад и вперед снует народ. Только животные куда разумнее: покончив с этим, они просто расходятся в разные стороны, а людям непременно нужно еще поговорить. А мне не хочется ни о чем говорить с Ингрид, мне хочется встать и уйти и чувствовать себя свободным. Я не хочу торчать здесь, и слушать ее глупую трескотню, и говорить «да» и «нет» и «я думаю так» да «я думаю этак», в то время как я не думаю ничего, кроме того, что мне хочется убраться куда-нибудь подальше, где бы я мог почувствовать себя свободным и от нее и от всех женщин на свете и никогда больше не пожелать ни одной из них. Только вот какая штука — я ведь вовсе не хочу совсем никогда не желать женщин, я только не хочу, чтобы это было вот так. Может ведь быть и по-другому, и с той, единственной, девушкой, о которой я всегда мечтал, это и будет по-другому, и мне захочется остаться возле нее и разговаривать с ней, и шутить, и смеяться, и, быть может, даже касаться ее — только бережно, нежно. И когда я об этом думаю, у меня щемит сердце и я со страхом спрашиваю себя, встречу ли я такую девушку когда-нибудь.

Я сажусь и оглядываюсь по сторонам. Смотрю на травянистый склон холма, и на белеющую внизу тропинку, и на край открытой эстрады, чуть проглядывающей в просвете между деревьями, и внезапно такое острое чувство одиночества охватывает меня, что я пугаюсь и говорю первое, что подворачивается на язык:

— Что-то прохладно становится. Как тебе кажется?

Она все еще лежит на плаще, и меня удивляет, почему она так молчалива, в то время как обычно у нее уже наготове целая куча новостей.

— Может, погуляем немного? — Мне хочется двигаться. Я просто не в силах больше торчать здесь.

Она не отвечает и лежит, полуотвернувшись от меня.

— Тебе не плохо? — спрашиваю я ее, напрасно прождав ответа.

Она бормочет что-то, и я с трудом разбираю:

— Нет!

— Пошли погуляем. Я продрог.

Она опять бормочет что-то, я не могу разобрать что и говорю:

— Что ты сказала?

— Мне кажется, у меня не все в порядке, Вик,— говорит она.

На этот раз я слышу, что она сказала, отлично слышу. Сердце у меня проваливается куда-то, и от страха все начинает как-то противно дрожать внутри — словно там большая летучая мышь хлопает крыльями.

— Что это значит: «не все в порядке»? — Я прекрасно понимаю, что это значит, и все-таки еще надеюсь, что, быть может, я ошибся.

Она говорит очень спокойно и тихо, и я вижу — она не шутит:

— Кое-что должно было случиться, а ничего нет.

— Как это понять — ничего нет? — Голос у меня звучит довольно резко, но я не могу иначе — боюсь, что она заметит, как я испуган.

— Ты знаешь, о чем я.

— Ну и... Сколько уже времени прошло?

— Десять дней.

— Десять дней... Но ведь это же пустяки?

— Для меня не пустяки. У меня обычно, как по часам.

— Ну, а на этот раз не так.— Меня самого удивляет, как звучит теперь мой голос. Внутри я просто весь съежился от ужаса, а послушать меня — так мне сто раз на все это наплевать.— Пошли,— говорю я,— давай пройдемся.

— У меня так никогда не было, Вик,— говорит она, все еще не двигаясь с места.

— Ну послушай, как могло что-нибудь случиться? Ну как?

— Ты прекрасно знаешь, что могло.

— Ну послушай, другие годами это делают, и ничего не случается. Моя сестра замужем уже несколько месяцев, и никаких признаков пока. Я даже не уверен, что у нас все было как надо... Не могу же я вдаваться в подробности, ты, надеюсь, понимаешь.

Теперь она села наконец, но голова у нее опущена, и она теребит пальцами свой носовой платок.

— Я понимаю только одно: прошло уже десять дней, а со мной этого никогда не бывало... И мне страшно, Вик!

И мне тоже. Ох, друзья мои, если бы вы знали, как мне страшно! Хочется вскочить и опрометью помчаться прочь, бегом, через весь парк, убежать от нее, убежать как можно дальше! Словно это может чему-то помочь. Но все же я должен уйти, должен остаться один, чтобы можно было обдумать то, что случилось, и не притворяться при этом и ничего из себя не разыгрывать для ее успокоения. О господи, в какую историю я влип!

— Ты пугаешься по пустякам. Вставай, пошли погуляем.

— Хотела бы я иметь твою уверенность.

Не захотела бы, если бы могла заглянуть ко мне в душу, бедняжка, думаю я.

— Тебе нужно только одно — перестать тревожиться. У тебя, может быть, потому и задержалось все, что ты стала тревожиться. Получился заколдованный круг... Ну, вставай, пошли.— Если мне придется повторить это еще раз, я не выдержу и заору.

Она встает, оправляет платье. Я поднимаю с земли плащ, встряхиваю его и думаю о том, сколько раз встряхивал я его на этом самом месте. Я никогда не могу вовремя остановиться, вот в чем беда. Жил себе свободный, как птица, счастливый, так нет, надо же было влипнуть в такую историю. И ведь я по-настоящему даже радости особой от этого

не получил. Ну ладно. Никогда больше. Если на этот раз все обойдется благополучно — конец. Решено. Точка. Конец.

У ворот парка я говорю ей:

— А теперь брось об этом думать. В следующий раз, когда мы с тобой увидимся, у тебя уже все будет в порядке.

— Я надеюсь,— говорит она тусклым голосом.— А что мы будем делать, если все-таки не обойдется?

О господи, я даже подумать об этом не могу!

— Говорю тебе, все будет в порядке, так что перестань беспокоиться.

Я чувствую, что ей хочется побыть со мной еще немного — ей трудно идти домой с этой тяжестью на душе. А может, она боится выдать себя. Да, она не то, что я. Мне бы надо, верно, попробовать свои силы хоть на любительской сцене, что ли! Вот уж никогда не думал, что я такой великий актер.

А в последующие дни я получаю полную возможность упражнять эти свои способности. Не могу припомнить, чтобы в моей жизни были еще когда-нибудь такие ужасные дни, как эти пять дней, когда я все хожу и притворяюсь, веду себя как самый беззаботный человек на свете, а на сердце у меня кошки скребут. Теперь я знаю, как, оказывается, люди могут прятать от чужих глаз свои беды и тревоги, когда им это необходимо, ведь никто, даже наша Старушенция, ни на секунду не догадывается, что у меня что-то неладно. Мне все время до смерти хочется позвонить Ингрид и услышать, что все в порядке, но я не решаюсь — боюсь узнать обратное. К тому же, мне кажется, она сама позвонит, если это действительно произойдет. А потом я говорю себе, что не станет звонить, потому что я ведь изображал такую уверенность, и она может подумать: зачем сообщать мне о том, в чем я никогда ни минуты не сомневался.

Быть может, мне придется жениться на ней. Никуда от этого не денешься. Если то, чего я жду, не произойдет, я должен буду жениться на ней. При одной мысли об этом меня бросает в холодный пот. Я знаю, что есть такие места на земле, где можно жениться на девушке, если она ждет ребенка, а потом развестись. Но только не здесь, не там, где я живу. И у нас, конечно, бывает, что люди разводятся и разъезжаются в разные стороны, но только не в нашей среде. У нас, если какой-нибудь парень вроде меня женится, так уж это в девяноста случаях из ста на всю жизнь. Приговорен пожизненно, и старайся не вешать носа. И притом, что же это за женитьба, если уже с самого начала думаешь о разводе! Кому такая женитьба нужна! Разве это брак? Брак должен быть таким, как у Дэвида с Крис. И у меня могло бы быть так с той девушкой... С той, о которой я мечтаю... Но чтобы жениться вот так, совсем не на той... Нет, больше никогда, говорю я себе. Если только сейчас все сойдет с рук, я увижусь с Ингрид еще один-единственный раз, чтобы объяснить ей все, и потом конец. Крышка. Капут. Как бы сильно ни захотелось мне начать все сначала.

На пятый день (или на пятый год!) вечером в магазине раздается телефонный звонок, и мистер ван Гуйтен говорит:

— Это вас, Виктор. Какая-то молодая особа.

Сердце бухает у меня в груди, как паровой молот, когда я беру трубку и, оглянувшись по сторонам, судорожно глотаю воздух, прежде чем мне удается выдавить из себя:

— Слушаю.

— Хэлло, Вик? Это Ингрид.

— Здравствуй, Ингрид. Как дела?

СТИХИ МОЛОДЫХ

МИКУЛАШ КОВАЧ
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ОСВЕНЦИМ, 1958

МУЗЕЙ

1

**За большим
холодным окном —
человечьи волосы в кучу свалены:**

**седые волосы
ремесленника старого,
полные пыли,**

**черные волосы женщины,
перевязанные
голубой лентой,**

**золотые волосы девочки
с сидящей на них
красной бабочкой.**

**Куда же ушли вы,
люди остриженные?
За большим
холодным окном —
тощие сумочки,
картонные чемоданы:**

**Сабадош Янош —
из Будапешта.
Пьер Фонтен —
из Марселя.
Свобода Иржи —
из Оломоуца.**

**Куда же ушли вы,
люди с пустыми руками?**

**За большим
холодным стеклом —
скрипят инвалидов протезы:**

**деревянные ноги
с ссохшимися ремнями,
похожие на пауков, давно
вымерших,
руки резиновые,
с живых локтей
сорванные.**

**Куда же ушли вы,
люди безногие?**

**Все мы ушли
в небо лазурное
сквозь черную трубу дымовую.**

**И небо полно
безногих ангелов,
ангелов нумерованных,
ангелов
с выбитыми зубами.**

— Я все ждала, что ты мне позвонишь, Вик. Потом решила, что, может, что-нибудь случилось и ты не ходишь на работу.

— Нет, нет, ничего не случилось... Просто замотался с разными делами.— Я сую руку за борт куртки и стараюсь унять бешеный галоп моего сердца.

— Вик... Ничего не произошло. Вот уже две недели теперь.

— Ты меня не разыгрываешь? — Черта с два, станет она разыгрывать!

— Такими вещами не шутят, ты знаешь.

— Но ведь еще не так много времени прошло...

— Все, конечно, бывает... Послушай, Вик, я должна тебя повидать. Нам надо поговорить. Я не могу об этом по телефону. Можем мы встретиться сегодня вечером?

— Сегодня вечером? Не знаю, у меня сегодня что-то...— Ни черта у меня сегодня нет, но мое первое инстинктивное стремление — отодвинуть нашу встречу подальше.

— Прошу тебя, Вик, встретимся сегодня. Не откладывай, пожалуйста. Мне необходимо тебя увидеть.

Я чувствую, что ей необходимо поделиться с кем-то своей тревогой, иначе она может слететь с катушек, и уж, конечно, лучше, чтобы она поделилась со мной, чем с кем-нибудь еще. За этих девчонок никак нельзя поручиться. Некоторые из них решительно все выбалтывают своим подружкам.

— Ладно, значит, сегодня вечером. Где всегда, в обычное время.

Я вешаю трубку и тяжело опираюсь обеими руками о прилавок. Для меня уже ясно, ясно как апельсин, что ждать больше нечего — она беременна.

V

— Давай обсудим все по порядку. У тебя задержка на две недели...

— На пятнадцать дней,— говорит она.

— Хорошо, на пятнадцать дней, разве это так много? Я не очень во всем этом разбираюсь, но разве у женщин не бывает так иногда?

— У некоторых бывает, они и не беспокоятся. Но у меня не бывает.

Я уже говорила тебе, Вик, что со мной этого ни разу не случалось. У меня как часы.

— Ну, может, ты просто переутомилась и тебе нужно попить чего-нибудь укрепляющего. Может, надо сходить к врачу.

— Я чувствую, что мне давно надо бы пойти к врачу,— говорит она,— но только не за укрепляющим.

— Делай что знаешь, но не впадай в панику. Еще не все потеряно. Может, еще все обойдется.

Мы в парке, в беседке, вечер теплый, тихий, небо чистое. Но мы сидим в стороне друг от друга, и никто из нас не испытывает особого желания выйти из беседки и полежать на траве.

— И еще есть одна вещь,— говорит Ингрид.— Я не могла сказать тебе этого по телефону... Мама все знает. Мне пришлось признаться ей.

У меня перехватывает дыхание. Словно кто-то отвесил мне хороший удар ногой прямо в солнечное сплетение.

— Час от часу не легче! Ингрид! Как, черт побери, могла ты это сделать? Нельзя разве было помолчать еще немножко? — О, господи, теперь мы пропали!

— Я должна была сказать маме, Вик. Она не хуже меня знает, что у меня всегда день в день. Она стала приставать ко мне с вопросами. Ты не знаешь мою маму, не знаешь, как она умеет выудить из тебя все, что ей нужно. Я просто не выдержала, разревелась и все ей рассказала.

Лишь бы она не разревелась сейчас, думаю я. Лишь бы она не начала рыдать во весь голос в довершение всего!

— И что же, ты ей все, все рассказала?

— Да... в общем...

А какое теперь это имеет значение, что она ей рассказала? Существует в конце концов только один способ сделать девушке ребенка. Я думаю о том, сколько парней попадало в такой вот переплет, как я, и перед глазами у меня возникает бесконечная вереница, уходящая куда-то в доисторические времена. Все они теперь небось подталкивают друг друга локтем, хи-

СТИХИ МОЛОДЫХ

Боже великий,
всесильный и праведный,
играют ли они на арфах,
когда тебе становится скучно?

2

После каждого, кто уйдет,
на земле этой
что-нибудь да останется.

И после нас что-то осталось.

Остались одеяла пушистые,
из волос наших изготовленные
(они теплые,
и спится под ними сладко).

Остались после нас
мягкие щетки,
из наших волос изготовленные
(ими отлично наводится блеск на
сапоги,
предназначенные к новым
походам).

Осталось мыло,
из наших костей изготовленное
(оно пенится, а руки после него —
душистые, чистые).

Осталось и облако,
большое, черное,
несущее в себе дождь,
каплн которого падают
в воду, которую пьете,
падают
на цветы, аромат которых
вдыхаете,
падают и будут вечно падать
на головы ваши
и на плечи ваши.

А куда исчезли голоса ваши?

Тишина,
на земле этой — глубокая тишина.
Только птица поет нашим
голосом —
птица,
которая была птицей, когда мы
были молоды,
птица,
которая была мясом пискливым,
когда умирали мы с голоду,
птица,
которая напилась нашей крови.

Слышите?

Перевод со словацкого
Александра ВАЛЬНИЦКОГО

хикают и перешептываются: «Глядите, вон еще один бедняга попался, прищемили ему хвост!»

— О, господи... И что она сказала?

— Что она могла сказать, как ты думаешь? Она была вне себя. Я еще никогда не видела ее такой разъяренной. Я даже не решусь тебе передать, что она говорила.

— Про меня?

— Ее ведь можно понять, верно?

Итак, в самом лучшем случае, если даже ничего страшного не произойдет, эта женщина всегда будет считать меня грязной скотиной, считать, что я едва не погубил ее дочь. Хорошо еще, если она не доложит обо всем нашей Старушенции. В любой день может прийти письмо...

— Она заставила меня принять горячую ванну и выпить джина. Мне кажется, теперь она уже жалеет об этом, но тогда она была просто вне себя от ужаса.

— И все-таки не помогло?

— Нет. Я не могла выдержать такой горячей ванны, а когда я выпила стакан джина, меня стошнило.

— Все же это... Это в какой-то мере убийство, то, что вы...

— Да, вероятно, в какой-то мере... Но сотни женщин это делают, и ты бы ничего не сказал, если бы только это помогло, не так ли?

— А что теперь она собирается предпринять?

— Говорит, что подождет еще неделю, а потом сведет меня к врачу.

— Вероятно, потом она захочет поговорить со мной?

— Она сказала, что напишет отцу, вызовет его домой. Она говорит, что ты должен иметь дело с мужчиной, когда придешь к нам.

— О, господи, ну и история!

— Вероятно, нам следовало подумать об этом раньше.

— Но ведь надо же, чтобы так не повезло — налетели в первый же раз, а другие годами стараются иметь детей, и хоть бы хны!

— Ты бы попробовал написать об этом в газету,— говорит она. Кажется, это самая остроумная шутка, которую я когда-либо от нее слышал, но мне не до смеха. Я не в силах даже выдавить улыбки.

Встаю, начинаю шагать взад и вперед. Да, выхода нет. Мне не отвертеться, это ясно как божий день. Придется через это пройти. Я вынимаю портсигар.

— Покурить-то мы во всяком случае можем. Это нам еще, слава богу, не возбраняется. Возьми сигарету...— Она берет сигарету, и мы закуриваем.

— Вик,— говорит она.— Что делать? Что теперь можно сделать?

Она расстроена, очень расстроена. Я вижу это. Не одному мне было тяжко эти последние пять дней. Да и до этого она ведь таила все про себя и мучилась одна уже много дней, прежде чем сказала мне. И в некотором отношении ей даже хуже, чем мне,— ведь это у нее будет большой живот и это на нее все будут показывать пальцем и судачить. Ей будет хуже, чем мне, во всем, за исключением одного: в конце концов она получит то, чего хотела,— она получит меня. Тоже ценная добыча, черт побери! Но, быть может, именно это и угнетает ее сейчас — быть может, она сомневается, женюсь ли я на ней, если самое скверное произойдет. Быть может, именно это так ее и тревожит...

Я знаю, что она беременна. Ни секунды в этом не сомневаюсь. И ни секунды не сомневаюсь, что мне из этой истории не выпутаться. Я попался, и никуда от этого не уйдешь. Ни-ку-да. Вот и пришел конец твоим мечтаниям, Вик Браун. Можешь больше не искать свой идеал. Ты его уже нашел — единственный, который тебе дозволено иметь. Ты в ловушке, и спасения тебе нет. Ох, идиот! Проклятый, жалкий идиот!

Итак, все ясно. Остается только произнести это вслух, и я прислоняюсь лбом к столбу беседки, гляжу в глубину парка и говорю:

— Не беспокойся. Мы поженимся. Вот что мы сделаем.

Ингрид молчит, но вскоре я слышу какие-то звуки у себя за спиной, оборачиваюсь и вижу, что она плачет.

— Перестань расстраиваться, я тебе сказал, что мы поженимся. Ты же не думаешь, что я тебя брошу? Ты не думаешь, что я улизну и оставлю тебя одну расхлебывать всю эту кашу? Я, черт подери, конечно не святой, но все же и не такой сукин сын.

Теперь она уже ревет белугой. Носовой платок пошел в ход, и водопровод открыт на полную катушку.

— Я всегда мечтала выйти за тебя замуж, Вик,— говорит она.— Часто мечтала о том, что ты сделаешь мне предложение. А теперь вот как все обернулось. Теперь получается, что ты вынужден. Не случись этого, ты ведь никогда бы не женился на мне? Знаю, что ты бы не женился. Знаю, что ты не любишь меня так, как я тебя люблю.

Ну хорошо, либо одно, либо другое, чего же она хочет? Вот, женщины — всегда так.

— Но ведь теперь я женюсь на тебе? Женюсь? Я ведь сделал тебе предложение? Сделал?

— Нет, ты можешь не жениться на мне, если не хочешь,— неожиданно говорит она.— Я не стану принуждать тебя к этому.

Смешно! Даже если она не будет принуждать меня, а все остальные? Могу себе представить, что поднимется, если я хоть на секунду дам им понять, что не хочу идти на это. Я уже сейчас вижу, как они навалятся на меня всем скопом. Нет, чтобы такое выдержать, нужен парень покрепче, я на это не гожусь.

— Но ты же не укажешь мне на дверь, ты сама прекрасно это знаешь, черт подери,— говорю я, и если это звучит нахально, ей-богу, я не виноват. Не такое уж это счастье — знать, что она меня любит. Если бы она меня не любила, мы, может, никогда не влипли бы в эту историю.

Мои слова вызывают новый поток слез.

— Нет, конечно,— говорит она,— конечно, нет. Я же всегда мечтала о тебе. Ты сам знаешь.

Я отворачиваюсь и снова смотрю в парк.

— Ну вот,— говорю я спокойно,— теперь ты меня получила.

Я стою, смотрю в парк и жалею — жалею так, как никогда и ни о чем на свете не жалел,— что она попалась мне однажды на глаза.

глава 5

Я наблюдаю, как вода уходит в сток раковины. Против часовой стрелки. Это зависит от притяжения земли к солнцу или чего-то в этом роде. В южном полушарии она течет по часовой стрелке. Интересно, что она делает на экваторе? Течет, не крутясь, прямо вниз, должно быть. Мне приходит в голову, что было бы шикарно провести отпуск, разгуливая по Африке и наблюдая, везде, где только сделаешь остановку, как уходит в землю вода. Сразу можно будет определить, когда ты пересек экватор: вода потечет в обратную сторону. Может, посчастливится попасть в такой город, который плюхнулся как раз на самый экватор, и в одном конце какой-нибудь улицы вода будет течь по часовой стрелке, в другом — против часовой стрелки, а посредине — прямо вниз. Пока ты будешь так разгуливать по Африке, тебе не грозит опасность попасть в беду — времени не хватит. На такую прогулочку уйдет, пожалуй, не один год...

СТИХИ МОЛОДЫХ

НАОКИ УСАМИ
ЯПОНИЯ

СТРАШИСЬ!

**У птицы сломаны крылья,
Но не гайфуном, нет —
Парить перестала птица!**

**У поэта запыленное горло,
Но не от пыли, нет —
Поэт перестал петь!**

ДЕВУШКА И ДЕРЕВО ГИНГКО

**Девушка парня ждала
Под деревом гингко.
Девушка не знала,
Что ее друг арестован.**

**Студенты — братья рабочих,
Первое Мая — наш праздник.
Так думали мы.
Народная площадь — площадь
народа,
Они не посмеют ее отнять.
Так думали мы.**

**Под звуки песен, рука в руке,
Со знаменем шли вперед —
Ради рабочих, ради мира.**

**Помню
Отчетливо, ясно...
Вдруг —
Слезоточивых гранат
Град,
Касок сверканье,
Блеск пистолетных дул...**

**Говорят, товарищ
Кричал полицейским:
— Не стреляйте в народ!
Не стреляйте в народ!**

**Девушка парня ждала.
Девушка ничего не знала.
Я хотел ей сказать.
Я к ней подошел,
Но стоял
С низко опущенной головой,
Словно яркая зелень гингко
Слепила меня...**

*Перевод с японского
Анатолия МАМОНОВА*

— Виктор, чай на столе.

— Иду.

Сегодня понедельник, и на кухне тепло и уютно, оттого что наша Старушенция гладит белье. Возле моего стакана с чаем кусок горячей пикши, и обычно, когда она такая золотистая и хрустящая лежит на тарелке, а большие шарики хорошего сливочного масла тают на ней и она почти плавает в этом растопленном жире, у меня от одного вида ее слюнки текут. Но сегодня я жую ее и жую, точно какую-то картонку, и никак не могу проглотить. Наша Старушенция наблюдает, как я единоборствую с пикшей, которую всегда убираю единым духом, и говорит:

— Ты что не пьешь чаю, Виктор?

— Да не хочется что-то.

— Ты вроде как любил раньше пикшу?

— Да я и люблю. Просто я не голоден, вот и все.

Половина седьмого. А в четверть восьмого я должен встретиться с Ингрид, и она ждет, что я ей что-нибудь сообщу. И подумать только, что было время, когда я, наевшись пикши и напившись чаю, разваливался на стуле, и единственный вопрос, который меня занимал,— куда бы лучше смотаться в кино, на какую картину.

Старик расчистил противоположный конец стола и разложил свои лотерейные билеты. Он любит заполнять их заранее, чтобы потом не позабыть.

— Ты что, напичкался сегодня всякой дряни? — спрашивает наша Старушенция.

— У меня ни крошки во рту не было.

Сегодня я пойду с Ингрид к ней домой, но сначала должен поговорить со Стариком и с матерью — я Ингрид это пообещал... Гладильная доска поскрипывает, когда наша Старушенция с силой налегает на утюг. Сейчас, в любую минуту, этот утюг может полететь мне в физиономию...

— Я к тебе обращаюсь, Вик,— доносится до меня голос Старика.

— Да? Что?

— Как ты полагаешь, говорю я, может Шеффилдская объединенная выиграть на этой неделе?

— А почем я знаю? — восклицаю

я, давая некоторую разрядку своему напряжению.— Что я, пророк, что ли?

— Потише, потише! — говорит Старик.— Я вас, кажется, вежливо спросил, молодой человек.

— Но я же ни шута не смыслю в футболе. Пора бы уж тебе научиться разбираться самому, вместо того чтобы вечно спрашивать меня.

Брови Старика лезут вверх над оправой очков, и он вопросительно смотрит на мать.

— Чего это ты, Виктор? — спрашивает она.— Что у тебя, неприятности на работе или еще что?

— У меня все в порядке.

Я встаю из-за стола, беру вечернюю газету и сажусь в сторонке. Я собирался немного умаслить их, прежде чем оглоушить своей новостью, а сам взял и сделал как раз обратное. Мне сейчас позарез нужен какой-нибудь предлог, к которому можно прицепиться, чтобы преподнести все это как бы невзначай. Будто и в самом деле можно преподнести подобное известие невзначай! Я просматриваю газету от первой до последней строчки, не понимая ни единого слова, и вижу, что уже без десяти семь. Больше тянуть нельзя. Это должно произойти сейчас, сию минуту. Старик тяжело дышит и бормочет что-то себе под нос, увековечивая шариковой ручкой свои футбольные прогнозы из лотерейных билетов. Гладильная доска поскрипывает, наша Старушенция все гладит и гладит.

Минуты две-три протекают в полном молчании, и я слышу голос, который произносит — словно кто-то просунул голову в дверь и сообщает новость:

— Я собираюсь жениться.

На мгновение все звуки замирают, воцаряется мертвая тишина, и я понимаю, что это произнес я.

Наша Старушенция застыла с поднятым утюгом в руке, и даже Старик позабыл про свои билеты. Наконец наша Старушенция с громким стуком ставит утюг на подставку, она так ошарашена, что еще не может произнести ни слова.

— На ком же это ты собираешься жениться? — спрашивает она, когда к ней возвращается дар речи.

СТИХИ МОЛОДЫХ

ДЕННИС БРУТУС
ЮАР

КАНУН

Раны страны моей неустанно
стонут, скрыты листвой зеленой.
Жизнь по капле стекает в реки,
реки уносят ее в океаны.

Родина бедная, знаю: с любовью
лишь для меня ты объятья раскрыла.
Радость моя — твои горы и долы,
радость моя смешана с болью

в черном потоке любви и страданья.
Как безмятежно прекрасны просторы!
О, как обманчиво тихо время!
Все ожидает. Все в ожиданье.

* * *

Так или йначе, мы живы до сих пор,
и нежность в сердце до сих пор жива,
хоть наши неприкрытые тела
во мраке ворошат прожекторами.
Над головами нашими — скрижаль
фашистских заповедей. Катастрофой
повеяло в ночи, где сапоги
высаживают стонущие двери.
Так или йначе, мы живы до сих пор.
Мы пережили смерть, раздел, неволю.
В асфальтовой ночи — змеиный свист
и тяжкие шаги, шаги патрульных.
Страна моя, тобой владеет страх,
хозяин твой лишен к тебе любви.
Но как бы ни было, мы живы до сих пор,
и нежность в сердце до сих пор жива.

Перевод с английского
Андрея СЕРГЕЕВА

— На одной девушке, ее зовут Ингрид Росуэлл. Она живет на Парковом проспекте.

— Как же мы до сих пор ничего об этом не знали?

— Я и сам не знал раньше. Я только сейчас это надумал.

Наша Старушенция иной раз не плохо ворочает мозгами, она уже, по-видимому, сразу раскумекала, что к чему.

— Похоже, тебе пришлось это надумать, так, что ли?

Я ерзаю на стуле. Не могу взглянуть ей в глаза. Она следит за мной, и Старик тоже, но он пока еще не сказал ни слова.

— Ты хочешь не хочешь, а должен жениться, так, что ли, Виктор?— спрашивает она напрямик.

Я открываю рот, пытаюсь что-то сказать, но не могу вымолвить ни слова. Вижу, что она ступает на коврик перед камином и направляется ко мне, съеживаюсь в комочек и прижимаюсь к спинке стула. Одна рука у нее приподнята, и я уверен, что сейчас получу затрещину. Но она опускает руку и вместо этого дает волю языку.

— Срамник ты,— говорит она.— Срамник и дурак набитый. Когда у тебя все впереди, связался с какой-то потаскушкой, с гулящей девчонкой, которая рада лечь под первого встречного...

— Она не такая. Не такая вовсе. Вот ты обзываешь ее черт знает как, а сама ведь даже и не знаешь ее совсем.

— Я знаю достаточно — знаю, что она ловко тебя заарканила. Подумать только, что ты мог бы жениться на любой хорошей, порядочной девушке! А вместо этого он, видите ли, хочет жениться на какой-то шлюхе, которая сумела подцепить его на крючок...

Я вскочил со стула и ору. И сам удивлен, с каким жаром бросаюсь я на защиту Ингрид.

— Она не такая, говорю тебе! Ты же ее не знаешь!

— Ну-ка, помолчите вы оба,— говорит Старик. Он встает и становится между нами, так что мы вынуждены немного попятиться.— Я всегда считал, что в таких вопросах следует выслушать обе стороны.

— Ты всегда считал?— восклицает наша Старушенция.— Да ты-то что в этом смыслишь?

— Ну, мне как-никак шестьдесят второй год пошел,— говорит Старик,— и я когда-то, помнится, ухаживал за тобой, и женился на тебе, и помог тебе произвести на свет троих ребятишек, так что, вероятно, и я кое-что в этом смыслю... И что правильно, то правильно — мне тоже не нравится, что ты так разошлась и обзываешь по-всякому эту девушку, а сама и в глаза ее не видала. Я не возьмусь судить, кто из них тут больше виноват, знаю только, что, ясное дело, виноваты оба, иначе быть не может. Наш Виктор тоже не ангел бесплотный, такой же парень, как все парни, и если эта девушка мягкая да привязчивая, всякое, конечно, могло случиться. Не они первые, не они последние. И если наш Виктор позабавился с девушкой, он, ясное дело, должен за это расплачиваться, как всякий другой, и это правильно.

— Сколько ей лет?— спрашивает наша Старушенция все еще угрюмо, но уже поспокойнее, теперь, после того как Старик сказал свое слово.

— Девятнадцать.

— Совсем еще девчонка,— замечает Старик.

— В наше время некоторые девчонки в девятнадцать лет знают больше, чем мы, старухи,— сварливо говорит наша Старушенция и, кажется, готова развести свою бодягу снова.

— Всякие есть, да, может, она не из таких. Если б они оба были поопытней, так не попали бы в беду. Вот мы на нее поглядим, тогда нам легче будет судить. Когда ты ее приведешь сюда, Виктор?

— Могу в любой день.

— Я еще не сказала, что хочу видеть ее в своем доме,— говорит наша Старушенция.

— Ты же не выставишь за дверь свою сноху, Люси.

— Она мне еще не сноха.

— А я так думаю — чем скорее она станет снохой, тем лучше.

— А что скажут соседи, да и вообще все?— говорит наша Старушенция.— У Кристины была такая чудесная свадьба...

— Соседи пускай занимаются своими делами и не лезут в наши.

Ну и ну! Я еще никогда не видал, чтобы Старик так твердо стоял на своем. Жаль только, что это произошло по такому поводу.

— Видел ты ее родителей?— спрашивает наша Старушенция.

— Я сегодня иду к ним. Хотел сначала сообщить вам.

— Очень любезно с твоей стороны,— говорит она.— Все же ты там следи за своими манерами. Пускай не думают, что ты вырос под забором. И смотри, чтобы наш Джим не пронюхал про то, чего ему знать не положено. Рано ему слышать о таких вещах, успеет еще.

Я перехватываю взгляд Старика. Выражение лица у него какое-то странное — ничего не поймешь. Я отворачиваюсь и иду к вешалке взять пальто.

II

— Ты сказал им?— спрашивает Ингрид.

— Да. Сказал.

— А они что сказали?

— Да примерно то, что и следовало ожидать. Мать раскипятилась. Мне даже показалось, что она хочет запустить мне в голову утюгом. Ну, а Старик рассуждал довольно здраво.

— Не знаю, как я посмотрю им в глаза.

— Ну, у тебя все сойдет прекрасно. С отцом тебе будет совсем просто, а с матерью, конечно, немножко потруднее. Она хорошая, только надо ее поближе узнать. А что ты порядочная девушка, это она сразу поймет.

— Ты именно это им и сказал?

— Что — это?

— Что я порядочная девушка.

— Ну да, а что? Что же ты, не порядочная разве? Ты ведь знаешь, что я никогда иначе не думал.

Она с видом собственницы взяла меня под руку, словно боясь, что я убегу,— раньше она никогда так не делала,— и прижала к себе мой локоть. Я поглядываю на нее сбоку и замечаю, что в глазах у нее стоят слезы.

— Ну чего ты еще?

Она качает головой.

— Ничего. Просто меня всегда трогает, когда ты добр ко мне.

Господи! Какой же сволочью я, вероятно, был по отношению к ней иногда!

От перекрестка до их дома ходьбы всего несколько минут, и мы уже поднимаемся по ступенькам на крыльцо. Собираясь отворить дверь, она говорит:

— Смотри не забудь — веди себя так, словно ты никогда у нас не был.

— Ты им, значит, об этом не рассказывала?

— Что ты, нет! Они и понятия не имеют о том, что ты здесь был.

— Ладно. Запомню.

Папаша у Ингрид небольшого роста, плотненький, чистенький, лет сорока пяти. У него черные, гладко прилизанные волосы, с пробором посредине. Глаза тоже почти совсем черные, но смотрят они на меня

довольно дружелюбно, когда Ингрид представляет нас друг другу и мы пожимаем руки. На ногах у него замшевые шлепанцы на меху, серые фланелевые, отлично отутюженные брюки, серая сорочка, красный шерстяной джемпер и довольно пестрый галстук.

— А морозец сегодня пощипывает,— замечает он, стоя спиной к камину.— Я так и знал, что будут заморозки. Опять холодает... Ну что ж, присаживайтесь, э-э... Виктор. Ингрид, что же ты стоишь, возьми у него пальто.

Ингрид берет у меня плащ, перекидывает его через руку и спрашивает, где мать.

— Наверху. Приводит себя в порядок, должно быть. Сейчас спустится.

Ингрид уходит и не возвращается. Мистер Росуэлл жестом предлагает мне кресло, и мы оба садимся. Он сидит в том самом кресле, в котором Ингрид сидела в тот вечер. Я смотрю на кушетку и вспоминаю, как она лежала на ней совершенно нагая, и думаю о том, что сказал бы ее отец, если бы он об этом узнал. И у меня мелькает мысль, что я мог бы, если на то пошло, проделать с ней все здесь, где нам было уютно и тепло и где мы были надежно укрыты от всех глаз, а не там в парке, где было холодно и никто из нас в сущности не испытал удовольствия.

Мистер Росуэлл тянется к телевизору и берет пачку сигарет «Плейерс».

— Вы курите?

— Да... Спасибо.— Я беру сигарету, и мы закуриваем.

Теперь он сидит и смотрит на меня. Скорей бы уж возвращалась Ингрид!

— Вы, насколько я понимаю, никак не ожидали, что все это так обернется?

— Да, сказать по правде, не ожидал. Однако я готов принять на себя ответственность.

— Это правильно. Я рад, что вы не собираетесь увиливать от ответственности. Ингрид сообщила мне, что вы сделали ей предложение.

— Ну да... То есть я сделал это тотчас, как только я... Как только она...

— Это явилось для вас большой неожиданностью?

— Да, признаться.

— Но вы должны были предполагать, что это может случиться...

Я чувствую, что лицо у меня пылает.

— Да, конечно... но мы ведь не... Мы ведь не...

— У вас это еще не вошло в привычку?

— Да, вот именно. Это было всего один раз, вы понимаете...

Он смотрит на меня своими темными глазами. Я не знаю, о чем он думает, верит он мне или нет. Но сам-то я, по совести, считаю, что при других встречах мы с Ингрид проделывали, по существу, то же самое, и это ничуть не менее скверно, хотя и менее опасно, чем доходить до конца.

— Вы, конечно, знаете, что Ингрид еще несовершеннолетняя? А вы, вероятно, уже вышли из юношеского возраста?

— Да, полгода назад мне исполнился двадцать один год.

— Вы уже рассказали об этой истории вашим родителям?

Я киваю:

— Да, они об этом знают.

— И как они к этому относятся?

— Ну как они могут относиться! Они очень расстроены. Отец воспринял это гораздо спокойнее, чем мать.

— Конечно, как и следовало ожидать. Женщины ближе принимают к сердцу такие вещи. Такова уж их натура, должно быть. Вы увидите, что то же самое происходит и с матерью Ингрид. У мужчин остается

меньше времени для эмоций. Они должны думать реально — о том, что практически можно предпринять.

Непонятно, куда провалилась Ингрид вместе со своей мамашей. Миссис Росуэлл явно испытывает мое терпение.

— Как я понимаю, вы прежде работали чертежником в конструкторском бюро на заводе Уиттейкера, а потом поступили в магазин?

— Да.

— И какое вы сейчас получаете жалованье?

Я говорю ему, и он кивает.

— Вполне сносно.

Отворяется дверь, и входит Ингрид со своей матерью.

Я вовремя вспоминаю, что когда женщина входит в комнату, полагается из вежливости встать, и встаю. Одного взгляда на миссис Росуэлл для меня достаточно. Она мне не нравится.

Она маленькая, приземистая и, пожалуй, немного моложе своего мужа, у нее светлые, коротко остриженные волосы, все в мелких, аккуратно уложенных, точно приклеенных к черепу завитушках. На ней трикотажное платье бирюзового цвета, очень плотно облегающее фигуру или, вернее, то, что еще сохранилось от ее фигуры, потому что когда-то миссис Росуэлл была, по-видимому, недурно сложена, но теперь это главным образом внушительный бюст и внушительный зад. При этом она основательно затянута в корсет, и под мышками у нее из корсета выпирают мощные пласты жира. Я не сразу отдаю себе отчет в том, что именно производит на меня такое отталкивающее впечатление, а потом вижу, что это ее глаза: они светло-голубые, и что-то такое тупое и хитрое поблескивает в них, что я понимаю — тут мне не сдобровать, даже если все сойдет гладко. И с ужасом думаю, что теперь, хочу я или не хочу, а мне придется весьма много общаться с ней и с мистером Росуэллом. Я чувствую, как все это обволакивает меня, словно какая-то гигантская сеть. Какой же я был болван! Если бы только я мог выбраться отсюда! Даже сейчас я в глубине души еще никак не могу поверить тому, что все это правда и спасения для меня нет.

— Мама, познакомься, это Вик.

— Добрый вечер,— говорю я и собираюсь протянуть руку.

Она отвечает мне чрезвычайно сухим кивком и тоже говорит «добрый вечер». Я чувствую, что должен сказать еще что-нибудь.

— Я... Мне очень жаль, что наше знакомство происходит при подобных обстоятельствах.— Говорю я это только потому, что нервничаю, как черт, и тут же понимаю, что получилось совсем не то: я взял неверный тон, и голос мой звучит фальшиво, словно в глубине души меня все это только потешает.

— Вам не кажется, что ваши сожаления несколько запоздали? — говорит она без обиняков.

Ингрид опускает глаза, и я чувствую, как улыбка, которая, кстати сказать, была совсем не уместна, сползает с моего лица.

Они обе подходят к кушетке и садятся. На миссис Росуэлл довольно короткая юбка, и когда она усаживается на кушетку, юбка задирается выше, чем положено. Я гляжу на ее ноги и все прочее. Ноги миссис Росуэлл интересуют меня меньше всего на свете, на черта они мне сдались, но это уже получается невольно. Ну, короче говоря, я смотрю на ее ноги — ноги как ноги, ничего особенного,— а она смотрит на меня, смотрит и смотрит, не отрываясь, и я чувствую, что начинаю краснеть. Могу себе представить, что она будет говорить мистеру Росуэллу, когда я уйду! «Ты разве не заметил, как он пялил глаза на мои ноги? Этот мальчишка — обыкновенный эротоман. Если мы впустим его в наш

дом, увидишь, он постарается залезть в постель *ко мне!»* Что-нибудь в таком духе.

Слышу, как кто-то называет меня по имени, и вижу пачку сигарет «Плейерс», которые протягивает мне отец Ингрид.

— Закуривайте.

— Нет, спасибо, попробуйте мои.— Достаю портсигар, угощаю его сигаретой. Затем, спохватившись, оборачиваюсь к миссис Росуэлл:

— Извините! Вы курите?

После некоторого колебания она берет сигарету.

— У вас очень славный портсигар,— говорит мистер Росуэлл.— Разрешите взглянуть?

Протягиваю ему портсигар, и он основательно разглядывает его со всех сторон, открывает и закрывает, поворачивает так и этак и даже взвешивает на ладони.

— В. А. Б,— произносит он.— А что значит «А»?

— Артур. Мое второе имя — в честь отца.

— Понимаю... Да, очень хорошенькая вещица и, вероятно, довольно дорогая.

— Понятия не имею, сколько он стоит. Я получил его в подарок.

— Это я ему подарила,— говорит Ингрид.— В день его совершеннолетия.

— Ты подарила? — переспрашивает мамаша, протягивает руку и берет портсигар у супруга.— Довольно дорогие ты делаешь подарки.

— Вовсе он не такой дорогой,— говорит Ингрид и слегка краснеет, словно боится, что мать сейчас спросит, сколько она за него заплатила.

Но мамаша отдает мне портсигар, не углубляясь дальше в эту тему.

— Как давно вы знакомы с моей дочерью? — спрашивает она меня, словно какая-нибудь герцогиня — садовника, который пришел наниматься по рекомендации. Я даже жду, что она прибавит: «Браун», но она предпочитает никак меня не называть и придерживается этого весь вечер.

— Вообще-то мы знакомы довольно давно, но подружились примерно полтора года назад.

— Подружились! — говорит она, и ее маленький ротик кривится.— Вы, вероятно, отдаете себе отчет в том, как это должно было расстроить отца Ингрид и меня.

— Конечно, это должно было вас расстроить. Вполне понятно.— Я стараюсь изобразить раскаяние, и сделать это мне не так уж трудно, так как я чувствую себя глубоко несчастным.

— Я полагаю, что ваши родители тоже имеют свое мнение на этот счет?

— Ну да, конечно... то есть...

— И я полагаю, что они, разумеется, взваливают всю вину на Ингрид и утверждают, что это она вас завлекла?

— Ну нет. Я бы этого не сказал.

— Так вот, я хочу довести до вашего сведения, что, по нашему мнению, Ингрид тут почти совсем не виновата. Я знаю, как воспитывалась моя дочь, и знаю, какая она скромная девушка. Она могла себе это позволить только под очень большим давлением с вашей стороны.

(О нет, вы глубоко заблуждаетесь, миссис Росуэлл! Не под таким уж большим давлением, если на то пошло.)

— Я воспитала свою дочь, как приличную, благонравную девушку, которая умеет себя держать в любом, самом лучшем обществе...

(Вы, значит, считаете, что дали ей образцовое воспитание, так что ли? А не мешало бы ей у нашей Крис поучиться, куда ей до нее!)

— У нас хорошие связи, и мы возлагали большие надежды на ее брак.

Мы совсем не в восторге от того, что нам приходится выдавать нашу дочь замуж под дулом пистолета.

Послушать ее, так я сознательно обрюхатил Ингрид, чтобы получить возможность жениться на ней, а ведь на самом-то деле дуло пистолета все время направлено на меня. Это было бы просто смешно, если бы не было так ужасно. Я искоса поглядываю на папашу Росуэлла, но он смотрит на свою супругу и молчит, давая ей выговориться до конца.

— Вам известно, что Ингрид несовершеннолетняя и не может без разрешения родителей вступить в брак?

— Постой, постой, Эстер,— вступается мистер Росуэлл.— Я не слишком разбираюсь в таких вопросах, но не думаю, чтобы в этом случае закон оказался на твоей стороне. По-моему, им в два счета дадут разрешение, хотя бы в интересах ребенка.

Они, кажется, считают, что я потащу их в суд, чтобы жениться на Ингрид! Вот было бы здорово, если бы они встали сейчас да и сказали: «Мы не даем нашего согласия, Ингрид не будет вашей женой». Только бы они меня и видели! Но вот ребятенок... Над этим я как-то еще ни разу не задумывался. Интересно, мальчишка это будет или девчонка? Но что бы там ни родилось, это будет мой ребенок, мой и Ингрид. А я вовсе не подготовлен к роли отца. Просто не готов, и все.

Я вижу, что мамаша Росуэлл воззрилась на мистера Росуэлла, и мне кажется, что она сейчас спросит: «На чьей же, собственно, ты стороне?» Однако она немного сбавляет тон.

— Я просто хочу напомнить, что кроме них двоих есть еще другие лица, кровно заинтересованные в этом деле.

— Мне кажется, Виктор это понимает,— говорит мистер Росуэлл.— По-моему, он сожалеет о случившемся ничуть не меньше, чем сожалел бы на его месте любой другой молодой человек.

(В тысячу раз больше, старина! Ты даже не представляешь себе, как я сожалею!)

— Ему уже пришлось объясняться со своими родителями, и, вероятно, это было не так легко. Я тоже совсем

СТИХИ МОЛОДЫХ

ГЕЙНЦ КАЛАУ
ГДР

СМЫСЛ БЫТИЯ

По существу, бессмысленна природа:
Ни снег, ни облака, ни Млечный Путь,
Ни жизнь, ни смерть вам сами не откроют
Загадку жизни, смысл ее и суть.

Не объяснят вам никакие боги
Закон тот мудрый, что безмерно прост,
Который неуклонно управляет
Движеньем тайным атомов и звезд.

Суть бытия ищите в человеке!
Мысль человека создал человек —
Творец всего, что украшает землю
И что на ней останется вовек.

Смысл бытия: стремясь к высокой цели,
Прожить достойно на земной звезде,
Не строя счастья на чужом несчастье,
Не наживаясь на чужой беде.

Перевод с немецкого
Льва ГИНЗБУРГА

не в восторге от такого начала их совместной жизни, но теперь этого уже не поправишь, значит, надо исходить из того, что есть Виктор как порядочный мужчина пришел к нам и заявил, что хочет жениться на Ингрид, и я уважаю его за это. А что касается Ингрид, то, насколько я понимаю, она ни о чем другом и не мечтала, как только стать женой Виктора, с ребенком или без оного.

Эти слова заставляют Ингрид слегка покраснеть, но она не поднимает глаз.

В общем, учитывая все обстоятельства и тот факт, что я предпочел бы никогда не знать о его существовании, этот старикан начинает мне даже нравиться, и он тоже как будто не считает меня последним подонком. А мамаша поджимает свой маленький ротик и, по-видимому, очень недовольна тем, что ей не дали еще немного надо мной покуражиться, и даже слегка растеряна оттого, что ее муженек так быстро выложил карты на стол. Однако она молчит, но я уже ясно представляю себе, как она может разойтись, когда нет мистера Росуэлла, чтобы держать ее в узде. Словом, веселого мало.

— Я полагаю, что нам надо перейти к практическим вопросам,— говорит мистер Росуэлл тоном делового человека, который не любит терять времени даром и находит, что пора закругляться.— Нужно решить, когда будет свадьба и где они будут жить. Я считаю, что пожениться им нужно как можно скорее, недельки через три-четыре, и тихо, без всякого шума. Что вы скажете, Виктор?

— Мне кажется, это правильно.

По мне, хоть завтра, раз этого не миновать. Я могу говорить только «ладно» и «хорошо», потому что теперь уже все решается помимо меня. От меня больше ничего не зависит. Но мне страшно от того, как молниеносно начало все это разворачиваться. Всего месяц назад я был волен идти, куда хочу, делать, что хочу, а пройдет еще месяц, и я уже буду женат, женат на девушке, которую я не только не люблю, но которая мне даже не особенно нравится, а затем к тому же скоро стану отцом! О, болван, безмозглый болван!

— Может случиться, разумеется,— говорит папаша Росуэлл,— что все это еще окажется ложной тревогой. Однако едва ли. И поскольку вы все равно уже будете женаты, то это ничего не изменит.

От этого просто сдохнуть можно — как все выворачивается наизнанку! Ведь они же считают нас обыкновенной влюбленной парочкой, которая давно решила пожениться и просто не дотерпела до свадьбы. Они понятия не имеют о том, как в действительности обстоит дело, и я не могу им этого открыть. Я могу им сказать только одно — что это будет первоклассная хохма, если я окручусь с Ингрид, а потом все окажется ложной тревогой!

— Вам, разумеется, придется ограничиться регистрацией брака,— говорит мистер Росуэлл, и у миссис Росуэлл начинают дрожать губы, и она лезет в карман за носовым платком.

— Когда я только подумаю,— говорит она, почти слово в слово повторяя то, что говорила Старушенция,— как я всегда мечтала о свадьбе Ингрид... о приличной красивой свадьбе, в церкви, с певчими... Ингрид в белом подвенечном платье... Съедутся все родственники и друзья... Когда я только подумаю, какой торжественный это должен быть день... А теперь вдруг так... украдкой от всех...

Ингрид сжимает ее руку.

— Это не имеет значения, мама. Для меня это не важно.

— Но для *меня* важно,— говорит миссис Росуэлл.— Это самый торжественный день в жизни матери.

— Ну, тут уж ничего не попишешь, боюсь, что с этим мы должны будем примириться,— говорит мистер Росуэлл.— А значит, лучше всего

перестать об этом думать. Теперь остается решить самое главное — где они будут жить. Есть у вас какие-либо предложения на этот счет, Виктор?

— Право, я еще не знаю...— Все это происходит так стремительно, я не успеваю даже подумать. У меня в голове только одна мысль: если бы все это как-то обошлось, если бы я мог из этого выкрутиться! Я всегда мечтал о том, что, когда я встречу свою девушку, мы с ней будем жить вдвоем, в маленьком домике или хотя бы для начала в маленькой квартирке. В уютном гнездышке, отдельно от всех — только она и я.— Я еще не успел этого обдумать,— говорю я.— Мне кажется, мы могли бы пожить у нас дома на первых порах. Пока не получим возможность обосноваться отдельно.

— А впоследствии вы имеете в виду арендовать дом?

— Да, конечно. Приобрести собственный дом мне не по карману.

Похоже, что у мамаши Росуэлл при этом заявлении кривятся губы, но, может быть, мне это только кажется. В таком состоянии, как у меня сейчас, я могу вообразить что угодно.

— А как смотрят на это ваши родители?

— Я пока еще не говорил с ними об этом. Но думаю, они будут не против. Места у нас хватит.

— У меня есть предложение,— говорит он.— Мы обсуждали это перед вашим приходом. Я часто бываю в отъезде, и если Ингрид уедет тоже, ее мать останется совсем одна. Конечно, нельзя пришить Ингрид к материнской юбке на всю жизнь, но я не вижу причины, почему бы первое время вам не пожить здесь. Ближайшие месяцы будут для Ингрид довольно трудным испытанием, и присутствие матери значительно ей все облегчит. А вам это даст возможность не торопясь подыскать себе квартиру или поднакопить деньжат, чтобы приобрести собственный дом в рассрочку. Ну, что вы скажете?

А что опять-таки могу я сказать? Они все это уже решили без меня. Я гляжу на мамашу Росуэлл, которая молчит. Я подозреваю, что они обсудили этот вопрос и оставили его открытым до тех пор, пока не увидят, что я собой представляю, можно ли терпеть меня под одной с ними крышей. По-видимому, настолько-то я все-таки выдержал испытание. Все же я бы, конечно, предпочел жить в привычной для меня обстановке, особенно теперь, когда я далеко не уверен, что за тип эта мамаша. Но мое дело маленькое, решаю ведь не я.

— Что ж, ладно... Благодарю вас.

Теперь мы сидим и обмениваемся какими-то пустопорожними фразами, и они начинают выспрашивать то да се о моей семье. Рассказываю им о Старике, и о нашей Старушенции, и о Крис, и о Джиме, и о Дэвиде. Кажется, им было бы приятнее, если бы мой Старик оказался врачом или юристом или хотя бы держал какую-нибудь лавчонку, на худой конец, лишь бы не шахтером. Но я никогда не стыдился профессии моего отца и теперь не собираюсь. По-видимому, Крис и Дэвид несколько вознаграждают мамашу Росуэлл за перенесенное разочарование, потому что мамаша Росуэлл сноб, это ясно, как божий день.

В начале десятого, проглотив чашку чая с печеньем и пообещав мистеру Росуэллу познакомить его с моим Стариком, я смываюсь. Ингрид идет проводить меня до угла.

— Ну как? — спрашивает она, когда мы выходим на улицу.

— Как будто ничего, сошло. Во всяком случае это уже позади.

— Для тебя, но не для меня,— говорит она.— Мне все это еще предстоит.

— Ну, у тебя все будет в порядке. Мои тебя не укусят. Главное, дер-

жись просто, не напускай на себя ничего, не выламывайся, и ты с ними чудно поладишь.

Да и почему бы ей не поладить, думаю я. Она в общем-то славная девчонка, и их же никто не принуждает жить с ней до скончания века, лет сорок, а то и больше. Это в общем-то как пожизненный приговор, и даже не скостят срок за хорошее поведение...

— Когда мы к ним пойдем?

— Мне кажется, чем скорее, тем лучше. Может быть, завтра вечером?

— Ох, боже мой... Ладно, завтра, так завтра.

Мы идем дальше, и я говорю:

— Мне понравился твой отец.

Жаль, что он так редко бывает дома, думаю, может, с его помощью мне было бы легче столковаться и с мамашей. Но в конце концов я не единственный на свете, кто не в восторге от своей тещи... да и от своей жены, если на то пошло. Утешение, конечно, маленькое. Весьма.

III

— Ну что ж, он в общем ничего,— говорит Старик, когда мы с ним возвращаемся домой. Сегодня среда, и у нас было свидание с мистером Росуэллом в баре отеля «Старые доспехи».— Рассуждает толково, не кипятится, понимает, что, снявши голову, по волосам не плачут.

— Где это видано, чтобы встречаться и обсуждать будущее своих детей в трактире! — говорит наша Старушенция.

— Это не трактир,— говорит Старик,— а бар самого лучшего отеля в Кресслн. Этот отель, помнится мне, был достаточно хорош, чтобы устраивать в нем свадьбу Кристины.

— То совсем другое дело,— говорит наша Старушенция.— У нас был отдельный кабинет, мы не сидели в баре.

— Когда мужчины сходятся, чтобы потолковать о деле, они это делают за стаканом вина,— говорит Старик.— Я тебе скажу, что нигде во всем городе не проворачивают таких дел, как в этом баре. Разве что, может, в морском клубе. И притом я тебе уже объяснял, что мы должны были встретиться на нейтральной, так сказать, почве. Если бы он пришел сюда, он бы чувствовал себя не так свободно, а если б я пошел к нему, тогда мне было бы труднее. И опять же,— добавляет он, подмигнув мне,— мы оба хотели, чтобы женщины не путались у нас под ногами.

— Ясное дело,— говорит наша Старушенция,— ясное дело, пусть мужчины все решают, вот и будет порядок. Это всем известно.— Она сердито качает головой.— Ладно, поживем — увидим.

Она уходит на кухню и возвращается с двумя кружками.

— Вот ваше какао, если вы еще в состоянии влить себе что-нибудь в глотку.

Старик поднимает брови и смотрит на меня, но ничего не говорит.

— Ну, а я скажу,— произносит наша Старушенция, усаживаясь за стол,— что эта Ингрид, похоже, довольно славная девчонка. Я, признаться, крепко была настроена против нее, но теперь, как я ее повидала, думаю по-другому. Время покажет, может, я и не права, но я скажу, что наш Виктор выбрал себе не такую уж плохую жену. Могло бы быть и хуже.

Это очень высокая похвала в устах нашей Старушенции, и мне будет что сказать Ингрид при нашей следующей встрече.

— А какая у нее мать, Виктор? — спрашивает меня Старик.— Как ты думаешь, поладите вы с ней?

Я делаю кислую гримасу и покачиваю головой.

— Она какая-то чудная. Даже не знаю, что сказать.

Старик смотрит на меня, и в глазах у него мелькает невеселая усмешка.

— Ну, у тебя будет достаточно времени, чтобы это выяснить, сынок,— говорит он.

— Вы женитесь? — говорит мистер ван Гуйтен.— Ну и ну, подумать только! Поздравляю вас, Виктор. Это как-то неожиданно, не правда ли? Или, может быть, я что-то проглядел?

— Да, мы это так сразу надумали.

— Ну, ясно, молодость не терпит проволочек,— говорит он с лукавой искринкой в глазах.— Разумеется, вы можете получить отпуск на неделю в любой день. У вас же будет свадебная поездка.— Он что-то отмечает в своем календаре.— На второй неделе мая? Конечно, конечно, никаких возражений.

— Боюсь, что мы не сможем пригласить вас на свадьбу, мистер ван Гуйтен. У нас никого не будет — только близкие родственники.

— Ну, понятно, понятно, Виктор. Я прекрасно понимаю.

Не знаю, понимает ли он. А если и понимает, то виду не подает и никогда не подаст. Ведь это мистер ван Гуйтен.

Генри яростный сторонник брачной жизни.

— Это самое лучшее, что ты мог сделать,— говорит он, услышав мое сообщение.— Ранний брак, дети, чувство ответственности — вот что формирует человека. Да, чувство ответственности. И запомни: твой брак будет таким, каким ты сам его сделаешь. Возьми, к примеру, меня.

Я гляжу на него и думаю, что если надо брать к примеру его, то меня это не устраивает.

— Прокормить жену и шестерых ребятишек на мою зарплату — это не каждый сумеет,— говорит Генри.— А я очень доволен своей жизнью, Виктор,— вот что главное.

И он и вправду доволен. У него жена, больше похожая на старый половик, чем на женщину, и дом, похожий на свиной хлев, где деньденьской стоит ребячий писк и визг и эти его сосунки копошатся по всем углам и пачкают обои джемом. А старик Генри счастлив. Другие же парни зарабатывают пять тысяч в год и, нажив себе всевозможными заботами язву желудка, раньше срока сходят в могилу. Да, все это очень показательно. Но что именно должно это показать, я еще толком не знаю, кроме того, что люди не похожи друг на друга. И в этом-то вся и заковыка. Быть может, именно в этом и кроется причина очень многих несчастий на свете.

От всех моих приятелей — от Джимми Слейда, от Уилли Ломаса и от остальных — я бегаю, как черт от ладана. И все время не перестаю надеяться — жду, что случится чудо, и все станет обратно на свое место, и жизнь потечет, как прежде.

глава 6

Но мы живем не в сказке, и чуда не происходит. Дверь камеры захлопывается за мной, и ключ поворачивается в замке. Это происходит в субботу утром на первой неделе мая в Бюро по регистрации браков на Хаддерфилдском шоссе. Свидетелями у нас — у меня Дэвид, а у Ингрид ее двоюродная сестрица, которую я вижу впервые. Когда церемония кончается и мы все снова выходим на свет божий, в голове у меня только одна мысль: как быстро это свершилось, расписался — и все, и ты уже не принадлежишь себе. Мы выходим

за ворота на улицу, и мимо, слегка вихляя бедрами, идет какая-то девушка в туфельках на гвоздиках. Я бессознательно отмечаю про себя, что у нее красивые ножки, и в ту же секунду меня словно обухом по голове мысль: я уже никогда ни на одну девушку не смогу посмотреть с чистым сердцем. Я конченый человек. Больше нечего искать, не к чему стремиться. Пять минут назад я стал женатым человеком, а вскоре стану отцом. Все это собирается во мне в тугой, тяжелый комок горя, и я не в силах раскрыть рта. Да и все не слишком-то разговорчивы в этот счастливый свадебный день. Чувствуют, что все это не так, как им хотелось бы, что вместо большого, торжественного и счастливого события, которого они ждали, что-то совершенно неожиданное обрушилось на них и застигло врасплох.

Мы все направляемся к Росуэллам и там закусываем стоя, после чего напряжение понемногу ослабевает. Наш Старик и мистер Росуэлл начинают даже довольно оживленно беседовать, но обе мамаши продолжают настороженно приглядываться друг к другу, и каждая старается вроде как взять реванш за недостойное поведение мужчин, которые роняют достоинство семьи, так по-простецки болтая о футболе или еще о чем-то, словно они невесть какие старые приятели.

В половине второго мы с Ингрид замечаем, что мамаша Росуэлл уже приготовилась ехать на вокзал провожать нас, и Ингрид говорит:

— Мамочка, ты не обидишься, если на вокзал с нами поедут только Джим, Кристина и Дэвид?

При этих словах у мамаши Росуэлл вытягивается физиономия.

— Почему же это вдруг? — говорит она.— Разве ты не хочешь, чтобы родная мать проводила тебя в свадебную поездку?

— Мне бы не хотелось, чтобы было слишком много народу,— говорит Ингрид, и выражение лица у нее при этом довольно упрямое, что доставляет мне некоторое удовлетворение. Я тоже никак не стремлюсь к тому, чтобы нас провожали с духовым оркестром.

У мамаши Росуэлл такой вид, точно она вот-вот разрыдается, и мистер Росуэлл находит нужным вмешаться.

— Пусть будет так, как она хочет, Эстер. Может быть, это даже лучше.

Начинаются поцелуи и рукопожатия, и пухлая щечка миссис Росуэлл оказывается возле моего лица, и я целую ее и ощущаю вкус пудры на губах. Мистер Росуэлл очень сердечно, как мне кажется, пожимает мою руку и смотрит мне в глаза.

— Меня здесь уже не будет, когда вы возвратитесь из вашего путешествия, так что я с тобой увижусь не скоро. Смотри, береги ее.

— Да, конечно.

Мы залезаем в машину мистера Росуэлла, за баранку садится Дэвид. Приезжаем на вокзал как раз вовремя: выходим на платформу, и состав уже подан. Когда мы с Ингрид, высунувшись из окна вагона, последний раз прощаемся со всеми, я встречаюсь глазами с Крис — в первый раз, кажется, с тех пор, как явился домой со своими новостями. Потому что из всех людей на свете именно ей мне было особенно трудно во всем признаться и именно перед ней было особенно стыдно. Но она улыбается мне, и я чувствую, что с души у меня словно тяжкий груз спал.

— Береги ее, Вик,— говорит Крис.— Ей будет очень нужна забота. И ты, Ингрид, не обижай его. Он не плохой малый, твой молодой супруг.

— Я это знаю,— говорит Ингрид, и неожиданно слезы брызжут у нее из глаз, словно из прохудившегося водопровода, и она начинает всхлипывать и сморкаться.

Дэвид пожимает мне руку.

— Счастливо, Вик.

Поезд трогается, ползет вдоль платформы, а они машут нам на прощанье.

Вокзал остается позади, поезд набирает скорость, и мы усаживаемся у окна друг против друга. Ингрид сморкается еще раз, прячет платок, достает пудреницу и начинает запудривать следы слез. Она выглядит очень элегантно и привлекательно, серый костюм ей к лицу. Вероятно, со стороны мы похожи на обыкновенных счастливых молодоженов, которые очень влюблены друг в друга и всякое такое. Ингрид прячет пудреницу и поднимает глаза на меня.

— Ну, женушка?— говорю я.

— Ну, муженек?

Я улыбаюсь ей. Не очень-то это веселая улыбка, правду сказать, но я удивлен, что у меня получилась хоть такая.

Скарборо залито солнцем, и народу мало — сезон еще только начинается. Мы берем на вокзале такси и прибываем в Южную бухту на эспланаду, где мамаша Росуэлл заказала нам номер в таком стиляжном отеле, в каком я еще сроду не останавливался. В вестибюле нас даже встречает какой-то малый в белой куртке и тащит наверх наши чемоданы, что, впрочем, не так уж удивительно, если учесть, что с нас здесь дерут по тридцать шиллингов с носа в день — и это еще со скидкой за «не сезон». Вполне в духе мамаши Росуэлл разбазаривать подобным образом мои деньги, думаю я. Но в общем-то мне наплевать — зато в этих шикарных отелях вы больше предоставлены самим себе, ну и притом нельзя же высчитывать каждый грош во время свадебного путешествия, не так ли?

В эту ночь, собираясь лечь спать, мы поворачиваемся друг к другу спиной, словно пара застенчивых сосунков. Но я мельком вижу отражение Ингрид в туалетном зеркале, когда она натягивает через голову ночную рубашку, и мне кажется, что груди у нее пополнели и уже заметно округлился живот. Мне никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может заметить, что она в положении, а теперь я

СТИХИ МОЛОДЫХ

КОШТА АНДРАДИ

АНГОЛА

ПОЭМА ОБВИНЕНИЯ

(Фрагменты)

За солнцем следуй, европеец,
И смотри,
Как путь его прекрасен
Над землями людей свободных!

Иди с ним вместе...
Когда тебе покажется,
Что можно дотянуться рукой
До светлых пятен песка,
Что там, на юге,
Зеленый цвет
Цвета другие заглушает,
И змеи длинных рек струятся в океан;
Когда все потные тела людей
Сверкать на солнце будут
В работе тяжкой —
Все, кроме твоего;
Когда цветущий хлопок
Твои глаза богатством ослепит;
Когда при виде алых ягод кофе
Твой рот наполнится слюной —
Ты будешь в моей стране.

Моя страна...
Она имеет форму огромного
квадрата,
Она пылает красным цветом
Лишь потому, что так ее окрасил
огонь напалма...
Моя страна —
Где все, что жить должно, мертво,
Где тысячи детей не знают света
слова,
Где матери рождают муки новой
жизни,
Где голод властвует,
А ночью слышатся рыдания
киссанжи *
И существует выбор
Лишь между смертью — и рабством.

И если мужество тебе позволит
Сойти туда, где черные тела
Распластаны в кромешной тьме,—
Тогда поймешь ты, как прекрасно
солнце
При блеске дня!

* Киссанжи — музыкальный инструмент.

СТИХИ МОЛОДЫХ

■ ■ ■

На земле 50 000 мертвых,
Никем не оплаканных,
Не погребенных,
На земле 50 000 мертвых,
Никем не оплаканных.

Безмолвие тысячи Герник
И картин Сикейроса и Ороско —
Такова тишина, огромная, как море,
Распростертая на земле.

Как если бы ливни разлились кровью,
Как если бы жесткие волосы
Стали травой на множество метров,
Как если б уста всех убитых
Осудили своих убийц —
Такова тишина, распростертая на земле.

На земле 50 000 мертвых,
Никем не оплаканных...
Никем...
Потому что ангольские матери
Погибли вместе со своими детьми.

■ ■ ■

Мать, у которой сын в живых остался,
Не плачь, довольно!
(Но сколько времени еще мать будет плакать?)
Не плачь, довольно!
(Но сколько времени еще земле придется
Чувствовать смертельный холод тел?)

Не плачь, о мать,
Имеющая сына живого или мертвого...
Пришла пора считать часы,
Расправить плечи,
Забыв о тяжком грузе смерти...
Не плачь, довольно!

Когда глаза мои, налившиеся кровью,
Такими станут красными,
Как раны нашего народа,—
Тогда придет конец.

Я не хочу, чтоб ты простила, мать.
Я не хочу, друзья, фальшивой дружбы,
Основанной на властолюбье
И на законах истории
Тех, кто сегодня убивает нас...
Нет, не хочу, друзья!
Ведь 50 000 убитых
Условного не допускают мира!

Они убиты не условно,
А на самом деле!
Не плачь, о мать, довольно!
Только жизнь рождает снова жизнь!

понимаю, что поручиться за это нельзя, и, значит, я уже буду думать об этом всю неделю, и мне будет казаться, что уже все замечают... Вот так свадебное путешествие!

Мы ложимся в постель, тушим свет, и я обнимаю ее, с твердым намерением как можно лучше использовать хотя бы то преимущество, что мне теперь дано официальное разрешение ее обнимать. Но тут же цепенею, услыхав:

— Разве нам можно, Вик? Ты не думаешь, что это опасно?

Я ошарашен:

— То есть как «опасно»?

— Ну... для ребенка.

— Да черт возьми, у тебя же не больше трех месяцев пока! Когда-то еще это станет опасным! Разве твоя мать ничего не говорила тебе об этом?

— Вот именно что говорила. Сказала, что надо соблюдать крайнюю осторожность.

— Какого черта! Она что, решила испортить нам свадебное путешествие?

— Просто она беспокоится обо мне, Вик.

— И поэтому постаралась сделать так, чтобы ты была как ледышка в нашу первую брачную ночь? — Старая сука, думаю я, ах, проклятая старая сука! Лезет не в свое дело! Вот с кем мне еще предстоит жить под одной крышей...

— Она же хочет нам только добра, я знаю.

— Христа ради, перестань, Ингрид! Я купил книжку, там все про это сказано.

— Какую книжку?

— Ну, такую, для молодоженов. Там сказано, как нужно себя вести.— Она хихикает.

— Что тут смешного?

— Вероятно, все считают, что мы уже знаем, «как нужно себя вести».

Она трется щекой о мою щеку, и ее волосы попадают мне в рот.

— Ты, кажется, и раньше умел это делать.

— Ну а теперь буду уметь еще лучше. Для чего ты нацепила на себя этот огнетушитель? Чтобы охладить мой пыл?

— Какой же это огнетушитель? Наоборот, это огневоспламенитель.

Стопроцентный нейлон. Я купила ее специально для тебя. Разве она тебе не нравится?

— Нравится, когда у меня есть время на нее смотреть. Сейчас мне не до этого. Сунь ее на всякий случай под подушку, а то еще воспламенится.

Я слышу, как она фыркает в темноте.

— Так лучше?

— Еще бы!

— О Вик! — шепчет она и целует меня.— Я так люблю тебя!

Если бы я мог сказать то же! Я, кажется, отдал бы за это все на свете.

Не проходит и трех дней, как у нас возникает первая ссора.

В нашем отеле живет еще одна замужняя пара — конечно, не единственная здесь, но они сидят за соседним столиком и проявляют желание общаться с нами. Это супруги средних лет, но выглядят они очень моложаво; у них зеленый форд, и он обычно стоит у подъезда отеля. Они не бог весть какие богачи — это видно по его спортивному пиджаку, который явно знал лучшие времена,— однако жена одета очень элегантно и по моде. И во всяком случае есть в их облике что-то, что ставит их ступенькой выше нас. Манера держаться, уверенность в себе, словно им доподлинно известно, что хорошо и что вульгарно. В них чувствуется налет какого-то превосходства, если вы понимаете, что я хочу сказать. И при этом они очень милы и обходительны. Не надоедают вам своей болтовней, но держатся естественно и просто, и говор у них чистый — не скажешь, из каких они мест. По моему говору, например, сразу слышно, кто я и откуда, да и у мамаши Росуэлл, если на то пошло — тоже, как бы она ни пыжилась. А вот у этих двоих — нет.

Оказалось, что они из Эссекса и на Йоркширском побережье впервые, а так как Ингрид в детстве бывала здесь не раз и знает все вдоль и поперек, она ни с того ни с сего вдруг принимается трещать как сорока — рассказывать этим супругам, куда они должны пойти и что поглядеть. Ну,

СТИХИ МОЛОДЫХ

■ ■ ■

Европа слишком белая.
Хлопок, сахар и нефть,
«Котонанг» * с Ватиканом
Шагают, за руки взявшись,
Алмазы и ружья — доллары,
Пушки — немецкие марки,
Пули — французские франки,
Штыки — английские фунты...

Европа слишком белая.
Хлопок и кофе — в блестящих залах,
Алмазы — в игорных домах,
Печать и радиостанции —
Рев ослов и собак...
Одно чудище собирает
Всех чудовищ гестапо в ПИДЕ **...
И наконец, самое полное орудие власти —
Милиция из колонов *.**

Но разве это и есть Португалия?
Защитись, земля Португалии,
От алмазов, от нефти,
От хлопка компании «Котонанг»,
От западной цивилизации
И от геноцида сеньора Морейра **...**
Европа слишком белая!
Поднимись, Фанон ***, и обвиняй,**
Обвиняй!
Встань, народ, и борись!
Борись и расти, Африка!
Расти до тех пор, пока цвет мира не станет радугой!

■ ■ ■

В Анголе хлопок станет белым,
Когда Ангола обретет свободу...
Теперь он черный,
В красных пятнах крови,
Пролившейся в Кассаижи...

В Анголе сахар будет сладким,
Когда Ангола обретет свободу...
Теперь он горький,
Кнуты над ним танцуют танец смерти.

В Анголе кофе и алмазы,
Железо, пальмы, и маис, и мясо,
И... океан, и ветер, и луна, и ночь,
И день, и человек в Анголе —
Сейчас еще рабы.

Перевод с португальского
Лидии НЕКРАСОВОЙ

* «Котонанг» — крупнейшая колониальная хлопковая компания.

** ПИДЕ — португальская тайная политическая полиция.

*** Колоны — португальские поселенцы.

**** Адриану Морейра — португальский министр по делам заморских территорий.

***** Франц Фанон — известный борец за свободу Африки, автор книги «Проклятьем заклейменные».

это бы еще ладно, но вскоре я начинаю замечать, что она говорит каким-то не своим голосом, словно телефонистка в справочном бюро сверхшикарного ателье или магазина. И чем дальше, тем хуже, и это становится все заметнее, и наконец я не выдерживаю. Я так сконфужен и разъярен, что мне остается только выскочить из-за стола и смыться.

Дожидаюсь ее на ступеньках подъезда и гляжу на залив, на скалу Зáмок, торчащую из воды, и на крошечные лодочки и прогулочные катера, которые лепятся к ней, словно цыплята к наседке.

— Зачем ты это сделал? — спрашивает она, появляясь в дверях отеля.

— Что я сделал? — угрюмо говорю я.

— Выскочил из-за стола, когда мы так хорошо разговорились.

— Может быть, я должен спрашивать у них позволения, если мне захочется выйти? Так, что ли? — Я начинаю спускаться по ступенькам, и она идет за мной.

— О, господи, да чем они тебе не нравятся? По-моему, удивительно милые люди.

— Очень может быть, но это еще не причина, чтобы навязываться на знакомство, даже если они снизошли обронить несколько слов о погоде.

— А если бы они сидели тут всю неделю и не сказали бы тебе ни слова, ты бы заявил, что они надутые выскочки, снобы. А мне вот теперь кажется, что это ты сноб, только шиворот-навыворот.

Меня это здорово задевает за живое, особенно потому, что я в какой-то мере чувствую себя виноватым.

— Мне приходилось разговаривать с людьми и получше этих, но они должны были принимать меня таким, как я есть. С моим йоркширским акцентом и всем прочим. Я ни перед кем не стану выпендриваться.

— А кто это выпендривается?

— Ты выпендриваешься. Разговариваешь с ними так, словно выступаешь на пробе дикторов для Би-би-си и стараешься внушить им, что явилась сюда прямо из Итона или еще там откуда-нибудь, куда этих пижонок посылают учиться.

— Я этого не заметила,— говорит она бесцветным голосом.

— Ну, а я заметил, и они тоже, ручаюсь. Для чего ты навязываешься этим людям? Будь с ними так же мила и любезна, как они, пожалуйста, я ничего не имею против, но к чему лезть из кожи вон и вытрющиваться перед ними, словно это страсть какие важные персоны. Ты себя не повысишь в их глазах, если будешь делать вид, что ты лучше, чем есть.

Теперь она молчит, и несмотря на раздражение, мне ее уже как-то жалко. Мы делаем еще несколько шагов в молчании, и я говорю:

— Ладно, забудем это.

— Да, лучше давай забудем,— говорит она едва слышно, и мне становится не по себе: лучше бы уж она окрысилась на меня.

Мы подходим к фуникулеру на скале над обрывом. Там стоит один вагончик с открытой дверцей.

— Куда ты хочешь поехать?

— Мне все равно. Может, пройдемся по магазинам?

— Нет, это лучше отложить на конец недели, когда мы будем знать, сколько у нас осталось денег.

— Ну, их останется не слишком много, если этот малый в вестибюле проторчит там еще несколько дней,— говорю я, пытаясь пошутить.— Всякий раз, когда я прохожу мимо, у меня такое ощущение, что я обязан дать ему шиллинг.

— Может, пойдем тогда на пляж? — говорит она.

— Пойдем. Возьмем газеты, шезлонги и будем отдыхать, как настоящая старая супружеская пара.

— Да, нам нужно использовать эти дни как можно лучше,— говорит она.— Ведь мы теперь очень, очень не скоро сможем провести отпуск вот так, только вдвоем.

От этого случайно оброненного ею замечания меня мороз подирает по коже. Ее слова напоминают мне, что все это не сон, а явь и нам с ней всю жизнь предстоит провести вместе. Мы входим в кабинку фуникулера, и я гляжу на ее живот под летним платьем и думаю: заметно или не заметно?

На следующей неделе я перетаскиваю мое барахлишко к Росуэллам и готовлюсь сам туда перебраться. Поклажа моя невелика — одежда, несколько книжек и две-три любимые пластинки. Свой проигрыватель я оставляю дома для нашего Джима, потому что у Ингрид проигрыватель есть. Кровать у нее полуторная, и когда нам хочется лежать в обнимку, она нас вполне устраивает, но хорошенько выспаться вдвоем на ней нельзя, и мы перетаскиваем ее в комнату для гостей, отправляемся в город и покупаем новую, двухспальную. Это первое наше приобретение по части мебели, и единственное, в чем пока что оказалась нужда, потому что всего остального хватит за глаза для нас обоих: в комнате у Ингрид есть и туалетный стол, и гардероб, и сервант. Это даст нам возможность немного сэкономить, чтобы поднакопить денег для собственной квартиры; впрочем, теперь Ингрид ушла с работы, и нам придется жить только на мой заработок, а после того как я отдаю мамаше Росуэлл то, что причитается с нас обоих за квартиру и стол, и выплачиваю подоходный налог и страховку, у нас остается всего шиллингов пятьдесят или около того на все остальное — на одежду, развлечения и на приобретение разных вещичек, которые понадобятся для малыша. Вижу, что, если и дальше так пойдет, нам с Ингрид торчать в доме у ее старухи еще лет десять, а такая перспектива вовсе меня не прельщает, потому что с той минуты, как я вхожу в этот дом, и до той минуты, когда я его покидаю, я никогда, ни на мгновение не чувствую себя здесь как дома.

Происходит это потому, что мы с мамашей Росуэлл, как я и ожидал, не сошлись характерами. Мы не бранимся, ничего не происходит (поначалу, во всяком случае), и если начать рассказывать, то получится, что вроде бы и говорить не о чем, потому что всего не объяснишь,— чтобы в этом разобраться, нужно наблюдать нашу жизнь изо дня в день, из часу в час, видеть, как одно тянет за собой другое, и слышать, каким тоном все это произносится.

Она страшно кичится своим домом, но это меня мало волнует. Я сам — парень довольно чистоплотный, и если ей нравится каждую минуту вытряхивать за мной пепельницы и взбивать диванные подушки и напоминать, чтобы я не курил в верхних комнатах и надевал домашние туфли, когда туда поднимаюсь,— что ж, это ее дом в конце-то концов, и если она им так кичится, пусть будет по ее. Однако мало-помалу это начинает действовать мне на нервы.

Но все же не в такой мере, как ее манера разговаривать. Она несет какой-то несусветный вздор на каждом шагу, а посмейте только ей возразить, и она тотчас впадает в ледяное молчание, словно вы страх как ее оскорбили. У нее есть две излюбленные темы. Королевское семейство— одна из них. Она собирает альбом газетных вырезок с фотографиями королевы, Филиппа и ребятишек, читает все сплетни, какие о них пишут, и тупо верит каждому слову, точно это святое писание. Как будто кто-то разрешил бы об этом писать, если бы даже и вправду кому-то что-то было о них известно! И еще она обожает сообщать о том, как она поставила на место какого-нибудь лавочника. Послушать ее, так в Кресслн

все только и думают, как бы ее надуть. Но нет, это у них не пройдет, не на такую напали! О, она умеет вправить мозги, что да, то да! Первоклассный вправлятель мозгов мамаша Росуэлл. Ей и в голову не приходит, что будь она настоящая леди, какой она себя мнит, все бы из кожи лезли вон, чтобы ей угодить, и, значит, ей по крайней мере надо бы делать вид, будто они лезут, даже если они и не думают. Ну и затем еще политические проблемы. То, что она заядлый консерватор, об этом и говорить не приходится. Чего еще можно ждать от этой пошлячки с ее напускным аристократизмом? Она в жизни не сказала ни одного доброго слова ни о профсоюзах, ни о лейбористах. Дать ей волю, так она одним махом прихлопнула бы все профсоюзы. А что касается шахтеров, то, по ее словам, они только и делают, что устраивают беспорядки, мешают всем жить, держат страну за горло и высасывают из нее соки. Она прекрасно знает, что мой Старик — шахтер, но это нисколько не мешает ей молоть языком о том, о чем она не имеет ни малейшего представления. Кстати сказать, достается от нее и цветным — и пакистанцам, и корейцам, и всем на свете. Она бы в два счета повыгоняла их отовсюду и отправила обратно на родину, потому что, видите ли, от этих черных в автобусе дышать нечем, и когда читаешь, что пишут о них газеты, так порядочной английской женщине лучше не высовывать носа на улицу. Короче говоря, стоит ей открыть рот, как вам становится ясно, что эта старая, глупая, невежественная корова напичкана предрассудками. А я вот должен жить с ней под одной крышей.

Что касается Ингрид, то мне кажется, что до встречи со мной у нее не было ни единой серьезной мысли в голове, и если раньше она задумывалась только над тем, какого цвета купить себе на зиму пальто и какая викторина ей больше нравится — «Кроссворд», «Удвойте ваши деньги» или «Сделайте ваш выбор»,— то это я научил ее думать о вещах посерьезнее.

Но особенно тошно мне от того, что я теперь должен все время приноравливаться, жить по чужой указке и не могу позволить себе ничего такого, что мне нравится. Как-то раз попробовал я послушать свои пластинки — один-единственный раз, и на том дело и кончилось. Даже одну сторону пластинки не удалось дослушать до конца. Ингрид и ее мамаша заявили, что это скука смертная, и мне пришлось снять пластинку, потому что они включили телевизор. Раньше я, пока не переехал в этот дом, любил смотреть телевизор, теперь же один вид его вызывает во мне омерзение, потому что, когда я прихожу с работы, он уже включен и выключается лишь тогда, когда надо ложиться спать. И я, хочу не хочу, вынужден смотреть все эти передачи, потому что не могу же я читать в темноте, а без Ингрид я почти никуда не хожу вечерами, так как ее мамаша считает, что это не положено.

В первый раз мы с ней немного поцапались месяца через полтора после моего переезда. Мистер ван Гуйтен сказал, что к нам приезжает Большой филармонический оркестр, и пригласил меня пойти с ним на концерт. Это по-настоящему первоклассный оркестр, сказал он, такой не часто можно услышать.

— Право, не знаю, мистер ван Гуйтен,— говорю.— Мне бы очень хотелось пойти, но ведь я теперь, вы знаете, себе не принадлежу.— Тут я пытаюсь игриво хихикнуть.— Я теперь человек подневольный — женатый.

— А вы пригласите вашу жену, Виктор,— говорит он.— Я буду очень рад, если она тоже составит нам компанию.

Я говорю ему, что передам его приглашение Ингрид, и в тот же вечер спрашиваю ее, не хочет ли она пойти на концерт, но допускаю при этом ошибку: затеваю этот разговор в присутствии ее мамаши. Как и следовало ожидать, Ингрид делает кислую мину.

— Я умру со скуки,— говорит она.

— Но почему не попробовать? Это ведь только сначала так кажется.

— Ингрид не хуже других понимает, что хорошо и что плохо, и не находит нужным претендовать на какую-то мнимую сверхинтеллектуальность,— говорит мамаша Росуэлл, которая, как известно, никогда не сует свой нос в чужие дела.

Меня это, конечно, бесит, я зол, как черт, и едва удерживаюсь, чтобы не высказать ей напрямик все, что я о ней думаю.

— Дело вкуса,— говорю я, проглотив остальное.— Конечно, это не так занятно, как телевизионные викторины, но для разнообразия тоже не плохо.

Она поджимает губы — понимает, что это камушек в ее огород.

— Я во всяком случае намерен пойти.

Я знаю, что Ингрид ничего не имеет против, но старая корова немедленно произносит одну из своих грошовых сентенций.

— В брачной жизни приходится идти на жертвы,— говорит она.— Необходимы взаимные уступки.

Ну какое, спрашивается, это имеет отношение к тому, что я хочу пойти на концерт? Вот когда она начинает что-нибудь подобное изрекать, я прямо готов лезть на стенку — до того это невообразимо глупо.

— Не понимаю, при чем тут это. Что тут плохого, если я пойду на концерт?

Она пожимает плечами. (Она так гнусно умеет пожимать плечами, как ни один человек на свете!)

— Конечно, если вы собираетесь вести такой же образ жизни, какой вели до женитьбы, это ваше дело. Однако Ингрид, мне кажется, может иметь свое мнение на этот счет.— И, испакостив таким образом все, что только можно, она удаляется.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать,— говорю я ей вдогонку, и я действительно не понимаю. Ну как можно с ней о чем-нибудь говорить, когда все, что она изрекает, лишено всякого смысла?

— Ты не возражаешь, если я пойду? — спрашиваю я Ингрид.

— Когда это будет?

— В субботу, через две недели.

— Не знаю. Может быть, нам захочется пойти куда-нибудь еще.

Я гляжу на ее глупое лицо и так ненавижу ее в эту минуту, что мне хочется отвесить ей хорошую оплеуху. Подумать только, что всего три месяца назад, стоило бы мне пальцем ее поманить, и она прибежала бы ко мне со всех ног! А с тех пор как я женился на ней, мамаша словно загипнотизировала ее, и она делает все, что та ни прикажет.

— Ну, так тебе придется потерпеть на этот раз,— говорю я.— Потому что я пойду на концерт.

Теперь уже я в ее глазах просто скотина, а попробуй докажи ей что-нибудь, когда здесь все время вертится мамаша Росуэлл. И приходится отложить объяснение до тех пор, пока мы не поднимемся к себе, чтобы лечь спать.

— Мне неприятно, когда ты так огрызаешься,— говорит Ингрид, стаскивая с себя джемпер и встряхивая головой, чтобы волосы легли на место.

— А мне неприятно, когда мне кто-то указывает, что я должен и чего не должен делать. Я вообще не понимаю, что это последнее время на тебя нашло, Ингрид. Ты повторяешь все за своей старухой, как попугай.

— Я бы попросила тебя отзываться о ней повежливей.

— Ладно, ты, вероятно, все-таки поняла, кого я имею в виду.

— Ты должен хоть немного оказывать ей уважение, Вик. Как-никак мы живем в ее доме.

— А то я этого не чувствую!

Она разделась и ложится в постель.

— Значит, ты намерен пойти на этот концерт?

— Да, намерен.

— И тебе непременно нужно поднять из-за этого целый скандал?

— Мне? — Я стою перед ней в сорочке и кальсонах и тычу указательным пальцем себе в грудь.— Мне нужно поднять скандал? Твоя мамаша ни за что, ни про что обрушилась на меня, ты пальцем не шевельнула, чтобы меня защитить, а теперь говоришь, что это я хочу поднять скандал! И все потому, что ты сама предпочитаешь сидеть дома и смотреть этот чертов телевизор.

— Христа ради, не ори так. Ей слышно каждое слово.

— А мне наплевать, что ей слышно,— говорю я, нарочно еще громче.

Раздается стук в дверь, и я слышу голос мамаши Росуэлл:

— У тебя все в порядке, Ингрид?

— Да, мамочка.

Я выключаю свет и ложусь в постель.

— Какого черта она это спросила? Может, думает, что я тебя избиваю?

Она уже юркнула под одеяло и не находит даже нужным отвечать мне. Теперь она уснет, а мы так ни до чего и не договорились. Утром мы проснемся, и все начнется сначала. А во мне все кипит, и я долго не могу прийти в себя.

Однажды в магазине раздается телефонный звонок: мне звонит Джимми.

— Угадай, кто заходил к нам в контору на днях,— говорит он.— Старина Конрой.

— А мне казалось, он куда-то уехал.

— Его семья живет в Бредфорде, а он сейчас не работает и надумал перебраться в Австралию. Перед отъездом хочет собрать ребят.

Мы болтаем о том, о сем (посетителей в магазине нет), и Джимми говорит, что они думают пойти к «Лорду Нельсону» выпить — это ресторан на Бредфордском шоссе — и не хочу ли я присоединиться к ним. Решили скинуться по десять шиллингов с носа, забраться туда пораньше и сидеть, пока хватит денег. Я говорю, что еще не знаю, как у меня сложатся в этот вечер дела, но так или иначе сообщу ему.

После той ссоры я уже знаю, что никуда не пойду, но рассказываю об этом предложении Ингрид, просто чтобы поставить ее в известность, какие мне приходится приносить жертвы ради сохранения покоя и мира.

— А мне всегда казалось, что ты недолюбливаешь этого Конроя,— говорит она.

— Под конец мы с ним очень даже сошлись. А кстати, ведь и товарищей повидать не вредно.

— Вы будете там выпивать?

— А что же еще можно там делать?

— Ты сказал ему, что придешь?

— Нет. Я постарался отвертеться. Ты же знаешь, что твоя мамаша облысеет в одну ночь, стоит мне только заикнуться о чем-нибудь таком.

Она смотрит на меня кротко и вроде как растерянно даже.

— Ах, Вик, я не хочу, чтобы ты думал, будто ты теперь уже не можешь никуда пойти без меня.

— Хорошо, если бы ты, между прочим, сообщила об этом своей мамаше,— говорю.— Если я решу пойти, так пойду, и ни ты, ни твоя

мамаша не можете мне помешать. Но прежде всего я хочу покоя, и поскольку я вынужден жить здесь, с вами, мне придется от этой встречи отказаться.

Разговор происходит в спальне — единственной комнате, где мы можем потолковать с глазу на глаз, при условии, что будем говорить вполголоса.

— И все же должен тебе прямо сказать,— говорю я,— что совсем не представлял себе, когда на тебе женился, какая у меня будет сволочная жизнь.

— Может быть, ты перестанешь сквернословить?

— Сквернословить?

— Да, сквернословить. Ты последнее время так привык сквернословить. что даже не замечаешь, какие слова говоришь. Раньше этого не было.

— Обстоятельства изменились. И святого можно довести до ручки, и он начнет сквернословить.

Вот так у нас теперь всегда. Мы можем поговорить друг с другом только поздно вечером или рано утром, да еще если пойдем куда-нибудь вместе, что бывает крайне редко, потому что у Ингрид стало заметно, и она очень этого стесняется, да и я тоже. Ну, по утрам, как известно, всегда спешка, а вечером у нас уже, кажется, не остается времени ни на что, кроме как сводить счеты и припоминать все обиды, скопившиеся за день. И получается, что мы только и делаем, что ссоримся и придираемся друг к другу.

— Ступай, если хочешь,— говорит она.

— Чтобы потом меня попрекали этим всю жизнь? Нет уж, спасибо. Я еще не забыл того симфонического концерта.

— Но ведь ты все-таки пошел на него?

— И поплатился за это. Можно было подумать, что я провел вечер не на концерте, а в публичном доме.

— Что ж, поступай, как знаешь.

— Вот-вот, поступай, как знаешь! Ты ведь никогда не станешь на мою сторону, верно? Твоя мать может говорить мне все, что ей взбредет на ум, а ты даже и не подумаешь вступиться за меня.

— Не знаю, почему я должна ссо-

СТИХИ МОЛОДЫХ

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ
БОЛГАРИЯ

ПРИЗНАНИЕ

...А глубже я осознавал стихи,
когда
шла ночь, дежурная бессонно,
там, где на стенах,
видимо тихи,
багряные покоятся знамена.

Как много их,
а сердце лишь одно!..

Их шелк завернут и в чехлы одет,
похоже знамя на бутон весенний,
но помнит кровь
свой первородный цвет —
в ней сила,
гордость,
радость устремлений!

Мир виден в алом знамени остро.
Его очистит стягов наших пламя.
И все равно —
сжимаешь ты перо
иль поднимаешь знамя...
И вновь в уме счастливых мыслей
буйство,
философы вступают в ближний бой...

...Проходит ночь. Кончается
дежурство
последнею взволнованной строфой.

Я снова вижу солнце на рассвете,
и в покрасневших веках —
блики дня...

Не знаю, я ль хранил знамена эти
или они меня!

Перевод с болгарского
Виктора ВИНОГРАДОВА

риться со своей матерью. Никогда я этого не делала и теперь не собираюсь.

Я со звоном швыряю ключи и деньги на туалетный стол.

— Даже ради того, чтобы поддержать мой престиж?

— Это же моя мать, Виктор.

— А я твой муж. Или ты уже об этом забыла — после того как получила бумажку за подписью и печатью? Конечно, в глазах любого я здесь не больше как нахлебник, но я-то, будь я проклят, помню, как расписывался в книге.

— Может быть, ты жалеешь, что женился на мне? — говорит она, и зря, зря она это говорит, когда я в таком настроении, следовало бы ей это понимать.

— А ты еще сомневаешься в этом, черт побери?— говорю я.

После этого она ложится в постель, заливаясь слезами, а я в отчаянии шагаю из угла в угол, и от чувства безысходности меня так и подмывает схватить что-нибудь, что подвернется под руку, и трахнуть об пол.

Ну и жизнь! И впереди еще, быть может, тридцать, сорок лет такой жизни.

глава 7

В конце августа, в самую жарищу, я возвращаюсь с работы в половине седьмого и вижу, что все двери в доме заперты. Ключа у меня нет, и я не могу войти в дом, пока Ингрид и ее мамаша не соблаговолят вернуться из магазинов или где еще их там носит. Меня они, во всяком случае, не нашли нужным поставить об этом в известность.

В полдень жара была еще туда-сюда, но уже после обеда у меня дико разболелась голова, и теперь я чувствую, что устал как собака. Стою возле заднего крыльца, засунув руки в карманы, и думаю о том, сколько мне еще предстоит ждать, и в это время миссис Олифант, наша соседка, выходит на крыльцо, чтобы вытряхнуть скатерть. Она уже собирается вернуться в дом, но, заметив меня, задерживается на крыльце, и мне кажется, что она смотрит на меня как-то странно.

— Похоже, что меня не хотят пускать в дом,— говорю я, чувствуя себя дурак дураком.— Вы, случайно, не знаете, куда они ушли?

Теперь она уже явно с изумлением таращит на меня глаза и приближается к нашей загородке, держа в руке скатерть. В белую и красную клетку.

— Так они же в больнице,— говорит она.— Разве вы...

— В больнице? Но ведь Ингрид ходит на консультацию по вторникам...— Внезапно я чувствую, что меня словно саданули кулаком в живот, и от страха все кишки свело судорогой.— Что случилось?— говорю.— Почему вы так на меня смотрите?

— Да как же,— говорит она, продолжая таращиться на меня.— Ингрид же... Ее забрали в больницу. С ней случилось несчастье.

Мне кажется, что солнце прожигает мне череп насквозь, и лицо миссис О. начинает расплываться у меня перед глазами. Покачнувшись, я хватаюсь за решетку.

— Она, я слышала, упала с лестницы, и у нее как будто выкидыш. Ее еще днем отвезли в больницу. Часа примерно в два. Неужто вы ничего не знали?

Я трясу головой — хочу сказать, что нет, не знал, и стараюсь, чтобы хоть немного прояснились мозги. Колени у меня подгибаются, ноги не хотят меня держать. Чувствую, что должен сесть, иначе упаду.

— Пойдемте, посидите у нас,— говорит миссис О., отворяет калитку, соединяющую наши участки, и впускает меня.— Я, видать, вас напугала... Так я, понимаете, думала, что вы знаете... Заходите. Выпейте чашечку чаю. Сразу почувствуете себя лучше.

Когда мы входим в комнату, мистер Олифант поднимает глаза от вечерней газеты.

— Это молодой Браун, Генри,— говорит миссис О.— Я вижу, он стоит у крыльца — не может попасть в дом. И представь себе, он ничего не знал об Ингрид, это я ему сказала... Садитесь, я налью вам чая. Вы сразу почувствуете себя лучше.

— Он ничего не знал? — спрашивает мистер О.— Ты как будто говорила, что это произошло еще днем?

Должно быть, миссис О. делает ему какой-то знак у меня за спиной, потому что он больше не задает вопросов.

— Я сегодня весь день чувствовал себя как-то неважно,— бормочу я, и он смотрит на меня.

— А теперь вам стало совсем худо? — спрашивает он, встает, подходит ко мне (этакий здоровенный дядя в одной рубашке без пиджака), кладет свою ручищу мне на затылок, пихает мою голову между колен и держит меня в таком положении примерно с минуту.— Ну, а теперь откиньтесь на спинку стула и расслабьте мышцы,— говорит он, отпуская мою голову.— Сейчас вы получите чашку чаю, и вам станет легче.

Миссис О. наливает мне чаю. Я покрепче ухватываю чашку и блюдечко, боясь выронить их из рук, и спрашиваю, нет ли у нее двух таблеток аспирина. Она уходит в кухню и возвращается с лекарством. Я проглатываю таблетки и принимаюсь за чай. Он довольно жидкий и чуть теплый. Двое олифантовских мальчишек с диким визгом врываются в дом со двора, но мистер О. тотчас поворачивает их обратно и выставляет за дверь.

— Должно быть, миссис Росуэлл была так потрясена этим несчастьем, что не смогла вам позвонить,— говорила миссис О.— У вас ведь там есть телефон?

— Да, у нас в магазине есть телефон. И прошло уже добрых четыре часа с тех пор, как это случилось. Вполне достаточно времени, чтобы позвонить. Я прекрасно это понимаю, и мистер и миссис О. понимают тоже.

— Может быть, вы хотите позвонить от нас? — спрашивает мистер О.— Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь.

— Спасибо,— говорю я.— Сейчас позвоню.

«А что, если она умрет? — думаю я.— Что, если она уже умерла? Что, если сейчас, в эту самую минуту, я уже стал вдовцом и только не знаю об этом? Снова стал свободным...»

Я допиваю чай, и мистер О. ведет меня в прихожую, где на маленькой полочке стоит телефон.

— Номер вы знаете?

Я отрицательно качаю головой, и он начинает перелистывать справочник. Потом берет трубку, называет номер, ждет и наконец говорит:

— Больница? Одну минуточку,— и протягивает трубку мне.— Вот, говорите.

— Хэлло! Я хочу справиться о миссис Браун. Ее доставили сегодня днем. Несчастный случай, выкидыш... Что? Это говорит мистер Браун. Меня зовут Виктор Браун, а ее Ингрид... Да, да, правильно.

Я оглядываюсь, но мистер О. уже ушел. Стою, держу трубку, жду. В углу у входной двери детский педальный автомобильчик и трехколесный велосипед, а на площадке лестницы — большой резиновый мяч. Мне

нравится, как отделана у них прихожая: стены оклеены светло-коричневыми обоями, а потолок — темно-синими с крошечными звездочками. По-моему, мистер О. все делает сам. Я толком не знаю, какая у него профессия, но по всему видно, что на жизнь им хватает. Они славные люди. Славные, положительные, спокойные и счастливые...

— Хэлло!

— Да?

— К сожалению, у нас пока еще нет сведений, мистер Браун. Миссис Браун еще находится в родильном отделении.

— А когда вы будете знать?

— Позвоните примерно через час. Или зайдите сюда и подождите. Тогда мы сообщим вам сейчас же, как только получим сведения.

— Хорошо, спасибо. Я зайду.

«Небось удивляется, почему меня до сих пор там нет»,— думаю я, возвращаясь в столовую, где моего сообщения ждут мистер и миссис О.

— Я уверена, что все будет в порядке,— говорит миссис О.— У меня тоже был раз выкидыш, так даже в больницу не увозили. А потом двоих ребятишек родила, так что, видите, мне этот выкидыш ничуть не повредил. И у Ингрид была ведь еще не очень большая беременность?

Она, конечно, не подозревает, что Ингрид была уже на третьем месяце, когда мы с ней поженились, думаю я и говорю:

— Нет, не очень большая,— и предпочитаю дальше не уточнять.

— Все будет в порядке,— повторяет миссис О.,— вот увидите.

— Вы теперь поедете туда? — спрашивает мистер О., и я киваю.

— Да, я сейчас, пожалуй, поеду.

Он встает.

— Я подвезу вас на машине,— говорит он.

— Большое вам спасибо.

— Через пять минут будем там,— говорит он.— В таких случаях не очень-то приятно изнывать на остановке, дожидаясь автобуса.

— Да, конечно. Очень вам признателен.

— Может, еще чая выпьете? — спрашивает миссис О.— Небось ничего не ели? Куда вы помчитесь на голодный желудок? Все равно там ждать придется.

— Я не хочу есть, спасибо большое.

— Обождите минутку, я сделаю вам бутерброд.

— Спасибо, но, право, мне сейчас кусок не идет в глотку.

Мистер О. завязывает галстук и натягивает пиджак.

— Ну, тогда пошли,— говорит он.— Прокачусь с вами в город.

В справочной дежурит другая женщина — не та, что подходила к телефону. У той был приятный звонкий голосок, а эта разговаривает так, словно набила полный рот липких конфет и едва-едва проталкивает между ними слова,— с трудом можно разобрать, что она там лопочет.

Объясняю ей, кто я такой и зачем пришел, и она предлагает мне обождать в приемной — по коридору направо. Прохожу в этот большой высокий зал со стеклянным потолком и длинными скамейками, обитыми голубой кожей, и сажусь. Смутно припоминаю, что был здесь однажды еще мальчишкой. Смотрю на бронзовые дощечки с именами всех местных заправил, которые жертвовали деньги на постройку этого крыла, потом перевожу взгляд на двустворчатые двери с надписью «Скорая помощь». Кажется, это было в тот раз, когда я рассек себе лоб, свалившись с изгороди, и, наверно, я сидел здесь и дрожал весь, от макушки до пяток, воображая, какие ужасы готовятся для меня там, за этими, похожими на иллюминаторы стеклами. За дверью горит свет, но в приемной, кроме меня, никого нет. Вероятно, они там всегда наготове—

на всякий случай. Кто-то может позвать на помощь, и они всегда начеку.

«Неужели она умрет? — снова мелькает у меня в голове.— Неужели она умрет и унесет с собой ребенка? Неужели этим все должно было кончиться?...» — А еще говорят, что в жизни есть свой порядок и смысл. Что все предначертано. Как же это было предначертано? Чтобы я влюбился в нее, а потом разлюбил, но и после этого желал ее настолько сильно, что сделал ей ребенка и поставил нас обоих перед необходимостью пожениться — и все это для того, чтобы она потом упала с лестницы и убила себя и ребенка и сделала меня снова свободным? Какой же в этом смысл? Разве только тот, чтобы заставить меня после этого всю жизнь думать, что это я убил ее, что если бы в ту ночь, в парке, я не позволил себе лишнего, она и сейчас была бы жива?

Я не желаю ей смерти. Я не люблю ее, но я не желаю ей смерти.

От больничного запаха меня начинает мутить. Голова разламывается по-прежнему, аспирин не помог. Не люблю я больниц. Меня, как, вероятно, и других людей, пугает вид больных, пугает чужая боль, которая заставляет чувствовать свое превосходство. Усаживаюсь боком на скамейку, ставлю на нее ногу, опираюсь локтем о спинку и, примостившись так, хочу положить голову на руку.

— Мистер Браун?

Я вскакиваю. Она подошла так неслышно на своих каучуковых подметках. Я смотрю на эту маленькую темноволосую женщину в очках и белом расстегнутом спереди халате, под которым темное платье.

— Да.

— Я доктор Паркер. Я только что была у вашей жены.

— Как она?

— Лучше, чем можно было ожидать. Она очень натерпелась сегодня, потеряла много крови, но мы сделали ей вливание, и теперь все будет в порядке. К сожалению, мы не могли спасти ребенка, хотя делали все, что в наших силах.

— Я понимаю.— Я опускаю глаза в пол.

— Вы давно женаты?

— Три месяца.

— Вот как... Вы...

— Она уже была беременна, когда мы поженились.

— Понятно. Ну, она поправится, и у вас будут еще дети. За этим дело не станет.

— Могу я повидать ее? — спрашиваю я как-то автоматически, словно уверен, что она ждет, чтобы я это сказал. Сам я даже не знаю, хочу ли я сейчас видеть Ингрид, и, пожалуй, чувствую некоторое облегчение, когда доктор Паркер говорит:

— Сегодня лучше не стоит.

Я боюсь увидеть Ингрид в таком плачевном состоянии. А вдруг мне станет противно, и она это заметит.

— Ее мать только что ушла,— говорит доктор Паркер.— Боюсь, что ее посещение не принесло пользы больной. Несколько экзальтированная особа. Вашей жене нужно сейчас уснуть. Если бы вы пришли пораньше...

— Я ничего не знал.

— Но это произошло еще днем.

— Я был на работе. Узнал только, когда вернулся домой.

— Неужели ваша теща не оповестила вас?

— Я узнал от соседей. Меня-то она оповестила бы в последнюю очередь.

Доктор Паркер смотрит на меня молча, и я встаю.

— Завтра утром можете позвонить нам, а вечером, в семь часов, придете навестить вашу жену.

— Если *она* не придет.

— Ну, вы пользуетесь преимущественным правом.

Она провожает меня до двери.

— Вы можете передать ей, что я был здесь и что я пришел, как только узнал?

— Могу. Больше вы ничего не хотите ей передать?

Я качаю головой.

— Да нет, пожалуй. Скажите ей, чтобы она не расстраивалась. Из-за ребенка. Я еще как-то не успел освоиться с мыслью, что стану отцом.

Когда я выхожу за ворота больницы, с холма вниз ползет автобус, и я припускаюсь бегом и успеваю вскочить в него на остановке. Поднимаюсь наверх. Я как-то не очень огорчен потерей ребенка, потому что он ведь не успел еще стать настоящим. Это не было одушевленное существо, и я не могу жалеть, что лишился его. И тем не менее меня приводит в содрогание мысль о том, что со временем это могло бы стать человеком, а теперь его прикончили — трахнули об лестницу, расшибли в лепешку, и нет его. «Она очень натерпелась сегодня»,— сказала эта докторша. Я закрываю глаза и вижу перед собой Ингрид: ноги у нее раскинуты, и хирурги извлекают из нее это кровавое месиво.

В автобусе воняет бензином и табачным перегаром, он почти пуст, несется с холма, подпрыгивая и раскачиваясь во все стороны и вытряхивая из меня все кишки. Внезапно тошнота подступает у меня к горлу, и я покрываюсь холодным потом. Сбегаю вниз, выскакиваю из автобуса, когда он замедляет ход на повороте, и бросаюсь через дорогу в общественную уборную. Нашариваю в кармане пенни, вхожу в одну из кабинок, и треск захлопнувшейся за мной дверцы эхом отдается во всех углах. Мне кажется, что все, собравшись воедино, одним махом обрушивается на меня: женитьба, Ингрид, которую я не люблю, мамаша Росуэлл, ссоры и свары и теперь этот выкидыш, и тошнота, и головная боль... Я наклоняюсь над унитазом и корчусь, и корчусь, и тужусь так, что душа расстается с телом, и наконец меня рвет. И я говорю громко:

— А, к чертовой матери, к чертовой матери, будь все трижды проклято, и катитесь вы все...— И повторяю это до тех пор, пока мне уже нечем больше рвать и слов больше нет, и я выпрямляюсь, весь дрожа, и чувствую только холод и пустоту внутри.

Вероятно, я произвел довольно много шума, потому что, когда я выхожу, служитель уже поджидает меня.

— Не следует так много принимать, если не можешь удержать,— говорит этот говночист, которому тоже хочется, как и всем на свете, сунуть нос не в свое дело и хоть кому-нибудь прочесть мораль.

Я спокойно шагаю мимо него и говорю:

— Поди ты... знаешь куда,— и выхожу из уборной.

Он что-то орет мне вслед, но я не обращаю внимания.

Я никак не могу решить, куда мне идти: к Росуэллам или к себе домой. Сначала совсем было решаю никогда больше не возвращаться к Росуэллам после того, что произошло, но потом думаю, что Ингрид и так здорово натерпелась и я не имею права причинять ей еще новые терзания. Пусть сначала выпишется из больницы, а там посмотрим. Некоторое время я просто брожу по городу: чувствую, что должен пойти домой, к старикам, и рассказать им все, и понимаю, что могу рассказать только с чужих слов, а они захотят узнать подробности, которых я и сам не знаю, и тогда все выплывет наружу, а я сейчас просто не в состоянии во всем этом копаться. В конце концов я все же направляюсь к моим старикам, но потом решаю, что у меня мало времени и лучше зайти завтра, после того, как побываю в больнице, и поворачиваю обратно.

добираюсь до Росуэллов, вхожу в дом и застаю мамашу Росуэлл в беседе с миссис Олифант: она повествует ей о том, что произошло,— вернее, о том, что она по этому поводу думает. На столе у них чайник с чаем. На мамашу Росуэлл страшно взглянуть — такое у нее безобразное, опухшее от слез лицо.

Мамаша Росуэлл не глядит на меня, но миссис О. говорит:

— А вот и Виктор. Ну, как Ингрид, Виктор?

— Я ее не видел,— говорю я, бросая выразительный взгляд на мамашу Росуэлл и стараясь, чтобы он не укрылся и от миссис О.— Я пришел слишком поздно. Она уже спала.

Мамаша Росуэлл внезапно начинает рыдать, и слышать эти звуки и видеть, как искажается ее лицо, когда она перестает владеть собой, просто невыносимо.

— Чего бы я только не дала, чтобы Ингрид никогда не встретилась с ним! — прорывается сквозь рыдания ее сдавленный голос, и миссис О. говорит:

— Успокойтесь, успокойтесь, Эстер. Вы же знаете, что Вик здесь совершенно ни при чем. Это с каждой женщиной может случиться.

Я стою возле двери и чувствую, как меня начинает трясти от бешенства и кровь отливает от лица. Если бы не взгляд миссис О., который удерживает меня на месте, мамаше Росуэлл могло бы сейчас не поздоровиться. Но я выхожу из комнаты, поднимаюсь к себе в спальню и принимаюсь шагать там из угла в угол. Я все еще дрожу с головы до пят и во весь голос осыпаю мамашу Росуэлл самыми грубыми ругательствами, какие только подворачиваются мне на язык.

II

Ночью я слышу, как к дому подъезжает автомобиль, и утром вижу, что приехал мистер Росуэлл. Ему она, как видно, успела сообщить, в то время как мне не удосужилась даже позвонить по телефону. Только его приезд и удерживает меня от того, чтобы расплеваться с ней окончательно, уложить свое барахло и убраться отсюда восвояси. Ему, должно быть, удалось немного утихо-

СТИХИ МОЛОДЫХ

МИКАЭЛЛА ЛАФОНТАН
ГАИТИ

ОНИ ХОТЕЛИ Б...

Они хотели б
обескрылить птиц,
заставить рыб
покинуть воду.
Они хотели б
исказить природу:
заставить в полдень
сумерки царить.

Они хотели б
дружбу утопить,
улыбку сжечь
и солнца скрыть сиянье.
Заставить петь
лишь песни расставанья,
заставить бреду,
мании — кадить.

Они хотели б
звезды растащить,
луну затмить
на небосводе.
И нас заставить
в бледном хороводе
под адский грохот
призраками плыть.

Но птицам петь
и рыбам в струях виться,
сиять улыбке,
дню торжествовать.
Любовь моя,
им солнца не достать.
Да, счастье расцветет!
Да, разум возродится!

И будет свет луны
сиять над спящим миром.
И в добрых схватках
мы захватим часовых.
Да, победит Любовь
все ухищренья их,
изгонит навсегда
маньяков и вампиров.

Перевод с французского
Л. ЛОЗИНСКОЙ

мирить ее и вразумить. И каких бы гадостей она ему про меня ни напела, с виду его отношение ко мне ничуть не изменилось. Он держится совершенно так же, как держался прежде, во время своих наездов домой,— спокойно, вежливо, дружелюбно. С ним как-то всегда чувствуешь себя человеком, и это снова заставляет меня пожалеть о том, что он так редко бывает здесь.

Во всяком случае, на этот раз он берет отпуск на неделю и остается дома до возвращения Ингрид из больницы. Она должна была бы пробыть там дней десять-пятнадцать, но ей разрешают выписаться раньше при условии, что она будет на первых порах очень беречься. Но время бежит, и мистер Росуэлл должен вернуться к своим делам, а у нас все опять идет по-старому, только хуже. Порой мне кажется, что это какой-то сон, и я жду, что он кончится и мы возвратимся к нормальной жизни. Мамаша Росуэлл почти не разговаривает со мной, и я, конечно, адресуюсь к ней только в самых крайних случаях.

Зато Ингрид теперь еще больше действует мне на нервы. Прошло уже три месяца, как она выписалась из больницы, а ее мамаша продолжает напоминать ей, что она еще очень слаба и не должна утомляться, и все твердит: не усердствуй, не усердствуй, и Ингрид совершенно распустилась и сидит целыми днями в кресле — можно подумать, что она уже при последнем издыхании. Мне теперь от нее ни тепло, ни холодно: днем она возлежит в кресле, словно какой-нибудь инвалид на пляже в Скарборо, и только мозолит мне глаза, а ночью в постели держит меня на расстоянии. Это тянется так долго, что я посоветовал ей однажды повесить себе на спину плакат: «Не кантовать, легко бьющееся!»

— И долго так будет продолжаться? — спрашиваю я ее как-то вечером, когда она снова оказывает мне весьма холодный прием.— Тебе, знаешь, придется кончить эту бодягу рано или поздно.

— Что это значит: «кончить бодягу»?

— То самое и значит. Ты же не можешь валять дурочку всю жизнь из-за того, что у тебя был когда-то выкидыш.

— Значит, ты считаешь, что я притворяюсь?

— Может быть, ты сама этого не понимаешь. Мне кажется, ты с помощью своей мамаши довела себя до такого состояния, что тебе мерещится, будто ты еле жива. И мне это, признаться, надоело.

— Как всегда, ты, конечно, думаешь только о себе,— говорит она.— Никогда ни малейшего сочувствия ко мне.

— Я, кажется, женился на тебе, когда с тобой случилась беда, не так ли? После твоего выкидыша прошло уже три месяца, и, по-моему, я бы уже мог приблизиться к тебе, не чувствуя себя при этом похабным старикашкой.

Она садится на постели отчужденная, с каменным выражением лица — совсем как у ее мамаши. Если бы она знала, как она сейчас похожа на мать и как ее мать мне ненавистна, она, пожалуй, поостереглась бы напускать на себя эту дурь.

— Если ты не в состоянии думать ни о чем другом,— говорит она,— тебе следует научиться владеть собой.

Она изрекает это таким тоном, что, право, кажется, будто эти слова произносит не она, а ее мать. Я гляжу на нее во все глаза: неужели это та горячая девчонка, с которой мы, бывало, такое вытворяли в парке? Я не могу понять, что с ней сталось.

— И до каких это пор? — спрашиваю.— Пока твоя мамаша не даст тебе разрешения? Ты же знаешь, чего хочется твоей матери, знаешь прекрасно. Или ты настолько тупа, что даже этого не понимаешь? Ей хочется добиться, чтобы я выкинул что-нибудь такое, после чего она могла бы заставить тебя потребовать развода. Ну что ж, она выбрала очень правильный способ, имей в виду. Я ведь мог бы в два счета смо-

таться отсюда, еще когда ты свалилась с лестницы. Думаешь, это было легко — вернуться сюда после того, как твоя мать так со мной обошлась?

— Почему же ты все-таки вернулся?

— Потому что ты моя жена, и тебе и так было тогда нелегко, и мне не хотелось причинять тебе еще новые страдания.

— Чрезвычайно великодушно и благородно с твоей стороны,— говорит она так ядовито, словно не верит ни единому моему слову.

— Может, ты лучше знаешь почему?

— По-твоему, значит, я должна кланяться тебе в ноги за то, что всякий порядочный муж сделал бы на твоем месте?

Честное слово, мне хочется ей врезать! С каждым днем это желание все чаще возникает у меня, а ведь я ни разу в жизни не поднял руки на женщину.

— Нет, не должна. Это я, по-видимому, должен ползать перед тобой на коленях, чтобы заставить тебя сделать то, что каждая нормальная жена делает для мужа. Так вот, я тебе прямо говорю: мне это надоело. Я старался, как мог, наладить нашу жизнь, но если мы муж и жена, значит, мы муж и жена, и я не намерен быть здесь просто нахлебником, которому в виде особой милости разрешается делить с тобой ложе при условии, что он будет держать руки при себе.

Ну и так далее и тому подобное, снова и снова. И, конечно, это не приводит ни к чему, разве что нам еще больше хочется выцарапать друг другу глаза и плюнуть на все.

Не трудно понять, что все эти мелкие стычки, накапливаясь, проторяют дорогу крупному скандалу. И теперь он уже близок.

Началось все как будто из-за новой шубки для Ингрид. В малом часто заключено большое, более значительное, чем может показаться с первого взгляда. У Ингрид гардероб битком набит всяким барахлом, это я нисколько не преувеличиваю. Вероятно, до замужества она весь свой заработок тратила на тряпки. Словом, еще одна шубка необходима ей не больше, чем мне еще одна теща, и к тому же мы с ней вроде как уже договорились воздерживаться пока от лишних трат и откладывать каждый пенни, чтобы со временем поселиться отдельно. И вдруг теперь мамаша Росуэлл начинает ее подзуживать, добиваться, чтобы она выбросила мои пятнадцать фунтов на эту шубу, без которой она распрекрасно может обойтись. Примерно это я ей и выкладываю, после чего силы воюющих сторон мгновенно распределяются следующим образом: мамаша Росуэлл — по одну линию фронта, я — по другую, а Ингрид — посредине. В этот вечер я как раз собирался повести Ингрид в кино и теперь спрашиваю ее, хочет ли она пойти, все еще надеясь, что мы успеем смотаться туда, прежде чем начнется свара. В ту же секунду ее мать заявляет, что сегодня по телевизору будет та передача, которую Ингрид хотелось посмотреть.

Итак, перед нами дилемма: либо кино, либо телевизор. Во всяком случае так это выглядит. Но я чувствую, что сейчас должно решиться кое-что другое: либо мамаша Росуэлл, либо я. Пора наконец Ингрид дать своей матери почувствовать, что у нее есть муж и она в первую очередь должна считаться с ним.

Но Ингрид жмется и не говорит ни да, ни нет, а я злюсь все больше и больше и наконец, не дождавшись, пока она на что-нибудь решится, принимаю решение сам — хватаю пальто и в ярости хлопаю дверью.

Меня еще трясет, когда я сажусь в автобус. Мне кажется, что я не успокоюсь, пока не разобью чего-нибудь, или не сломаю, или не смажу кого-нибудь по физиономии. С каким восторгом схватил бы я, кажется, мамашу Росуэлл за горло и душил бы до тех пор, пока ее безмозглые глазенки не вылезли из ее безмозглой головы. Не понимаю, что со мной

творится. Никогда со мной этого не бывало. Я начинаю постигать, как человека можно довести до убийства.

III Я уже поднимался по лестнице кинотеатра, нащупывая в заднем кармане мелочь, когда почувствовал вдруг, что меня сейчас вовсе не тянет смотреть картину. С ходу останавливаюсь, и какой-то тип налетает на меня сзади. Бормочу «извините!», поворачиваюсь и сбегаю вниз; стою на тротуаре и думаю: как же мне убить вечер? Перебираю в уме всех своих приятелей — интересно, что они сейчас делают? У меня всегда было много друзей, и мы неплохо проводили время вместе. Теперь я их почти всех растерял. Уже сколько месяцев ни с кем не встречался. Женитьба как бы изъяла меня из обращения. И притом, понимая, каким я должен им казаться кретином, я и не особенно рвался к встрече с ними. Начинает накрапывать дождь, и настроение у меня все падает и падает.

Бреду по улице, потом укрываюсь в проезде между двумя магазинами, который ведет в маленький, мощенный булыжником переулок. Минуты две-три пережидаю там дождь вместе с какой-то пижонкой в голубом плаще, которая явно поджидает своего хахаля. Он появляется почти тут же — высокий, широкоплечий блондин в коротком пальто — и уводит ее; взявшись за руки, они направляются в кино. Оглядываюсь, вижу вывеску, покачивающуюся над тротуаром в глубине переулка, прохожу под аркой и направляюсь к пивной.

За стойкой бара — платиновая блондинка в платье, похожем на кольчугу: оно все блестит и сверкает, отражаясь в осколочном зеркале, которое закрывает всю стену позади полок с пивными и винными бутылками и перевернутыми вверх дном кружками и стаканами. У блондинки нежная розовато-смуглая кожа и черная родинка на левой скуле. Неизвестно, конечно, какой у нее будет цвет лица в половине восьмого утра, когда в спальне адский холод и занавески на окне залубенели от мороза, но в таком виде, как сейчас, она мне нравится. Эта розовая смуглость окрашивает и ее шею и переходит дальше на грудь, ловко обтянутую платьем, и я невольно думаю, что все, что ниже, что скрыто от глаз стойкой бара,— тоже не хуже. Я сижу за полпинтой горького пива и наблюдаю за ней, барменшей. Женщины такого сорта всегда волнуют мое воображение: прожженные, искушенные, умеющие постоять за себя. Такая, глазом не моргнув, поставит на место какого-нибудь сосунка вроде меня, но с настоящим парнем, который придется ей по вкусу, не станет ломаться и покажет, чего она стоит в постели. Она выходит из-за стойки, останавливается как раз возле меня, наклоняется и пытается достать что-то из-под стойки, и мой взгляд проникает за вырез ее платья, а мне сейчас в моем настроении это не слишком полезно. Вот, думаю, будь у меня много денег, я мог бы подцепить себе такую бабенку, и все было бы в порядке. Получал бы свое без всяких осложнений, а любовь могла бы подождать, пока не появится настоящая девушка. А теперь все смешалось, запуталось к чертям собачьим, и не успеешь оглянуться, как ты уже увяз по уши в этой трясине, без всякой надежды на спасение. И снова — как часто теперь — у меня щемит сердце от тоски при мысли о том, что я женат, что я крепко пойман на крючок, и если бы даже та, настоящая девушка, которую я всегда искал, появилась сейчас вдруг передо мной и на лице у нее было бы написано: «Привет, Вик, я пришла!» — для меня было бы уже поздно. На мне чужое тавро.

И пока все это проносится у меня в голове, блондинка продолжает шарить под стойкой, а я не могу оторвать своих гляделок от выреза ее платья и при этом толком даже не вижу ничего, что лишний раз показывает, в каком я нахожусь состоянии. Но тут она выпрямляется, и сверкание ее кольчуги отрезвляет меня. Я понимаю, что она перехватила

мой взгляд и поймала меня с поличным. Но не могу же я сделать вид, будто вовсе и не глядел никуда, хотя, в сущности, даже ничего и не видел — так, мелькнуло что-то в первое мгновение. Поэтому я стараюсь твердо выдержать ее взгляд, будто какой-нибудь заправский пижон, и с минуту она смотрит на меня, смотрит холодно и жестко — ну точно герцогиня на своего мальчишку-конюха, который забылся и позволил себе лишнее. Потом отворачивается, берется за ручку пивного насоса, и я вижу обручальное кольцо у нее на пальце.

— Зря ты заглядываешься на Мод,— произносит кто-то у меня за спиной.— Она обручена.

Оборачиваюсь и вижу Перси Уолшоу, который взбирается на соседний табурет.

— Не похоже, чтобы это могло ее остановить, Перси.

— Э, нет,— говорит он.— Не всегда можно судить по внешности, Мод добродетельна, как жена викария.

— А который же из вас викарий? — спрашиваю я, и Перси смеется, а блондинка в это время заходит за стойку и здоровается с ним. Перси, здороваясь, называет ее по имени.

— Как обычно? — спрашивает она.

И Перси кивает:

— Пожалуйста.

Она снимает с крючка высокую кружку и нацеживает полпинты крепкого. Я гляжу на Перси, который одним глотком убирает добрую половину.

— Почему это тебе налили в такую кружку?

— Я здесь постоянный клиент, друг мой. Они уважают постоянных клиентов.

Все тот же старина Перси, ничуть не изменился, думаю я. Мы с ним примерно одного возраста и некоторое время учились вместе в школе, а потом он уехал (был какой-то скандал, говорили, будто его выгнали за то, что он на переменке слишком активно приставал к одной девчонке, но я до сих пор не знаю, правда это или вранье). Так или иначе, он перевелся в какой-то пансион в одном из центральных графств. В школе мы крепко с ним дружили, со стариком Перси, а последнее время виделись не часто, но все равно оставались добрыми приятелями. Мне всегда нравилось в нем то, что он никогда не кичился своими деньгами, хотя и любил покутить. Я случайно узнал, что у них дома семь спален, экономка и горничная, и после этого полюбил его еще больше за то, что он никогда этим не бахвалился и не задавался перед другими ребятами. Он нравился мне даже тогда, когда на него находила дурь, а он иной раз делался совсем как полоумный, это уж точно. Верно, это потому, что у него слишком рано завелись в кармане деньги, а его старик мало его порол. И сейчас достаточно на него взглянуть, чтобы каждому стало ясно, что он набит монетой. Такой уж у него вид в этой клетчатой кепке и коротком полупальто с меховым воротником, за которое он, верно, отвалил никак не меньше тридцати фунтов. И насколько я понимаю, он, конечно, не пешком пришел сюда и приехал не на автобусе.

— Ну, как твоя трудовая жизнь, старина? — говорит он.— Давненько я тебя не видел.

По чести, следовало бы ответить: «Довольно погано», но я отвечаю банально:

— Да ничего, помаленьку.

— Все по-прежнему — с карандашом и линейкой?

— Нет, я теперь работаю в магазине. А ты как?

Перси допивает свою кружку и делает знак блондинке. Достает из кармана пригоршню серебра.

— Повторим?

— Не откажусь.

— Я теперь при деле, старина,— говорит он, заказав пива.— Пришлось в конце концов сдаться. Мои пытаются сделать из меня коммивояжера, и похоже, это им удастся. Мне, знаешь, нравится таскаться по стране и уговаривать народ делать заказы. Это как раз по мне. В каждом городе — новая пивная. Деньги текут, как вода.— Он пощипывает светлый пушок над верхней губой.— Вот почему я отращиваю эту пакость. Клиенты не любят иметь дело с юнцами.

Блондинка ставит перед нами кружки с пивом, и Перси расплачивается.

— Ну, за твое здоровье.

— За тебя, Перси.

Перси достает портсигар, и мы закуриваем.

— Что думаешь делать сегодня вечером? — спрашивает он.— Просто так заглянул сюда на часок?

— Да, просто так.

— Ты что такой хмурый, Вик? Какие-нибудь неприятности?

Я признаюсь, что чувствую себя довольно погано.

— Ну, знаешь, как это бывает иной раз.

— Хм,— произносит он так, словно никогда в жизни не чувствовал себя погано, но не возражает из вежливости.— Волочишься за кем-нибудь понемножку?

Дальше увиливать нет смысла.

— Мне теперь уже поздно волочиться, Перси, дружище.

— Что значит «поздно»?

— Поздно, я женат.

Перси глядит на меня, разинув рот.

— Быть того не может! Ах ты хитрец! И давно?

— Да примерно с полгода назад.

— И ты уже сидишь в пивной, повесив нос? — Он покачивает головой.— Это поразительно, что женитьба может сделать с хорошим человеком.

— Ладно, Перси, кончай!

— Даже чувство юмора убивает.

— У меня есть чувство юмора, черт подери, когда есть настроение шутить,— говорю.— А сегодня у меня его нет.

— Все осточертело, так, что ли?

— Да, сыт по горло.

— Ну и ну...— Перси отхлебывает пиво и пытается сдуть пену со своих воображаемых усиков.— Я полагаю, что священный долг дружбы повелевает мне спасти моего старого школьного товарища от такой хандры. Я сам немного не в своей тарелке сегодня. Назначил было свидание, и в последнюю минуту сорвалось. Может, закатимся куда-нибудь, а?

По-моему, это неплохая идея Я только что сидел и думал: где-то сейчас все мои дружки, и вот судьба посылает мне Перси, а уж если кто и может заставить меня немножко забыться, так это он. Вынимаю бумажник, проверяю, сколько там. Вижу: остался еще целый фунт.

— Идет, Перси, двигай, я за тобой.

— Пошли,— говорит Перси. Он опрокидывает остатки пива и ждет, пока я прикончу свое.— Сюда идем,— говорит он, хлопая меня по плечу.— Экипаж подан.

Перед входом в пивную на булыжной мостовой стоит двухместная спортивная машина — какой марки, я не могу разобрать в темноте.

— Славная машина,— говорю я, опускаясь на низкое, похожее на люльку сиденье.

— Нравится? — не без гордости спрашивает Перси.—«Триумф ТРЗ». Я выклянчил ее у моего старика, когда отправился в первую поездку. Он хотел купить «хумбер» или «остин». Считал, что это будет солиднее, но мне удалось его переупрямить.

Ну, конечно, так же, как это тебе удавалось всегда, всю жизнь, сукин ты сын, думаю. Но машина и в самом деле недурна...

Он нажимает на стартер, и мотор рычит, словно в него забрался тигр. Меня пробирает дрожь восторга от этой мощи. Мне даже немножко завидно, что за баранкой не я, а Перси.

— Был когда-нибудь в «Отдыхе монаха»? — спрашивает он, и я говорю, что не был.— Это новый кабак на Бредфордском шоссе... Сила! С него и начнем.— Он жмет на газ, мотор ревет — того и гляди, лопнут стекла.— Смотри, чтобы шляпа не слетела.

Теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, что за три часа мы перепробовали пиво почти во всех кабаках Уэст-Райдинга — две кружки там, еще две здесь,— и всякий раз рука Перси ложилась мне на плечо и я слышал: «Кончай, двигаем дальше», пока я не потерял счет стойкам, к которым мы приваливались, людям, с которыми мы трепали языком, пивным кружкам, которые мы опоражнивали, и ватер-клозетам, в которых мы от этого пива освобождались. В одном баре в Лидсе Перси совсем было столковался с двумя довольно потасканными девицами, хлеставшими джин,— им пришлись по вкусу его похабные анекдоты и манера сорить деньгами,— но все же вовремя сообразил, что машина у него двухместная, да и я как-никак женат и себе не хозяин.

— А ведь, пожалуй, действительно надо было взять «хумбер»,— говорит он, когда мы выходим и усаживаемся в машину, чтобы отчалить от этого кабака и взять курс на другой.

Последние часы перед закрытием застают нас где-то на Хэррогейтском шоссе, в залитом огнями придорожном ресторане, где вся обстановка сделана из какого-то желтого дерева с металли-

СТИХИ МОЛОДЫХ

МОРИН ДАФФИ
АНГЛИЯ

ВОРОБЬИ

Зобы напыжив, дрогнут воробьи
На осенью прошитых черных ветках,
На зыбких ветках в меленьких отметках
Когтей и клювов.
Кто-то без любви
Швырнет пернатым черствых крошек горсть —
И те клюют, презревши смрад и копоть.
Не выучил их наш печальный опыт
Таким понятьям, как борьба и злость.

Толкутся на безлюдных мостовых,
Чирикают по слабости душевной
Нехитрые мотивчики свои.
(Судьба хранит безумцев и святых.)
А нас, погрязших в гонке повседневной,—
Как сладко нас тревожат воробьи!

Перевод с английского
Андрея СЕРГЕЕВА

ческими украшениями, а люстры — из нержавеющей стали. Мы выходим оттуда, спускаемся по ступенькам и прокладываем довольно извилистый путь между стоящими на подъездной аллее машинами. Оба мы не особенно твердо держимся на ногах, и Перси, плюхнувшись на сиденье и захлопнув дверцу, внезапно разражается хохотом. И не хохотом даже, а тихим, безудержным смехом, как бывает, когда сам не знаешь, чему смеешься, а остановиться нет сил.

— Как ты себя чувствуешь, Вик? — спрашивает он.

— Окосел, Перси, дружище,— говорю я.— Пьян в дымину.

И вдруг меня тоже начинает разбирать, и теперь уже мы оба покатываемся на сиденьях, давясь от смеха, и в горле у нас булькает, словно вода в водопроводе, и у меня даже начинает болеть под ложечкой.

Когда нам наконец удается с этим справиться, Перси говорит:

— Ну что ж, похоже, надо поворачивать к дому. Где это мы находимся?

— Где-то неподалеку от Хэррогейта, должно быть.

— В первый раз слышу,— говорит Перси, и мне становится немного не по себе, когда он трогает машину и мы начинаем приближаться к шоссе.

— Ты хорошо себя чувствуешь, Перси? — спрашиваю я его. Какникак, мы сидим в быстроходной машине, а Перси, даже когда он трезв, как стеклышко, парень шалый.

— Как нельзя лучше! — говорит Перси. Он так наклоняется над баранкой, что макушка его кепки касается ветрового стекла.— В какую сторону нам ехать?

— Не знаю.

— А с какой стороны мы приехали?

— Кажется, с той. Слева.

— Ладно, тогда поедем направо. По мне, все дороги хороши!

Он сворачивает на шоссе, включает прямую передачу и дает газу. Словно чья-то гигантская рука прижимает меня к спинке сиденья, и мы с бешеной скоростью мчимся вперед. От испуга я начинаю немного трезветь. Я никогда не испытывал страха в автомобиле, но сейчас мне страшно. Некоторое время я креплюсь, стиснув зубы, упершись ногами в переднюю стенку кузова, но наконец больше молчать не в силах.

— Полегче, Перси.

— Чего? — спрашивает Перси.

— Я говорю — полегче. Сейчас езда не то, что днем. Темно, ты же понимаешь.

Перси смеется и, обогнав тяжелый грузовик-контейнер — экспресс с прицепом,— подрезает ему нос. На мгновение я уже вижу нас обоих под колесами грузовика. Мы мчимся по узкому шоссе, по обеим сторонам — каменные ограды.

— Имеешь какое-нибудь представление, где мы находимся? — спрашивает Перси.

— Черта с два! — отвечаю я обалдело.— А ты разве не знаешь?

— Уже минут десять, как ни беса не пойму! — орет он, страшно довольный собой.— Где-то свернул не туда!

— Если мы будем мчаться так, как угорелые, то перемахнем шотландскую границу раньше, чем сообразим, куда нас занесло. У меня, знаешь, сегодня было довольно паршиво на душе, но я все-таки пока еще не хочу дать дуба.

Я начинаю думать об Ингрид — как она будет ждать меня, а я так и не появлюсь. Придет полиция и сообщит ей. Интересно, заплачет она или нет? А мать, отец, Крис...

— Дать дуба? — повторяет Перси.— Что это вдруг? Или ты боишься?

— Да, боюсь. Темно же, черт дери, и дороги ты не знаешь, старик.

— У нас сильные фары,— преспокойно говорит он, и мы мчимся дальше в черный мрак.

Да, конечно, фары сильные, спору нет, но такая тьма — вещь коварная. Какие-то тени прикидываются реальными предметами, а реальные предметы возникают там, где только что ничего не было...

Свет фар на мгновение выхватывает из мрака дорожный знак.

— Осторожнее, Перси, ради бога, сейчас будет поворот, крутой поворот...— Больше я ничего не успеваю сказать, зажмуриваюсь, стискиваю зубы и готовлюсь к страшному удару, когда высокая каменная стена вырастает прямо передо мной в луче фары. Перси круто поворачивает баранку, и меня отбрасывает в сторону. Я слышу скрежет металла о камень где-то сбоку, и машина останавливается.

Несколько секунд сижу, не двигаясь, опустив голову. Сердце у меня тарахтит, как электрический движок, а руки дрожат, словно былинки на ветру. Мы никоим образом не должны были уцелеть, и мне все еще не верится...

Перси выскочил из машины, как только она остановилась, и обежал ее кругом. Теперь он возвращается, садится за баранку.

— Всего бы на фут,— говорит он.— На какой-то паршивый фут правее, и все было бы в порядке.

Я молчу. Он запускает мотор, включает заднюю скорость и отводит машину от стены. Затем снова выскакивает из машины, снова обходит ее, наклоняется к моему окну, и я опускаю стекло.

— Левое крыло в лепешку,— сообщает он.

Его крыло мало меня беспокоит, я думаю о собственной целости.

— Но, конечно, могло бы быть и хуже. Колеса вертятся, и то ладно.— Он залезает в машину.— Надо поскорей смываться, пока дорожная инспекция не наделала нам хлопот.

Я хватаю его за руку, прежде чем он успевает включить зажигание.

— Постой! С меня на сегодня хватит.— Я пытаюсь засмеяться, получается довольно фальшиво.— Когда здесь может быть автобус?

Перси негромко деликатно фыркает и начинает барабанить пальцами по баранке.

— Какой-то паршивый, несчастный фут,— говорит он, помолчав.— На фут бы правее, и мы бы проскочили. Надо же, чтоб так не повезло!

— А по-моему, нам зверски повезло,— говорю.— На фут левее, и тебе утром пришлось бы соскребать меня со стены.

Перси поворачивается, смотрит на меня.

— Ты в самом деле крепко напугался?

— Я думал, что всему конец, Перси. Надеюсь, мне не скоро доведется еще раз испытать нечто подобное.

Перси шарит рукой в карманчике чехла на правой дверце.

— Обожди-ка. У меня, кажется, есть то, что тебе нужно... Где же это? Ага! — Он достает металлическую фляжку, отвинчивает пробку и протягивает фляжку мне.— На-ка, глотни.

— Что это?

— Коньяк.

— Пожалуй, с меня уже довольно...

— Давай, давай. Сейчас это тебе полезно.

Отхлебываю немного из фляжки, и в эту минуту Перси подталкивает дно фляжки вверх, и коньяк льется мне прямо в глотку. Я, поперхнувшись, кашляю.

— Ну как?

— Жжет, как огнем.

— Сейчас это пройдет, и почувствуешь приятную теплоту в животе. И море будет по колено.

Он обтирает горлышко фляжки ладонью, отхлебывает и произносит: «У-ух!». Завинчивает фляжку и сует ее обратно в карман чехла. Рука его снова тянется к зажиганию...

— Ну как, поехали?

— Обожди секунду.— Я отворяю дверцу.

— Ну, что еще?

— Помочиться надо.

— Валяй. А я подам назад и погляжу на этот знак. Правильно,— говорит он, когда я снова залезаю в машину.— Теперь я знаю, где мы находимся. В два счета будем дома.

— Можешь не торопиться, Перси, старина,— говорю я ему.— По мне, будем кататься хоть до утра.

Перси смеется.

Он все еще продолжает смеяться, когда высаживает меня из машины перед домом Росуэллов. И крикнув что-то на прощанье, уносится прочь, словно огромная летучая мышь, вырвавшаяся из преисподней.

IV

Я не очень-то твердо стою на ногах. Коньяк снова привел в действие весь проглоченный ранее алкоголь, и я опять пьян, пьян основательно. Только теперь на другой манер: меня больше не разбирает пьяный смех, я гадко, злобно, зловредно пьян и готов лезть в драку — было б только с кем. Сквозь шторы в гостиной пробивается свет — значит, меня ждут. Кто-то должен ждать, так как у меня нет ключа. У меня никогда не было ключа от этого дома. Ну, мамаша-то Росуэлл в такой час, должно быть, благополучно почивает и не будет путаться под ногами, а если Ингрид вздумает читать мне мораль по поводу того, что я являюсь домой в полночь и под мухой, что ж, пусть только попробует, посмотрим, что получится. Да, сегодня мы посмотрим.

Но когда я останавливаюсь на пороге, щурясь от яркого света,— передо мной эта старая сука, собственной персоной.

— А Ингрид уже легла? — несколько опешив, спрашиваю я.

— Она легла час назад. И я бы давно легла тоже, если бы не была вынуждена дожидаться вас. Вам известно, сколько сейчас времени?

Мне это известно, но я бросаю взгляд на небольшие часы из поддельного мрамора, стоящие на каминной полке.

— Без десяти двенадцать.

— Вот именно, без десяти двенадцать, а люди не могут лечь спать — вынуждены ждать, когда вы соизволите вернуться домой.

По некоторым признакам — как она опустила глаза и поджала свои пухлые губки — я вижу, что эта тирада была подготовлена заранее. Ну что ж, ладно, думаю я, видно, тебе этого хочется. Я столько раз мысленно повторял про себя все, что выскажу ей когда-нибудь напрямик, что мог бы произнести это даже во сне. Я ведь давно мечтаю о том, чтобы сцепиться с ней как следует и свести счеты. Если ей сейчас этого хочется, она свое получит.

Пуская снежный ком катиться под гору, я чувствую странное облегчение, словно огромная тяжесть спала с моих плеч.

— Домой? — говорю я.— Вы это всерьез? Неужто вы воображаете, что для меня здесь дом? Да у меня даже нет от этого дома ключа. Будь у меня ключ, вам бы не пришлось меня ждать. Но я здесь просто нахлебник, и уж вы никогда не дадите мне об этом забыть.

Я наблюдаю, как она вскидывает голову. Это делается столь величественно, что на нее просто неловко смотреть. Интересно, как далеко

придется мне зайти, прежде чем она бросит выламываться и покажет, какая она обыкновенная вульгарная мещанка.

— Обзаведитесь сначала собственным домом и вы получите возможность поступать, как вам заблагорассудится,— говорит она.— А тот, кто живет в моем доме, должен, я надеюсь, считаться с моим укладом. Даже если он был воспитан в иных условиях.— И она поднимается, собирает вязанье и оправляет юбку на своих жирных ягодицах.

— Обзаведешься тут собственным домом, как же! Ни купить, ни снять дом я не могу. По моим подсчетам, году этак в шестьдесят восьмом мы, может, и выберемся отсюда.

— Вы, по-видимому, не испытываете ни малейшего чувства признательности за то, что я позволила вам поселиться здесь,— говорит она.

— У вас все шиворот-навыворот,— говорю я ей.— Это мы сделали вам одолжение, поселившись здесь, потому что вы никак не хотели расстаться со своей драгоценной дочуркой. Ладно, успокойтесь. Мне все это осточертело не меньше, чем вам. Постараюсь освободить вас от своего присутствия при первой же возможности.

— А эта возможность, как я поняла из ваших слов, представится еще очень не скоро?

Я в это время пытаюсь отделаться от своего плаща — у меня что-то не ладится с пуговицами. Замечаю, что она весьма пристально наблюдает за мной исподтишка.

— Как только Ингрид оправится и вернется на работу, мы сможем откладывать больше. Тогда и подыщем себе что-нибудь.

— Не думаю, чтобы Ингрид захотела вернуться на работу. Она, так же как и я, считает, что муж должен содержать жену, если он хоть на что-нибудь годен.

Для меня это новость. В том-то и беда, что я никогда не знаю, где правда: то, что Ингрид говорит мне, или то, что она, по словам матери, говорит ей. И это меня бесит.

— Ну, так ей придется отказаться от таких фантазий. Если она хочет иметь собственный дом, должна помочь оплатить его. У меня нет папаши миллионера. Может, вам такого хотелось для нее заполучить, а? С туго набитым карманом, чтобы она всю жизнь купалась в роскоши?

— *Вы,* во всяком случае, отнюдь не то, о чем я для нее мечтала.

— А женился на ней *я.* И будь я трижды проклят, если она не была до черта рада заполучить меня.

— А вы не можете обойтись без подобных выражений?

Я начинаю замечать, что мне как-то не удается одержать над ней верх, и это бесит меня еще больше. Вот я наконец выложил ей все напрямик, а она почему-то не реагирует. Ей и тут удается меня принизить и как-то обернуть все в свою пользу.

— Без каких это «подобных»? — спрашиваю.

— Без бранных выражений.

— А если мне это нравится? Если мне еще с сегодняшнего чаепития хочется браниться на чем свет стоит?

— Браните где-нибудь в другом месте. Приберегите весь этот запас для ваших приятелей. Мне почему-то сдается, что они как раз того сорта, кому эта брань может прийтись по вкусу.

— Для *моих* приятелей? — повторяю я и слышу, как мой голос срывается на фальцет.— Можно подумать, что *ваши* приятели больно хороши! Шайка вонючих пижонов, карьеристов! А я вот, если хотите знать, только что был с парнем, у которого столько денег, что ни вам, ни вашим приятелям и во сне не снилось.

И тут я внезапно ощущаю легкий приступ тошноты. Верно, действует пирог со свининой, выхлопные газы и коньяк, выпитый после

многих кружек пива. Устремляюсь к стулу и чуть не падаю, зацепившись за треклятый ковер.

— По-видимому, некоторую часть этих денег он употребил сегодня на выпивку?

— Да, я немного хлебнул. Не отрицаю.

— Немного? Ручаюсь, что не меньше дюжины пива.

— Ладно, я выпил дюжину. И с превеликим удовольствием. Может быть, это запрещено законом?

— Самое элементарное чувство порядочности должно было подсказать вам, что нельзя являться в таком состоянии домой, к жене.

— Так! Теперь, значит, у меня уже нет элементарного чувства порядочности, вот как? У меня его хватило, чтобы жениться на вашей Ингрид, когда она забеременела. Да, да, знаю, я виноват, но, между прочим, в этом деле, знаете ли, должны как-никак участвовать двое. И уж будьте уверены, она получила то, чего добивалась, когда я женился на ней. С ребенком или без ребенка, она выскочила бы за меня замуж в любую секунду.

— Она бы прислушалась к мнению других, если бы не была уже обесчещена.

— Вот это здорово! Вы, может, думаете, что я ее принуждал? Не беспокойтесь, не подвернись я, подвернулся бы кто-нибудь другой.

Сам знаю, что это не совсем так, но сейчас мне не до тонкостей. Моя задача — вывести мамашу Росуэлл из себя, и, кажется, я уже близок к цели.

Ее трясет от злости.

— Как вы осмеливаетесь делать такие грязные намеки по адресу моей дочери? Вы, жалкое ничтожество, являетесь в непотребном виде в мой дом, словно в свой собственный, и пачкаете доброе имя девушки своим гнусным языком!..

Ну, теперь уж ее понесло, и похоже, она не скоро остановится, но неожиданно я сам заставляю ее умолкнуть: меня начинает мутить все сильнее, тошнота подкатывает к горлу, я внезапно наклоняюсь вперед, и меня рвет у нее на глазах прямо на ее распрекрасный кремовый ковер. Все происходит невероятно быстро и легко — никаких позывов, никаких судорог в желудке. Я вроде как бы икаю, и весь мой чай и пирог со свининой уже на ковре у моих ног в виде жидкой розоватой лепешки величиной с блюдце, нежной и пенистой, но с твердыми кусочками непереваренной пищи.

Мы оба, словно в столбняке, стоим над этой блевотиной и смотрим друг на друга. Рот мамаши Росуэлл широко разинут, и кажется, что вот теперь уж она даст мне жару, но, как видно, слова не идут у нее с языка. И тут то ли от пива, то ли бес его знает от чего еще, но я вдруг прыскаю со смеха, а она, кажется, вот-вот упадет и, закатив глаза, с пеной на губах забьется на полу в припадке.

Я стою и думаю о том, какая она в самом деле мерзкая старая свинья и как я ее ненавижу, и в эту минуту ее голосовые связки приходят в действие.

— Скотина! Грязная скотина!

Терпеть от нее такое — черта с два, и в другое время я бы нипочем не стерпел, но сейчас комизм положения заслоняет для меня остальное, и все, решительно все кажется мне нестерпимо смешным. Я чувствую новый приступ смеха и стараюсь его подавить, глотая слюну. Но ничего не помогает. Еще немного, и я, верно, лопну. И я валюсь на стул и хохочу. Я рычу от хохота. Мне кажется, я еще никогда в жизни так не смеялся, и только теперь мне открылось, до чего это приятно, до чего же это великолепно — дать себе волю и смеяться, смеяться, пока ты совсем не обессилишь и у тебя не заболят от смеха кишки.

Я слышу, как мамаша Росуэлл взвизгивает, а затем дверь захлопывается за ней с таким треском, что дрожат стены и фарфоровая статуэтка падает с пианино на пол.

И теперь мне уже не так смешно, и через некоторое время я с трудом приподнимаюсь, закуриваю сигарету и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги так, чтобы не попасть в эту пакость на ковре. Я думаю о том, что следовало бы все это убрать, потому что одно дело облевать ковер мамаши Росуэлл и совсем другое — заставлять ее за тобой убирать. Встаю, иду в кухню, достаю совок для угля и довольно сносно управляюсь с его помощью.

Мало-помалу начинаю ощущать, что мне не сидится на месте, и настроение у меня весьма воинственное. Отчасти, верно, из-за пива, а отчасти потому, что как-никак меня держали на голодном пайке три-четыре месяца. Интересно, спит ли Ингрид, думаю, и не начнет ли она снова кобениться, если я сейчас поднимусь, лягу в постель и попробую ее обнять.

Встаю, швыряю сигарету в камин и тушу свет в кухне и в гостиной, бросив прощальный взгляд на ковер. Конечно, мамаше Росуэлл это не понравится, но ничего не попишешь. Мысль о завтрашнем дне как-то не беспокоит меня, я понимаю, что быть по-старому уже не может, но мне не хочется об этом думать. Единственно, чего мне сейчас хочется — это забраться в теплую постель рядом с Ингрид и получить от нее ласку. Это как-то вдруг находит на меня, словно открытие какое.

Поднимаюсь наверх в спальню и начинаю раздеваться в полутьме — хватает и того света, который льется в дверную фрамугу с лестницы; поглядеть на постель мне даже в голову не приходит, пока я не остаюсь в одном нижнем белье. И тут я вижу, что одеяла сбиты, подушка смята, а Ингрид нет. Теперь вспоминаю, что, когда сидел в гостиной, до меня доносились сверху какие-то приглушенные голоса, но я не обратил на них внимания. Выхожу из спальни и стучу в дверь к мамаше Росуэлл.

— Ингрид!

Ответа нет.

СТИХИ МОЛОДЫХ

В. С. РЕНДРА
ИНДОНЕЗИЯ

ОН УЖЕ УШЕЛ

Он ушел.
Через реку дорога.
Он ушел
Туда, куда солнце уходит.
Все мужчины оставили матерей,
Ну и он стал солдатом,
А потом стал героем на поле бранном.
И погиб.
Для других людей.

ДОДОНГ ДЖИВАПРАДЖА
ИНДОНЕЗИЯ

КЛИЧ

Когда младенца — мир —
принять готова смерть,
Когда граненый штык
нацелен в грудь народа,
Как смеешь ты сидеть,
от страха онемев?
Вставай, поэт!
Пой песню
о Свободе!

СТИХИ МОЛОДЫХ

С. АНАНТАГУНА
ИНДОНЕЗИЯ

НОЧЬ НА КОРАБЛЕ

Свет фонаря дробится на волне,
Стараясь место уступить луне.
Чуть светит огонек в моей каюте,
По берегу спят лодки в тишине.
Как хороши вы, дальние края!
Здесь тишина, здесь сонно и уютно.
Но где-то далеко в пути заря...
В тревожном сердце родина моя,
Как в гавани корабль,
Встает на якоря.

Перевод с индонезийского
С. СЕМИВОЛОСА

Стучу громче.

— Ингрид!

Слышу голос мамаши Росуэлл:

— Уходите.

— Мне нужна Ингрид.

— Я не позволю моей дочери спать с таким пьяным подонком,— говорит эта старая сука.

— Вы не позволите *что?* — Это уж слишком. Я стучу в дверь кулаком.— Мне нужна моя жена. Пошлите ее ко мне, слышите, вы? Пошлите ее сейчас же!

За дверью перешептываются, затем раздается голос Ингрид:

— Ступай спать, Вик.

— А ты иди туда, где тебе положено быть.

— Я сегодня переночую здесь.

— Я войду и вытащу тебя из постели, если ты сама не придешь.

— Ты не можешь войти, дверь заперта.

— Заперта? — Дергаю за ручку.— Что, черт побери, ты из себя разыгрываешь? Ты слышишь меня? Я спрашиваю, какого черта ты это разыгрываешь?

Я колочу в дверь. Теперь уж я разошелся всерьез.

— Ты разбудишь соседей, Вик.

— Плевал я на соседей! Пусть не лезут не в свое дело. Ну, иди сюда, слышишь, выходи!

— Я вам в последний раз говорю: Ингрид не выйдет из этой комнаты сегодня! — Это мамаша Росуэлл.

— Ну, смотрите, вы, старая корова! — ору я.— Вы своего добьетесь! Раз так, я знаю, что мне делать!

Бросаюсь обратно в нашу спальню и захлопываю дверь. Собрать пожитки и немедленно смыться отсюда!.. Но мне некуда сейчас идти. Раздеваюсь, надеваю пижаму; меня так трясет от злости, что я никак не могу застегнуть пуговиц.

Ложусь в постель и лежу в темноте, весь потный. Но мало-помалу начинаю остывать, в голове у меня проясняется, и я перебираю в уме все, что произошло. Так вот чем это кончилось! — думаю я. Крики, ругань среди ночи, словно в каких-нибудь трущобах! Вот чем кончаются мечты о счастье... А разве я мечтал о чем-нибудь несбы-

точном? Просто о девушке, которую я мог бы полюбить и которая полюбила бы меня так, чтобы мы могли заниматься не только любовью, но быть хорошими товарищами. Разве уж это так много? Конечно, я понимаю, что сам во всем виноват. Я не должен был встречаться с Ингрид после того, как понял, что настоящего у нас с ней нет. Но ведь, ей-богу, тысячи людей это делают, и все им сходит с рук, а мы вот должны были попасться с первого раза. Ну, а теперь? Что будет завтра? Я смотаюсь отсюда один, без нее. Оставаться здесь мне больше нельзя — это ясно. И не останусь, это тоже решено. Хватит с меня, сыт, как говорится, по горло.

Я засыпаю, думая о том, что не останусь здесь ни за какие коврижки, и мне снится странный-престранный сон. Я иду по улице и захожу в пивную и вижу, что эта та пивная, в которой я встретился вечером с Перси. Только теперь там внутри огромный зал, такой огромный, что даже не видно стен — все окутано каким-то клубящимся туманом. Я стою там в ожидании чего-то, что сейчас должно произойти, и вдруг слышу ужасный визг, который постепенно переходит в стон и замирает. Я цепенею от страха, и тут из тумана появляется блондинка — та самая, из пивной. Она совершенно нагая и идет по воздуху на фут от земли, протягивая ко мне руки, а ногти у нее неимоверной длины и покрыты кроваво-красным лаком. И она смотрит на меня так, что я в ужасе бросаюсь бежать. У нее взгляд убийцы, и лицо как-то жутко дергается и кривится, и я вижу, что это не лак у нее на ногтях, а кровь, и она капает, капает... И я бегу, бегу изо всех сил, и все же совсем не двигаюсь с места, потому что на ногах у меня тяжеленные башмаки, а эта психопатка все ближе и ближе, и острые когти ее уже готовы вцепиться в меня, и тут я просыпаюсь.

Голова у меня свесилась вниз с кровати, а простыня и перина валяются на полу. Я весь в холодном поту, и сердце стучит, как паровой молот. Половина пятого утра. Оправляю постель, ложусь, закуриваю и вскоре засыпаю снова — не помню даже, как потушил сигарету.

Вторично просыпаюсь уже в половине седьмого, и решение мое принято. Я одеваюсь, а десятки крошечных гномиков стучат своими молоточками у меня в голове. Боясь разбудить тех двух, что спят в соседней комнате, решаю не умываться и не бриться. Запихиваю свои пожитки в чемодан — беру все, что удается туда впихнуть,— отворяю окно и бросаю чемодан в сад. Внизу в кухне нахожу бутылку молока и выпиваю ее залпом. Отыскиваю свой плащ в гостиной, где я его бросил накануне, надеваю и отпираю дверь на черный ход. Выхожу на крыльцо, захлопываю за собой дверь, слышу, как щелкает английский замок, и думаю: «Ну вот, с этим покончено!» Теперь уже возврата нет, я не могу вернуться обратно, если бы даже захотел. В садике поднимаю с земли свой чемодан, стараясь припомнить, зачем это мне понадобилось выбрасывать его из окна, когда можно было просто-напросто спуститься вниз с чемоданом в руке, иду по дорожке к воротам и выхожу на шоссе.

глава 8

Я прохожу в ворота между двумя каменными колоннами, увенчанными большими каменными шарами, и думаю о том, что я скажу Крис. При одной мысли, что сейчас я ее увижу и мне придется рассказать ей, какая получилась дрянь, и признаться, что я не выдержал, бросил все и сбежал, мне становится так скверно на душе, как никогда. Может, они еще спят, думаю я, и получится очень глупо. Вынимаю часы — уже четверть восьмого.

Нажимаю кнопку звонка над их дощечкой, и через минуту дверь отворяется, и передо мной Дэвид в пижаме и зеленом халате с белыми разводами.

— Здравствуй, Дэвид.

Мое появление ни свет, ни заря и этот чемодан, который стоит на полу возле моих ног, ошеломляют его, но, быстро овладев собой, он говорит:

— Доброе утро, Вик. Приехал к нам погостить?

— Если не прогоните.

Он отступает в сторону, пропускает меня вперед и запирает дверь. Потом поеживается.

— Ух, что-то свежо сегодня.

— Крис уже встала?

— Да, готовит завтрак.

Я знаю, что он удивлен и, возможно, догадывается, в чем дело, но как воспитанный человек не задает лишних вопросов и продолжает говорить что-то еще о погоде, поднимаясь следом за мной по лестнице, но у двери он опережает меня, проходит вперед и кричит:

— Крис, это Вик!

Крис с кофейником в руке появляется на пороге кухни. На ней бледно-голубое платье-халат (кажется, это так называется) — обтянутый лиф, высокий ворот и юбка до полу. Она тоже здоровается со мной как ни в чем не бывало, но я-то знаю, что колесики у нее в мозгу уже начинают развивать обороты. Она говорит что-то насчет молока — как бы оно не убежало — и снова скрывается в кухню.

— Садись, Вик,— говорит Дэвид.— Сними плащ. Тебе ведь еще не пора в магазин, время у тебя есть?

— Времени вагон.

Я снимаю плащ, и Дэвид берет его и относит в их маленькую прихожую, а я сажусь на стул. В комнате включен электрический камин — вероятно, они не хотят растапливать камин углем до вечера, потому что оба уходят из дома на целый день.

Дэвид возвращается и некоторое время топчется в комнате, стараясь не глядеть на меня, потом говорит, что надо пойти помочь Крис принести поднос, и смывается в кухню, оставив меня одного.

— Выпьешь чашечку кофе, Вик? — кричит Крис из кухни.

— С удовольствием.

Она просовывает голову в дверь.

— Ты завтракал?

— Нет, по правде говоря, не завтракал.

— Яйцо всмятку и гренки — сойдет?

— Грандиозно.

Ее голова исчезает, и я оглядываюсь по сторонам. Слезы вдруг подступают у меня к горлу. Я думаю о Крис и Дэвиде, и об Ингрид, и обо мне и изо всех сил стараюсь не разреветься. Но когда Дэвид появляется с подносом в руках, я уже справился с собой, и через минуту мы все усаживаемся за стол, и я принимаюсь за яйцо и гренки. Мне вдруг приходит в голову, что будь все это не на самом деле, а в каком-нибудь фильме, я бы должен был с убитым видом ковырять вилкой в тарелке до тех пор, пока кто-нибудь не спросил бы меня, что случилось. Ну, а поскольку это не кино, то никто ни черта меня не спрашивает, и я мигом проглатываю и яйцо, и гренки, так как подыхаю с голоду. После вчерашнего пирога со свининой у меня еще маковой росинки во рту не было, и даже этот пирог уже не в счет, раз он, в конечном счете, остался у мамаши Росуэлл на ее драгоценном ковре.

Крис воздерживается от всяких вопросов и болтает с Дэвидом о том, о сем, пока я насыщаюсь и опоражниваю третью чашку кофе. По-

том она угощает меня сигаретой и, когда я делаю свою первую затяжку за этот день, приступает прямо к делу.

— Ну, Вик?

— Что?

— У тебя что-то стряслось? Ты же не просто заглянул к нам по дороге на работу?

— Нет.

Дэвид отодвигает стул, встает.

— Пойду побреюсь.

— Можешь остаться, у меня секретов нет,— говорю я ему.— Так или иначе, ты все равно скоро об этом узнаешь.

— Да нет, вы лучше поболтайте с глазу на глаз,— говорит он и с улыбкой подмигивает Крис.— А мне правда пора собираться.

Я стряхиваю пепел на тарелку, я не знаю, с чего начать. Крис пододвигает мне пепельницу, смотрит на меня с минуту, а затем начинает сама.

— Не поладил с Ингрид?

Я киваю, не поднимая на нее глаз.

— Я ушел от нее.

— То есть как это «ушел»? Уж не хочешь ли ты сказать, что так вот просто взял сейчас и ушел?

Я снова киваю.

— Я поставил свой чемодан у вас в передней.

Она смотрит на меня, но я все еще избегаю ее взгляда.

— Отчего это произошло?

— Все эта проклятая баба,— говорю.— Все из-за нее. Я просто не мог больше выдержать. Если б еще Ингрид была на моей стороне, но она целиком и полностью у матери под каблуком.

Крис сидит и молча смотрит на меня. Я поглядываю на нее искоса и ясно вижу, как колесики ворочаются у нее в мозгу.

— Я немного повздорил с Ингрид вчера вечером, ушел из дома и встретил одного старого приятеля. Мне было очень тошно, ну я и наклюкался с ним. А когда вернулся домой, мамаша Росуэлл поджидала меня, и я высказал ей все напрямик.

— Но она не выгнала тебя из дома, нет?

— Нет, но она забрала к себе в спальню Ингрид, и они заперлись от меня, и тут уж мы сцепились как следует. И все вылилось наружу. Это накапливалось и накапливалось уже давно, ну а тут я был под мухой и мне было наплевать... Я позволил себе кое-какие довольно крепкие выражения по ее адресу... После этого я уже не мог там оставаться, я полагаю. Ну, так или иначе, это вопрос решенный. Я с этим покончил. Ушел, пока они еще спали.

Я смотрю на руки Крис — какие они тонкие, изящные... Она встает, отходит от стола.

— И давно это у вас так?

— О, накипало уже давно.

— Может, из-за выкидыша?

— Нет, не совсем. Просто после этого стало еще хуже. Но мы с мамашей и раньше не ладили. Она невзлюбила меня с первого взгляда. Недостаточно, видишь ли, хорош для ее дочки. Не о таком женихе она мечтала. Ты же ее видела — понимаешь, что это за птица. Знаешь, она даже не позвонила мне, когда Ингрид упала с лестницы. Я узнал от соседей, когда пришел домой. Красиво, как по-твоему? А потом она еще во всем обвинила меня. Можно подумать, что это я подстроил. Словно я спихнул Ингрид с лестницы. И дальше дела пошли все хуже и хуже.

Ну, вот я и выложил ей все. Сказал, что, может, я теперь стал уже недостаточно хорош для ее дочери, однако, когда она забеременела, я был достаточно для нее хорош, чтобы выйти за меня замуж.

— Но ведь это же из-за тебя она попала в беду, Вик,— мягко напоминает мне Крис.

— Я знаю. И видит бог, как бы я хотел, чтобы ничего этого не было. Как бы я хотел! — Я закрываю лицо руками.— Ах, Крис, если бы я только мог встретить такую девушку, как ты! Девушку, с которой я мог бы стать лучше, а не хуже.

— Но ты ведь женился на Ингрид! Ты же сам выбрал ее себе в жены.

— Да, да! Получил удовольствие, позабавился — теперь расплачивайся. По-твоему, это называется выбрать ее себе в жены? Ты же знаешь прекрасно, что по нашим правилам, если ты сделал девушке ребенка, выход для тебя только один — жениться на ней. Не имеет значения, любишь ты ее или нет, главное — покрыть грех, чтобы ее честь была спасена.

— Так вот почему ты женился, Вик? Я немного догадывалась.

— Ну, теперь ты знаешь.

— Но какое-то чувство у тебя же к ней было, Вик?

— Ты женщина. Я не знаю, можешь ли ты это понять. С тобой ничего такого не было, ты сразу встретила Дэвида и должна всю жизнь благословлять судьбу. Не каждому так повезет. С начала, с самого начала мне казалось, что у нас с Ингрид тоже так, как у вас, только это длилось не долго.

— Но ты и потом продолжал встречаться с ней?

— Да, продолжал... Тут уж были другие причины.

— Похоже... похоже, ты думал только о себе?

— Я один раз совсем было порвал с ней. Считал, что покончил с этим навсегда. Но она сама бегала за мной. Я чувствовал, что веду себя как последний подонок, но она все равно хотела встречаться со мной, и я решил, почему не взять то, что само плывет в руки. Ну, и как-то раз зашел слишком далеко, а теперь вот расплачиваюсь. И очень дорого расплачиваюсь, черт побери, Крис, можешь мне поверить...

Я сижу за столом, уронив голову на руки, и Крис некоторое время молчит. А когда она наконец говорит, я поднимаю голову и смотрю на нее во все глаза.

— Но в конце концов, Вик, знаешь: что посеешь, то пожнешь, не так ли?

Я совершенно ошарашен, словно меня огрели дубинкой по голове.

— И это *ты* говоришь? Ведь так все скажут... И ты что же — ничего другого не можешь мне сказать?

— А разве это не так? — говорит она.— Ведь это же правда, разве нет?

— От тебя я ждал другого.

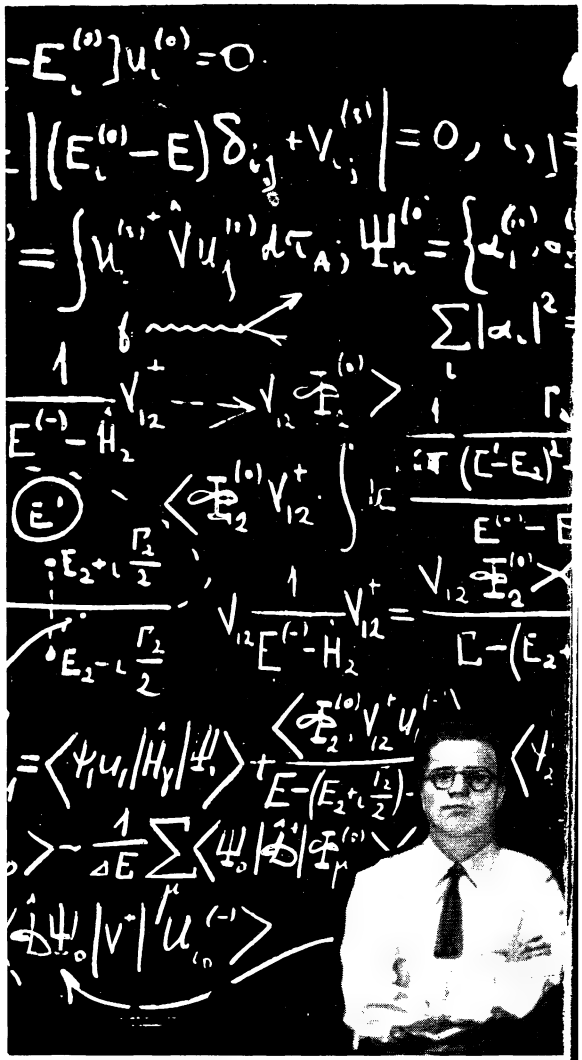
— Я должна говорить с тобой начистоту, Вик. Я считаю, что ты не можешь никого винить, кроме самого себя. Если бы ты не тронул этой девушки, ты бы не сидел здесь сейчас в расстройстве чувств. Что плохо, то плохо, и никто не имеет права сваливать свою вину на других.

Я никак не могу прийти в себя от изумления. Я просто не узнаю ее. Это не та Крис, к которой я всегда прибегал в тяжелую минуту, зная, что на нее можно положиться, что она вызволит из беды, подскажет, как нужно поступить. Моя первая мысль была о ней, я бросился к ней, сюда, а теперь я получаю здесь то, что мог бы свободно получить и дома.

— Ты рассуждаешь совершенно как наша мать.

Восемнадцать лет.

ФОТОКАДРЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ...

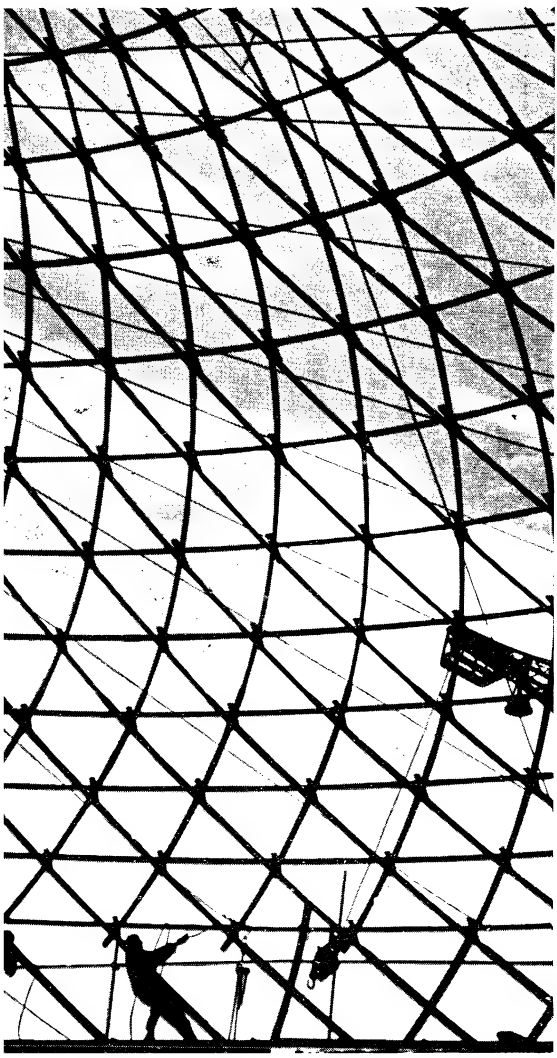


Поединок.

Без названия...

Матери Кипра.

юд.

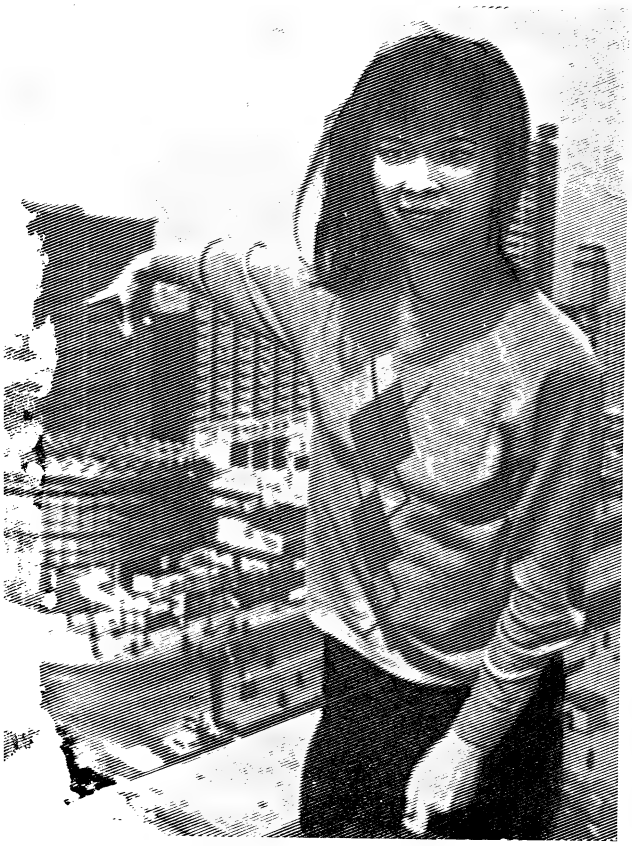


Воин.

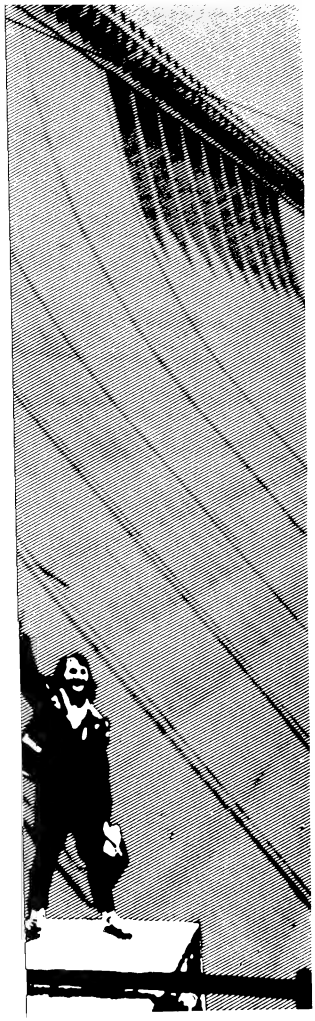
На набережной.

Портрет.

В новой Варшаве.



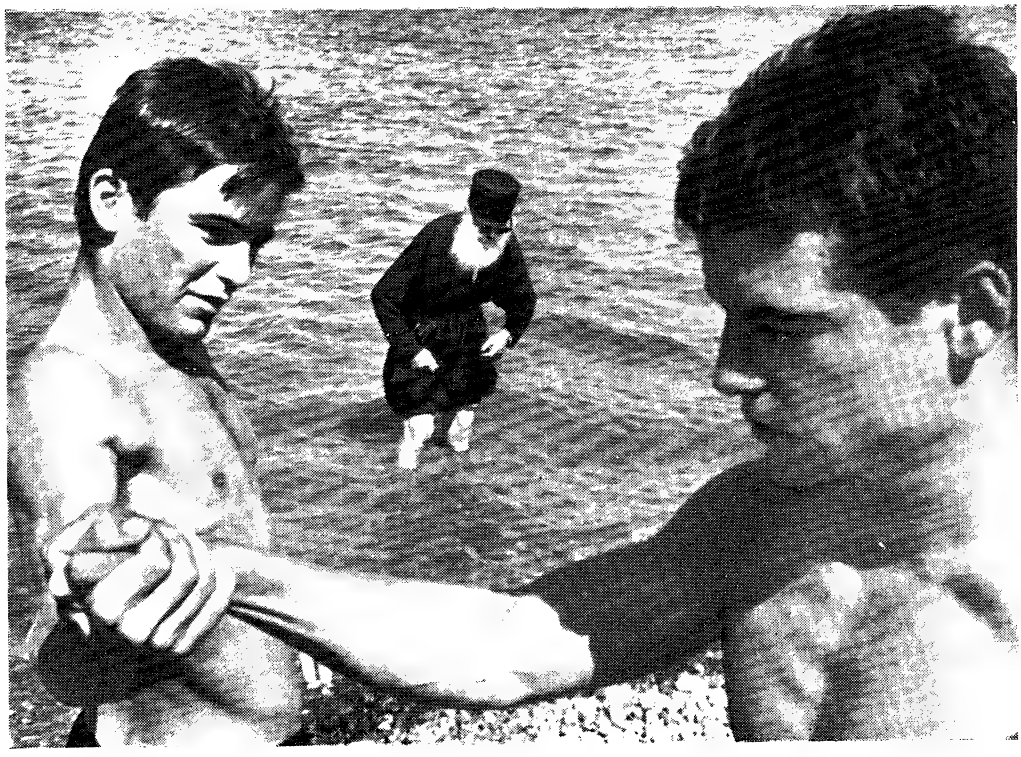
На отцовском плече.



Партизаны Южного Вьетнама.

Молодость.

На побережье.



— А почему бы мне не рассуждать так? Конечно, она сказала бы тебе то же самое, знай она все. Ты женат и не имеешь права об этом забывать.

Я чувствую, как вся горечь поднимается у меня со дна души, к горлу подкатывает комок, и мне кажется, что я сейчас задохнусь.

— Да, я женат, еще бы! Вы все старались, как могли — изо всех сил толкали меня на этот брак. Никто, ни один человек не сказал: не делай этого, раз ты не хочешь.

— Да разве об этом могла идти речь — хочешь ты или не хочешь? Ты сам толкнул себя на этот брак, когда позволил себе это с Ингрид. И хорошо, что у тебя по крайней мере хватило характера принять на себя ответственность за свой поступок.

— И на всю жизнь притом. Черное — это черное, и белое — это белое. Интересно, кто-нибудь из вас слыхал, что существуют, черт подери, другие цвета? Например, серый, черт подери?

— Ты все время чертыхаешься, Вик. Раньше этого не было.

Все мне это говорят — что я все время чертыхаюсь. Почему бы это, интересно...

— Не знаю даже, что тебе и сказать, Крис,— говорю я, помолчав.— Прежде я всегда мог обо всем говорить с тобой. Мы как-то ближе были друг к другу. И ты все понимала лучше других.

— Может быть, я и сейчас понимаю лучше других, но только я не могу просто махнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы все опять было в порядке. Когда ты шел сюда сегодня, тебе, верно, чудилось, что как только ты расскажешь мне о том, что произошло, все каким-то образом наладится и будет опять так, как было до твоей женитьбы. Правильно я говорю? Ничего, дескать, я знаю, уж Крис как-нибудь вызволит меня из беды. Мне очень жаль, Вик, но это невозможно. На этот раз все слишком серьезно.

Я поворачиваюсь на стуле и смотрю в окно. В ясные дни у них тут недурной вид из окон, но сейчас за окном одна серая грязь и сырость да заводские трубы, которые торчат из тумана за рекой.

СТИХИ МОЛОДЫХ

ФЕРЕНЦ БАРАНИ
ВЕНГРИЯ

ПРОСТЫЕ СЛОВА — СЛОВА К МАТЕРИ

Не бойся, мать: борьба — по мне.
И дай благословенье сыну.
Был я живуч, и там, на дне,
я, пробиваясь вверх, не сгину.

Как шубу, на моей груди
ты серость застегнуть хотела:
не след плестись, мол, позади,
но лезть вперед — совсем не дело.

Ты в сотнях писем, в тыщах строк
учила: «В драку не бросайся,
не тронь политику, сынок,
и женщин тоже опасайся».

Ах, мама, мама! Разве я
не раскусил натуры женской?
Коль ты ей раб — не даст житья,
коль смел и дерзок — даст
блаженство.

Ну, а борьба... Скажу одно:
когда есть цель, то есть и сила.
Вино души моей давно
в подвалах дум перебродило.

Жалел я мышь в зубах кота,
но к чувствам стал с годами строже.
Есть кротость, мать, есть доброта,
И это не одно и то же.

Был стойким я еще на дне,
я взятой выси не покину!..
Не бойся, мать. Борьба — по мне.
Благословение дай сыну.

НАС СВЯЖЕТ ВСЕ

Что в нас двоих сомкнулось вновь —
сердца? Иль, может, только кровь?

Что нас объединило так —
блеск звезд? Иль, может, только
мрак?

Нам друг у друга быть в плену
всю жизнь? Иль, может, ночь одну?..

Любовь моя! Моею будь —
и свяжет нас когда-нибудь

все, все, без счета дней и лет,—
и плоть и дух, и тьма и свет.

Перевод с венгерского
В. КОРЧАГИНА

СТИХИ МОЛОДЫХ

СВЕТЛАНА ЛИЛОВА-ТИХОМИРОВА
БОЛГАРИЯ

ЗЕРКАЛА

О добродетельные зеркала!
В них все предельно точно отразится...
За тонким слоем гладкого стекла
Их преданность холодная таится.
Улыбка ваша — вам возвращена,
В окне — луна, и в зеркале — луна.
Все могут отразить — сады и зданья,
И ум, и глупость, и добро, и зло...
И только с жарким солнечным
сверканьем
Не говорит зеркальное стекло.
Не верите? Проверка так проста:
Возьмитесь солнце зеркалом поймать
И убедитесь: холодна, пуста
Останется старательная гладь..
А дерева шершавая кора —
Познав жестокой бури хриплый гул,
К светилу обращается с утра
Улыбкою потрескавшихся губ.
Да, чей-то образ, может быть, хорош,
Но, если слепо следовать ему,
Легко принять за правду чью-то
ложь
И разучиться мыслить самому.
Пусть ветер правды солон — одолей,
Колумбом в море мыслей уплыви,
Чтоб для себя и для других людей
Открыть миры Дерзанья и Любви.
В них солнца свет и бури злобный
лай
Познай!..
Ты никогда мне не желай,
Чтоб та, которая давно ушла,
Сейчас во мне отражена была!

Перевод с болгарского
И. ОЗЕРОВОЙ

— Что же ты думаешь делать? — спрашивает наконец Крис.

— Не знаю... Знаю только одно: назад я не вернусь и с этой старой коровой, мамашей Росуэлл, жить под одной крышей не стану.

— Да она, я думаю, и не примет тебя теперь обратно.

— Да, конечно...— Я не рассказал Крис о том, что меня стошнило на ковер. Это единственная подробность, о которой мне не хочется ей говорить.— Ну что ж, это упрощает дело.

Дэвид появляется из спальни, рассовывая сигареты, спички и газеты по карманам. Он неплохо одевается, наш Дэвид, но вечно портит свои красивые костюмы, набивая черт-те чем карманы.

— Вик ушел от Ингрид,— сообщает ему Крис.

— Да я уже догадался,— говорит он.— Мне очень жаль. Жаль, что до этого дошло. Можем мы что-нибудь для тебя сделать?

— Придется, по-видимому,— говорит Крис.— Нужно будет поместить его у нас, хотя бы на эту ночь.

— Пожалуйста, не стесняйте себя из-за меня.

Крис оборачивается ко мне.

— Давай обойдемся без ломанья, Вик,— говорит она.— Куда еще можешь ты пойти? Тебе же, наверно, не хочется возвращаться сейчас домой к родителям?

Внезапно я чувствую, что у меня искажается лицо. Чувствую, как его перекашивает, и ничего не могу поделать, не могу взять себя в руки.

— Нет у меня дома,— говорю я,— нет у меня, чтоб мне трижды сдохнуть, дома! — И я тычусь лицом в стол и плачу, даже не стараясь сдержать слез, выплакиваю все, все, что скопилось в душе за эти полгода и теперь рвется наружу.

II

Эту ночь, а потом и еще две-три ночи я сплю на кушетке в гостиной. Я все еще не решил, что мне делать. У меня нет никаких планов. Единственное намерение, которое у меня было — вернуться домой к родителям, в исходное, так сказать, положение,— отпало, потому

что на следующий же день Крис сообщила мне, что видела нашу Старушенцию.

— Она заходила сюда?

— Нет, я заглянула к ней по пути из школы.

— Ты ей все рассказала?

— За этим я и пошла. Она должна знать, Вик, и пусть уж лучше узнает от кого-нибудь из нас, чем от посторонних на улице.

— Да, конечно. Что же она сказала?

— Она была очень расстроена.— Я замечаю, что Крис колеблется.— Сказала, чтобы ты не попадался ей на глаза, пока не помиришься с Ингрид.

Я чувствую, как у меня сжимаются челюсти.

— Если она так к этому относится... Что ж, ей придется долго ждать, вот и все.

— Я сказала ей, что, по-моему, это несправедливо, что ты должен иметь возможность прийти к ней, когда тебе плохо. Но она сказала, что ты мог бы сделать это сразу, если бы в ней нуждался. Мне кажется, она обижена, что ты не пришел к ней.

— Мне нужно было получить совет, а не нагоняй с кучей затрепанных прописных истин.

— Но, кажется, ты и здесь ничего другого не получил, так ведь?

Я пожимаю плечами.

Появляется Дэвид с туго набитым портфелем в руках. Всё тетрадки, должно быть.

— Привет,— говорит он мне и целует Крис.

Я отвожу глаза. Не могу я смотреть на них. Это самое паршивое для меня сейчас — постоянно видеть, как они счастливы друг с другом.

— Только что встретил на лестнице Фаулера,— говорит Дэвид, ставя портфель на стул.— Его приглашают на работу в Канаду.

— И они думают ехать? — спрашивает Крис.

— О да. Теперь это, по-видимому, вопрос времени. Уедут, как только закончат здесь дела.

Я вижу, что у Крис что-то свое на уме.

— И как скоро он полагает собраться?

— Месяца через полтора, два, вероятно. Они ведь только сейчас решили.

— А что они думают делать с квартирой?

— Передадут кому-нибудь, наверно.

Крис смотрит на меня, и Дэвид говорит:

— А, ты вот о чем...

— Вик,— говорит Крис.— Как ты думаешь, если вы с Ингрид будете жить отдельно, может, у вас еще все наладится?

— Кто его знает. Будет, конечно, лучше. Тогда, по крайней мере, не нужно все копить в себе, можно обо всем поговорить, высказать, что у тебя на душе.

— Ну, а если бы ты снял квартиру Фаулеров, как ты считаешь, Ингрид согласилась бы переехать к тебе?

— Не знаю.— Чувствую, что меня снова загоняют в угол, пугаюсь и шарахаюсь в сторону.— Все это слишком неожиданно, Крис. Я еще сам не знаю, чего хочу.

— А ты мог бы снять эту квартиру? Это четыре фунта в неделю.

— Нет, моего заработка на это не хватит.

— Ну, а если бы Ингрид поступила на работу?

— Тогда, вероятно, мы смогли бы. Только ее мать не хочет, чтобы она работала. Она считает, что муж должен содержать жену.

— Оставим сейчас ее мать в покое. Она уже свое сделала.

— В общем, я не знаю...

— Дэвид,— говорит Крис,— спустись-ка вниз, поговори с мистером Фаулером. Скажи ему, что у тебя есть кто-то, кому можно передать квартиру. Спроси его, сколько он мог бы повременить — не давать объявления и никому не предлагать пока. Может, конечно, у него уже есть кто-то на примете.

Дэвид уходит, и я говорю:

— Послушай, Крис, я же еще ничего не решил. У меня полный сумбур в голове. Я сам еще не знаю, чего хочу.

— Если он согласится подождать, у тебя будет время решить.

— А может, хозяин дома уже с кем-нибудь договорился.

— Это так не делается. Квартиры сдаются на год. Когда жилец уезжает, он имеет право передать кому-нибудь свою аренду до конца срока, но потом, конечно, хозяин вправе не возобновить ее, если ему что-нибудь не понравится. А Фаулеры возобновили свою аренду всего месяца два назад.

— Но ведь я тогда должен буду сразу внести довольно крупную сумму, а у меня таких денег нет.

— Об этом не беспокойся. Мы как-нибудь раздобудем денег, а ты будешь каждую неделю понемножку погашать долг. Но все это можно обсудить после. Вопрос в том, хочешь ли ты этого. Хочешь ли ты попробовать?

— Я не знаю, я просто ничего не знаю, Крис.

Она опускается передо мной на колени, сжимает мои руки в своих:

— Послушай, Вик, я вижу — тебе очень плохо, и я хочу помочь тебе. Мы оба, и Дэвид и я, хотим тебе помочь.

Я отворачиваюсь.

— Я сыт всем этим по горло, понимаешь, Крис? Все это одно сплошное надувательство. Жуткое надувательство.

— Я знаю, о чем ты мечтал, Вик,— говорит она.— Это то, к чему стремятся почти все, хотя не все отдают себе в этом отчет. Мы ищем как бы вторую половину самих себя, кого-то, кто придал бы нам цельность. Я счастлива, потому что нашла это в Дэвиде. Никогда ни тени сомнения не было у меня на этот счет, нет и теперь. Люди слишком много и речисто говорят о любви. Книги, фильмы — все этим полно. Но влюбленность и любовь — вещи разные. Влюбиться можно в человека, которого ты и не знаешь совсем,— это романтика, головокружение, глаза как звезды... И это все правда, Вик, это действительно так и бывает в жизни, как описывают. Но ты не можешь *любить* человека, пока не узнаешь его по-настоящему, не пройдешь вместе с ним через какие-то испытания, не разделишь с ним жизнь — и радость и печаль. Все это нужно испробовать, испытать, чтобы найти любовь. Влюбленность не может длиться вечно, но взамен иногда приходит любовь. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Вик?

— Да, понимаю.

— Одних испытания отбрасывают друг от друга в разные стороны, а других связывают еще крепче. Вас с Ингрид на самом пороге совместной жизни постигло тяжелое испытание — вы потеряли ребенка. Не позволяй этому разлучить вас, Вик. Будь сильным. Пусть это только прибавит что-то к вашей любви, а не отнимет ее у вас.

— У нас ее никогда и не было, не было с самого начала,— говорю я.

— Так попытайся найти ее теперь, Вик,— говорит Крис.— Подумай об Ингрид. Она любит тебя, во всяком случае, любила, это я знаю. Потеря ребенка куда более тяжелое испытание для нее, чем для тебя. Ей сейчас очень нужен кто-то, Вик, но не ее мать. Ей нужен кто-то более сильный, чем она, кто мог бы ее утешить и позаботиться о ней и за-

ставить ее увидеть, что жизнь еще снова может быть хороша. И ты должен это сделать, Вик. Ты должен сделать это для Ингрид.— Она стискивает мои руки.— Будь сильным, Вик. Не падай духом, не сдавайся. Сделай свой брак счастливым, ты это можешь. Не очень-то легкий нашла я для тебя выход, да, Вик?— говорит она, помолчав.

Я не успеваю обдумать все это и ответить ей, как возвращается Дэвид, и Крис поднимается с колен.

— Ну, что он сказал?

— У него нет никого на примете. Может подождать неделю.

Я ерошу себе волосы.

— Только неделю? Это слишком быстро, Крис.

Она смотрит на меня.

— Не думаю, Вик. Срок вполне достаточный.

— Как у тебя с деньгами? — спрашивает меня Дэвид.

— Всего около тридцати фунтов. В общем, не богато.

— Ну, если дело только за этим, так ты не беспокойся. Мы одолжим тебе немного, отдашь, когда сможешь.

Я вижу, как Крис переводит взгляд с меня на Дэвида, и на губах у нее играет эта едва заметная, чудесная ее улыбка, которая, мне кажется, говорит без слов: «Вот он какой — мой муж. Мне не нужно ни о чем его просить — сам все понимает».

— Это очень... Я очень тебе благодарен, Дэвид.

— Рад, если могу помочь. Родственники не должны отворачиваться друг от друга, я считаю.

III

Проходит еще два дня, и мистер Росуэлл возвращается домой. Подозреваю, что мамаша Ингрид посылала за ним. Небось он думает, что с тех пор, как я появился у них на горизонте, его то и дело вызывают домой, и всякий раз это значит, что там уже что-нибудь стряслось. А узнаю я о его приезде, потому что он сам звонит мне в магазин.

— Вик? Это отец Ингрид. Мне надо с тобой поговорить.

Вот уж чего мне никак не хочется. Легко могу себе представить, чего только мамаша Росуэлл не напела ему в уши: и как я заявился домой пьяный в дым, и как блевал на ее ковер. Не удивлюсь, если ему теперь при встрече со мной захочется заехать мне в физиономию.

— Да? О чем это?

— Не строй из себя невинного младенца, черт побери,— говорит он.— Как ты думаешь, о чем?

— Ну хорошо, когда? Я ведь на работе.

— А где ты обедаешь?

— Тут есть маленькое кафе за углом.

— Ты знаешь «Дельфин» — пивную на Бред-стрит?

Я говорю, что знаю.

— Давай встретимся там в половине первого... Хэлло! Ты меня слышишь? Мне показалось, что нас прервали. Так ты придешь туда?

— Хорошо, приду,— говорю я и вешаю трубку.

Все утро у меня сосет под ложечкой — что такое собирается он мне сказать, думаю я. Но когда в обеденный перерыв я прихожу в пивную, вижу, он совершенно такой же, как всегда, спокойный, рассудительный. Мы заказываем обед, и он не начинает разговора, пока нам не подают суп.

— Довольно скверная получилась история, во всех отношениях скверная, не так ли? — говорит он.

— Да, конечно.

— Меня очень подмывало послать тебе счет за чистку ковра.

Я чувствую, что краснею.

— Я должен извиниться перед вами за это. Ей-богу, ведь не нарочно. Я был сильно под мухой, и как-то это нечаянно вышло.

— И кажется, пиво вдобавок еще слегка развязало тебе язык? — говорит он.

Я молчу.

— Возможно, у тебя были причины слететь с катушек, не знаю. Мне ведь пока известна только одна сторона этого дела.— Он берет ложку, принимается за свой томатный суп.— Я бы теперь не прочь послушать тебя.

Я ерзаю на стуле.

— Не знаю, право, это не так просто.

— Ты боишься обидеть меня? Ничего, попробуй все же.

— Ну, видите, мне кажется, все дело в том, что миссис Росуэлл невзлюбила меня с самого начала, и она просто не давала нам с Ингрид возможности наладить нашу жизнь. Мы, в сущности, как бы не были женаты. Я рта не мог раскрыть без того, чтобы она тут же не стала говорить поперек. Не знаю, известно ли вам это, но она имеет огромное влияние на Ингрид.

Он кивает.

— Знаю. Быть может, это отчасти потому, что я так часто в отъезде.

— В общем, так или иначе, у Ингрид на первом месте всегда была мать, и она вечно плясала под ее дудку, а я все время чувствовал себя нахлебником и даже хуже, потому что нахлебник — тот хоть может приходить и уходить, когда ему вздумается, а она все время долбила мне насчет моих обязанностей и моей ответственности за семью и в то же время не давала мне возможности проявить какую-то заботу и нести какую-то ответственность, потому что я в доме был просто никто... А потом, когда случилось это несчастье и она даже не дала мне знать, я так обозлился, что чуть тогда же не ушел из дома насовсем.

— То есть как это не дала тебе знать?

Я рассказываю ему, как пришел домой и нашел дверь запертой и как миссис Олифант сообщила мне о том, что произошло. Ясно вижу, что он ничего об этом не знал, однако не подает виду.

— Она даже пыталась обвинить меня в случившемся,— говорю я ему.

Весь этот разговор отнюдь не доставляет мне удовольствия. Не очень-то приятно говорить человеку в глаза, какая у него жена гадина, даже если он сам на это напросился.

— Послушать ее, так можно подумать, что я невидимкой стоял там на лестнице и собственноручно спихнул Ингрид вниз...

Я жду, что он скажет что-нибудь и я пойму, много ли ему известно, но он ничего не говорит.

— Но тем не менее ты решил остаться?..

— Да... А потом дела пошли еще хуже. Ингрид стала хандрить, слоняться по всему дому без дела, словно у нее какой-то смертельный недуг, и никакими силами нельзя было заставить ее встряхнуться. Она считала, что я бесчувственный.

— Потеря ребенка была для нее большим ударом, ты же понимаешь.

— Само собой разумеется, понимаю, но не может же она до конца своей жизни вести себя так, словно это произошло только вчера. Мне, ей-богу, кажется, что миссис Росуэлл нарочно не давала ей выйти из этого состояния.

— Словом, как я понимаю, ты хочешь сказать, что основная причина всех бед — в миссис Росуэлл? — спрашивает он, пристально глядя на меня.

— Да... Да, я именно это хочу сказать.

Жутко неудобно говорить человеку такие вещи про его жену, особенно если он к тому же славный малый. А мне волей-неволей приходится винить во всем мамашу Росуэлл — ведь не могу же я сказать ему о самой главной, об истинной причине — о том, что я никогда по-настоящему не любил Ингрид.

— Может, выпьешь кружку пива? — спрашивает мистер Росуэлл.

— Нет, спасибо. После пива меня весь день будет клонить ко сну.

Он берет себе кружку светлого.

— Насчет выпивки ты не особенно силен?

— Нет, не особенно. Я довольно быстро косею.

— Ну, тут стыдиться нечего,— говорит он.— Это, скорее, очко в твою пользу.— Он берет нож и вилку. У него-то аппетит, как видно, нисколько от всей этой истории не пострадал.— Так каковы же теперь твои планы? — спрашивает он.— Ты вернулся к своим?

— Нет, я живу у сестры.

— А с родителями у тебя сейчас не совсем ладно?

— Да, вроде так.

— Ты сейчас, значит, как бы на положении отверженного?

— Я уже начинаю к этому привыкать. Я не первый день чувствую себя отверженным.

— Знаешь,— говорит он, вертя в руках нож,— у меня складывается такое впечатление, что ты почему-то считаешь себя несправедливо обиженным, и притом уже давно. Словно тебя обошли, обманули в чем-то. Можно даже подумать, что и женитьбу-то эту тебе навязали на шею.

Мне становится не по себе, потому что он что-то начинает лезть в бутылку.

— Может быть, ты жалеешь, что женился?

— Да, жалею.

— Почему же ты женился? — спрашивает он и смотрит на меня в упор.— Потому что любил Ингрид или потому, что она забеременела?

Я молчу.

СТИХИ МОЛОДЫХ

ГАУСУ ДИАВАРА
МАЛИ

В ПАЛЬМОВЫХ ЗАРОСЛЯХ

Ветер щиплет струну —
Ветвь тугую пальмы старой.
Так колеблет тишину,
Так звенит моя гитара.

Пляшет весь хоровод
Гибких пальм, и гнутся ветви.
Так о счастье поет
Музыкант бродячий — ветер.

ВОДОПАД

Вот водопад рассек гранитный склон.
Его струя в низину буйно мчится.
Вот голубь у воды прозрачной. Он
О чем-то тщетно молит голубицу.

Вот водопад — сияющий ручей,
Горы отвесной радостные слезы.
Пронизанные иглами лучей,
Неистовствуют над водой стрекозы.

Как юркий хищник из своей норы,
Бросайся, водопад, стремглав с горы,
Мчись, распустив хрустальные
поводья!

Земле людей всего себя отдай.
Пускай у ног твоих цветущий край
Не испытает горечи безводья.

ПУТЬ ПОЭТА

Не для тебя, творец, шоссе стрела,
Не для тебя высокая награда.
Сквозь вековые джунгли пролегла
Тропа поэта и солдата.

Морского шквала дик и грозен вид —
Но судно в схватке покоряет бездну.
Горы вершина свежестью манит —
Но мне не страшен склон отвесный!

К народу я пойду — наперерез
Опасностям, и бурям, и невзгодам.
С винтовкой и с пером наперевес
Я, как солдат, служу народу.

Перевод с французского
Д. МАРКИША

СТИХИ МОЛОДЫХ

ЭРИХ ФРИД
ФРГ

О РУКАХ

Приди в руки
Они отогреют нас
Под крышей этих пальцев
Найдет приют твоя голова
Твои длинные волосы
Скоро станут
Извиваться как молнии
На вершинах пальцев.
Приди в руки
Мы все идем в ладони рук
Когда они открываются
И ветер рвет с нас одежду
И треплет волосы
Когда они закрываются
Так что кровь выступает из-под ногтей.
Подойди и поцелуй меня
Пальцы рук еще вокруг нас дрожат
Не думай что они уснули.
Подойди ближе
Дай мне твои глаза
Они больше не должны спать
День наступает.
И страх пройдет
Я это узнал
По линиям на ладони
И больше не встанет зло
Ни перед тобой
Ни передо мной.

Перевод с немецкого
Евг. ВИНОКУРОВА

— Ну хорошо. Ты хочешь быть женатым на Ингрид?

— Я не хочу быть женатым на двух женщинах сразу — и на Ингрид, и на ее мамаше.

Поручиться не могу, но мне кажется, что он едва не ухмыльнулся.

— Твое теперешнее положение тоже не завидное,— говорит он.— И самому жить негде, и жену привести некуда.

— Это верно.

— Довольно глупое положение, в сущности.

— А в конце концов не так уж это плохо,— говорю я, потому что его слова задевают меня за живое.— Ушел я сам, по доброй воле и могу не возвращаться, если не захочу. Мне теперь не надо думать о ребенке, и никто меня не может больше ни к чему принудить.

— А кто же тебя к чему-нибудь принуждает? — спрашивает он, не повышая голоса.

— Хорошо, вы, предположим, нет. Но не нужно изображать все это так, будто я только и жду, когда Ингрид позовет меня назад. Я сам ушел, не забудьте.

— Правильно, ты ушел. Но, с другой стороны, еще неизвестно, захочет ли теперь Ингрид принять тебя обратно.

— Совсем на это непохоже, судя по тому, как она себя вела.

— В таком случае,— говорит он,— пожалуй, самое разумное во всех отношениях — положить этому браку конец. Забудь, что ты был женат. Полгода — срок небольшой. Ингрид могла бы потребовать с тебя алименты, но, по-моему, она в этом не нуждается. Но, конечно, она захочет получить развод. Ты ведь не станешь возражать, не так ли?

— А какие у нее будут основания для развода?

— То, что ты ее покинул, вероятно. Будь мы в Америке, можно было бы еще добавить нанесение психической травмы.

— Вот это было бы лихо, верно?

— Да, не правда ли? В разводах всегда есть что-то юмористическое.

— Боюсь, как бы мне не околеть со смеху.

— Что ж, Вик, вот, значит, к чему мы с тобой пришли. Ты же сам не захочешь быть связанным с женой, с которой ты живешь врозь, и, конечно, Ингрид тоже будет стремиться получить свободу. Она молода, привлекательна. Ей захочется выйти замуж снова. Да и ты со временем женишься, я полагаю.

— Я, знаете ли, уже сыт по горло.

— Так что теперь ты решил покончить с этим и стать свободным?

— Я этого не говорил.

— Я так тебя понял.

— Я сказал только, что могу это сделать, если захочу. Я сказал, что не собираюсь вымаливать ни у кого подачек и никто не принудит меня больше делать то, чего я не хочу. И вы можете передать это от меня Ингрид, и ее мамаше, и вообще всем.— Я уже до того разошелся — чувствую, что грублю, но мне сейчас наплевать.

— Я не принимаю поручений, Вик. Если ты хочешь сказать что-нибудь Ингрид, тебе придется сделать это самому.

— Черта с два, могу я это сделать, когда мамаша сторожит каждый ее шаг. Она меня не выносит, вы сами знаете.

— Да, знаю. Но *мне* ты нравишься. Я по-прежнему считаю тебя порядочным юношей и не жалею о том, что ты стал моим зятем.

— Премного вам благодарен.— Я пытаюсь произнести это как можно ядовитее, но в душе я польщен. Просто удивительно, как это приятно сознавать, что ты еще можешь кому-то нравиться.

К нам подходит официантка, и мистер Росуэлл заглядывает в меню.

— Что ты хочешь на сладкое? — спрашивает он.— Пудинг или яблочный торт?

— Пожалуй, ни то, ни другое, только чашку кофе.

Он заказывает две чашки кофе, и официантка, шаркая подметками, уходит. Это довольно пожилая тетка в толстых чулках, и белая мятая наколка криво сидит у нее на голове. Вообще это отнюдь не первоклассное заведение, мебель выкрашена темной масляной краской, и на стенах — дешевые обои, но посетителей много, и все больше мужчины. Как видно, этот кабак пользуется популярностью среди определенной публики — коммивояжеров, приезжих и всякого такого народа, потому что здесь можно плотно поесть и выпить. Мы сидим в углу (между нами и соседним столиком — вешалка) и можем разговаривать без помех.

— Предположим, я бы снял отдельную квартиру,— говорю я.— Что вы на это скажете?

— Я скажу, что это чрезвычайно облегчило бы положение дел. Если ты предложишь Ингрид поселиться с тобой и она откажется, тогда, разумеется, ты будешь страдающей стороной. Юридически.

— И смогу потребовать развода?

— Думаю, что да.

— А как вы считаете, согласится она? Ведь ей придется устроиться на работу, чтобы мы могли оплачивать квартиру.

— А почему ты сам не спросишь ее об этом?

— Как, черт подери, могу я это сделать? — говорю я, закипая снова.— Ее мать облысеет от злости за ночь, если узнает об этом.

— Лысая жена мне ни к чему,— говорит он,— но все же, мне кажется, мы можем рискнуть.

— Вы хотите сказать?..

— Я хочу сказать, что в этом вопросе мнение миссис Росуэлл играет второстепенную роль — главное, что думает по этому поводу сама Ингрид. Если ты хочешь ее видеть, тогда...— Он умолкает.— Ты *хочешь* ее видеть?

Я молчу, отвечаю не сразу. Наконец говорю:

— Да, я бы хотел.

— Ну что ж, хорошо. Где?

— Только не у вас дома.

На этот раз он уже явно ухмыляется, ухмыляется во весь рот.

— Да, тут миссис Росуэлл действительно может облысеть, если только я предложу такое,— говорит он.

глава 9

В этот вечер мы с ней исходили миль десять — говорили и говорили все снова и снова, не понижая голоса, не боясь, что ее мамаша — в соседней комнате. Нам о многом нужно было поговорить, многое обдумать — на ближайшие сорок лет, в сущности. А такие вопросы не решишь с наскока. Однажды мы в одно мгновение решили свою судьбу ночью в парке, но на этот раз — нет. На этот раз я много думал обо всем... И сейчас думаю, и мы говорим. Никогда прежде мы с ней не говорили так много — мы оба не очень-то были сильны по части разговоров, и, быть может, никогда больше не придется нам так много говорить. Как знать, если бы мы немножко больше беседовали друг с другом и немножко меньше позволяли себе дуреть, все вышло бы по-другому. Но что было, то было, и по-другому не вышло. Ну, а раз так, теперь надо уж постараться, чтобы хоть дальше было лучше.

Пробродив по городу бог знает сколько часов, мы приходим в парк и садимся в нашей старой беседке.

— Ты представляешь, какую тебе придется выдержать с ней бучу, представляешь? — спрашиваю я.

Она кивает.

— Знаю.

— Ты должна ей показать, что все обдумала и решила твердо и что ей тебя не отговорить.

— Это будет нелегко,— говорит она.— О тебе она слышать не может.

— А вот твой отец на нашей стороне.

— Мой отец — золото. Я не знаю, что бы было, если бы не он.

— Да, он хороший малый, твой отец. Он мне правда очень нравится.

— А это большая квартира, Вик? — спрашивает она.— Много потребуется мебели?

Я улавливаю нотку радостного волнения в ее голосе и понимаю, что теперь у нее есть цель, которая поможет ей выстоять против мамаши. И в стомиллионный раз объясняю, что еще не был в этой квартире и ничего не знаю.

— А как ты думаешь, когда нам можно будет посмотреть?

— Да когда хочешь, по-моему. Они небось ждут, что мы поглядим, прежде чем дать ответ.

— А тебе хочется снять эту квартиру, Вик? — спрашивает она.

— Нам же выбирать не приходится,— говорю.— Это будет здорово накладно, но мы как-нибудь справимся, я считаю.

— Нет, я хочу сказать... Я спрашиваю, хочешь ли ты ее снять в том смысле, что... Хочешь ли ты, чтобы мы опять были вместе?

Я собираюсь с мыслями, прежде чем ответить.

— Мне кажется, что мы по-настоящему еще не пробовали,— говорю я наконец.— Мы с тобой муж и жена и должны посмотреть, что у нас получится, если мы будем жить отдельно, вдвоем. Может, через два

месяца мы будет швырять друг в друга сковородками, но тогда, по крайней мере, нам не придется никого винить, кроме самих себя.

— А я думаю, что так не будет.— Она придвигается ближе, кладет голову мне на плечо, и я обнимаю ее одной рукой, совсем как когда-то.— Это были ужасные полгода, правда? — говорит она.

— Да уж.

— Если бы кто-нибудь сказал мне год назад, что все это может произойти, я бы никогда не поверила.

— Угу,— чувствую, что еще секунда — и я начну ее целовать. Это невероятно, до чего она меняется, когда поблизости нет ее мамаши.

— Вик,— говорит она через несколько минут,— все это время, ну, ты знаешь, когда я не хотела, чтобы ты приближался ко мне... Я не то чтобы совсем не хотела, но только почему-то, пока мы жили у нас дома, мне казалось, что это как-то неудобно.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать.— Вспоминаю, как я тоже всегда чувствовал себя неловко, ложась с ней в постель — хотя, казалось бы, что ж тут такого,— и как скрипели пружины и как я старался не оставлять ничего в туалетном столике, боясь, что мамаша Росуэлл обшарит его днем. Какого черта должен был я этого стыдиться, никому не известно, но так вот действовало на меня ее присутствие.

И теперь я целую Ингрид, потому что она заговорила как раз о том, что особенно меня мучило. Ведь если бы это не наладилось, тогда у нас с ней ничего бы не склеилось.

— Когда мы будем жить отдельно, все будет по-другому,— говорит она.— У нас все будет в порядке.

— Да, тогда уж мы будем делать все, что захотим...— Я улыбаюсь. Чудно, как некоторые мысли откуда-то вдруг залетают в голову.— Я никогда не видел тебя в ванне — только раз, в наш медовый месяц.

— Тебе хочется увидеть меня в ванне?

— Да. Ты очень симпатично выглядишь, когда ты вся в мыльной пене и кожа у тебя такая скользкая и блестящая.

Она смеется.

— Ты ужасно чудной.

— Да, чудной. Но вполне нормальный.

— Да, вполне. А правда, удивительно все-таки,— говорит она,— как мы сидим и болтаем. Это ведь в первый раз мы так вот просто разговариваем.

— Если не считать того вечера, когда ты уже знала, что у тебя будет ребенок.

— Да. Тогда, да. В тот вечер ты сказал, что женишься на мне.

Ну нет, мне совсем не хочется ворошить сейчас все это снова, и я обнимаю ее покрепче и говорю:

— Мы можем ведь и не только говорить, если ты не против.

— А что же еще?

Я просовываю руку к ней под пальто.

— Ну, как ты думаешь?

— Немного холодно сегодня, тебе не кажется?

— Нас что-то никогда это не пугало раньше.

— Ну, знаешь, просто немножко чудно — такая старая супружеская пара и... занимается бог знает чем в парке. А вдруг кто-нибудь придет?

— Никто же раньше почему-то не приходил? И притом, как ты сама сказала, мы ведь супружеская пара.

— Но у меня нет при себе моего брачного свидетельства.

— У тебя обручальное кольцо на пальце.

— Кто же поверит, что я обнимаюсь здесь с собственным мужем?

Я не могу не рассмеяться, а она закидывает руки мне за шею и обнимает меня крепко-крепко, так крепко — что крепче нельзя, и повторяет снова и снова:

— О, я люблю тебя, Вик, я люблю тебя, люблю тебя...

Так что тут у нас все в порядке.

II

Возвращаясь домой к Крис, я снова перебираю в уме все, что произошло. Ингрид любит меня. После всего, что случилось, после того, как я так гадко поступал с ней, после этого несчастного случая — выкидыша, после того, как ее мать изо всех сил старалась восстановить ее против меня, после всех моих безобразных выходок — она все еще любит меня и готова попробовать начать все сначала. Люблю я ее или нет — это уже вопрос особый, но не это сейчас важно. Важно другое: теперь я знаю, что поступаю правильно. Я вел себя как подонок, и мне это осточертело, и теперь я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это исправить. И кто его знает, быть может, в один прекрасный день и будет так, как говорила Крис: мы увидим, что любим друг друга каждый по-своему, и эта любовь поможет нам жить. Я надеюсь, что так будет, потому что ведь это на долгие-долгие годы.

А я теперь многое передумал и переоценил. Все, что произошло со мной, кое-чему меня научило, открыло мне глаза на жизнь и всякое такое. И я теперь понимаю: весь секрет в том, что никакого особенного секрета нет, и ничего такого сверхъестественного — ни бога, ни черта, ни рая, ни преисподней. Вы, может быть, скажете, хорошо, в чем же тогда суть жизни? А я вам отвечу: в самой жизни, вот и все. И этого вполне достаточно, потому что в жизни очень много хорошего, так же как и плохого. И еще я считаю, что не существует таких вещей, как грех и наказание за грехи. Есть только то, что ты совершаешь, и потом то, что из этого проистекает. Есть вещи правильные и есть неправильные, и если ты поступаешь неправильно, то у тебя все пойдет вкривь и вкось, и в этом и есть наказание. Но все это, конечно, не так просто, потому что, если ты будешь поступать только правильно, у тебя не обязательно все будет как нельзя лучше, потому что, помимо всего прочего, существует еще случай, удача, и ты можешь из кожи лезть вон, а удачи тебе не будет, это уж от тебя не зависит. И если вы скажете, почему одному ни в чем не везет, а другому всегда везет, в то время как он-то и есть самый скверный, а тот хороший, вот тут я скажу: а разве это не вопрос удачи? И, кроме того, он, может быть, вовсе и не такой везучий, как вам кажется, потому что вы же не можете заглянуть к нему в душу, и если у него шесть автомобилей и он каждый год отдыхает на курорте где-нибудь на юге Франции, так ведь не это главное — главное то, что творится у него в душе.

Короче, я это вот к чему: нужно делать все, что от тебя зависит, и как можно лучше, и надеяться на лучшее. Делай то, что ты считаешь правильным, и тогда ты будешь поступать так, как поступают миллионы других везучих или незадачливых на всей земле. А уж если тебя стукнет по башке — случай, судьба, называй это как хочешь,— ты, как и всякий другой, можешь только пожать плечами, потому что всегда старался поступать правильно и не заслужил плохой участи. И это уж ты держи при себе.

А пока я собираюсь сделать все, что от меня зависит, и поглядеть, как на этот раз получится.

Вот и конец притче.

Вечер прохладный, и меня немного познабливает, когда я шагаю домой. Еще две недели — и уже снова святки.

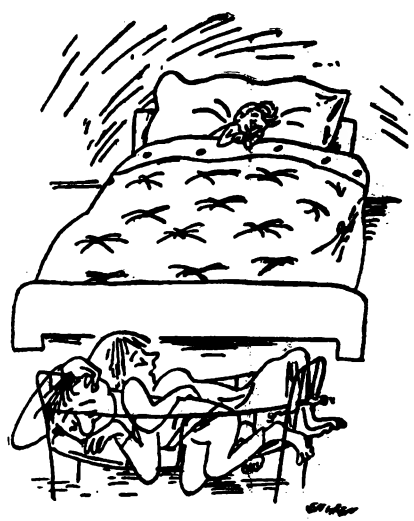
из альбома З. ЛЕНГРЕНА

«Два поколения»

Это ваше современное искусство ужасно, совершенно невозможно понять, что вы хотите изобразить.

Взгляни, мама, какой сюрприз! Рысек нарисовал это специально для вас.

Кажется, это ее знакомый?



Без слов

зарубежная КаРикАТуРА

АЛЕКС ЛА ГУМА

(род. в 1925 г.). Советские читатели познакомились с творчеством этого южно-африканского писателя в 1964 году, когда в нашей стране была издана его первая повесть «Скитания в ночи» («A Walk in The Night»).
В этой книжке журнала публикуется вторая повесть А. Ла Гумы «И нитка, втрое скрученная» («And a Threefold Cord», 1964) с послесловием южноафриканского публициста Брайана Бантинга.

И НИТКА, ВТРОЕ *скрученная...*

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского
А. МАРТЫНОВОЙ

9. Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их.

10. Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.

11. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?

12. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.

Книга Екклесиаста, глава IV.

ГЛАВА I

На северо-западе сгущались облака, сначала похожие на хлопья ваты, гонимые по небу напористым ветром, потом на клубы серого дыма и в конце концов на вздыбленные под самую высь крепостные валы с бастионами. Мрачная стена тянулась через весь горизонт, и солнце уже не сияло, а только угадывалось в бледном свечении за серой пеленой. И море было серое и свинцовое. Оно лениво колыхалось, как тяжелое полотнище на утихающем ветру. Осень рано пришла в тот год, а за ней и зима, и небо тяжело повисло, чреватое дождем. На взморье, в парках и за городом с деревьев опали листья, и только по склонам и на вершинах гор, тянущихся вдоль моря, зеленым по серому еще проступали сосны, смоковницы и редкие дубы и земля хранила здоровый темно-коричневый цвет.

Первый дождь просеялся из туч моросящим туманом и пленкой влаги лег на землю, на скамьи бульваров и на отвесные гладкие стены зда-

ний; асфальт на улицах почернел. Потом этот первый дождь прошел, оставив после себя только холодную сырость в воздухе и обещание вернуться с новыми силами.

Настал июль *, и набрякшие тучи походными колоннами двинулись на землю с океана; подгоняемые окриками резкого ветра, они брели, прихрамывая, со стертыми ногами, через все небо в наступление на твердыню гор. Какое-то время горы сдерживали их, и дожди опустошали только побережье, клочьями повиснув на колючих вершинах. На флангах дождь падал в море. Высокий, в плотной серой шинели туман отрезал горы от неба и всего остального мира и зловещим знамением повис над землей.

Потом дожди пробили бреши в линии обороны и стали делать короткие вылазки, налетая на пригороды и снова отступая,— по утрам на окнах стыли струйки влаги, и сырость лежала на бетоне Северного шоссе, да мокро блестели широкой дугой изгибающиеся рельсы железнодорожных путей.

За городом земля принимала дождь и поглощала его, впитывая влагу и все темнея, пока не стала совсем черной. Земля утоляла жажду ливнями, а потом, пресытившись, размякла и, когда человек ступал на нее, подавалась под его ногой, и в грязи отпечатывались, взбухая по краям, следы его подошв или — если он шел босой — две ямки побольше, от пятки и носка, и отдельно пять маленьких — от пальцев.

Жители окраин, ютящиеся в убогих хижинах и лачугах вдоль шоссе, по обеим сторонам железнодорожных путей и на песчаных пустырях, смотрели на небо на северо-западе, где за горой нависли разбухшие от влаги тучи, и когда начались дожди, барабаня по крышам, рабочие потащили домой подхваченные где придется коробки из гофрированного картона, листы ржавой жести, обрезки оцинкованного железа, чтобы спешно залатать прохудившиеся кровли. Этот хлам укладывали на крышах и прижимали камнем потяжелей, чтобы не снесло ветром.

Дети играли среди луж на раскисшей земле, месили пальцами босых ног податливую жидкую грязь. И: Слушай, ну и повезло мне, ты только подумай — полную жестянку битума я получил за пять монет! Налево, ясное дело. Битум — это как раз что надо: не пропускает воду. Пропитать им мешковину — и затыкай все щели и дыры. Похоже, этот год собирается быть дождливым, а? Надо полагать, что так. Старуха уже жалуется на свой ревматизм. А по мне, пусть льет сколько влезет, мне бы только была жестянка пива в холодный денек, а так — плевать я хотел. Парень, я помню, однажды лило двадцать суток подряд, без перерыва, ей-богу. Арви обещался притащить домой дегтю. Он работает как раз рядом с муниципалитетом. Знаешь что, не нравится мне вон та дыра. Джонни, ты бы заделал ее, чем сидеть сиднем, штаны протирать. Дождик, лить тебе не лень, возвращайся в другой день, пели дети.

Небо нависло тяжелое и серое, загородив солнце, дневной свет померк, вместо него наступили противоестественные, сырые сумерки. Снова брызнул дождь, окропив мир, приостановился ненадолго, хлынул на землю целыми потоками. Потом успокоился и зарядил в ровном устойчивом темпе, непроглядный, холодный, серый.

ГЛАВА II

Шум воды, протекавшей сквозь крышу, разбудил Чарли Паулса. Под порывами ветра дождь косо хлестал по хижине, свистя и барабаня в стены из рифленого железа, поливая крышу. Ветер с ревом, будто в ярости, швырял дождь на дом и тут же, отпрянув, уносился прочь, и тогда слышался только шелест струй вдоль облупившихся железных стен.

* Зимний месяц в Южном полушарии.

Чарли Паулс заворочался на своей продавленной, с растянутой сеткой железной кровати; он спал на боку, закрыв лицо согнутой левой рукой и подложив под локоть другую руку. Слыша в полусне шум ливня за стеной, он, не просыпаясь, натянул повыше на плечи старое армейское одеяло. Но сразу же снова повернулся, рука соскользнула с лица, ударилась обо что-то тыльной стороной, он забормотал во сне и тут, всплыв из глубин забытья, сквозь шум дождя снаружи отчетливо различил другие звуки: в комнату с потолка протекала вода.

Вначале это было редкое, нерешительное постукивание по дощатому полу; потом капли глухо зачастили, сливаясь в струйки. Чарли открыл глаза, зевнул, вытер с подбородка слюну. Тьма окружала его густым мраком наглухо замурованного склепа, и он лежал в этой тьме и слышал, как капает с потолка вода.

И еще в комнате стояли разные запахи. Запах пота, и запах нестираных одеял, и запах непроветриваемых постелей, совсем рядом и где-то в отдалении тяжелый запах стряпни, застарелой сырости и мокрого железа. Но он не внюхивался, он слушал, как падает на пол вода. В другом углу комнаты на такой же железной кровати метался, крутился во сне и невнятно бормотал ругательства его брат Рональд.

Чарли сел в постели, и старое армейское одеяло, соскользнув с плеч, упало на поднятые колени. Он спал в нижнем белье, не ощущая холода. Протерев глаза, он скоро привык к темноте и стал понемногу различать очертания предметов в комнате: вон дергается во сне долговязый Рональд, вон темнеет квадратная громада гардероба и еще одна кровать, на которой спит Джорни.

Чарли дотянулся левой рукой до ящика из-под яблок, служившего ему ночным столиком, пошарил — книжка без обложки, сигареты — и нащупал спичечный коробок. Он чиркнул спичкой и осмотрелся при свете ее слабенького дрожащего пламени, трепетавшего на вечно гуляющем в доме сквозняке, который тянул из бесчисленных щелей; вглядевшись в полумрак, различил лужицу воды, растекавшуюся на полу у обшарпанного, с разбитым зеркалом и сорванными петлями шкафа. Спичка догорела, и он зажег другую и опустил босые ступни на пол.

Половицы под ногами были холодными. Чарли встал, наклонил голову, чтобы не задеть потолок, и подошел к полке на противоположной стене комнаты, прикрывая горящую спичку ладонью, поднял стекло фонаря «летучая мышь», выкрутил и зажег фитиль. Когда фитиль разгорелся, он потряс спичкой, затушил ее и бросил на пол.

Опять налетел ветер и обрушил на дом новую лавину дождя, нахлестывавшего по железу какую-то минуту, и опять метнулся в сторону и пошел куда-то прочь, оставив позади себя все тот же глухой дребезжащий перестук.

Чарли подкрутил фитиль, фонарь разгорелся ровным, ярким пламенем и осветил всю комнату и коричневое лицо Чарли, выхватив из темноты его широкие скулы и подбородок, закругленный и твердый, как носок армейского башмака. Впалые щеки покрывала черная щетина, и глубокие складки, словно в скобки, заключали крупный, насмешливый и чувственный рот. Лоб у него был широкий и низкий, далеко вперед находила шапка густых курчавых волос. На правой скуле чернела родинка. А глаза были темно-карие, цвета каштанов, они мерцали в свете лампы, глазные яблоки отливали желтизной.

Он поставил лампу и, пошарив взглядом по тесной, как коробка, комнатушке, нашел четырехгаллонный весь во вмятинах бидон для керосина. Он перенес его туда, где на полу под течью растекалась лужа. По дороге задел бидоном о железную кровать, на которой спал Рональд, и от звона жестянки тот проснулся.

Рональд рывком сел на кровати и прислонился спиной к картонной перегородке, отделявшей их от кухни; все это одним испуганным стремительным движением, громко вскрикнув: «А? Что это? Что?»

Чарли поставил бидон на пол под течь с потолка. Шум шлепавшихся в лужу капель внезапно сменился барабанной дробью, когда капли застучали по железу, а затем постепенно перешел в монотонное позвякивание.

Чарли сказал, возвращаясь к своей кровати:

— Извини, я тебя разбудил, парень. Чертова крыша протекла.

Под его могучим телом старые скрипучие половицы, прогибаясь, ходили ходуном. Он опустился на кровать и сидел, задумавшись, в своем заношенном нижнем белье. Другой брат, Джорни, спал лицом к стене под старым, распотрошенным стеганым одеялом, виднелась лишь его коротко остриженная голова. Дождь со свистом хлестал по дому.

Рональд не лег, он протирал сонные глаза. Чарли потянулся за пачкой сигарет, вытащил одну, прикурил. Крохотное оконце сотрясалось под порывами сильного косого дождя с ветром.

— Сон приснился? — спросил Чарли, пуская дым через нос и поглядывая на Рональда. И улыбнулся, обнажив сильные, крупные, желтоватые зубы.— Ты, парень, так барахтался, будто у тебя там под одеялом эта самая Сюзи Мейер, ей-богу! Даже подпрыгивал.

— Ну и что? Чего тебе? — пробормотал Рональд, заливаясь краской и тараща глаза на старшего брата.— Кто тебе сказал, что мне сон снился? Какого черта тебе от меня надо?

Чарли ухмыльнулся.

— Не мне, чудак. Сюзи Мейер.

— Ну, а тебе что далась Сюзи Мейер? — запальчиво спросил Рональд. Он почувствовал, что краснеет, и сердито уставился на Чарли.

— Женился б ты на ней, хоть сны бы не мучали,— сказал Чарли. Ему нравилось дразнить Рональда.

Рональд громко и отчетливо произнес:

— Слушай, ты. Оставь меня в покое. Понятно?

Чарли ответил, пуская дым:

— Малыша разбудишь.

Он показал большим пальцем туда, где спал Джорни.

— Ну, а чего ты тогда сам привязался ко мне? — возмутился Рональд.— Вечно придирается, придирается.

— Да брось,— сказал Чарли и скользнул под одеяло, но оперся на локоть, чтобы можно было курить.— С тобой просто шутят. Нечего в бутылку лезть, стоит только кому-нибудь упомянуть про эту Сюзи Мейер,— и он исподтишка хмыкнул.

Рональд сердито смотрел на брата, ожидая, что тот еще скажет. Ветер стих, и слышался только шум дождя и звон падающих в бидон капель. Чарли посмотрел туда, где протекал потолок, и буркнул:

— Надо будет утром заделать.

Рональд облегченно вздохнул и улегся обратно в ложбину своего продавленного тюфяка, но не сводил с Чарли угрюмого настороженного взгляда.

— Ветер затихает,— заметил Чарли.

Малыш Джорни забормотал во сне и заворочался под лохмотьями, оставшимися от стеганого ватного одеяла. Чарли посмотрел на будильник, стоящий на полке у дальней стены.

— Скоро вставать.— Он перевел взгляд на окно — квадратное отверстие, вырезанное в стене и заделанное куском грязного стекла. Там, за пеленой дождя, лежал мир, черный и мокрый. Пламя «летучей мыши» и маслянистая гарь от нее слегка согревали воздух, и Чарли решил

не тушить лампу. Он докурил сигарету, а окурок придавил на полу у постели.

Он громко зевнул и сказал с притворной серьезностью:

— А здесь и здесь,— он показал,— у нее, между прочим, все как надо, это точно.

Рональд этого ожидал. Он взревел, нащупал у кровати ботинок и пустил им в Чарли. Ботинок пролетел через комнату, чуть не задел фонарь, но Чарли, небрежным жестом подняв руку, отбил его прямо в воздухе, и он с глухим стуком упал на пол.

Рональд снова сидел на постели и свирепо смотрел на Чарли. У Рональда были широко раскрыты глаза и от волнения подергивались щеки. Он крикнул, чуть не плача:

— Лучше перестань, слышишь! Я тебя предупреждаю, лучше прекрати это.

Чарли, нахмурившись, сказал:

— Ну, хватит, ладно. Ты чуть пожара не наделал.

— А ты... говорят тебе... прекрати это! — захлебываясь, прокричал Рональд.

На другой половине, за стенкой, скрипнула и запела пружинная кровать, словно сломанная арфа, и голос матери крикнул:

— Что у вас там происходит, мальчики? Вставайте или лежите тихо, но не беспокойте отца.

— Хорошо, ма, хорошо,— прокричал в ответ Чарли.— Тут у нас крыша потекла, и мне пришлось подставить посудину, я искал жестянку.— Он сидел на краю кровати.

— Тише, не беспокойте папеньку,— с ухмылкой сказал Рональд.— Наш папенька заслужил отдых. Дрыхнет все дни напролет.

Чарли потянулся к спинке кровати, там висели его джинсы. Он сказал:

— Оставь старика в покое. Пусть отдыхает. Никто тебе не давал права так о нем говорить.

Он просунул ноги в штанины и встал, подтягивая и расправляя джинсы на поясе.

— Подумаешь,— сказал Рональд.

Чарли покончил с пуговицами на джинсах и перепоясался старым потрескавшимся армейским ремнем.

— Никто тебе не давал права говорить об отце в таком тоне.

Он продернул ремень через медную пряжку, попал дырочкой на шип и конец заправил в хомутик. Потом снова сел на кровать и, нагнувшись, стал искать ботинки.

— Иди лучше к своей Сюзи Мейер.

— Опять, да? — грозно сказал Рональд.

— Ладно, приятель, брось,— усмехнулся Чарли.— С тобой пошутить нельзя.— Он всунул ноги в башмаки, притопнул, затем положил ногу на ногу и принялся шнуровать их.— Похоже, дождь решил передохнуть,— сказал он. И посмотрел в окно. По стеклу еще сбегали одинокие капли, но темнота за ним уже растворялась в сером.— Ну, не забавно ли,— сказал Чарли.— Мне не надо на работу, а я все равно первый встаю, не то что ты, вечно валандаешься до последней минуты. Небось в проходную прибежишь на полусогнутых.

Рональд сказал:

— Стану я торопиться из-за этой дрянной работенки, будь она проклята совсем.

— Они тебя выставят на улицу, парень.

— Ну и что, меня с ней не венчали, найду другую, только и всего.

Чарли открыл рот, чтобы сказать кое-что насчет венчания и Сюзи Мейер, но передумал и только засмеялся.

— Твое дело,— сказал он.

Младший, Джорни, тоже проснулся и смотрел на них из-под своего стеганого одеяла опухшими со сна глазами.

— Эй, вы,— жалобно захныкал он.— Чего вы здесь расшумелись, типы.

Рональд огрызнулся:

— Ну ты, слюнтяй...

— Поспи еще, малыш,— вмешался Чарли.— Еще рано.

Он закурил новую сигарету, пачку положил в карман, поднялся и пошел к двери. Дождь не хлестал больше, а лишь мерно постукивал по рифленому железу стен.

Чарли был высокого роста. У него были широкие плечи и широкая грудь человека, привыкшего к физическому труду. Мускулы бугрились и перекатывались под его заношенной трикотажной фуфайкой. Огромная тень его фигуры упала на кровать Рональда и поднялась по стене, как черный призрак, боящийся света. Чарли прошел к двери в своих старых ботинках, с сигаретой, свисающей из уголка широкого, подвижного рта, дымок вился вверх по скуле, и, чтобы он не попадал в глаза, Чарли прищурился.

Он повернул голову и еще раз пристально оглядел потолок. Расплющенные коробки и листы прессованного картона, из которых он был сделан, покоробились и рябили пятнами и потеками с прошлой зимы, а там, где ночью открылась новая течь, по картону расползлись черные очертания целого материка сырости. Капли воды медленно набухали и нехотя отрывались и падали вниз в подставленную под течь жестянку.

«Это на том краю, где отошел лист цинка,— сказал себе Чарли, рассматривая пятно.— Похоже, что дождь притих, пожалуй, успею починить». Он вынул сигарету изо рта и стряхнул пепел в бидон на полу. Там уже набралось воды пальца на три.

Рональд сказал, все еще сидя на кровати:

— Тьфу, будь оно проклято! В такой дождь человек должен тащиться на работу.

Он принялся одеваться, продрогший и злой на весь мир.

ГЛАВА III

Чарли открыл дверь и вышел в темную кухню. Зажег спичку, отыскал второй фонарь. Он висел на балке под прогнувшимся от сырости картонным потолком. Чарли зажег фонарь, и пламя отразилось в помятых, с закопченными днищами кастрюлях, висящих в ряд над старой железной печкой, на лезвии кухонного ножа, привешенного сбоку к шкафчику на обрывке засаленного шнурка, продетого в отверстие на конце рукоятки, на металлической крышке треснувшей сахарницы на посудной полке.

Пол в кухне прогибался и стонал под тяжестью Чарли. Дождь стучал в дверь, совсем как человек, перед тем как войти. С кухней сообщалась и другая комната — родительская. Из-за тоненькой, вылинявшей занавески, повешенной в проеме вместо двери, послышался шорох, скрип кровати, шлепок свалившейся туфли.

Потом голос матери позвал:

— Чарльз, это ты? Растопи печку, сынок.

Оттуда же донесся звучный, бурлящий мокротой старческий кашель.

— Есть такое дело, ма,— отозвался Чарли.

Он подошел к наружной двери, отодвинул засов и распахнул ее. Ветер швырнул ему в лицо сноп мелких брызг, и он невольно отступил с порога, поеживаясь от холодной сырости. Дождь обдал порог, брыз-

нул в кухню. Он шел теперь уже не сплошной непроглядной стеной, а падал отдельными мелкими стремительными каплями. Чарли зажал сигарету в кулак и выглянул за дверь. Холода он уже не чувствовал, он вообще быстро приспосабливался к сменам температуры.

Небо было густо-черное, и только к горизонту, далеко за темными очертаниями лачуг и деревьев, просвечивала серым, цвета помоев, узкая размазанная полоса над дальними, еще не различимыми горами. Где-то среди лачуг, словно чтобы засвидетельствовать приближение рассвета, хриплым горном пропел петух. Мир булькал и бултыхался во тьме. Прокричал второй петух, третий... Пронзительным лаем залилась собака.

Чарли отшвырнул окурок в мокрую темень, проследил, как он красной точкой мелькнул в воздухе и, описав дугу, исчез. Потом закрыл дверь, зажег еще одну спичку и бросил ее через конфорку в железную плиту. Пламя охватило бумагу под щепой и тщательно положенными поверху кусками угля, плита замурлыкала спросонок и затем тихонько загудела. Чарли переставил эмалированную кастрюльку с водой с края плиты на конфорку и ушел обратно в комнату.

Рональд уже оделся. На нем были брюки в обтяжку, старый свитер с оленем на груди и мягкая кожаная куртка. Он зачесывал волосы перед треснутым, засиженным мухами зеркалом на дверце платяного шкафа. Умываться здесь не было принято.

— Дождь все идет? — спросил он и положил щетку на полочку — просто ящик из-под помидоров, прибитый к деревянной подпорке стены,— рядом с запыленной баночкой густого зеленого бриолина и скелетом пластмассового гребешка с приставшими к последним зубьям-ребрам останками волос.

— Да,— сказал Чарли,— да,— и сел к себе на кровать. Долго стоять в комнате пригнувшись было трудно.— Но не очень сильный. Так, немного моросит. Я думаю, чуть погодя совсем перестанет.

— Откуда это ты знаешь, что он перестанет? — спросил Рональд с ехидной ухмылкой.— Откуда это ты только знаешь такую кучу вещей о том, когда дождь перестанет и сколько он еще будет идти? Ты и впрямь умный малый, верно?

— А я и не говорю, что знаю,— ответил Чарли. Он сидел в покосившейся комнатке, опершись локтями на колени, свесив вниз тяжелые широкие ладони.— Кто говорит, что я знаю? Просто я так думаю. Тоже мне.— Он взглянул на Рональда и усмехнулся.— Это ты у нас умник. Все-то тебе не слава богу. И с погодой не так. И с этой Сюзи Мейер.

Рональд бросил взгляд в его сторону. Он начищал ботинки плешивой щеткой, ставя на край табуретки сначала одну ногу, потом другую.

— С чего это ты взял насчет Сюзи Мейер? Снова начинаешь, да?

Чарли засмеялся.

— Валяй, валяй, надраивай, замечательно они будут выглядеть, когда ты припустишься за автобусом.

Рональд был франтоватый малый.

— Ладно, это, кажется, мое дело, верно? — бросил Рональд. Он положил сапожную щетку на платяной шкаф и пошел на кухню.

— Поесть готово? — послышался оттуда его недовольный голос.

А голос матери отвечал:

— Подождешь немного. Прежде всего я бы поздоровалась.

— В таком случае, здравствуйте,— проворчал Рональд и повысил голос:— Почему человек вечно должен дожидаться своей жратвы?

— Что это ты такой раздражительный? — прикрикнула на него мать.— Ишь, важный какой стал.

Чарли хмыкнул. Затем поднялся, подошел к платяному шкафу, открыл отставшую дверцу и вытащил из стопки белья свою старую защит-

ного цвета рубашку. Встряхнул ее, она развернулась, натянул через голову и, на ходу заправляя в вылинявшие джинсы, тоже пошел на кухню.

ГЛАВА IV

Рональд сидел на скамейке у стены за выскобленным дощатым столом и жадно глотал из эмалированной щербатой миски горячую овсянку. Кухня, как и весь дом, была маленькой и темной, и перемещались в ней с осторожностью, по очереди, чтобы разойтись и не столкнуть чего. Скамейка и несколько ящиков, таких, чтобы они могли свободно задвигаться под стол, служили сиденьями, а по стенам висели закопченные сковороды и кастрюли. Стены были из старого рифленого железа, изнутри кое-как выкрашенного. Они держались на деревянных подпорках, наворованных или принесенных со свалки. За дверью висела картинка из старого календаря: веснушчатый голубоглазый мальчик весь в золотых кудряшках ласкает неизвестной породы щенка со счастливой собачьей физиономией. Была там и подпись «Приятели», но ее вместе с названием мебельного магазина, выпустившего календарь, замазали коричневой краской. Потолок из листов картона разбух и провис, и чтобы не задеть его, мужчинам приходилось пригибать голову. Он был черный и заплесневел от сырости: во всем доме стоял запах плесени, но его давно перестали замечать.

Рональд уткнулся в тарелку и мрачно поглощал свой завтрак. Свет от лампы бросал блики на его напомаженную голову. Он во многом еще был подростком, трудный возраст отражался в ожесточенном взгляде карих глаз, в презрительной ухмылке рта и в дерзкой отваге его затаенных мыслей, злобных, как цепные собаки. Входя в теплую кухню и вдыхая запах горящих дров и булькавшей на огне овсяной каши, Чарли сказал:

— Доброе утро, ма. Опять потекла эта чертова крыша.

— Придется тебе ею заняться,— сказала мать, не поворачиваясь от плиты.— В нашей комнате тоже сыро.— И Рональду: — Ты бы поторапливался. Пропустишь первый автобус.— И снова Чарли: — Дом, того и гляди, рухнет. Не знаю, что и делать, отец-то совсем болен.

— Болен,— передразнил Рональд, выскребая из миски остатки каши и поднимаясь.— Он уже болен черт-те с каких пор.

— Ты все-таки придерживай язык, когда об отце говоришь,— оборвала его мать.

Чарли посмотрел на младшего брата.

— Ты, парень, помалкивай. Не ты этот дом строил, не ты его чинишь, не тебе и говорить.

— Придирайся,— огрызнулся Рональд, хватая со стола большой пакет с бутербродами.— Вечно придираются, придираются, придираются.

— А ну, замолчи, чертенок,— прикрикнула мать и пригрозила ему половником.— Замолчи и отправляйся на работу.

Рональд сунул за пазуху пакет с бутербродами и стал пробираться к двери. Он долго возился с задвижкой, пока, наконец, не распахнул дверь. Завеса мелкого дождя заполоскалась перед ним — покрывало из жидкого кружева.

— Только и знает, что придираться,— сказал он, шагнул в посеревшую уже темноту и хлопнул за собой дверью.

— Просто не знаю, что с ним будет,— сказала мать, смахивая с лица прядь волос. На лбу остался след от руки, вымазанной в овсянке.— Отец ваш совсем плох, и Каролина не сегодня-завтра разрешится. А ему все трын-трава.

— Да ничего. Ронни хороший парень,— сказал Чарли.— Он еще исправится, ма, вот увидишь.— Он улыбнулся ей.— Ну, ладно, пойду взгляну, как там сегодня наш старик.

Он прошел за занавеску в другую комнату. Пламя свечного огарка, дрожащего от сквозняка на хромом комоде, накренившемся на неровном полу, бросало неверный свет на убогую обстановку. На широкой, прогнувшейся, дребезжащей от каждого движения кровати из-под вороха старого тряпья виднелась голова старшего Паулса. Огарок высвечивал белки его глаз и отражался в медном шарике на спинке кровати.

Когда-то, очень давно, папаша Паулс был сильным, высоким мужчиной, но теперь от него остался один скелет, детский рисунок человечка. Его темное лицо бороздили следы от схваток с нуждой и болезнью, высохшее и опустошенное лицо, череп, обтянутый тонкой кожей, страшная маска, грубо и наспех вырезанная из куска коричневого, в глубоких трещинах дерева. Костлявые колени вздымались под одеялом двумя острыми горными пиками и подергивались, будто горы трясло землетрясением; и весь он дрожал мелкой дрожью от лихорадки и сквозняка, тянувшего из щелей и старых дыр от гвоздей, которыми были испещрены стены. Ввалившийся беззубый рот был открыт, а впалая грудь клокотала и посвистывала, будто чайник на огне. Старик весь дергался, как страшная заводная игрушка.

Чарли остановился в ногах кровати и тихо спросил:

— Ну как, отец?

Ввалившиеся глаза обратились к нему, и губы беззвучно зашевелились, совсем как у выброшенной на берег рыбы. Больной старик цеплялся негнущимися пальцами за отвесную скалу жизни последними отчаянными усилиями.

Чарли сказал:

— Отдыхай, отец. Лежи отдыхай.

Он подмигнул старику, повернулся и вышел.

— Старик плох,— сказал он, возвращаясь в кухню. Он сел за стол, ему пришлось согнуться, чтобы уместить свое крупное тело в таком маленьком пространстве.— Сколько еще этот дождь собирается лить, ма, как ты считаешь?

— Бывает, что дней восемь,— сказала мать.— Похоже, будет скверная зима. Отцу тяжело придется. Может, он съест сегодня хоть немного овсянки. Уже почти ничего не может есть, бедняга.— Она вздохнула.— Многих он доконает, как зарядит, этот дождь. Ты бы посмотрел крышу.— Она поставила перед ним полную тарелку дымящейся овсяной каши.

— Взгляну,— сказал Чарли, принимаясь есть. Он подул на ложку. с кашей.— Может быть, еще и нет ничего страшного.

— Если б только Ронни взялся за ум. Совсем от рук отбился. Вечно всем недоволен, грубить стал. Он и отца расстраивает, а разве его можно волновать?

— Он еще исправится, ма.

— Он попадет в беду. Вот посмотришь, хлебнем с ним горя.

— А, да он еще молокосос. Девчонка у него завелась, Сюзи Мейер.

— Да,— сказала мать, перемешивая в кастрюле остатки каши.— О ней много чего рассказывают. Миссис Апполис говорила, у нее был ребенок от женатого человека. И крутит она со всеми без разбора. Она мне не нравится, вот что я скажу. Надеюсь, что Ронни не станет с ней путаться.

— Ну, может, она не такая уж и плохая, ма,— сказал Чарли, посыпая себе кашу сахаром.— Многие приносят в подоле, не она одна.

— Ишь ты, какой нашелся! — рассердилась матушка Паулс.— У тебя все хорошие. «Не такая плохая». Замечательная. По тебе, что ни

возьми, все ладно. Вот вырастишь своих, тогда узнаешь.— Она вытерла руки о серое кухонное полотенце.— И не выгребай весь сахар. Это у нас до пятницы.

Чарли улыбнулся, поднеся ложку ко рту.

— Ладно, ма. Хорошо. Успокойся.

Дождь свистел и хлестал по стенам. На востоке небо бледнело, медленно наливаясь тусклым безжизненным светом, робко разбавляло серым черное, как будто осторожное утро тихо кралось мимо часовых обложного дождя.

В комнате больного скрипела и сотрясалась кровать, послышался стон. Чарли сказал, тщательно выскабливая ложкой тарелку:

— Совсем плох старик.

— Пойду покормлю его овсянкой,— сказала мать.— Ему бы надо, конечно, супу.— Она пошла к плите, сняла с огня облупившийся эмалированный кофейник и поставила на стол. Чарли подождал, пока она налила ему чашку кофе. Мелкий дождь стучал по стене и, звеня, стекал с крыши. В комнате, где текло, снова с металлическим призвуком запела струйка воды.

— Вроде стихает,— сказал Чарли. Он потянулся за сахаром.

— Одну ложку,— сказала ему мать.— Будем надеяться. Ты бы заделал крышу-то, пока совсем не провалилась.

Горбясь на деревянном ящике за столом, Чарли размешал сахар, медленно поднес чашку к губам, подул на кофе, осторожно отхлебнул, снова подул и тихонько поставил чашку на треснутое блюдце. Матушка Паулс сидела на скамейке у плиты, откинувшись к стене, закрыв глаза, словно о чем-то мечтала.

Чарли снова поднял чашку и стал пить, слушая, как шумит за стеной дождь. До него доносился откуда-то издалека резкий шелест листвы на деревьях, будто ветер трепал афиши на щитах.

Он поставил чашку, пошел к двери, открыл ее. Шелест листвы стал слышен сильнее, и в кухню ворвался холодный ветер. Он сорвал с карниза капли воды и швырнул их через дверь в кухню, дунул на лампу, и тени заплясали на закопченных стенах.

Матушку Паулс обдал поток холодного воздуха, и она открыла глаза.

— Что? Что случилось? — проговорила она.

— Смотрю, не кончился ли дождь,— сказал Чарли.

— Закрой дверь,— сказала мать.

Над верхушками старых смоковниц через двор, где слабый свет из открытой кухонной двери поблескивал на черных лужах, над сбившимися в кучу лачугами небо начало просвечивать белым, словно крыша мира медленно давала течь. Дождь перестал, но ощущение его, как угроза, еще висело в воздухе.

На задворках кричали петухи, коричневая овчарка-полукровка по кличке Сторож вприпрыжку вынырнула из рассветного мрака, насквозь мокрая, будто после купанья, и ворвалась в кухню.

— Прогони собаку и закрой дверь,— проворчала мать.— Она тут наследит по всему полу.

— Пошел, Сторож, пошел,— сказал Чарли, похлопав собаку, и закрыл за ней дверь.— Скорей бы уж рассветало,— продолжал он.— Я хочу управиться с крышей, пока снова не польет.

Собака оставила на щербатом полу кухни грязные следы.

Чарли пошел к себе в комнату, протиснулся в дверь, которая открывалась только наполовину из-за платяного шкафа. Младший, Джорни, посмотрел на него из-под одеяла, под которым он съежился на своей раскладушке. На двери с внутренней стороны висел желтый армейский

плащ. Чарли снял его, просунул руки в рукава, запахнулся. Надел свою старую суконную кепку.

С потолка уже почти не текло, зато по нему чуть не в половину комнаты расползлось мокрое неправильной формы пятно.

Чарли долго смотрел на небо, нахмурясь, и затем, громоздкий и неуклюжий в желтом брезентовом дождевике, выбрался из комнаты.

ГЛАВА V

Папаша Паулс построил этот дом еще давным-давно, когда они с матерью перекочевали в город из деревни. Мать была беременна Каролиной, а Рональд сопливым мальчишкой цеплялся за ее подол и вечно скулил, как ушибленный щенок. Отец арендовал участок, один из немногих еще не занятых на этом песчаном пустыре, как раз застраивавшемся в те годы жалкими лачугами, которые выскакивали тогда, как болячки на ноге, на этой вытянутой вдоль дороги полосе земли.

Такие же бедняки, как они сами, приютили мать и Рональда, пока отец с Чарли жили в палатке из натянутых одеял, охраняя семейные пожитки и сколачивая дом. Фредерик Паулс работал отчаянно, надо было успеть построить хижину прежде, чем матери придет время рожать, и до того, как зарядят дожди. Но они с Чарли так и не успели, и Каролина родилась в курятнике, другого места люди, которые их приютили, им предложить не могли.

Отец и Чарли рылись на свалках, выпрашивали, а ночами потемней и воровали материалы для дома. Они за несколько миль таскали листы ржавого рифленого железа, доски, планки, куски картона и все, что могло понадобиться для сооружения лачуги: расплющенные жестянки из-под каких-то сортов бензина, прямо с пестрыми надписями на боках (это пошло на стены дома); ржавые кривые гвозди, которые Чарли повыдергал из старых досок на свалке среди мусора и выпрямлял молотком на камне; тряпье для заделки щелей и дыр, обрывки проволоки и вощеной бумаги, коробки, обрезки жести и обрывки провода, фанерные ящики и две железнодорожные шпалы. Самой потрясающей находкой оказалась плита. Она была найдена на куче щебня, с продырявленными боками, без заслонок и трубы, вся покрытая ржавчиной. Отец с Чарли погрузили ее на самодельные салазки и волоком протащили четыре мили по дороге до самого участка. Чарли очистил печь от ржавчины, а отец сделал из листа жести и двух канистр новую дымовую трубу. Их сосед, вызвавшийся помогать, приволок откуда-то несколько битых огнеупорных кирпичей.

Отец с Чарли — время от времени им помогали и другие обитатели трущоб, цветные и черные — залили четырехгаллонные жестянки бетоном и дали ему схватиться. А тогда расположили их по углам квадрата, и на них настелили пол кухни и спальни. Некоторые доски для настила оказались слишком коротки, и их пришлось наращивать, сколачивали внахлестку, и пока не привыкли, на полу потом долго спотыкались. Возвели стены — мозаику из старого оцинкованного железа и расплющенных жестянок из-под бензина, прибитых и прикрученных к подпоркам, где гвоздем, где проволокой, с квадратным отверстием, оставленным под окно в спальне. Отец выпросил кухонную дверь у компании, занимавшейся неподалеку сносом домов, и ухитрился даже заодно заполучить дверную раму для спальни, вместе с несколькими наличниками.

Как только кухня была готова, они и перебрались, вместе с плитой, конечно, которую водрузили на добытые соседом огнеупорные кирпичи. И уже потом заканчивали другую комнату.

Пришла зима, бетонные опоры неровно осели в расквашенном грунте, и дом скособочился. А когда закончили спальню, стало еще хуже, казалось, две половины вот-вот отвалятся друг от друга. Но папаша

Паулс сколачивал их, обивал, скручивал проволокой и неустанно молил бога, чтобы его постройка уцелела.

Крыша была приколочена гвоздями, а для большей прочности они придавили ее тяжелыми булыжниками. В самом конце отец даже смастерил маленький навес над кухонной дверью, которая была единственным входом в дом, а железнодорожная шпала пошла на ступеньку. В конечном счете, как их дом ни кряхтел и ни скрипел, как ни вздыхал, словно мученик на кресте, все же устоял перед лицом непогоды, а потом и вовсе прирос к земле с упорством древних развалин.

Когда Рональд и Чарли подросли и в хижине стало тесно, к кухне пристроили еще одну комнату, и тогда все сооружение приобрело вид настоящего карточного домика — дунь, и развалится. Крылечко перед дверью в кухню незаметно как-то само собой исчезло.

И теперь, ступив за порог, Чарли, громадный, в желтом брезентовом дождевике, сразу почувствовал под ногами раскисшую хлюпающую грязь. В воздухе еще висела мокрая дымка, но уже не моросило.

Он повернул голову и крикнул в кухню:

— Дождь перестал, ма.

Небо над головой все больше светлело, и вокруг вырисовывались, появляясь из темноты, знакомые предметы: чахлое тутовое деревцо, и колья покосившейся изгороди вокруг дворика, и лужа посредине, и жидкая, поблескивающая грязь. Дальше, среди редких стволов фиговых деревьев, жались, припадая к побуревшему от влаги песку, другие лачуги. Там и сям, как глаза призраков на кладбище, мерцали огоньки. Тонким воем залилась собака, и в свете наступающего дня ей ответило хоровое крещендо хриплого лая.

Чарли пошел вокруг дома, с трудом вытягивая ноги из грязи и оставляя за собой глубокие следы, тотчас наполнявшиеся бурой водой, вдоль мокрой покосившейся стены из кусков жести, вкривь и вкось пришитых планками, и завернул на кривую, потонувшую в грязи улочку между двумя беспорядочными рядами ободранных лачуг. Одни сбились в кучу, будто искали друг у друга спасения от холода, а другие держались в стороне, бедные, но гордые на своих индивидуальных болотах.

По слякотной улочке уже двигались люди, шлепая по вязкой грязи и спотыкаясь, вобрав голову в плечи под серой угрозой, нависшей с неба. Они брели в сторону пригородного шоссе, где уже ждали автобусы, чтобы везти их до города или заводских окраин.

Мужчина и девушка пробирались мимо дома Паулсов, старательно обходя рытвины и лужи. Девушка была в высоких резиновых сапогах. Мокрые сапоги блестели.

Мужчина помахал ему намокшим пакетом с завтраком.

— Гей, Чарли, привет, старина. Дрянь погодка, а?

— Да,— отозвался Чарли через изгородь.— Того и гляди, снова хлынет, сволочь.

— Доброе утро, Чарли,— окликнула девушка из-под капюшона. Она куталась в старое шерстяное пальто, уже влажное от промозглого утреннего тумана.

— Привет, Марджи.

Они захлюпали дальше по слякоти, а Чарли вернулся под стену лачуги. Здесь крыша опускалась, он мог дотянуться до нее руками. Бетонный устой, на который упиралась балка пола, ушел вниз в мягкую почву, и между ним и повисшим углом дома зияла пустота. Чарли снова обошел вокруг лачуги, вернулся во двор, где у пустого курятника валялись старые козлы для пилки дров.

Здесь, на задах, стояла еще одна лачуга — большой контейнер-клеть для перевозки легковых автомобилей, установленный в несколь-

ких дюймах над землей на деревянных колодках. Чарли и муж Каролины Альфред купили и привезли его на грузовике старого Янни Исаакса из самого города. Они выломали несколько планок, получился вход, эти же планки пошли на дверь. Она не очень плотно закрывалась, и чтобы не было сквозняка, на ночь ее завешивали изнутри старыми мешками. Крышу они покрыли толем. Чарли достал немного краски, и Альфред помалярничал, как умел. Правда, на весь контейнер краски не хватило, и осталась незакрашенной часть слова «Детройт».

Чарли перетащил козлы к задней стене, оттуда было легко забраться на крышу дома Паулсов. Он придвинул их вплотную, поставил ногу на перекладину, пробуя, выдержит ли она его вес. Затем, убедившись, что выдержит, рывком оттолкнулся от земли, ухватившись руками за край крыши, подтянулся, неловкий в своем желтом балахоне, перекинул тело на кровлю дома, и все это быстро, чтобы под его весом не успела покоситься хлипкая лачуга.

Была минута, когда казалось, что крыша вот-вот провалится. «О господи,— в отчаянье подумал он,— сейчас вся эта штука рухнет».

Но она выдержала, со скрипом, только прогнувшись под ним. И тогда он двинулся дальше со всей осторожностью четвероногого, в желтом дождевике, под мохнато-серым небом, прогибающимся от обременившей его влаги. Чарли рассматривал проржавевшие остатки того, что было раньше их кровлей. Железо искрошилось, отслоилось кусками ржавчины и в одном месте отошло во всю длину листа. Он прополз туда, с ужасом ощущая, как под его весом трещит прогнившая крыша, и подумал: «Вот черт, тут нужен целый кусок железа».

Потом он так же слез с крыши, чувствуя, как его жилище дрожит и сотрясается, будто в лихорадке, и спрыгнул в раздавшуюся под ним жирную грязь. Из-за угла выглянула мать.

Чарли сказал:

— Пойду схожу к старине Мостерту, посмотрю, не найдется ли у него какого-нибудь хлама на крышу.

К крыше над головой он относился серьезно.

Он еще постоял у ржавой рыжей стены их дома, и, когда резкий порыв ветра зашуршал по желтому плащу, подумал — только бы снова не нагнало дождя.

ГЛАВА VI

Вряд ли это можно было назвать улицей, даже переулком; это была просто изъезженная, разбитая проселочная колея, петляющая как попало вкривь и вкось по целому лесу лачуг, хижин, будок и хибар; лабиринт щелей между лоскутной мозаикой дворов; корчащееся, топкое поле сражения, затянутое нерасторжимым переплетением ржавой колючей проволоки, искореженного железа, завалившегося штакетника, палок, прутьев, кольев, бесчисленных обрывков и обрезков старого хлама, с краями и выступами, острыми, как акульи зубы,— всего того, что пошло на ограды вокруг сотен заболоченных клочков земли.

По одной стороне поселка, отделяя его настоящим крепостным валом от собственно предместья, бугрилась хребтом вымершего чудовища городская свалка, и резкий сырой ветер трепал его чешую из обрывков истлевшей бумаги, стружек, кухонных отбросов, консервных банок и всякой не поддающейся описанию гнили. А сверху на него взирало тоскливо-серое небо.

Пробираясь этим вязким лабиринтом, Чарли украдкой поглядывал вокруг, как лиса, опасающаяся ловушки. Время от времени он поднимал руку, приветствуя кого-нибудь за забором. В развалинах вокруг него шевелилась жизнь: глухо шмякал топор по сырому дереву, визгливый голос распекал непослушное чадо. Отчаянно полоскалось на ветру мок-

рое белье, будто выцветшие флаги, оставшиеся после какого-то празднества; депутация дворняжек разнюхивала за хижиной какую-то таинственную приманку. И над всем этим висел плотный тяжелый запах плесени, прелой мешковины, дождя, стряпни, курятников и шатких будок — отхожих мест, накренившихся над лужами омерзительной жидкости, совсем, как пьяные над собственной блевотиной.

Кончилась обвисшая проволочная изгородь. Выйдя на пустырь, размытый и перепаханный дождем и усеянный грязными клочками газет, Чарли услышал свое имя, оглянулся и увидел у старой коновязи компанию парней.

Он сразу повернул к ним и зашагал неторопливо, вразвалку, и их разговор, стихая по мере его приближения, иссяк, как вода в дырявой бадье. В нем шевельнулось любопытство и подозрение, но он все-таки улыбнулся, показав желтые квадратные зубы, блеснувшие в щетине вокруг небритого рта. Их стояло пятеро, целая коллекция огородных пугал — чучела, набитые трухой нищеты, наряженные в неописуемую рвань, бывшую когда-то куртками, штанами и головными уборами; двое босиком, с крепкими заскорузлыми ступнями, искавшими тепла в жидком месиве, люди с лицами без возраста, черные потухшие головешки.

— Привет всей компании. Я слышал, кто-то упомянул мое имя?

Четверо с настороженными ухмылками обернулись к пятому. Пятый стоял по ту сторону коновязи и оглядывал Чарли Паулса недобрым взглядом. Несмотря на холод, он был без пиджака.

— И не думал о тебе говорить, Чарли,— сказал он. Синяя сырая рубаха плотно прилипала к его мускулистым плечам. Это был крепкий, широкий в кости парень, но над ремнем у него уже нависало брюшко; алкоголь разъедал его изнутри.

— Тогда все в порядке,— сказал Чарли.— Я просто спрашиваю, только и всего.— Он поскреб щетину на подбородке.— Ну, а как вы, ребята, в порядке?

— Да, Чарли, конечно да,— промычали четверо. Они смущенно переминались с ноги на ногу и поглядывали на толстого крепыша.

— Ладно, если уж тебе так хочется знать,— проговорил тот вдруг, расхрабрившись, и в голосе его прозвучало презрение,— мы говорили о твоем брате. Об этом сопляке Ронни.

Остальные забубнили хором, открещиваясь:

— Эй, Роман, старик, никто не говорил...

— Мы ничего не говорили.

— Это ты зря, Роман, слышишь? Ничего мы такого не говорили, это точно.— И они захлюпали по грязи, отодвигаясь подальше от греха и оставляя Романа одного у коновязи.

— Ну, а чего вы тогда всполошились? — спросил Чарли, переводя взгляд с одного на другого.— В чем дело, а? — И Роману: — Ну и что Ронни?

— Ничего,— сказал Роман.— Просто ты ему брат. А я просто говорю, пусть этот Ронни лучше не пристает к моей бабе. Понятно?

— К какой бабе? — спросил Чарли.— Ты, между прочим, мог бы сказать это Ронни сам. Верно?

— О'кэй. Но, может быть, ты все-таки передашь ему. Скажи, пусть он лучше держится подальше от Сюзи.— Роман смотрел на Чарли с вызовом.

Чарли покачал головой и хмыкнул:

— Из-за вашей... беспокоиться. И не подумаю.

Черный соседский кобель подлетел к ним, повертелся вокруг столбов коновязи, оставил на каждом отметину и помчался дальше. Чарли посмотрел ему вслед.

— Мое дело предупредить,— сказал Роман.

Чарли повернулся к Роману, громоздкий, неуклюжий в своем желтом брезенте.

— Эй, парень,— сказал он.— Ты соображаешь, что говоришь? «Предупредить». Какие там еще предупреждения? Насчет чего это ты предупреждаешь?

— Насчет Сюзи. Это моя девчонка,— сказал Роман. На Чарли смотрело твердое, изрытое оспой лицо, похожее на глыбу выветренного песчаника.— Я только предупреждаю тебя, что этот сопляк сам нарывается на неприятность.

— Слушай, ты,— сказал Чарли. В нем закипало раздражение.— Никаких предупреждений я передавать не буду. И тебя предупреждаю: оставь Ронни. Понял? — Он сказал это спокойно и подумал: «Этот тип ищет драки, и если он начнет задираться, я должен успеть снять дождевик».

— Это ты мне грозишь? Думаешь, я тебя боюсь? — сказал Роман, распаляясь.

— А, иди ты...— Чарли решил прекратить разговор. Он повернулся, чтобы уйти, но Роман обежал коновязь и бросился за ним с криком:

— Нет, погоди! Ты что, струсил?

Чарли остановился вполоборота к Роману и посмотрел на него поверх топорщившегося на плече дождевика. Приятели Романа, хлюпая по грязи, подвинулись поближе и не спускали с них двоих немигающих, вороватых и по-вороньи настороженных глаз. Каждый понимал, что Роман полезет драться. Кобель, жаждущий загрызть соперника из-за суки.

— Ага, друг, смыться думаешь? — наседал Роман.

Чарли сказал, поворачиваясь к нему лицом:

— Кто смывается? Что ты сказал?

— Ты мне грозил.— Роман знал, что на него смотрят. Над калитками, над заборами вокруг пустыря стали показываться физиономии. Люди, как собаки помойку, пронюхали близкую драку.

— Ну и что дальше? — поинтересовался Чарли.— Захотел и пригрозил.

— Ты и твой братец,— злобно ухмыляясь, сказал Роман. Он не хотел уклоняться от первоначальной темы.— Вы считаете, что можете просто взять и увести у человека бабу?

— Ты что, парень, в уме? — сказал ему Чарли.— Ведь она же тебе не жена вроде? У тебя есть своя жена. А вообще иди и объясняйся с Ронни насчет ваших девок. Не со мной.

— Ах, теперь ты прицепился к моей жене? — взвился Роман.— Лучше прикуси язык, ублюдок.

Как агрессивная держава, ожидающая только повода, чтобы начать войну, Роман решил, что теперь разговоры можно кончить, и двинулся на Чарли — голова втянута в плечи, руки в локтях согнуты и прижаты к груди, кулаки стиснуты.

— Ну, сейчас я тебя разделаю, приятель. А потом и до братца твоего очередь дойдет.

Чарли сказал:

— Оставь его в покое, понятно? И вообще полегче, как бы тебя самого не разделали.— Он отступил и, не сводя глаз с Романа, расстегнул крючки на плаще.

Зрители вокруг возбужденно заорали:

— Воды! Разливать их! — А женский голос с другой стороны пустыря крикнул:

— Да вы что, с ума сошли, драться? Хулиганье!

Чарли швырнул дождевик одному из зрителей.

Роман больше не стал медлить. Пританцовывая, он ринулся вперед, сделал ложный выпад левой рукой и выбросил вперед сжатую в кулак правую. Чарли подставил локоть, принял удар и резко отшвырнул его руку прочь. Он увернулся и от колена Романа, норовившего угодить ему в пах, а сам лихорадочно вспоминал приемы бокса, которым его когда-то учили в школе при миссионерском клубе.

Он с размаху ударил Романа в живот и почувствовал, как его кулак ушел во что-то мягкое, как тесто. Они скользили по грязи, пытаясь найти под ногами точку опоры. Роман дрался, как все хулиганы, без правил, полагаясь на грубую силу и недозволенные приемы. У Чарли перед глазами мелькал его круглый череп, твердый, как пушечное ядро, тупо скошенные плечи с мягкими подушками колыхавшегося мяса на руках от локтей и выше. Наконец Чарли поймал локтями и зажал обе руки Романа и тут же отвел в сторону лицо, как раз вовремя, потому что тот рывком головы попытался таранить его в подбородок. А вокруг них вопили, стонали и приплясывали от возбуждения многочисленные зрители.

Чарли отпустил его, отступил и нанес ему сбоку сильный удар по почкам, еще один в обвисший жирный живот и снова отпрыгнул назад. Грязь засасывала ботинки, не давала оторвать ноги от земли.

Роман затряс головой, рот вытянулся розовой буквой «о», обрисованной черными губами, судорожно хватая воздух. Он выругался, топчась в грязи, затем рванулся вперед через размешанный в жижу пятачок, отделявший их друг от друга, по-бычьи нацеливаясь головой в Чарли. Тот опять попытался ударить в живот, промахнулся и, прежде чем успел развернуться, чуть не полетел навзничь от сокрушительного удара, которого никак не ожидал.

Он замахал руками, чтобы сохранить равновесие, но все-таки не удержался и упал. Хорошо еще, что успел вытянуть руку, а то угодил бы лицом в грязь. Он упал на бедро, ладонью уперся в землю и снова еле-еле успел отклонить голову: нога в тяжелом ботинке метила ему в челюсть. Чарли поймал ее и, рывком вскочив на ноги, опрокинул Романа наземь. Толстяк плюхнулся во всю длину, подняв грязные брызги, и долго не мог встать, лягаясь и проклиная весь свет в неистовой ярости.

Чарли отошел на шаг в сторону, тяжело дыша, злой на склизкую грязь под ногами, и смотрел, как поднимается Роман. И снова они, как терьеры, описывали круги один вокруг другого. Чарли сделал ложный выпад и тут же двумя, один за другим, короткими ударами в живот заставил Романа раскрыться. И успел нанести ему тяжелый удар, прежде чем тот, подскочив, обхватил его руками. Черная, коротко остриженная голова дернулась, метя ему в лицо, но он отклонился и почувствовал только, как округлое темя, твердое, как автомобильная покрышка, мазануло по скуле так, что от боли на глазах выступили слезы. Минуту он почти ничего не видел.

И тут внезапно налетел дождь. Он выплеснулся на пустырь, занялся, помедлил, хлестнул еще и понесся дальше. Лужи сразу переполнились и потекли через край маленькими потопами. Плоское небо стало защитно-серым и грозным.

Роман, задыхаясь, прорычал:

— Стой, погоди, парень... бой не кончен.

Он хватал ртом воздух и не находил его, будто заживо замурованный в могиле. Табак и алкоголь превратили его в задыхающуюся тушу. Он снова пошел на приступ, оскользаясь по коричневому месиву. Чарли встретил его градом мелких стремительных, точных ударов. Пора было кончать эту драку. Удар под дых — заросшая щетиной рожа Романа

хлебнула воздух. Роман бросился на него, но Чарли увернулся, выбрал момент и ударил. Тот, казалось, совсем выдохся. Он дышал ртом, у него помутнели глаза. Он сделал вид, что силы оставляют его, затряс головой, бессильно уронил руки. Чарли двинулся на него, но тут же сделал ложный выпад назад, когда Роман, рассчитывая, что ему удалось обмануть противника беспомощной позой, вдруг ожил и всем телом рванулся вперед. Он промахнулся и, потеряв равновесие, закачался. Тут Чарли и нанес ему сильный короткий и стремительный удар снизу в подбородок, от которого заныли суставы пальцев. Роман хрюкнул, громко выдохнул. Он почувствовал, будто у него, как пустой орех, треснула и рассыпалась голова. Хор болельщиков на пустыре куда-то отдалился. Затем силы и вправду оставили его разом, будто свет погас, и он неуклюже опустился в грязь, плюхнув щекой прямо в лужу.

Зрители встретили победу истошным воем. Они бесновались, никто не стоял на месте. Чарли повернулся, тяжело дыша, вытирая со лба пот, и поискал глазами, кому он дал подержать свой дождевик. В двух шагах от него уже боксировал с воображаемым противником мальчишка в рваной рубахе и штанах выше щиколоток. «Вот так, а? — радостно тараторил он, посылая в воздух удары.— Раз, два, раз, два. Правда? Правда, вот так, а?»

Чарли вытер грязь со своих джинсов.

— Скажите ему, пусть оставит моего брата в покое. Понятно? Пусть не трогает нас.

Но на него никто не посмотрел — все столпились над поверженным Романом.

ГЛАВА VII

Влажный ветерок дул с ровной силой. Он подхватывал запахи поселка — устоявшуюся плесень и зловоние выгребных ям, аромат плодородной земли и опавших листьев — и нес их дальше. Небо над головой возводило свои крепости из гранитно-серых туч и готовилось обрушиться новым дождем.

По раскисшей дорожке между кривыми рядами лачуг двигалась ватага ребятишек: они толкались, и скакали, и носились взад-вперед, выделывая головокружительные пируэты в этом танце безнадзорной уличной жизни, вопили, хохотали. Смеялись их серые лица маленьких привидений, смеялись их обесцвеченные нищетой глаза. Руки, похожие на свободно сочлененные трубки-конструкции, покачивались, балансировали, колотили напоенный сыростью воздух, а ноги чавкали по черной грязи, будто никак не могли насытиться этим омерзительным месивом. Вокруг ребятишек скакала и в унисон их визгу пронзительно заливалась собачья свора.

В центре этой компании мальчишек и дворняжек брела, раскачиваясь из стороны в сторону, оглашая воздух пьяным хохотом, женщина, жалкая пародия на женский род,— словно дешевую куклу-манекен, провалявшуюся бог весть сколько времени в сточной канаве, вытащили, набили ветошью, обрядили в балахон из половой тряпки, вставили испорченный механизм, завели и пустили гулять по улице.

Дети смеялись и передразнивали ее, дергали за изорванную, висевшую клочьями одежду, бросали в нее грязью и удирали с проворством обезьян, когда она пьяно взмахивала руками, пытаясь схватить их.

— Пьяная Рия. Пьяная Рия,— распевали они вокруг нее.

— Ай-я-я, пьяная Рия. Пьяная Рия.

Страшная, как ведьма, она шла, пошатываясь, и поминутно спотыкалась, плюхалась в глину и поднималась под градом комков грязи, ругаясь, хохоча, визжа, плача, делала нетвердой походкой несколько шагов и снова падала.

— Пьяная Рия, пьяная Рия.

В дверях лачуг показывались взрослые, детям кричали, чтобы они немедленно уходили домой, бранили их за непослушание, а затем и сами присоединялись к хохоту над пьяными ужимками женщины.

— О боже, Рия опять за свое.

— Ай-я-я, пьяная Рия.

— Ну и как, Рия? Далеко ты собралась?

— Перестаньте, замолчите, невоспитанные дети. Ха-ха-ха.

— Пьяная Рия. Пьяная Рия.

— Ну не позор, а? Нет, вы только взгляните на нее. Ха-ха-ха.

— Пьяная Рия. Пьяная Рия. Пьяная Рия.

Хохоча и насмехаясь с беспечной детской жестокостью, толпа мальчишек двигалась вниз по улочке. Временами они бросались врассыпную, когда пьяная женщина замахивалась на них, осыпая их ругательствами, или спотыкалась о подставленную ногу. Растрепанные волосы висели клочьями мокрой и грязной соломы, от ее платья несло спиртом и блевотиной, она сквернословила, и плакала, и смеялась над собой голосом, похожим на предсмертный хрип.

ГЛАВА VIII

Чарли Паулс свернул на тропинку к шоссе. У крохотной лачужки, просто будки, он увидел женщину. Она стояла, прислонившись к кривому в сучках столбу, на котором висела дверца калитки. От столба начиналась изгородь из обрывков проволоки, кое-как скрученных вместе и натянутых на вбитые в землю ободранные колья. Проволока тянулась поверх кольев, а так как они все были разной высоты, она прыгала то вверх, то вниз какой-то чудовищной диаграммой. Крохотный участок порос сорняками, грязно-зелеными, высокими. Ворчливо поклевывая землю, среди них бродили мокрые рябые куры. Лачужка была низкая, ниже соседских хижин, с крышей из таких же, как и везде вокруг, расплющенных жестянок и обрезков ржавого кровельного железа. Чарли увидел женщину сразу же, как только свернул на тропинку, и направился к ней.

На брюках и рубахе у него еще осталась грязь, и он на ходу, осторожно перебираясь через залитые бурой водой колеи, отряхнул джинсы, потер в руках те места, где грязь налипла лепешками. Хоровод дворовых псов самых невероятных расцветок настороженно кружил вокруг суки, та огрызалась и рычала на всех по очереди. Чарли шел и думал: «Чертов Ронни, он еще нарвется на крупную неприятность, если не возьмется за ум». Чарли перекинул желтый дождевик через руку, а свободной рукой счищал с себя грязь. Он слегка дрожал от холода и еще непрошедшего возбуждения после драки. Но когда он подошел к женщине, он уже улыбался, довольный встречей.

— Где это ты разгуливал, Чарли? — спросила она его от калитки.— Посмотри на себя. Ты весь в грязи. Ты что, поскользнулся?

— Доброе утро, Фрида. Как дела? — сказал Чарли, продолжая счищать с себя грязь.— Да вот, собрался в этот гараж, вон туда, к Мостерту.— Он очистил одежду от комьев грязи, но пятна остались.— Нет, не упал. Так, ничего.

Фрида сказала, чуть заметно улыбнувшись ему:

— Ты стал редким гостем? А?

И он, как можно безразличней, ответил:

— Занят был. Ну, а у тебя как, Фрида?

— Так, помаленьку,— сказала она и добавила: — Зашел бы уж и отмыл грязь как следует.

Чарли сказал:

— А, ничего, сойдет.

Он улыбнулся ей. «Красивая женщина»,— подумал он. Она была полная, но приятной полнотой, и под замызганным застиранным халатом угадывалась высокая грудь и крутые бедра. На груди халат был засален. У Фриды были густые брови и широкое, доброе лицо с полными, мягкими губами, а жесткие черные волосы она затягивала на затылке лоскутком.

Потом она заметила опухшую ссадину у него на скуле.

— Да ты посмотри на свое лицо! Ты что, подрался с кем-нибудь? — И тут же участливо спросила: — Ты и вправду подрался? Идем, заходи. Я тебе дам мазь, смажешь.

— Да будет тебе, ничего страшного,— сказал Чарли, но вошел за ней в покосившуюся калитку и, взглянув на крепкие ноги Фриды и линии ее сильных бедер, вырисовывавшихся под халатом, с удовольствием подумал о тех временах, когда он оставался в этой лачуге на всю ночь. Муж у нее погиб, его сшиб грузовик два года назад, и у Чарли было подозрение, что она теперь всерьез рассчитывает, что он женится на ней.

Двое оборвышей, тщательно жевавших на пороге толстые ломти хлеба, посторонились, давая им пройти.

Женщина сказала: «Идите играйте, дети»,— и они поднялись, медленно дожевывая, и исчезли в траве вместе с курами.

Чарли вошел вслед за женщиной, пригнув голову, чтобы не задеть за притолоку. Он спросил:

— Ты что, сегодня не работаешь, Фрида? — И, переступив порог, осторожно выпрямился.

— Ты ведь знаешь, я работаю три дня в неделю,— сказала она.— Сейчас принесу воды. Подожди немного. Посиди пока.

Чарли сказал:

— Я тут тебе напачкаю, если сяду. Я постою. Надо бы сначала очистить эту грязь.

Комната была низкая, тесная, как и в большинстве остальных горбатых лачуг. Неровный земляной пол был покрыт дешевым линолеумом, который давно протерся, особенно на буграх. Занавеска, свисавшая с протянутой между стенами веревки, делила комнату на две половины. В одном углу к стене прислонился дешевенький кухонный шкаф, а за ним столик, заставленный посудой. Там же стоял примус и большой металлический бидон для воды, которую приходилось носить от коммунальной колонки.

Между Чарли и занавеской стоял колченогий овальный стол, под ножку была подложена чурка, а на столе красовалась до ужаса безобразная гипсовая ваза, краска потрескалась, по ней пошли грязно-белые царапины, будто струпья на теле чесоточного. Старый, шаткий деревянный диванчик у стены напротив кухонного шкафа довершал обстановку комнаты. А над ним, с железного костыля, вбитого в стену, свисала запыленная рамка с грубо раскрашенной фотографией, с которой смотрела Фрида в подвенечной фате и мужчина с озадаченным нелепо желтым лицом, точками усов, будто ему под нос насыпали щепоть черного перца, и в полосатом воротничке — покойный ее муж. В уголок рамки был вставлен любительский снимок: Фрида, уже постарше, улыбающаяся, шла по улице с хозяйственной сумкой в руке. В комнате тепло пахло кухней, бумагой и мылом.

Чарли стоял у стола и смотрел мимо старомодной лампы, свисавшей с картонного потолка.

Он сказал:

— Не стоит тратить воду зря, девочка.

Желтый дождевик так и оставался висеть у него на руке, а сзади, за дверью, в комнату заглядывало небо, провисшее от тяжести дождевых туч.

Она принесла железный тазик с водой, которую нацедила из бидона на столе, и он снова уставился на ее свободно покачивающиеся бедра и колышащуюся под халатом полную грудь и улыбнулся ей.

— Я вправду соскучился по тебе, Фрида,— сказал он.

Она поставила тазик на стол и сказала:

— Поди ты. Поэтому никогда и не зайдешь?

Она стояла рядом, одной рукой захватывала те места на рубахе Чарли, где еще оставались пятна от грязи, и, натянув материю, смывала их, а он вдыхал запах ее тела. От нее веяло теплом и чуть-чуть потом, и он чувствовал у себя на шее ее горячее дыхание. Фрида отжала в миску намоченные места на рубахе и сказала:

— Чего ты ввязался в драку? Нашел удовольствие — драться на улице, вот уж...

Он посмотрел на нее и сказал как будто даже с гордостью:

— Они цеплялись к моему брату. Должен же человек заступиться за собственного брата или нет?

Она отмыла грязь с рубахи и нагнулась к его джинсам, и, опустив глаза, он увидел две гладкие коричневые в голубых жилках округлости ее груди. Он положил ей руку на спину, обнял за плечи, но она, выпрямившись, отодвинулась от него. Глаза у нее заблестели. Она сказала совсем тихо:

— Ну, ну, не будь таким горячим, уж больно ты скор на руку.

Он не чурался такого рода тем и ответил, улыбаясь:

— О, Фрида, ты, бывало, сама мне показывала, где что лежит.

— Заткнись,— сказала она, и под ее темной кожей разлился румянец.— Ты воображаешь, что можешь ходить сюда, когда тебе вздумается, а потом носу не казать, развлекаться где-то?

Она пошла к шкафу, а он спросил:

— Завела себе нового дружка? А, Фрида? — в его голосе прозвучало беспокойство.

— За кого ты меня принимаешь? — бросила она через плечо рассерженно. Она отыскала тюбик с вазелином и отвинтила колпачок.

Чарли сказал примиряюще:

— Ну, ладно, деточка, ладно. Я ничего такого не хотел сказать, чего ты сердишься.

На улице вдруг потемнело, и хлынул дождь. Они слышали, как он зачастил по крыше и с шумом припустился по дорожкам вокруг дома. Дети вбежали в дверь и смотрели на дождь с порога, зажав в руках недоеденные корки. Фрида озорно улыбнулась Чарли, зная, что присутствие детей разрушило все планы, которые у него могли быть на ее счет.

В лачуге было тепло и сухо. Стены изнутри были обиты листами картона от бакалейной тары и обклеены полосками бумаги с типографской свалки, так что, сидя в тепле от примуса, можно было сколько угодно читать обрывки реклам и разглядывать цветные этикетки.

— Дай-ка мне,— сказал Чарли, протягивая руку за тюбиком.— Я сам. Что я, маленький? — Он взглянул на нее, нахмурившись, и потом кивнул на завесу дождя за дверью.— Мне еще предстоит добираться до этого гаража. Надо подыскать что-нибудь на заплатки для крыши.— Он поморщился от боли, когда стал мазать ссадину на лице.

Фрида сказала:

— Я хотела попросить тебя починить примус. Он плохо горит. Горит, горит — и погаснет.

Чарли пошел к столику, взял примус, потряс у себя над ухом. Одна

ножка давно отпаялась, и, чтобы примус не падал, Фрида что-нибудь подкладывала под низ.

— Наверно, засорился,— сказал он.— Загляну в следующий раз, посмотрю.

Он поставил его — примус накренился.

Фрида сказала:

— Подожди немножко, пока дождь перестанет. Присядь, ты теперь чистый.

Он ухмыльнулся.

— Ты действительно хочешь, чтобы старина Чарли присел?

Она сложила на груди свои полные, гладкие руки и сказала певучим голосом, кокетливо отводя глаза:

— Поступай, как знаешь.

Он снова ухмыльнулся и сел на диванчик, а она, вдруг что-то вспомнив, повернулась к нему спиной, открыла кухонный шкаф и достала с полки плоскую флягу. Она посмотрела ее на свет, и Чарли увидел, что бутылка почти наполовину полная.

Фрида сказала:

— Вот. Смотри, что я даже приберегла для тебя. Все думала, зайдет как-нибудь. Вот и стоит здесь все время, тебя ждет.— Она взяла с полки толстый стакан.

Чарли расплылся в улыбке.

— О-го-го, Фрида, деточка, козочка. Вот это ты здорово придумала.

— Я уж давно принесла от миссис, нашла на столе у хозяина. У них много, они и не хватятся.

Она поставила бутылку и стакан на стол.

— Садись рядышком, милая,— сказал Чарли.

Но она только улыбнулась и, отойдя к двери, встала рядом с детьми, наблюдая, как хлещет дождь.

— Похоже, теперь зарядит надолго,— сказала она.

— Да нет, он переменный, пойдет-пойдет и перестанет,— авторитетно заявил Чарли, отвинчивая пробку.— Тем дождям еще рано.

Она повернулась, прислонилась к дверному косяку и, скрестив руки на груди, смотрела на Чарли.

— Бывает, что он хлещет и две недели подряд.

Чарли налил себе немного в стакан.

— Ничто так не согревает кровь, как глоток коньяку, а? — Он игриво подмигнул ей.— Налить тебе на донышко?

— Ты же знаешь, что я не пью.

— Да ладно, крошка, ну давай по одной. А?

— Не валяй дурака. Пей себе.

Он улыбнулся и оглядел ее. Она вскинула голову и отвернулась и стала смотреть на серую стену дождя.

— Будьте здоровы,— и он залпом выпил. Коньяк обжег его, согрел желудок, и он почувствовал, как по всему телу разливается приятное тепло. Он достал сигарету и закурил. Налил себе еще и сказал с искренней благодарностью: — Очень мило с твоей стороны, Фрида, поднести человеку стаканчик. Добрый коньяк держит ваш белый баас.

— Я думала, ты выпьешь еще. Когда заглянешь?

Он улыбнулся.

— Знаешь как условимся? Я вот оставлю немного в бутылке, а как приду в следующий раз, докончу.

Она насмешливо хмыкнула.

— Вот увидишь,— уверил ее Чарли.— Приду. И вообще мы станем теперь чаще видеться, Фрида.— Он поднял стакан и сказал: — Удачи, Фрида.

За дверью шумел и плескался дождь. Со вторым стаканом проснулось желание, и Чарли смотрел на женщину, счастливо улыбаясь и не подавляя в себе этого желания, распускавшегося внутри пышным цветом. Он стал вспоминать ночи, которые провел с ней за этой занавеской. Дети жались на пороге и смотрели на дождь, и он подумал: «Вот черт, надо же...» Но он испытывал к ней еще что-то, помимо желания, и это мешало ему.

Фрида отвернулась от двери.

— Не смейте выходить под дождь, слышите? — сказала она детям, и, когда она подошла ближе, Чарли порывисто подался к ней и схватил ее за руку.

— Фрида, Фрида,— засмеялся он, чувствуя легкое опьянение от двух выпитых стаканов. Другая рука сама потянулась к полной, округлой ягодице, но Фрида увернулась от него.

— Чарльз! — Она кивнула в сторону двери.— Дети.— Она потерла запястье, где остались следы от его железных пальцев.— Какой ты грубый.

Он стоял, а внутри его точил червь желания. Он сказал прерывистым голосом:

— Ну пойдем, слышишь.— И выругался.— Ну, пожалуйста.

— За кого ты меня принимаешь? За одну из своих потаскух?

— Моих потаскух? Каких это моих, девочка, козочка? Что ты говоришь?!— Он рассмеялся. Дети оглянулись и захихикали, подталкивая друг друга.

— Можно послать их за водой, или к бакалейщику, или... еще куда-нибудь,— шепнул он.

— Нет.— Голос у нее был твердый, и он подчинился, зная, что она не из таких и что раньше не просто так отдавалась ему.

Он улыбнулся ей и почувствовал, как грубое желание отпустило его и погасло, подобно сгоревшей спичке, оставив только легкий, приятный туман в голове.

Она стояла, касаясь бедром овального столика, и задумчиво чертила на тусклой поверхности какие-то знаки, и Чарли стал надевать свой желтый дождевик. Он пристально посмотрел на нее, перевел взгляд на безобразную, в трещинах гипсовую вазу для цветов и сказал:

— Значит, прибережешь для меня, что осталось в бутылке, да? — Он вдруг заметил, что дождь перестал.— Ну, ладно,— сказал он.— Поспешу-ка я лучше к старине Мостерту.

Он тихонько похлопал ее по плечу, просто так, по-дружески, и она поняла, не отвела его руку, а только чуть слышно сказала:

— Теперь не пропадешь на целую вечность?

Он сказал:

— Я мигом вернусь. Клянусь богом. Вот увидишь.

Они вместе дошли до двери, и он еще помялся, прежде чем нырнуть наружу, затем решился и уже из-за порога крикнул:

— Пока, Фрида,— и заспешил по затопленной дождем тропке.

Серое застывшее небо нависло, разбухшее от сырости, и все пространство между мокрыми лачугами отсвечивало целым архипелагом луж. Чарли торопился, он ощущал приятное тепло под желтым дождевиком и не обращал внимания на то, что вода просачивалась в башмаки, хлюпающие по жидкой трясине.

Фрида смотрела ему вслед, пока он не исчез. Тогда она вернулась в комнату, взяла бутылку с коньяком (там его оставалось еще на два пальца) и убрала в шкаф. Взяла миску с грязной водой, выплеснула воду за дверь и, прихватив стакан, отнесла все это на кухонный столик и поставила к грязной посуде.

Дети потянулись к двери, и она сказала им:

— Смотрите только не промокните.

Они стремглав бросились на улицу, а она принялась мыть посуду и неожиданно для самой себя вдруг пожалела, что, пока здесь сидел Чарли, шел дождь.

ГЛАВА IX

Шоссе разматывалось от города как полоса черной влажной изоляционной ленты, налипшей на местность, извиваясь в тех местах, где лента как бы отстала от сырой поверхности земли. Станция обслуживания и гараж стояли как раз за одним из таких извилистых поворотов, где лента дороги, выйдя из предместья, пробиралась сквозь рощу камедных деревьев, зеленых смоковниц и акаций.

Подобно одинокому блокгаузу на границе, она стояла на опушке темно-зеленого леса и казалась заброшенной, покинутой гарнизоном на самом краю вражеской территории. Конечно, Джордж Мостерт, владелец станции обслуживания и гаража, неотлучно находился здесь, однако его едва ли можно было считать за гарнизон, скорее он был последним солдатом, который вызвался либо получил приказ стоять в одиночку в заслоне. Засилие новых современных станций обслуживания, которых, что ни год, становилось все больше в городе и окрестностях, вконец подорвало его предприятие: поток машин на север проносился мимо него стороной, их баки были уже полны, и их баллоны подкачаны; а водители, направлявшиеся в город, тоже не обращали на него внимания — у них все было рассчитано до конца пути.

Так она и торчала здесь на излучине дороги грязно-белым пятном, подобно белому флагу, выкинутому давно капитулировавшей крепостью. Спереди площадку для обслуживания обегал полукружьем закапанный маслом въезд и шеренга рекламных щитов и стендов с целой батареей выставленных напоказ запыленных бутылок со смазочными материалами. Смотровая яма под подъемником была полна черной, как смоль, воды, а сам подъемник покрылся толстым слоем вековечной жирной грязи. Стены всего сооружения выглядели так, будто какой-то великан захватал их масляными пальцами.

Двор станции был невелик, его почти весь занимала груда старых покрышек в углу за крохотной стеклянной будочкой конторы, перед маленьким темным гаражом. Стекла конторы были такие грязные, что казались матовыми, а на них — целая коллекция дактилоскопических отпечатков, способная свести с ума любого детектива. Там и сям пестрели старые рекламы, предлагающие разные сорта бензина и смазок возможным клиентам и давно устаревшие новинки — их детям.

Длинную историю гибели можно было прочесть в царапинах, оставленных на стенах бамперами и крыльями машин, в высохших лужах масла, подобных лужам свернувшейся крови, вытекшей из убитого тела, в потрескавшихся, с отбитой эмалью табличках и на развевающихся полотнищах реклам — этих щитах и флагах, вывешенных по стенам в день поражения и краха последним вызовом обреченных.

Ибо Джордж Мостерт оставался на посту среди пестрых развалин своего дела; почему — никто не знал. Иногда вдруг случалась какая-то работа — последние судороги умирающего организма: накачать спустивший баллон, продуть бензопровод, сменить карбюратор. Или кто-нибудь из обитателей трущоб подкатит на своем дребезжащем драндулете, который надо клепать, свинчивать, сбивать, чтобы он еще кое-как передвигался, а иной раз, глядишь, кто-то купит галлона два бензину.

Джорджу Мостерту было за сорок. В свое время он был женат, но ходили слухи, будто жена терпела-терпела, глядя, как он покорно задрал лапки перед конкурентами, а потом не выдержала и сбежала с агентом

по продаже подержанных автомобилей. Правда, сам Джордж ни с кем на эту тему не разговаривал, так что слухи оставались только слухами. Но вынужденное одиночество сказалось в том, как он цеплялся за редких клиентов, в любой час готовый поговорить, потолковать, сделать небольшое одолжение. Оно отпечаталось в морщинках вокруг его совсем не выразительного рта, под вечно запачканными рыжеватыми усами, и в сероватых лужицах глаз по обе стороны унылого вислого носа. Одиночеством веяло от черных полумесяцев под его нестриженными ногтями, и от складок на морщинистой шее, и от давно нестиранного комбинезона, и длинных, нечесаных, поредевших и уже седеющих волос цвета запылившейся паркетной мастики. Оно сутулостью навалилось ему на плечи и кандалами повисло на ногах, которые он с трудом волочил по земле. Он слонялся по своей станции, совсем как бездомный пес, обнюхивающий знакомые места, или вглядывался вдаль через тусклые стекла конторы, все еще надеясь, что к нему на закапанную маслом, в разводах трещин площадку завернет какой-нибудь автомобиль, и он сможет выйти и не спеша потолковать с водителем.

Ночью Джордж Мостерт запирал станцию и отправлялся в комнатку над гаражом. Он сам себе готовил, продукты у бакалейщика он заказывал по телефону, а затем читал потрепанную книжку, роман с убийствами, или просто сидел у окна и провожал взглядом двенадцатиколесные громадины фургонов, громыхавшие мимо в темноте, и их задние огни подмигивали ему рубиново-красными глазами.

Из гаража он мог также смотреть поверх деревьев за дорогу, на рассыпавшиеся в беспорядке лачуги и хижины, разбросанные там и сям, будто на грязной мятой дерюге безо всякого общего замысла нашили как попало слинявшие лоскутья: странная страна, чужой народ, знакомый ему только через оборванных коричневых послов, которые заглядывают иногда попросить что-нибудь из лома или здороваются с ним, проходя мимо по каким-то своим, загадочным делам.

За их поселком была городская свалка под надежной охраной мух и стойкой химической защитой вони, и сразу же за свалкой — первые покосившиеся, нищие, с обвалившейся штукатуркой домики собственно предместья: линия однокомнатных домишек, похожих на мексиканские глинобитные хижины из ковбойских фильмов, ряды ветхих крылечек и шатких веранд, постепенно уступающих место красным крышам и кирпичным трубам, за ними — прямоугольник кинотеатра с испорченной неоновой рекламой, церковь со шпилем, высокая стена обувной фабрики.

Жизнь, пусть убогая, какая есть, но жизнь была в каких-нибудь двух шагах от Джорджа Мостерта, а он был заперт в стеклянной будке своей конторы, в своем одиночестве, в жалкой гордыне ложного расового превосходства, за рушащимися стенами своего мира и только поглядывал через дорогу мимо скучных бензоколонок, застывших, как незрячие часовые, расставленные на ничейной земле.

И когда он увидел Чарли Паулса, шагавшего к нему вверх по насыпи, его голову и плечи, поднимающиеся над бетонным горизонтом, Джордж Мостерт почувствовал даже какую-то радость. Вот идет человек, с кем можно перекинуться словечком, пусть, уныло подумал он, и не ровня ему, Мостерту. Он вышел из конторы с запыленными стеклами на заляпанную масляными пятнами площадку перед станцией обслуживания.

Чарли Паулс пересек дорогу, оставив за собой на бетоне грязную дорожку следов. Он еще чувствовал у себя внутри тепло и радость от двух выпитых стаканчиков. Он шел и думал: «Что ж, она неплохая женщина». Он обошел колонку и улыбнулся хозяину гаража.

— Доброе утро, мистер Джордж,— сказал он.

— Доброе утро,— ответил Джордж Мостерт. Он давно заприметил этого парня, случалось, перебрасывался с ним словом-другим и однажды позволил ему взять домой кое-какой железный хлам.— Как дела? — сдержанно добавил он.

Чарли огляделся по сторонам. Он сказал:

— Да так, помаленьку, мистер Джордж.— Потом посмотрел прямо в лицо Джорджу Мостерту и продолжал: — Послушайте, мистер Джордж, я вынужден снова просить вас об одолжении. Вы мне как-то дали жести залатать крышу. А теперь эта чертова крыша опять потекла. Просто заливает дождем лачугу, будь она неладна. Ну вот, я и подумал, уж вы-то точно выручите меня. В последний раз...

Джордж Мостерт уловил лесть и не дал ему кончить:

— За ломом пришел?

— Если у вас есть ненужный, мистер Мостерт.— Чарли знал, что за гаражом целая куча лома, но повел разговор так, будто просит Джорджа Мостерта о величайшей любезности, чтобы тот проникся сознанием собственного великодушия.

Джордж Мостерт вынул из кармана комбинезона грязный носовой платок, высморкался и, вытирая нос, сказал:

— Ну что ж, я думаю, что-нибудь найдется. Хотя все, что можно, ваш брат уже растащил. Остались части от автомобилей да всякий мусор.— И добавил:— Господи Иисусе, да ведь вся эта ваша... э-э-э... деревня выстроена из того, что вы унесли отсюда.

Чарли улыбнулся и развел руками.

— Черт побери,— сказал он,— им следовало бы сделать вас мэром, мистер Джордж.

Мостерт бросил на него быстрый взгляд и не смог сдержать вспыхнувшего вдруг в душе чувства гордости, от которого что-то затрепетало в груди. Он усмехнулся, снова вытер нос и, шаркая ногами, поплелся на зады, за гараж. Чарли пошел за ним.

Осмелев, Чарли сказал:

— Слушайте, мистер Джордж, вы все здесь один да один. Разве нет? Зашли бы как-нибудь, мы бы что-нибудь сообразили, правда...

— Что-нибудь сообразили?

— Ну, что-нибудь вроде вечеринки. Правда, мистер Джордж,— говорил Чарли, перешагивая через лужи вслед за ссутулившейся фигурой Мостерта.— Мигом организуем бутылочку-другую. Выпивка будет что надо.

Джордж Мостерт быстро ответил:

— Я не желаю неприятностей.

— А-а-а-а,— сказал Чарли.— Да какие там неприятности. Не бойтесь. Ничего не будет. Вы ведь не женаты, мистер Джордж?

— Нет.

Одинокая дождинка упала Чарли за шиворот. Он вытер шею и посмотрел на небо.

— Дождь собирается. Надо успеть починить крышу, пока не хлынет.— И тут же возвратился к прерванной теме.— Нет, правда. Выпьем, поболтаем, споем. Все имеют право повеселиться иногда, верно? — Он засмеялся и тряхнул головой.

Они обошли здание станции. Дальше был пустырь.

— Слушайте, мистер Джордж, и простите меня за то, что я сейчас скажу. Я знаю, о чем вы беспокоитесь. Но ведь мы с вами люди просвещенные, верно? Вот послушайте, у меня в Египте была бабенка, француженка, так ей вовсе дела не было до цвета кожи. Какой бы мужчина ни был — ей все равно. Для нее они были все на один лад.

Джордж Мостерт взглянул неодобрительно — ему неловко было слушать такое о белой женщине. Он нетерпеливо перебил:

— Ладно, ты бы лучше выбирал, за чем пришел.

— Спасибо, мистер Джордж.

Они стояли перед целой грудой искореженного металла. Будто сюда навезли и свалили железные останки с какого-то поля сражения: дикая мешанина из ржавых и негодных автомобильных двигателей, шасси, бамперов, каркасов, крыльев, радиаторов, рессор, осей, колесных дисков, кузовков, сорванных дверей, болтов и пружинных сидений лежала перед ними. Весь этот подобранный на дорогах металлолом громоздился здесь, во дворе, обрастая рыжей ржавчиной, покрываясь коростой пыли, тавота и маслянистой жижи.

Чарли бродил среди мертвого металла, служившего когда-то для передвижения по земле, а Джордж Мостерт подумал, просто так: «Совсем не плохо было бы и вправду повеселиться с ними. Никто бы не увидел. Только вот единственно, что там, кажется, чертовски грязно и противно. Боже правый, веселиться в самой гуще всей этой грязи». Одиночество пронзило его копьем, и он внутренне вздрогнул. Он тащился следом за Чарли, будто близость этого цветного могла возместить ему то, от чего он должен был отказаться.

— Слушайте, мистер Джордж,— сказал Чарли, расхаживая среди ржавого железа.— Слушайте, если здесь покопаться, вы спокойно могли бы собрать себе целый автомобиль.

— У меня есть автомобиль,— сказал Джордж Мостерт.— «Шевроле». А ты смыслишь в автомобилях?

Чарли присел на корточки и заглянул под остов двухместного кабриолета.

— В армии научился, разбираюсь в моторах. Я шофером служил.— Он внимательно оглядел двигатель снизу.— Вот здесь, я думаю, кое-какие части еще сгодятся.— Он встал и нежно похлопал по ржавому металлу. Потом вспомнил, зачем он сюда пришел, и стал копаться в железе, перебрасывая с места на место проржавевшие капоты и крыши кузовов. Джордж Мостерт ни на шаг не отходил от него.

Наконец Джордж Мостерт сдержанно заметил:

— Ты правда считаешь, что это ничего, если я загляну туда как-нибудь вечерком?

— Куда? — спросил Чарли, занятый своими мыслями и не оборачиваясь. Он разглядывал остатки переднего крыла и еще какие-то полосы жести и прикидывал, что из них можно выкроить.— Туда, к нам? Да в любое время, мистер Мостерт, когда душе угодно.

— Бери, не стесняйся,— сказал Джордж Мостерт.— А что, в самом деле, может быть, я и забегу. А? — И махнув на все рукой: — Я бы тоже мог пару бутылок прихватить.

Чарли перевернул ногой лист железа и улыбнулся.

— О'кэй, мистер Джордж. Договорились. Когда вы придете?

Джордж Мостерт совсем разошелся.

— В субботу вечером,— сказал он. И высморкался в свой грязный платок. «Насморк вроде начинается»,— подумал он.— В субботу вечером и приду. Ну как?

— Классно, мистер Джордж,— ответил Чарли.— У нас по субботам самое веселье.

Он отыскал кусок листового железа, который вроде как раз подходил ему для крыши, немного покореженный, кое-где проржавевший, но в общем еще вполне крепкий. Он тащил его через всю свалку в конец двора, а сзади за ним плелся Джордж Мостерт и сопел.

— Можешь взять это, бери...— Потом с растерянной улыбкой сказал:— Только ты скажи мне, куда приходить.

Чарли поставил тяжелый лист на мокрую землю и показал через дорогу:

— Вон там начинается тропка, она ведет до самых домов. Прямо по ней и идите. Видите, вон туда, мистер Джордж.— Он объяснял, куда идти, а тот слушал, следя за его рукой выцветшими, усталыми, в покрасневших веках глазами. Он чувствовал себя как человек, решившийся на отчаянно смелый поступок, как путешественник, впервые отважившийся проникнуть в неведомые области, куда еще не ступала нога человека. Сердце глухо стучало под замасленным комбинезоном, и он подумал: «Только бы совсем не простудиться. Надо будет в конторе сразу налить себе стаканчик крепкого». Ему не пришло в голову предложить стаканчик и Чарли.

Джордж Мостерт наблюдал, как фигура в желтом дождевике перешла через дорогу и скрылась за насыпью, оставив за собой одни мокрые отпечатки ног на бетоне. Тогда он повернулся и двинулся к застекленной конторе под навесом своей станции.

Он сел за крохотный письменный стол, заваленный пыльными бумагами, потрепанными, с завернувшимися уголками счетами, стопками сколотых квитанций, брошюрами с техническим описанием двигателей, каталогами. Недоеденный бутерброд, оставшийся от завтрака, лежал на блюде, размокая в лужице жидкого чая. Он порылся в тумбе стола, вытащил початую бутылку коньяку и налил себе в чайную чашку, даже не выплеснув остатки чая. Выпил торопливо, одним глотком, поперхнулся и почувствовал, как защипало глаза.

Мимо пронесся огромный голубой автомобиль, прошумев покрышками по бетону. Роскошная облицовка из нержавеющей стали тускло отсвечивала под серым-серым небом. Джордж Мостерт проводил его взглядом и усмехнулся с вновь обретенной удалью. Он вытащил из кармана носовой платок, отыскал на нем сухое место и, продолжая улыбаться, энергично высморкался.

ГЛАВА X

Чарли Паулс поставил лист железа, который он принес от Мостерта, у стены, а сам пошел на задний двор. Небо над головой совсем провисло от собственной неимоверной тяжести и вот-вот готово было обрушиться дождем. В дверях лачуги-контейнера стояла Каролина, сестра Чарли. Она робко улыбнулась ему и, осторожно переступая с ноги на ногу, сказала:

— Доброе утро, Чарли.

Он ответил ей улыбкой. Каролине исполнилось семнадцать лет. Она была замужем и носила сейчас первого ребенка. Нечесаные мелко вьющиеся волосы шапкой окружали ее полудетское, в коричневых пятнах беременности лицо с безответными, круглыми, как у телки, глазами. Хорошо развитая фигура, да еще и беременность делали Каролину старше ее лет. Она была застенчива и молчалива, Чарли даже считал ее немного простоватой. У нее для всех была готова улыбка, но какая-то неосмысленная. Говорила она тихо, вполголоса и то, как правило, если к ней обращались. Когда ее просили что-нибудь сделать, требовалось давать ей подробнейшие инструкции, и тогда она исполняла порученное, тупо и без всяких чувств, как машина, заведенная и налаженная на выполнение какой-либо автоматической операции.

Альфред, ее восемнадцатилетний супруг, не замечал за Каролиной никаких странностей и относился к ней, за исключением тех случаев, когда искал супружеских ласк или добродушно, но не без гордости, подтрунивал на людях над своей раздавшейся в ширину женой, со сме-

шанным чувством благоговейного трепета и пылкой страсти.

Чарли сказал, улыбнувшись ей в ответ:

— Ну и ну, Каролина, ты день ото дня все раздаешься. Эдак ты в один прекрасный день лопнешь.

Каролина глупо захихикала и, потупившись, снова переступила с ноги на ногу.

— Как у вас крыша? Не течет? — спросил Чарли.

— Нет,— ответила девушка своим спокойным голосом,— Алфи говорит, что все в порядке.

— Алфи,— проворчал Чарли.— У этого работяги одно на уме.— Он ухмыльнулся и подмигнул Каролине, а потом спросил: — Насчет дома больше ничего не слышно там, в муниципалитете?

— Алфи говорит, они сказали, что он внес недостаточно,— оживилась Каролина.— Сказали, что мы получим дом, когда заплатим больше.— Она выпалила все это и сжала губы, будто устыдившись такой длинной речи.

Чарли что-то пробурчал и снова улыбнулся ей.

— Не обращай внимания, старушка. Ты пока здесь с нами, так? — Он вытащил портсигар и закурил.— Ну ладно, попробуем починить нашу крышу. Как тут наш старик, пока меня не было? — спросил он.

— Болит у него,— ответила Каролина. Она прикрыла свой большой живот, сложив на нем руки, прислонилась к двери и смотрела, как Чарли пошел через двор к их старому дому.

Из-за двери, прикрытой занавеской, доносились тихие стоны, как далекие гудки сирены в тумане. Мать вышла на кухню. Она была в потертом жакете поверх платья, а глаза под низко повязанным черным платком казались совсем усталыми.

Чарли спросил:

— Ну как он, ма?

— Все слабеет, Чарльз. Ему вообще-то нужен врач.

— Ты идешь за доктором? Я бы мог сходить.

— Нет,— сказала мать.— Не за доктором. Доктору мы задолжали, и он последний раз сказал, что больше не пойдет, пока мы не заплатим. А у нас до пятницы, пока Ронни получит зарплату, нет денег.— Она застегнула жакет.— Пойду схожу к Мулеле, попрошу каких-нибудь трав. Может, хоть травы помогут.— Она пошла к двери.— А ты посиди дома, присмотри за отцом.

— Ладно, ма,— Чарли кивнул.— Но ты поторопись, а то дождь опять собирается.

— Я быстро.

— А я на крышу полезу. Достал у Мостерта кусок железа.

— Ну что ж. Только ты не шуми там, слышишь?

— Каролина может пока посидеть с отцом.

— Может-то может, да она не будет знать, что делать. Да хотя и ты тоже. Ну, ладно, я мигом. Ты просто поглядывай.

В спальне натужно хрипел и что-то бормотал Паулс-старший, совсем как готовый вот-вот заглохнуть мотор. Тучи на небе, цвета нестираного кухонного полотенца, набухали дождем. Но Чарли осторожно сдирал с ходуном ходившей кровли дырявую жесть. Хижина угрожающе скрипела и оседала под ним, и Чарли боялся сделать резкое движение, опасаясь, как бы она вообще не обрушилась. Несколько крупных капель ударилось о жесткую клеенку его дождевика, он поднял голову и поглядел на грозно хмурившееся небо. Потом, спеша, подтянул к себе лист железа, который приволок от Мостерта, и стал прилаживать его, подсовывая под края открывшейся в кровле дыры, бормоча про себя прокля-

тия, когда острые, как акульи зубы, зазубрины обдирали ему кожу на пальцах.

Он все еще мучился с листом, старательно прилаживая его на место, когда из-за угла дома вышел его дядюшка Бен.

— Здорово, Чарли, малыш. Крыша прохудилась?

Чарли заглянул через край крыши, посасывая ободранные в кровь пальцы. Он сказал:

— Здорово, дядя Бен, привет. Течет. Ну, а у тебя как? — Царапина на пальце была глубокая.— Разве ты сегодня не работаешь?

— Погода,— дядя Бен задрал голову.— Малярам в дождь нет работы, вот нас и отпустили. Еще день потеряли, вот оно как.

Дядюшка Бен был коротконогий толстый человечек, черный, словно обугленный, в дырявом свитере и лоснящихся, заношенных, залатанных брюках. Башмаки на нем были потрескавшиеся, все в грязи, до дыр протертые шишками подагры. Несмотря на жизнерадостную округлость его тела, карие чуть навыкате глаза хранили выражение скорбной покорности перед каким-то необъяснимым горем. У него было жирное и одутловатое от злоупотребления спиртными напитками лицо и яркие сочные губы, будто след от накрашенного поцелуя. Под мышкой он держал свернутый в узел, весь заляпанный красками комбинезон, а седеющая курчавая голова была покрыта затвердевшей от краски старой фетровой шляпой.

Чарли сказал ему:

— Там, под забором, были камни. Подал бы их мне штуки две, а, дядя Бен? Надо бы прибить гвоздями, да стучать нельзя. Отец у нас лежит совсем больной.

— Ну, конечно, Чарли, малыш, сейчас подам,— сказал дядя Бен. Он бережно положил свой сверток на землю, выбрав место посуше, и перегнулся через заборчик, сопя и изо всех сил поджимая свое расплывшееся брюшко.— Ну, а как он, твой папаша? — Он поднял булыжник, подал его наверх, и Чарли, дотянувшись, принял и положил камень на крышу.

— Плохо, дядя Бен, плохо,— ответил Чарли.— Как есть плохо.

— А я иду и думаю, дай-ка загляну и навещу старикана. Я еще подумал, вот уж кому, наверно, нелегко приходится в такую погоду.— Он достал из-за ограды второй булыжник. Они разговаривали, и дядя Бен подавал камни наверх.

— Твоя матушка, поди, с ног сбилась, бедная женщина.

— Да, еще бы. Осторожно, дядя,— упадет. Мне сейчас в самый бы раз подыскать работенку.

— Держи, парень. Вот, черт, чуть не выронил. А я думал, ты ездишь на дорожные работы под этой — как, бишь, тот город называется,— под Калвинией.

— Это была временная работа,— сказал Чарли.— Один месяц. Фунт двенадцать шиллингов и шесть пенсов в неделю. Кончили и распустили по домам.

— Да,— вздохнул дедя Бен.— Оно почти везде так. Я тоже перебиваюсь случайной работой. Здесь пару шиллингов перехватишь, там пару.

Чарли укладывал на крышу булыжники, прижимая отошедшие края жести. Он сказал:

— Ты бы зашел пока в дом, повидал старика. Я уже почти кончил.

Дядя Бен с беспокойством спросил:

— А твоя мать дома?

Чарли улыбнулся.

— Нет. Пошла достать для отца трав.

— Ну, что ж, я тогда, пожалуй, зайду.

Чарли только хмыкнул про себя. Дядя Бен взял свой сверток и, аккуратно придерживая его, пошел вокруг дома. Дядюшка Бен старательно избегал встреч с матерью Чарли, она была решительной противницей его чрезмерных возлияний и не уставала отчитывать его при всяком удобном случае. Дядюшка Бен доводился ей родным братом, но жил отдельно, в крохотной хижине где-то на другом краю локации. Он был не женат и жил один, пропивая большую часть того, что удавалось заработать на случайных малярных подрядах. Чарли догадывался, что дядюшка Бен так бережно кутал сейчас в свой комбинезон.

Он укладывал на место последний камень, когда небо все-таки прорвало и пошел дождь. Он хлестнул по крыше и с остервенением набросился на Чарли, заплескал по двору, высоко вскидывая брызги, повис сплошной стеной и закрыл все вокруг. Чахлые камедные деревья, приземистые смоковницы и лачуги — все слилось в одну мутную свинцово-серую тень. Чарли сполз с крыши, нащупал ногой шаткие козлы у стены и, оттолкнувшись, спрыгнул на землю, но зацепился об острый край жести плащом, дернул, выругался, услышав, как затрещала, разрываясь, желтая клеенка, бросился за угол и влетел в кухню.

ГЛАВА XI

«Боже правый,— Чарли с трудом перевел дух в кухне.— Надеюсь, этот ливень не застиг ее посреди дороги».— подумал он о матери. Он стянул с себя дождевик. Дождь за стенами ревел и стучал, а небо висело над крышами темно-серое, свинцовое. Вода разлилась по всему двору, стекая под старую шелковицу, бурля вокруг кольев изгороди и угловых опор дома, размывая песок, на котором они покоились, бетонные глыбы оседали, и дом скрипел и стонал.

Чарли стряхнул дождевик прямо на пол. В дверь протиснулся Сторож, и от него на полу сразу стало еще грязнее и мокрее. Собака шумно отряхнулась и юркнула за печку. Непогода продолжала реветь за дверью голодным чудовищем.

Приоткрыв занавеску, из спальни, где лежал отец, показался дядюшка Бен.

— Бедняга,— сказал он, выходя.— Он здорово болен, правда, Чарли. Сильно болен.

Чарли рассматривал покоробившийся картон на потолке. Он ответил:

— Еще бы. Я вот думаю, неужели мать попала в самый ливень. Ты подожди, дядя Бен, пока он кончится.— Потолком он вроде бы остался доволен:— Ничего, здесь пока держит. Надо бы взглянуть, как в той комнате. Там у отца не потекло, не заметил? Я не хочу ходить туда взад-вперед.

— Вроде все в порядке,— сказал дядя Бен. Его свернутый в узел комбинезон лежал на кухонном столике, и он положил на сверток ладони, как бы в благословении.

— Слушай-ка, Чарли, малыш,— сказал он полушепотом.— Я тут прихватил с собой кое-чего. Пару бутылочек. Сладкая роса, божья слеза. Что, если мы с тобой одну быстренько раздавим, как ты считаешь?

— Можно,— усмехнулся Чарли.— Отчего же нет. Только пойдем лучше в нашу комнату.— Он подмигнул дяде Бену и засмеялся. И первым прошел в дверь. Плащ он повесил сушиться на гвоздь, но так, чтобы клеенка не касалась еще горячей печки. Дядюшка Бен последовал за ним, прихватив сверток и свою затрапезную шляпу.

С потолка в маленькой холодной комнатушке больше не текло, и только огромное сырое пятно все еще расплывалось по намокшему кар-

тону. Вот только бы теперь в другом месте не открылась течь, может, даже сразу в нескольких...

— Садись на постель Ронни,— сказал он дяде Бену. Он принес с собой из кухни две стеклянные банки и поставил их на ящик между кроватями. Дядя Бен почтительно развернул свой комбинезон и, освобождая оттуда бутылки, сказал:

— А что еще, как не выпить в такой день, а?— Он откупорил одну и разлил желтую влагу по банкам. Неожиданно ему в голову пришла какая-то неприятная мысль, и он с нескрываемой тревогой посмотрел на Чарли:

— Слушай-ка, Чарльз, а ты не думаешь, что твоя матушка будет ругаться за выпивку?

Чарли взял одну банку и посмотрел ее на свет. Он сказал:

— Ма вовсе не против, если человек иногда выпьет. Почему иногда не выпить. Но ты ведь всегда пьян в стельку, вечно еле на ногах держишься.

Дядюшка Бен грустно уставился в свою банку. Он сказал:

— Я и сам не понимаю, что со мной. Правда, Чарли. Ведь вот у каждого своя мера, разве нет? А меня будто что-то толкает: пей, пей, пей. Будто сила злая заставляет человека пить до тех пор, пока уже на ногах не держится. Говорю тебе — будто сила злая!

Шквал налетел на крышу, прогрохотал и пронесся дальше, оставив за собой на какое-то мгновение непривычную тишину ровно моросившего дождя, потом налетел новый. В комнате, где лежал больной, стали слышнее и протяжнее жалобные стоны.

— Я слышал, непьющие люди говорят, будто выпивка большой грех,— сказал Чарли.

— Ну я так не думаю,— сказал дядюшка Бен, и они выпили.— Грех, Чарли, это то, что заставляет человека упиваться до смерти, что заставляет бедного старого человека до могилы трястись от холода в лачуге с дырявой крышей, без ложки горячего супа и без лекарств.

— Ты думаешь, отец умрет? — в тревоге спросил Чарли.

— Я этого не говорю,— угрюмо ответил дядюшка Бен. Выпивка всегда нагоняла на него безысходную тоску.— Я не говорю этого. Но что заставляет человека страдать? Вот так трястись и дрожать до смерти?

Чарли отпил немного и сказал:

— Ну, ты же принадлежишь к этой масонской ложе. Там, поди, вас учат, что к чему.

— Я давным-давно бросил эту ложу,— сказал дядюшка Бен. Он чувствовал, как на него наваливается тоска. Он прихлебывал из банки, в перерывах затягивался сигаретой из пачки Чарли, и его опухшее от пьянства лицо светилось в клубах дыма как безжизненный лик солнца в зимнем небе.— Ничему она не учит человека, эта ложа,— вот все, чему я там научился. Библию я вот почитываю.

Чарли сказал:

— Ма читает библию каждый вечер. Непохоже, чтобы старику от этого полегчало.

— Мы должны верить в бога, Чарли,— сказал дядя Бен.— Твоя матушка читает библию потому, что ей пришлось трудно. С семьей у нее беда, хлопот полон рот. Ты вот, и отец еще болен, и этот малец Ронни от рук отбивается, и Каролина собирается рожать, и нищета заела...

— И ты еще...— подхватил Чарли и, посмеиваясь, отпил глоток.— Ты тоже свое приложил.

Ветер успокоился, и дождь теперь опять ровно барабанил по кровле. Поздняя муха сонно проползла по рассохшейся обшивке на стене и

запнулась в самом низу у пыльного плинтуса. Она обшаривала комнату мириадами своих глаз, и в полумраке чуть поблескивали ее радужные крылышки. Поколебавшись, она оторвалась от стены и, прожужжав в крутом вираже, села на ящик между кроватями. Почистила крылышки, перепрыгнула через горку стряхнутого с сигареты пепла и остановилась, умываясь передними ножками. Казалось, она дрожит от холода. Затем она снова снялась с места, описала петлю над кроватью, где сидел дядя Бен, и полетела на тусклый свет из крохотного оконца. Она ударилась о стекло, стала падать вниз, но выровнялась и, прогудев над ухом Чарли, уселась ему на рукав. Он смахнул ее, и она, покружившись, снова опустилась на ящик. Она осторожно поползла по крышке ящика, наткнулась на каплю пролитого вина и, погрузив в нее хоботок, принялась пить.

Дядя Бен говорил:

— Просто не знаю, что это, Чарли.— Он уже был во власти печали, вина в первой бутылке заметно поубавилось, оставалось меньше, чем на четверть.

Чарли сказал, подняв бутылку и опоражнивая ее себе в банку, в то время как дядя Бен откупоривал вторую:

— К нам на трубопровод пришел один новенький из города. Знаешь, что он говорит? А уж он знает, он всегда читает газеты и все такое. Он говорит: бедные вовсе не должны быть бедными.— Чарли взял вторую бутылку и долил, чтобы в обеих банках было поровну.— Он говорит, если б бедные собрались все вместе и захватили все, что есть в мире, никакой бы бедности больше не было! Просто смех разбирает, послушаешь, а ведь похоже, так оно и есть...— сказал Чарли. Он продолжал, воодушевляясь: — А дальше этот новенький говорит, если б, мол, все имущество на свете распределить поровну между людьми, всем бы хватило жить припеваючи. Он считает, что люди должны объединиться и взять все себе.

Дядя Бен нахмурился и неодобрительно покачал головой.

— Это уж греховно звучит. В библии сказано: не пожелай добра ближнего своего.

— Этот парень знает, что говорит, так я полагаю,— сказал Чарли.

— Я наслышался таких разговоров,— сказал дядя Бен.— Это штучки коммунистов. Разговоры против властей.

— Слушай,— сказал Чарли, когда они выпили еще по одной. У него развязался язык.— Слушай, дядя Бен, однажды я зашел за Фридой в дом к тем людям, у которых она работает, чистит там и намывает. Черт, вот у них дом, так дом, ей-богу, огромный, что твоя ратуша, не вру. И эта старая шлюха с рыжими волосами и толстым задом и ее муженек обжираются за столом длиной в милю, а на столе модные подсвечники и все такое прочее... А такой, как я, и коснуться не смей парадной двери. Тебе положено идти с черного хода! Жрут за шикарными полированными столами, жаркого до отвала и всякие такие вещи.— Чарли насупился и глотнул из банки.— В библии говорится также: возлюби ближнего своего. Слышал такое, когда еще сопляком ходил в воскресную школу.

Муха опрокинулась на спину и теперь тонула в лужице вина. Скрюченные ножки беспомощно колотили по воздуху, крылья прилипли. Шум дождя за стеной перешел в тонкий шипящий свист, как при утечке газа. Чарли протянул руку и смахнул муху на пол. Она и там не переставала барахтаться. В родительской спальне закашлялся отец. После этого он долго дышал с присвистом, как худые кузнечные мехи.

Дядя Бен тихо сказал:

— Просто не знаю, Чарли, малыш. Может, вы, молодежь, знаете лучше моего, конечно.— Он говорил печально, будто сквозь слезы, и

потряс вытертой, как старое шерстяное одеяло, головой, чтобы поймать ускользнувшую мысль. За спинами у них под покровом мелко сеявшей измороси угасал худосочный день. Чарли еще раз разлил по банкам, когда они услышали, как скрипнула и захлопнулась дверь на кухне.

— Ма,— сказал Чарли.

Это действительно была она. Мать заглянула в дверь.

— Ну, как отец? — спросила она, увидела дядю Бена, и лицо ее стало строгим.— О, вот кто у нас.

Дядя Бен робко улыбнулся, перевел взгляд на Чарли и потом сказал:

— Вот, Рейчел, зашел проведать, как дела у Фредерика.

— Гм! — Карие глаза матери, словно два острых ржавых гвоздя, впились в ящик с бутылками.— Я не желаю видеть здесь никакого пьянства, понятно?

Чарли сказал:

— Да мы просто по маленькой пропустили, ма. Ты не промокла, ма?

Старый жакет был весь покрыт изморосью.

— Немножко. Я переждала ливень. Ну, пойду к отцу.— Она скрылась за дверью, и они услышали ее шаги в соседней комнате.

Дядя Бен сказал:

— Мне, пожалуй, пора, так я понимаю.

— Сиди, да сиди ты,— удержал его Чарли, засмеявшись.— Не съест она тебя, не бойся. Тут еще кое-что осталось в посудине.— В кухне хлопнули печной дверцей.— Вот оно. Как раз еще на две.

Дядя Бен взял свою банку и поднял ее. Он чувствовал глубокую тоску, остановившись где-то на грани опьянения, перебраться через которую у него не было больше сил. Он сказал:

— Будьте здоровы,— деликатно отогнув грязный мизинец, с осторожностью поднес банку ко рту и выпил.

— Будьте здоровы,— ответил Чарли и проглотил свое залпом.

Вино ударило в голову и навело на грубо-чувственные мысли, он откинулся на кровать и стал думать о Фриде, пытаясь вызвать в воображении очертания ее фигуры, ее груди, ног, бедер, но ничего не получалось, не возникала она, как Чарли, уже в полудреме, ни силился ее себе представить.

Дядя Бен поднялся, аккуратно свернул комбинезон, подобрал свою горе-шляпу и вышел в кухню, едва заметно пошатываясь, тщательно стараясь держать тело прямо, будто это была дорогая мебель, которую боже упаси задеть и поцарапать.

В кухне стоял терпкий запах трав, матушка Паулс заваривала кипятком какое-то месиво. Она, не отрывая глаз от работы, сказала:

— Вот, принесла для Фреда трав. Вдруг поможет.

Дядя Бен покрутил носом и сказал:

— Да, травы хорошие. Я вот помню, когда одно время меня мучили колики...

Матушка Паулс не дала ему кончить:

— Никогда тебя не мучили никакие колики. Не болтай чепуху.

— Тогда было такое чувство, будто это колики,— сказал дядя Бен, хмурясь и покачиваясь, как дерево на ветру. Ему было не по себе в присутствии матушки Паулс. Он сказал:— Ну, пожалуй, я пойду.— Он икнул и поспешно прикрыл свои мягкие полные губы ладонью.

— Погоди, куда уж ты пойдешь,— сказала она.— Поешь чего-нибудь.— Она пронзила его одним из своих ужасных взглядов, и внутренне он весь съежился.— Ты, поди, дома-то не очень готовишь себе горячее.

— Да ничего, Рейчел,— сказал дядя Бен, прижимая к себе шляпу и свернутый комбинезон.— Я не хочу здесь болтаться, тебе мешать.

— Я всегда говорила, что тебе надо жениться. Найди себе жену.

— Не хочу вырывать у тебя кусок изо рта, женщина,— продолжал дядя Бен.

— Ладно, ладно,— сказала она ему, размешивая настой из трав.— У нас все равно мало, одним ртом больше, одним меньше, никакой разницы. Ступай, посиди у Чарли. Я тебя позову.

Она принялась процеживать настой в битую-перебитую эмалированную кружку, не обращая больше на Бена никакого внимания. Перед тем как отнести настой отцу, она положила в печку дров, подождала, пока они занялись, и поставила над огнем горшок. Печка ровно загудела.

ГЛАВА XII

Зимой не бывает вечеров. Сразу же опускается ночь, накрывая вялый, покорно гаснущий день своим холодным черным покрывалом. Ледяное дыхание ночи загоняет бедняков в хибары, где они жмутся к чадящим керосинкам, жаровням или старым железным печуркам. Люди забиваются под одеяла, напившись кофе с черным хлебом, и слушают голоса вторгающейся ночи: возню кур на насесте, стрекот бесчисленных сверчков, потирающих крылышки, далекое тявканье собаки.

По шоссе, шурша резиной, мчатся вдаль ночные автопоезда, будто журчит по бетону льющаяся вода. Фары выхватывают из тьмы желтые конусы света, безразличные к миазмам помоек, к живому запаху варящейся в горшках убоины по шесть пенсов за фунт и к тленному запаху ржавого железа и прогнившего дерева. Лучи мощных фар проносятся в темноте, не задерживаясь на светящихся оконцах лачуг, на желтых язычках керосиновых ламп, на красных угольях, тлеющих в решетчатых жестянках-жаровнях. Они мелькают поверх этих крохотных бескровных огоньков, которые силятся вырваться наружу из хижин с провисшими крышами, будто нетерпеливые надежды, которые скребутся у дверей и просятся на волю. Машины мчатся по шоссе, не замечая зловонных нужников, которые плотным кольцом окружили кренящиеся хижины и тонущих людей, словно акулы в море грязи. Мерцает бетон в перемежающихся огнях, а ночь подкрадывается вплотную, чтобы заключить холодную землю в свои бесстрастные объятия.

Чарли Паулс сидел у печки на корточках, прислонившись к стене. Он уперся локтями в колени. В одной руке у него была эмалированная миска, он держал ее почти у самого подбородка, а в другой — ложка, которой он отправлял в рот тушеную репу. Он медленно жевал, и на правой скуле у него ходила маленькая черная родинка.

В кухне стало теплее, в старой железной печке потрескивали дрова, и наружная дверь была наглухо закрыта, не давая доступа мелкому дождю. Немного, правда, попахивало дымом, потому что дрова попались сырые. Собака Сторож свернулась клубком у ног Чарли и нетерпеливо урчала в ожидании объедков от ужина. Мелкий моросящий дождь с шелестом сеял по стенам дома.

Мать сказала:

— Я сварила отцу немного супа из репы, а он, поди, уснул.

Она стояла у плиты, рядом с Чарли, дожидаясь, пока мужчины кончат ужинать. Рональд, самый младший — Джорни, дядя Бен и муж Каролины, совсем еще мальчишка, Алфи набились вокруг стола, втиснутые в узкое пространство. Каролина, тяжелая и неуклюжая со своим животом, стояла, привалившись к шкафу, и молча наблюдала за всеми. Глуповатое, покрытое пятнами лицо, спокойно удовлетворенное и неосмысленное, было неподвижно, как у куклы. Она втайне гордилась своим мужем и смотрела, как он ест, не пропуская ни одного его движения.

Алфи был худенький, ничем не приметный юноша с лицом, отмеченным удивительным безличием, будто кто-то взял да и попробовал печать, оставив на бумаге размазанный неразборчивый отпечаток: лицо в серой массе, пятно в толпе, начисто лишенное хоть каких-нибудь черт индивидуальности. Но он был работящий парень и хороший муж, хотя сейчас и обескураженный слегка результатами собственной доблести на супружеском ложе. На людях он почти рта не раскрывал, и одна Каролина знала, о чем у них были разговоры в лачуге из старого контейнера.

Чарли сказал ему с набитым ртом:

— А у вас крыша не должна протекать, толь хорошо держит. А, Алфи?

— В порядке,— пробормотал Алфи, не поднимая от тарелки глаз.

— Так Каролина считает, что вам не добиться этого домика.

Алфи ничего не ответил, и мать строго взглянула на Чарли.

— Не говори с полным ртом, Чарльз, сделай одолжение,— сказала она.

Чарли проглотил и сказал:

— Извини, ма.— И потом продолжал:— А забавно все-таки, ведь сколько вот наберется таких, как мы, кто обмирает и трясется за свои крыши всякий раз, как дождь польет, а есть люди, которым ни черта не приходится ни о чем заботиться. Живут себе в шикарных хоромах, вроде тех, где Фрида работает. Я вот дяде Бену рассказывал. Да взять хотя бы даже этих на шоссе...— Он собрал с тарелки последнюю ложку, отломил кусок хлеба и вытер тарелку насухо.— У одних ни гроша, у других немножко, у третьих там чуть побольше, а есть такие, у кого до черта, купаются в деньгах. Тут один новенький к нам пришел, когда я работал на прокладке труб, так он говорит, что беднякам надо просто организовать вроде бы союз.— Он сунул в рот мякиш, которым вытирал тарелку, и молча жевал.

Мать сказала:

— Каждый несет свою ношу.

— Вот и я так говорю,— сказал дядя Бен.

— Да,— сказал Чарли.— Пожалуй. Только вот не мешало бы подумать, кто это высчитывает да назначает, кому какую ношу нести?

Мать сказала:

— Ты говорил про Фриду. Как она там?

— В последний раз, когда я ее видел, ничего, нормально,— сказал Чарли.— Можно мне теперь чашечку кофе, ма?

Мать наливала кофе, а Рональд с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, стал выбираться из-за стола. За все время, пока они ужинали, он не сказал ни слова. Он исподлобья взглянул на Чарли. Тот усмехнулся ему в ответ.

Мать спросила, бросив в сторону Рональда сердитый взгляд.

— Ну, что это ты как печаль смертная? Чего ты опять надулся?

Рональд не ответил, он пошел к себе, и они услышали, как он хлопнул дверью.

— Просто не знаю, что с ним творится,— сказала мать.— А все эта девушка, за которой он увивается. Дурная это девушка.

Чарли знал причину скверного настроения брата. Он отозвал Рональда в сторону, когда тот вернулся с работы, и рассказал ему о стычке с этим типом, Романом.

— Слушай,— сказал он ему.— Я не хочу ничего говорить при матери, сам знаешь, отец болен, и вообще... Но этот тип Роман точит на тебя зуб, потому что считает, что ты путаешься с его бабой, с этой Сюзи Мейер...

Рональд, как обычно, полез в бутылку.

— Его баба? — закипятился он.— Черта с два она его!

— Ты послушай,— сказал ему Чарли.— Я тоже считаю, что у него нет на нее никаких прав, он женат, и все такое. Но мне пришлось с ним сегодня подраться, потому что он полез на меня. Ну, я-то с ним всегда справлюсь, ясно? В любое время, пока у него не пропадет охота задираться. Но вообще-то он твердый орешек, этот Роман, и для тебя, пожалуй, тяжеловат. И потом, я вообще не считаю, чтобы из-за этой Сюзи стоило нарываться на неприятности. Что тебе, других мало?

Рональд выругался.

— Никто тебя не просит за меня заступаться, понятно? Не лезь не в свои дела!

— О'кэй,— сказал Чарли,— но не могу же я стоять в стороне и смотреть, как Роман станет разделывать моего маленького братца, верно?

— Маленького? — разозлился Рональд.— Если надо будет, я сам справлюсь с твоим Романом, слышишь? Не лезь в чужие дела, говорят тебе.

— Ладно, только я ему велел оставить тебя в покое. Надеюсь, он не полезет на рожон.

— Говорю тебе, я сам с ним разберусь! — крикнул Рональд и ушел.

Мать сказала усталым голосом:

— Мы так старались для семьи, ваш отец и я. Теперь вот он заболел, нам и так тяжело, хватит с нас и без него неприятностей.

Чарли сказал:

— А, обойдется, не обращай внимания, ма.

Дядя Бен сказал, отодвигая табуретку и поднимаясь из-за стола:

— А я так полагаю, что с семьей всегда одни неприятности. У семейных вечно заботы, не то, так другое.

Мать сказала:

— Да. А только, по мне, лучше пусть заботы, чем совсем ничего.— И она посмотрела на дядю Бена.

Чарли допил кофе и тоже встал, потирая затекшие икры. Собака юркнула у него между ног и забилась под стол. Чарли спросил:

— Ну, ты идешь, дядя Бен? А то я бы с тобой прогулялся за компанию.

Мать спросила:

— Куда это ты собираешься в такой дождь, Чарльз?

— А что, погода как погода,— сказал ей Чарли. Он снял с гвоздя желтый дождевик и рывком натянул его на себя.— А ты без пальто, дядя? — спросил он.

— Мне тут недалеко,— ответил дядя Бен.

Мать сказала, обращаясь к Чарли:

— Осторожнее, смотри. Здесь по ночам какого только хулиганья не шатается.

— О, как-нибудь постоим за себя.

Дядя Бен сказал:

— Да пусть его, Рейчел. Он ведь уж мужчина. Ах, черт, а ведь ему было семнадцать годочков, когда он поступил в армию. И вот уже взрослый мужчина. Ну и бежит времечко, черт его подери.

Чарли улыбнулся ему и подмигнул. Мать сказала дяде Бену:

— Да, взрослый мужчина. И я надеюсь, он не пойдет по твоим стопам.

Дядя Бен смутился, а Чарли захохотал. Он сказал:

— Ма, а мне так кажется, ты просто не знаешь дядю Бена. Правду я говорю, дядюшка?

Он снова подмигнул, но дядя Бен не видел: он печально уставился в пространство, застыв посреди сизой от дыма кухни.

ГЛАВА XIII

Он постучал, и через некоторое время услышал в доме какое-то движение и затем ее голос:

— Кто там?

— Это я, Чарли,— отозвался он тихонько.

Шел мелкий моросящий дождь, и он стоял у хижины, зажав в кулаке сигарету, ожидая, когда в замочной скважине повернется ключ. Неба над головой не было видно, повсюду кругом царила кромешная тьма, нарушаемая лишь небрежно раскиданными точками огней. На ветру ударялись друг о друга ветки деревьев — казалось, где-то напильник легонько скрежещет по дереву. Он услышал, что дверь отпирают, и отшвырнул сигарету в слякотную темноту.

Дверь слегка приоткрылась, и он протиснулся в щель.

— Здравствуй, Фрида, моя девочка,— сказал он.

Она несла свечу в жестянке и прикрывала пламя рукой, пока он не захлопнул за собой дверь и не повернул ключ.

— Тише,— прошептала она.— Не разбуди детей,— и добавила:— В такой дождь ты на улице?

— Ты недовольна? Хочешь, чтобы я ушел? — пошутил он.

— Не говори глупостей. Хотя ты давно не приходил...

— Ну, моя девочка,— засмеялся он. Они стояли в дрожащем свете свечи.

Ее жесткие волосы были заплетены на ночь в две короткие косы по обеим сторонам лица, и он видел тяжелые холмы ее грудей под старой, застиранной фланелью ночной рубашки.

Он шел следом за ней, стягивая на ходу мокрый плащ, мимо детей, которые ворочались и бормотали во сне на диванчике.

— Здесь тепло и приятно,— сказал он.

— Я зажгла примус,— ответила Фрида.— Но он плохо горит.

Зайдя за занавеску, висевшую посреди комнаты, Фрида, усмехнувшись, спросила:

— Ты пришел допить ту бутылку?

— Вот еще,— он засмеялся.— Какого черта.

Она поставила свечу на туалетный столик у кровати, и Чарли почувствовал, что у него пересохло во рту, когда он смотрел, как движутся ее полные округлые бедра под ночной рубашкой.

— А твоя мама знает, что ты здесь?— спросила она с издевкой.

Он улыбнулся, расшнуровывая перепачканные в глине ботинки.

— Догадывается, наверно. Да ведь она говорит, что я уже взрослый.

— Но ты все никак не женишься, Чарли,— сказала она.

— Нет. Меня, видимо, контузило на этой войне.

Упоминание о женитьбе огорчило его немного, и он попытался отшутиться, надеясь, что она не станет развивать эту тему дальше.

Она стояла близко к нему, и свеча горела на туалетном столике. Рядом с грудой одежды и разных вещиц здесь были и баночки с остатками питательного крема, и облезлый тюбик губной помады, и обмылок туалетного мыла в мыльнице, и растянутый пояс с подвязками — скопившаяся за месяцы добыча из хозяйкиного будуара. С засиженного мухами зеркала, словно захваченный в бою штандарт, поникнув, свисал рваный нейлоновый чулок.

Она улыбнулась ему, но свеча, как рампа, светила снизу и отбрасывала тени, выхватывая из темноты лишь блеск ее глаз, и он не видел ее улыбку. Но он видел глубину ее глаз, их нежность и удивительную красоту, которой он не замечал раньше, и она немного подалась назад, и легонько отпихивала его, и вся затрепетала, и ладони его запели на ее теле.

— Чарли. Чарли. Чарли, милый!

— Что, Фрида? Что?

— Чарли, ну что ты так, опомнись...

Но сопротивление ее ослабевало под его ищущими руками, и она вздохнула глубоко и облегченно, когда он навалился на ее большую мягкую грудь и почувствовал дрожь в ее теле и нежное прикосновение ее грубых рук поденщицы на своем лице. В ушах его шумело, и она уже не вздыхала, а легонько стонала, когда тела их сплелись, рот ее, мягкий, с легким мыльным привкусом приоткрылся, и он канул в наслаждение, без мыслей, как камень в пруд, и утонул в остром женском запахе подмышек и грудей и в обволакивающем жару ее бедер.

ГЛАВА XIV

Между хижинами вся в разводах трещин, в изломах и залитых водой колдобинах шла короткая полоса асфальта, вскоре терявшаяся среди пыльного, пышного былья. Это был труп улицы, которая давным-давно умерла, задушенная, погибшая без присмотра, и теперь ее теснили осевшие на сломанные зады, припавшие к земле хибарки, точно ждущие своего часа прожорливые гиены.

Там и сям вдоль несуществующей улицы еще стояли, вернее, разваливались кирпичные оштукатуренные дома. Стекла в окнах были давно выбиты, и фанера, ветошь и картон походили на черные повязки поверх пустых глазниц. Краска и штукатурка со стен облетели, обнажив рваные кирпичные раны, крыши держались тяжестью наваленных сверху булыжников. Дома эти стояли чуть в стороне от лачуг из картона и жести с видом надменным, словно люди побогаче, вынужденные общаться со своей многочисленной бедной родней.

Ронни Паулс вынырнул на улицу между двумя хижинами и остановился на мгновение у края исковерканного асфальта. Мелкий дождь сыпал не переставая, он промочил насквозь плечи его куртки, а теперь, когда дождь бил ему прямо в лицо, вода стала затекать за ворот рубашки. Он поежился и туже надвинул на лоб кепку, чтобы вода не попадала в глаза.

Он перешел через улицу, ссутулившись и глубоко засунув руки в карманы брюк. В воздухе стоял ровный шелест дождя, а листья деревьев мягко и тихо шуршали, точно кто-то подметал твердую землю. Он перебрался на другую сторону этого жалкого подобия улицы и пошел вдоль мокрых нахохлившихся лачуг. Нога запнулась за выбоину в асфальте, он выругался, покачнувшись, взмахнул руками. Выпрямившись, он вновь зашагал, ступая по скользкой глине и мокрым листьям.

Где-то впереди едва мерцал огонек, пробивавшийся через щели заколоченного окна. Когда-то дом состоял из четырех комнат, но было это очень давно, боковая и задняя стены обвалились беспорядочной мокрой грудой, обнажив внутренние перегородки,— ну точно как после бомбежки. Сохранились лишь передняя комната да кухня.

Палисадник перед домом был затоплен липким месивом из мокрой глины и черной грязи, и Рональд едва пробрался по нему к облезлой входной двери, темной и зловещей, как в кинофильме с привидениями. Он поежился и вытащил озябшую руку из кармана, чтобы постучать.

Внутри, как в волшебной пещере, играл граммофон, сквозь щели в двери доносилась музыка; визгливый искаженный голос пел что-то о лунном свете, розах и воспоминаниях. Он постучал еще раз, переминаясь с ноги на ногу на разбитой единственной ступеньке. В доме что-то крикнули, другой голос ответил бранью. Потом взвизгнул и грохнул замок, и дверь слегка приоткрылась.

— Эй, кто там?

В узкой полоске тусклого желтого света показался прямоугольник

лица: сморщенная коричневая кожа, как скомканная оберточная бумага, серые клочья волос, глаз, будто плавающий в лужице какой-то жидкости, щель рта и вцепившаяся в край двери рука — коричневая куриная лапа.

— Я хочу видеть Сюзи,— сказал Ронни, проклиная про себя дождь и эту отвратительную старуху.— Она дома? Скажи ей, что это Ронни.

— Ее здесь нет,— злобно проскрипела старуха.— Убирайся отсюда. Чего тебе надо от Сюзи? — А где-то за ее спиной шипела под тупой иглой граммофонная пластинка.

— Я хочу ее видеть,— настаивал Ронни.— Скажи ей...

— Парень, я сказала, что ее здесь нет. Проваливай, проваливай.

Рональд открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но дверь захлопнулась у него перед носом, и он услышал звук защелкнувшегося замка и вой убыстряющегося пения — очевидно, не снимая пластинку, заводили граммофон. Он поднял руку, чтобы снова постучать, но тут же раздумал. Чертова старая шлюха. Ненависть кипела в нем, а голос за дверью с металлическим скрежетом затянул что-то про Гавайи.

Чертова сука, пусть она лучше не водит меня за нос, подумал Рональд, отходя от двери. Пусть лучше не якшается с другими парнями, не то он ей покажет. Он уходил обратно, оскользаясь в липкой грязи и спотыкаясь о битый кирпич. Бешенство и досада клокотали в его груди, и все туже завязывался железный узел ненависти.

Под моросящим дождем он перешел улицу. Остановился под эвкалиптом, с которого лило, как под открытым небом. Я знаю, она там, крутит свой чертов граммофон, ждет какого-нибудь... Он стоял, съежившись от холода, сжимая одной рукой воротник куртки. Позади него залаяла и зарычала собака, заметалась на цепи. Рональд вышел из-под дерева, не думая о собаке, и остановился на краю разбитой мостовой. Он ждал.

Через некоторое время он решил закурить и, нервным движением нащупав смятую пачку, вытащил сигарету из кармана. Он осторожно зажег ее, прикрывая от дождя ладонями. Но через минуту сигарета расползлась от воды в коричневое табачное месиво, и он со злостью швырнул ее в глину. Он все стоял, наблюдая за домом, злость не отпускала, и мокрые пальцы нащупывали в кармане складной нож. Дождь промочил насквозь его одежду, он чихнул и вытер верхнюю губу мокрой рукой. Он все еще мучительно думал об этой девушке Сюзи, когда увидел, как чья-то массивная фигура перебралась через разбитую улицу и остановилась перед домом. Мужчина был одет в старое пальто и притопывал на пороге, чтобы согреться. Вскоре дверь приоткрыли, и в мокрую тишину ночи издевкой просочилась музыка из граммофона. Мужчина сказал что-то старухе, дверь широко распахнулась, и он быстро скрылся в доме.

Там, в доме, одна половица разболталась и скрипела, когда на нее наступали. Пол был грязный, перепачканный в глине, на нем сохранились еще кое-где остатки линолеума, как содранные струпья громадной раны. Комната была загромождена обветшалой покоробленной мебелью, сдвинутой сюда, когда остальная часть дома обрушилась. Доски на потолке прогнулись, в щели между ними напиханы скомканные газеты. Повсюду виднелись громадные, причудливых очертаний пятна сырости, и клеевая краска отставала от стен или вздувалась мокрыми пузырями.

Старуха шла в кухню и громко брюзжала:

— Одно у ней на уме — мужики. Не тот, так этот. Вечно мужики, мужики, мужики.

На ней было старое длинное грязное платье, доходившее ей до щиколоток, и пара превратившихся в лохмотья шлепанцев, которые хлюпали по полу, когда она шла, а один из них был настолько дыряв, что

открывал ноготь большого пальца, желтый, изломанный, грязный, словно выкопанный из древнего могильника.

Молодая девушка, Сюзи Мейер, которая заводила граммофон, стоявший на столе около неприбранной постели, огрызнулась на старуху:

— Заткнись! Захлопни свою пасть! Не твое собачье дело!

Роман, стаскивая старое пальто, бывшее некогда солдатской шинелью, расхохотался. На шинели недоставало нескольких пуговиц, оторванные погоны болтались. Сукно было темным от влаги.

Сюзи поставила звукосниматель на пластинку, и искаженный голос певца вырвался из громадной трубы. Она села на край своей неопрятной постели и стала слушать.

— Скажи старухе, чтобы принесла выпить. Чертовски холодно,— сказал Роман.

— Скажи ей сам,— ответила Сюзи.— Ты же видишь — я слушаю.

— Хорошо,— осклабясь, он подошел к ней. Гнилые зубы показались на обрюзгшем, расплывшемся, покрытом давно не бритой щетиной лице.— Снова пластинки?

— Отстань. Дай послушать.

— Пластинки,— проворчал он и двинулся к кухонной двери, чтобы попросить у старухи бутылку дешевого вина.

Девушка сидела на кровати и слушала гнусавое пение. На лице у нее был написан восторг. Это было грубо раскрашенное лицо местной красотки — выступающие скулы лоснились слоем румян, ресницы топорщились под грузом туши, толстые губы рдели двумя аляповатыми полосами губной помады неподходящего к щекам оттенка, а жесткие волосы были накручены на пластмассовые трубочки-бигуди, делавшие ее похожей на какое-то нелепое пугало. Она сидела как завороженная и слушала про любовь и лунный свет.

Когда Роман вернулся в комнату с бутылкой в руке, пластинка прокрутилась до конца. Он сказал:

— Ну как, Сюзи?

— Я купила новые песни Бинга,— сказала девушка, снова взявшись за ручку граммофона.— Хорошо бы у нас было электричество и радиоприемник.

Роман закинул голову назад и начал пить прямо из горлышка. Оранжево-желтая струйка стекала из угла рта на подбородок. Он опустил бутылку и громко рыгнул.

— Где только ты монету берешь на свои пластинки? Черт, у меня вот нет даже на приличную выпивку.

— Не твое дело,— огрызнулась она.— Ты что, мой муж? — И уже совсем спокойно сказала: — Две самых последних пластинки Бинга. Я хотела еще купить Фрэнки Лэйна*, но песня мне не очень понравилась.

Роман отхлебнул еще вина и спросил, искоса глядя на Сюзи:

— Слушай, что у тебя с этим щенком, Ронни Паулсом?

— А что? — она вскинула пеструю, в валиках бигуди голову, насмешливо прищурила подведенные глаза.

— Лучше ты это брось, со щенками крутить.

Она расхохоталась пронзительным жестким смехом, издавая звуки, средние между карканьем и визгом, и затем презрительно сказала:

— Заруби себе на носу, я могу ходить с кем пожелаю, слышишь? А если ты уж такой щепетильный, то сидел бы дома со своей женой и детьми.

— Кончай шуметь,— ответил Роман и снова отпил из бутылки. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о его жене и детях. В этой отвра-

---

* Бинг Кросби и Фрэнки Лэйн — популярные американские киноактеры и певцы.

тительной комнате было холодно и неуютно, но все лучше того, что у него дома. Он захмелел и прислонился спиной к рассохшемуся буфету. С противоположной стены из грязного, проржавевшего зеркала на него смотрели его собственные налитые кровью глаза.

— Я слыхала, этот Чарли Паулс отделал тебя как следует? — сказала девушка с издевкой.

Роман тупо уставился на нее.

— Он? Меня? Отделал меня?

— Да. Да и по лицу видно. Вон как он тебя разукрасил.

— Я еще до него доберусь,— сказал Роман угрюмо.— А этому щенку, младшему Паулсу, переломаю его щенячью шею.

Девушка снова засмеялась. Она взяла сигарету из пачки, лежавшей около граммофона, и закурила, выпуская клубы дыма и насмешливо разглядывая круглоголовую развалину, прислонившуюся к старому буфету. На улице по-прежнему шумел дождь. Она снова начала крутить ручку граммофона.

— Ты не можешь оставить эту штуку в покое? Лучше поговорим о том о сем, а?

— Я знаю, что ты называешь поговорить,— ответила Сюзи.— Сколько у тебя?

Он не ответил, и она вытащила из конверта новую пластинку и уложила ее на диск, игла зашипела, побежала, и снова послышалась музыка.

— Бинг — это класс! Я одну его картину четыре раза смотрела.

Роман не сводил с нее угрюмых глаз, а она сидела, забыв обо всем, упиваясь вырывающимися из трубы звуками голоса, искаженного сработавшейся пружиной и тупой иглой.

— Класс! — повторила она со вздохом.— Жаль только, у нас нет приемника...

ГЛАВА XV

Роман жил со своей семьей в постройке, которая была не то сараем, не то курятником, не то собачьей конурой. Жалкое это сооружение к тому же едва держалось. И когда всем сразу нужна была крыша над головой, он сам, его жена и одиннадцать ребятишек набивались внутрь, как кролики в клетку. Когда же такой необходимости не возникало, дети слонялись вокруг, одетые в грязные кофты, старые рубахи, порванные майки. Больше ничего не было. От голода у них вздулись животы, и они целыми днями рылись в земле, как куры, выискивая лакомые отбросы: заплесневелые хлебные корки, обглоданные кости, грязно-липкие банки из-под сгущенного молока. Мать сидела на пороге, высохшая, как верхушка поваленного ветром дерева.

Постоянной работы у Романа не было, квалификации не было тоже. Сначала он перебивался от работенки до работенки, зарабатывая по нескольку шиллингов и снова пускаясь на поиски заработка. Потом, увидя, быть может, что так ему все равно не прокормить свое многочисленное семейство, он стал заниматься мелким воровством, обирая тех, кто был слабее его. Иногда в этом занятии он переступал границы и оказывался за решеткой.

В промежутках между очередными отсидками он пьянствовал и все свои несчастья вымещал на жене.

Думать и соображать он был не способен, а просто лупил того, кто оказывался поблизости, как тонущий, который размахивает руками и бьет по головам своих товарищей по несчастью, чтобы только дотянуться до сомнительного залога спасения — плывущего по волнам весла.

Он пропивал теперь все, что ему удавалось выманить, украсть или

иной раз заработать. А когда не было денег на самое дешевое вино, он пил шестипенсовый денатурат.

Когда он бывал дома, то все, кто жил поблизости, слышали неистовство его диких выходок. Он бил жену прутьями по голове, кулаками по лицу. Он ломал ей руки, ребра. Когда он уставал бить ее, он порол детей. Он почти всегда был в состоянии пьяного бешенства, а когда не было вина и средств добыть его, он был опасен, как старый голодный волк, готовый броситься на любого, кто попадался ему на пути.

Когда-то его жена была более или менее привлекательна. Но Роман вышиб и переломал ей зубы, а лицо измолотил и превратил в бесформенный узел шрамов. Какую бы любовь она к нему ни питала когда-то, все чувства ее давно уступили место ненависти; поначалу она даже дралась с ним, отбивалась. Но с годами непрерывные избиения и крайняя нищета иссушили даже ненависть, и женщина стала как тряпичная кукла, которую долго таскал и трепал дворовый пес, пока наконец не выпустил из нее опилки, и держит теперь в зубах лишь грязные обрывки лент. Она перестала сопротивляться, драки в их доме больше уже не были завлекательным зрелищем для соседей, и на них махнули рукой — пусть дерутся сколько душе угодно.

Но точно по волшебству жизнь не умирала в чреве женщины. Кажется, когда на нее ни взглянуть — она либо на сносях, либо с новорожденным на руках. Это пугало и бесило Романа еще больше. Его жена беременела безотказно, как по часам. И рожала так же гладко и легко, как шприц гонит смазку: нажмешь, и смазка выходит наружу. И поэтому, кроме шума, драк, в доме всегда слышался детский плач.

Он пробовал подступиться к известным в локации женщинам свободных нравов, чтобы только избежать общения с женой. Но он был нищ и жалок, его прогоняли, и тогда он возвращался домой и набрасывался на жену. В то утро, когда Чарли Паулс отделал его, он вернулся в свою хибару и зверски избил жену, в качестве компенсации за собственное поражение.

Чем это кончится, никто не знал. Да никому, собственно, и дела не было. Своих бед хватало.

ГЛАВА XVI

Дождь прекратился; повсюду была вода, между промокшими хижинами образовались стоячие озера, дорожки тянулись, как бусы черных луж, нанизанных кое-как на влажные нити глины, с мокрых листьев стекали капли воды и зимней морзянкой барабанили по сочащимся влагой крышам. Люди пробирались по дорожкам, переправлялись через лужи или продирались через липкую глину. Дети были счастливы: они шлепали босиком по воде, запускали флотилии щепок через коричневые озера. Повсюду стоял запах дождя, смешанный со всеми остальными запахами локации, растворявшийся во всепоглощающем горьком запахе нищеты и запустенья.

Когда Чарли вошел во двор своего дома, он сразу понял, что случилась какая-то беда. Здесь навис мрак, но иной, чем мрак непогоды, и Алфи с Рональдом слонялись по двору, хотя оба давно уже должны были уйти на работу. На пороге кухни стояла Каролина, большая, отяжелевшая, на ее расплывшемся кукольном лице застыло волнение.

— В чем дело? — спросил Чарли.— По какому случаю не на работе, бездельники?

Альфред посмотрел на него глазами, полными тоски и ужаса, а Рональд глухо, но прямо сказал:

— Отец. Он только что умер,— и отвернулся, насупившись, и еще глубже засунул руки в карманы брюк.

Чарли обвел их испуганным взглядом и прошептал:

— Нет. Нет!

Он бросился в дом, отпихнув стоявшую в дверях Каролину, и ее отекшее лицо сразу растянулось в плаксивой гримасе. Вбежав в кухню, Чарли услышал, как младший братишка Джорни плачет в их комнате, а из-за рваной занавески над входом в комнату родителей доносится странное унылое песнопение.

Это мать. Она сидела на стуле у кровати, ее руки лежали на коленях, а тело легонько раскачивалось взад и вперед в такт пению или причитанию. Слова падали сухие, как песок пустынь, на голову матери было накинуто черное покрывало, спина ее тихо покачивалась, а глаза смотрели невидяще прямо в стену.

— Ма,— позвал Чарли.

— Твой отец ушел от нас,— распевно проговорила мать.— Твой отец ушел и больше никогда не вернется. Он был для меня хорошим мужем, и всю жизнь он работал, чтобы прокормить нас, и он дал мне детей и помогал их растить. Он был добр со мной и со своими детьми, и он верил в нашего господа всемогущего Он жил и работал и не делал ничего, что дурно в глазах господа. Он работал для своей семьи, и когда уже не мог больше работать, он лежал и ждал, когда Иисус призовет его к себе. Теперь он ушел к богу, ушел от болезни и голода, ушел отдохнуть от своих трудов. Он нес свой крест, как и господь наш Иисус, и теперь ноша упала с его плеч...

Сухой, без слез, голос причитал, и плечи покачивались. На глазах матери не было слез, слезы были в ее словах.

Чарли посмотрел на кровать, и горло у него сжалось. Отец Паулс лежал теперь совершенно спокойный под ровным, неподвижным покрывалом, а лицо его, темное от щетины и застывшее, как маска, было обращено вверх из грязных подушек, и слова матери падали вокруг.

— Ма,— снова позвал Чарли.

Тихое песнопение кончилось, и раскачивающаяся фигура замерла. Несколько минут мать сидела молча, но вот бразды правления снова оказались в ее руках, и она заговорила.

— Отца надо обмыть,— сказала она.— Пошли малыша Джорни с ведром, пусть принесет воды. Кредитная книжка на полке в кухне.

— Хорошо, ма,— мягко ответил Чарли.

— А Ронни пошли за доктором. Он должен выписать справку, правда? По дороге он может сказать мистеру Сэмпи, который собирает каждую неделю похоронные взносы. Похоронная твоего отца выплачена. Я рада, что хоть это нам удалось.

— Хорошо, ма.

Она вздохнула.

— А ты сходил бы и позвал миссис Нзубу, чтобы она помогла мне. Она захочет помочь. Она помогала мне на свадьбе Каролины, и она обидится, если я не попрошу ее помочь сейчас. И сообщи брату Бомбате, и твоему дяде Бену, и другим людям. Людям надо сказать, я думаю.

— Хорошо, ма,— сказал Чарли, двигаясь к двери. Он нерешительно остановился и хриплым голосом добавил: — Ма, ты уж не очень убивайся, а?..

— Обо мне не беспокойся,— ответила мать, не обернувшись.— Пойду-ка уложу Каролину. Ей нельзя сейчас волноваться.

Когда Чарли ушел, она встала, подошла к комоду и долго рылась в нем, пока не отыскала старую картонную коробку из-под конфет. Коробка была полна до краев рваными потрепанными бумажками: свидетельствами о браке, о рождении, рецептами, табелями воскресной школы — целым архивом большой семьи. Она достала похоронную страховую книжку, на которой значилось имя Фредерика Паулса, остальные

бумаги сложила обратно в коробку. Открыла потертый кошелек, вынула два пенни. Затем, склонившись над кроватью, положила монеты на глаза старика Паулса. Руки его были сложены под покрывалом. После этого она полезла в шкаф за чистой рубашкой.

В кухне тихонько плакала Каролина.

— Как ты себя чувствуешь, детка? — спросила мать.

— Да вроде ничего, мама,— ответила Каролина отрешенно. Она вытерла слезы, и на лице остались грязные полосы.

— Поди ляг,— сказала мать,— и попроси Алфи посидеть с тобой. Вам пока здесь нечего делать. У Алфи вычтут день, если он пропустит работу?

— Не знаю, ма.

— Ну, ладно. Иди ложись пока. А я разведу огонь.

На улице небо по-прежнему было серо-стального цвета, а деревья стояли мокрые от дождя. Откуда-то из-за заборов доносились чьи-то слова, люди разговаривали, заходились лаем собаки. Позади дома по улице проехала телега, раскачиваясь и подпрыгивая в глиняной колее и залитых водой ямах и выбрасывая из-под колес маленькие фонтанчики грязной воды. Телега была нагружена дровами, прикрытыми кусками мокрой мешковины, и босой мальчик шел следом за повозкой, следя, чтобы поленья не падали на землю. Наверху на дровах, нахохлившись от холода, сидел усатый старик с изможденным лицом пророка и то и дело подстегивал лошадь. Телега тащилась по дороге, а одно из колес издавало резкие, высокие, мучительные стоны.

Во дворе послышались шаги, и в дверях кухни появилась женщина с заплаканным взволнованным лицом. Под тяжестью ее шагов заскрипел и пошатнулся дом.

— Доброе утро, Нзуба,— сказала мать из-за печки.

Представьте себе массу черносмородинного желе, разлитого во множество сообщающихся овалов, сфер, элипсов и прочих выпуклостей, являющих собой голову, торс, руки и ноги. Облачите это желе в широкие одежды, многократно стиранные и снова выпачканные, закапанные салом и супом, напяльте поверх платья мужское пальто, старое и расползающееся по швам, решительно отказывающееся застегиваться спереди, мужские вытянутые, перештопанные и все равно дырявые носки на слоноподобных икрах, обуйте эту фигуру в разбитые, расхлябанные мужские же ботинки со свалки — и вы получите в результате миссис Нзубу.

Когда она говорила или улыбалась, ее рот выглядел как раздувающийся и сжимающийся пузырь на кипящей поверхности шоколадного бланманже. Когда она двигалась или шевелила хотя бы одним пальцем, вся пышная громада ее тела приходила в движение, оно дергалось, колыхалось и дрожало, точно миллионы дряблых маленьких пружин начинали свое действие под неровной поверхностью кожи.

Увидев мамашу Паулс, она воскликнула:

— Ай, Паулс, Чарли только сейчас сказал мне. Ай, какой ужас! Мне так жаль, Паулс. Ужас, ужас, ужас.

— Это ничего, Нзуба,— мягко ответила мать.— Я рада, что вы можете помочь мне здесь немного.

— Мы должны помогать друг другу. Ужас, ужас...— говорила женщина, вытирая рукавом пальто слезу.— Было очень плохо, Паулс?

— Нет,— ответила мать, ворочая кочергой угли.— Он отошел спокойно. Я сидела там рядом с ним, он как раз поел немного супа, со вчера у меня остался. Он вдруг посмотрел на меня и говорит: «Рейчи,— он меня всегда так звал, знаете ли,— Рейчи, как дети?» И я сказала: «Отец, с ними все в порядке. Чего ты беспокоишься?» И он сказал еще: «Я бы

хотел, чтобы они жили в другом доме. Вроде тех домов с черепичной крышей». Я говорю: «Зря ты беспокоишься насчет дома»,— и он посмотрел на меня и закрыл глаза. Потом он как-то вроде вздохнул, и сразу у него заклокотало в горле, и вот так все и кончилось.— Мать минуту помолчала, вспоминая, как все это было, миссис Нзуба утирала слезы.

— Ну, Паулс,— сказала она, хлюпая носом, будто у нее насморк.— С тобой дети.

— Да, дети,— вздохнула мать.— Дети. Но я не знаю, Нзуба. С семьей как будто что-то происходит. Да, наверно, это во всех семьях. Младший, Джорни, не хочет больше ходить в школу, слоняется без дела, прогуливает. Целый день с другими детьми роется на свалках. Ронни совсем от рук отбился, и с каждым днем с ним все труднее. Да и что думает Чарли, я тоже не знаю.

— Верно,— сказала миссис Нзуба сочувственно.— Современные дети.

— Я послала Джорни за водой,— сказала мать.— Ты поможешь мне обмыть старика и по дому. Надеюсь, что Джорни не задержится.

— Немного воды есть у меня дома,— сказала Нзуба.— Она уже согрета. И ждать тогда не надо будет. Есть кого послать?

— Я потом верну тебе,— сказала мать.— Можно послать Алфи.

— Ничего не надо возвращать,— сказала женщина.— Мне приятно, что я могу помочь тебе. Мы живем здесь рядом столько времени.

— Большое спасибо, Нзуба,— ответила мать.— Я так тебе благодарна.

— Не надо меня благодарить. Мы должны поддерживать друг друга. Где Альфред? Я пошлю его ко мне за водой.

ГЛАВА XVII

Вода есть и в грозно нависшем небе, и в плодородной земле, есть вода в медных трубах и в железных цистернах. Вода, чтобы сварить кофе, чтобы выстирать лохмотья. Вода, чтобы обмыть покойника. Вода — это драгоценность; и во дворах и тех, в чьи дома проложены водопроводные трубы, выстраивались очереди маленьких оборванцев с ведрами, с банками и с кастрюльками. Те, у кого из кранов бежала вода, продавали ее остальным, у кого этого блага не было. Потому что жить-то надо, верно?

— Мистер, мать просит ведро воды до пятницы.

— До пятницы? Ждать двух пенсов до пятницы? Твоя мать, должно быть, рехнулась. Два пенса ведро, плата наличными.

— У матери нет сейчас двух пенсов, поверьте, мистер.

— А я, что ли, в этом виноват? Проваливай, да побыстрее. Некогда мне с тобой болтать.

— Эй, ты, гад, я первый сюда пришел! Слышишь?

— Пошел ты. Я здесь все время, очередь моя.

— Ах ты!.. Я здесь стою. Спроси ее. Ведь я стою здесь?

— Слушайте, вы, маленькие черти, если не умеете вести себя как следует, никто ничего не получит, понятно?

— Миссис, мать просит ведро воды до пятницы.

— Как бы не так! Нет денег — не будет воды. До пятницы ей...

— Эй, послушай! Ты что, за два пенса хочешь получить целую ванну воды? У нас здесь не распродажа, самим не хватит.

— А что? Два пенса — и наливай доверху, какую бы посуду ни принес. Разве не так?

— Ах ты сопляк! Ты еще поговори у меня, нахал ты этакий! Да я тебя сейчас как съезжу пониже спины!

— Банка есть банка. О размерах разговору не было.

— Ишь, ловкач какой! Принес целую ванну, и наливай ему до краев?

— Мистер, банка неполная. Долейте, чтоб полная была.

— Ладно, ладно, не ори! Давай сюда!

Вода с шумом, бульканьем, плеском бежит в ведра, банки, кувшины, горшки. Вода, чтоб варить по утрам кофе, вода, чтобы выстирать отцу выходную рубашку. А иной раз — чтобы умыться. Вода, чтобы обмыть новорожденного или покойника.

Вода — это прибыль. Чтобы извлечь эту прибыль, тот, кто торгует водой, должен дочиста отмыть в ней свою душу от сострадания. Он должен выполоскать из сердца всякую жалость, до крошки выскрести из себя жесткой щеткой корысти следы сочувствия к ближнему. Надо иметь водопроводный кран вместо сердца, цистерну вместо головы, свинцовые трубы вместо внутренностей.

— Полведра, мистер. У нас только одно пенни.

— Полведра? Полведра. О господи Иисусе, на что мне сдалось одно пенни?

— Ма просит банку воды до завтра, мистер. Ей-богу, мистер, до завтра.

— Скажи своей матери, до завтра еще дожить надо. Завтра. Что я, по-вашему, миллионер, что ли?

— Боже правый, ну и скряга этот человек!

— Скряга? Скряга. Ты с кем разговариваешь, а?

— Слушай, будь человеком, дай мальчику воды до пятницы.

— Какое твое дело? Ты, что ли, здесь хозяин? До пятницы. До завтра! Да ведь если они сразу не заплатят, от них гроша не дождешься.

— Черт возьми. Нельзя же быть таким, мистер!

— Ну-ну, проваливай. Хозяин новый нашелся.

— Эй ты, сейчас моя очередь. Думаешь, ты очень сильный, да?

— Ну-ка, не драться здесь! Ишь ты.

— Уу-у! Образина!

— Мы ведь бедные люди, мистер.

— Я тоже не богач. Что, вы думаете, я ем? Камни? Траву?

— Мистер, ведро воды.

— Жестянку воды, мистер.

— Скажи «пожалуйста». Их еще вежливости учи.

ГЛАВА XVIII

В доме набилось полно народа, а те, кто не смог протиснуться внутрь, толпились во дворе вокруг старой шелковицы и слушали, как в доме поют молитвы. Мужчины почти все были в своих выходных костюмах, черных или темно-синих, извлеченных из сундуков и тщательно вычищенных. И при черных галстуках. Женщины стояли в шляпах — как и костюмы мужчин, эти шляпы хранились для торжественных случаев, таких как свадьбы или похороны. Рядом с черными и синими костюмами люди в обычной рабочей одежде чувствовали себя неловко и скромно прятались в толпе. Здесь собрались родственники и соседи, смуглые лица мулатов и черные лица негров, все глядели строго и торжественно, потому что и в смерти — единение.

Чарли стоял во дворе и пожимал руки гостям. Его темный костюм, купленный бог весть когда, был тесен в плечах, и брюки коротковаты, и он втайне мечтал, чтобы все это поскорее кончилось и можно было переодеться. Рядом с ним стоял Рональд, он выглядел скорее угрюмым, чем печальным, и тоже принимал соболезнования от посетителей.

— Глубоко сочувствую, мой мальчик.

— Бог располагает, на все его воля.

— Смотри за матерью.

— Не унывай, мальчик.

Чарли улыбался, и кивал головой в ответ, и провожал гостей к дому.

Возле покойника сидели главным образом женщины. Мужчины курили и тихо разговаривали во дворе, в пасмурном свете утра. По временам в дверях кухни возникала давка — кто-нибудь расталкивал стоящих; пробирался внутрь, чтобы выразить свои чувства вдове. Женщины в доме пели скрипуче и нестройно. Другие женщины во дворе цыкали на ребятишек, сновавших вокруг, как щенки.

Ветер лениво завывал в листве, и лица настороженно обращались к свинцово-серому небу.

Чарли увидел Фриду, и его лицо расплылось в улыбке. Мрачная торжественность, царившая вокруг, сделала всех чужими, как будто смерть, стирая радость с лиц, прятала друзей за незнакомой маской печали. Но увидев эту женщину, он почувствовал тепло, тепло возвращения к жизни, и он сказал, идя ей навстречу:

— Фрида, я думал, что ты сегодня работаешь.

— Я отпросилась у мадам на полдня.

— Ты хочешь пройти в дом?

— Не беспокойся, милый. Я увижу мать после.

Темное красивое лицо мягко смотрело на него из-под шляпы, которая уже три сезона как вышла из моды и потому была выброшена хозяйкой. Она улыбнулась всем вокруг.

— Добрый день, сестрица,— сказал дядя Бен и попытался отвесить ей церемонный поклон, хотя это было и нелегко в жилетке, перетянувшей ему живот.— Печальный час, печальный час.

Он уже выпил стаканчик-другой перед тем, как прийти сюда, и его обычные горестные глаза, казалось, утонули в море отчаяния.

— Я бы хотел, чтобы все это уже кончилось,— сказал Чарли спокойно. Он посмотрел на небо и нахмурился.

— Чарли,— мягко упрекнула его Фрида,— ведь это твой родной отец.

— Я ничего не могу поделать,— ответил Чарли. Он лукаво улыбнулся Фриде, при ней ему было уже не так тошно.— Я приду сегодня вечером снова, хорошо?

— Фу, Чарли. Ты не должен сейчас говорить об этом.

— Ах, Фрида, Фрида.

— Смотри, люди выходят.

Из дома на двор высыпала толпа людей.

— Подожди здесь, не уходи,— сказал Чарли Фриде.

Он кивнул Ронни и Альфреду, и они вошли в дом. Он, Ронни, Альфред и дядя Бен должны были нести гроб. Протащить гроб в тесные двери им помогли еще двое мужчин.

В соответствии с выплаченной папашей Паулсом страховкой, похороны, как объяснил агент похоронного бюро мистер Сэмпи, устраивались на двадцать фунтов: катафалк, автомобиль для членов семьи и потом, конечно, гроб.

— Чтоб на нем было его имя,— сказала тихонько мать.— Отец хотел хороший гроб с серебряными ручками и чтобы имя было на серебряной пластинке.

И вот был гроб со сверкающей отделкой, а позади засуетилась, задвигалась толпа. Многие несли венки и букеты цветов. Некоторые женщины плакали, но глаза матери были сухие, суровые под черной накидкой и черной вдовьей повязкой. Толпа заполнила проулочек, ступали прямо в залитые водой колеи, и хмурый серый балдахин неба навис над процессией. Гроб установили на катафалк и усыпали цветами. Шофер большого черного автомобиля открыл дверцы.

— Садись сзади, ма,— сказал Чарли.— Каролина и малыш Джорни сядут с тобой. Миссис Нзуба тоже поедет?

— Нет,— ответила мать, влезая в машину.— Она сказала, что останется присмотреть за домом.

— Вот удача,— почти про себя пробормотал Чарли.— Этой женщине потребовался бы один целый автомобиль. Да из тяжеловесов у нас уже есть Каролина.

— Ш-ш,— сказала мать.— Нашел время шутить.

Каролина и Джорни уселись рядом с матерью. Оба плакали, Каролина выглядела уродливой, какой-то нелепой.

— Пусть дядя Бен сядет впереди,— сказала мать.— А ты где сядешь?

— Я пойду пешком, с остальными,— ответил Чарли.

— Я тоже пойду,— сказал дядя Бен.— Мужчины могут пойти пешком, я так полагаю.

— Ведь есть еще место,— сказала мать.— Тогда пусть впереди сядет Фрида. Позови ее.

Слова матери обдали Чарли теплом, это значило, что Фрида принята. Он улыбнулся ей, помогая влезть в машину, и тихонько подмигнул, но она скорбно смотрела прямо перед собой, как того требовала торжественная минута.

— Осторожно, пальцы,— сказал шофер и захлопнул дверцы.

Катафалк двинулся, медленно переваливаясь с кочки на кочку по глинистой дороге, а позади громыхала машина. Чарли и другие члены семьи шли за автомобилем, а еще дальше следом за ними тянулась остальная процессия. Все небо от края до края было одна лохматая, тяжелая туча.

Кортеж медленно пробирался среди ветхих хижин, мимо молчаливых зрителей по сторонам и выехал наконец на разбитую улицу, которая вела в городское предместье. Шаги зашаркали по разбитой, но твердой мостовой.

Возглавлял шествие, шагая впереди катафалка, мистер Сэмпи, агент похоронного бюро. Это был маленький, коричневый, с шишковатым черепом человечек, похожий на земляной орех. Сам по себе он был веселым и жизнерадостным, однако сейчас, при исполнении служебных обязанностей, он медленно шел, как подобает служителю смерти, с видом скорбным, заложив руки профессиональным жестом за спину, и, видно, гордился своими мешковатыми брюками в полоску и старым, вытюженным фраком, составлявшими его униформу.

Рядом с ним шел брат Бомбата, мелко-курчавый и черный, как жук, он шествовал с важностью, приличествующей его профессии, прижимая под мышкой растрепанную библию, ноздри его раздувались, лицо было вытянутое, хмурое — ну, прямо престарелая лошадь в белом целлулоидном воротничке.

Процессия вступила на улицы предместья.

Через стены и заборы садов чьи-то лица смотрели на похороны. На углу какой-то человек снял шляпу и стоял, вытянувшись, словно отдавая честь, пока катафалк проезжал мимо него. Небо было сумрачным, как сама смерть, упали первые капли начинающегося дождя. Когда кортеж достиг кладбища, снова заморосил мелкий дождь.

Чарли надеялся, что погребение будет непродолжительным, и тогда люди не попадут под сильный ливень. Поэтому его немного разозлило, когда брат Бомбата затянул длинную заунывную проповедь, и люди жались под дождем вокруг открытой могилы, среди надгробий, засохших

цветов, битых цветочных горшков, заброшенных могильных холмов и надписей с «неизменной любовью» и «вечной памятью».

На дерево неподалеку от могилы прямо с неба опустился зяблик и запел свою пронзительную песню. Вскинув головку, он с минуту наблюдал за происходящим, затем вдруг взмахнул крыльями и взмыл в небо, стремительно, как стрела, несущаяся среди деревьев.

Брат Бомбата продолжал читать проповедь, и его глубокий, профессионально скорбный голос звучал то громче, то тише под шелест веток на ветру. И вот наконец настало время опускать гроб в могилу. Заплакали женщины, Фрида вытерла слезы в уголках глаз, хрипло, громко зарыдала Каролина.

Только мать не плакала. Она стояла спокойно у края могилы и смотрела, как Чарли, Альфред, Рональд и дядя Бен бросили на гроб первые пригоршни песка.

Чарли работал быстро и умело. Он привык работать лопатой, и решительными движениями втыкал лопату в грунт, будто опять он копал траншеи, и комья земли летели в могилу, снова и снова со стуком падая на крышку гроба. Альфред работал как бы нехотя, бросая землю понемногу, казалось, его заставляют здесь совершать кощунство, а он хоть и подчиняется, но всякий раз просит прощения. Рональд копал землю мрачно, мысли его были где-то далеко, и он не обращал внимания ни на глухие удары земли по крышке гроба, ни на сверкающую металлическую табличку с выгравированным именем отца с датами его рождения и смерти, которая вскоре исчезла из виду. Дядя Бен, ворочая лопатой, часто и тяжело дышал. От пьянства он страдал одышкой, и он мечтал, чтобы кто-нибудь его скорей сменил. Он неуклюже держал рукоятку и орудовал лопатой в опасном соседстве от чьих-то тесно стоявших у края могилы ног. И вздохнул с облегчением и радостью, как только Чарли, выпрямившись, первым передал лопату тем, кто ждал своей очереди.

Могилу засыпали, и люди запели, и лицо матери под черной накидкой было твердым и отчужденным, маленький сморщенный рот твердо сжат, как зашитая рана, глаза горели, как угольки. Только плечи ее согнулись, казалось, несколько сильнее обычного, точно на них взвалили новую тяжесть. А вокруг нее нестройные голоса запели из книги гимнов «Останься со мной, вечер близко», и могильный холм со всех сторон был усыпан цветами.

ГЛАВА XIX

Но приходит и пора веселья. Джанни Франсмен умеет играть на гитаре. Его руки, обычно похожие на железные грабли, теперь чувствительны, как руки хирурга, его длинные пальцы танцуют по ладам и струнам, и музыка гудит и звенит в прокуренной комнате. Радостно трещит пламя в большой железной печке, и тетушка Мина вынесла восьмигаллонный бидон пива. Это дородная женщина с пухлым коричневым лицом, лоснящимся, как натертый паркет. Пальцы Джанни Франсмена ударяют и дергают струны то быстро, то медленно, то сразу несколько, то целыми дребезжащими пассажами. «По-американски играет»,— шепчут слушатели. Огонь ярко пылает, и в переполненной комнате тепло, и пиво идет нарасхват. Кто-то хочет петь. Девушки ставят локти на стол и подбородки на руки, ждут песен.

— Сыграй чувствительное, Джанни.

— Сыграй печальное.

Среди присутствующих есть парень из негритянского джаза, выступающего на новогодних представлениях, он умеет с таким чувством спеть «Парнишку Дэнни», что комок застревает в горле. Он умеет также петь

песни рабов, дошедшие до наших дней через триста лет с невольничьих голландских кораблей:

Onder deze piesang boompie, al op een eilandtje...*

— Послушай, малыш, спой нам песни запада.

И старая гитара, вся в шрамах, как ветеран, гудя и дребезжа, приносит звуки равнин, лежащих где-то за тысячи миль отсюда: «О, не хороните меня в пустынной прерии» или «Желтую розу Техаса». А попозже, ночью, когда всем станет грустно, будут петь хором «Воспоминания», «Мать» и «Я увезу тебя домой, Кэтлин».

А может быть, кто-нибудь из негров придет с концертиной, и тогда все будут, притопывая, раскачиваясь, танцевать под размеренное завыванье ее мехов и клавиш.

— Послушай, у меня остался шиллинг и четыре пенса. Не заказать ли нам еще по одной?

— Отлично, приятель. Надеюсь, тетушка отпустит нам в кредит до следующей пятницы.

В перерывах между песнями наступает очередь шуток и анекдотов. «Послушайте минутку, что я расскажу! Такой анекдот слыхали? Если, конечно, дамы не против, а?.. Про англичанина, ирландца, шотландца и еврея...».

Расходятся далеко за полночь. Усталая компания разбредается понемногу. Последними задерживаются несколько гуляк, но и они уже зевают и трут слипающиеся глаза, и только мягко звучит гитара, и ее звуки нежны, как стелющийся дым.

ГЛАВА XX

Ночь снова была холодна и неприглядна, и тяжелые облака были беременны дождем, как женщина, ждущая положенного часа. В комнате над гаражом Джордж Мостерт все шагал и шагал из угла в угол по грязному полу, терзаясь сомнениями: может, отважиться и сходить туда, куда его звал Чарли Паулс? Гордость боролась в его душе с одиночеством, и он до боли прикусывал губы под своими табачно-рыжими усами. Одиночество таилось в незастланной грязной постели на широкой деревянной кровати, на дамском туалетном столике, заваленном теперь потертыми галстуками и рваными носками. Там, где раньше пребывали тальк и лаванда, аккуратные стопки заколок и серые кольца резиновых подвязок, теперь были липкие круги от чашек чая и пустая бутылка из-под коньяка.

Подушки пахли теперь не пудрой, а коньяком и машинным маслом, а возгласы супружеского блаженства уступили место гнетущим мыслям и острому чувству жалости к самому себе.

Джордж Мостерт остановился у окна и всматривался в промозглую тьму. Проехала машина и, громыхая, свернула на север. Через дорогу, за скудным подлеском, была жизнь. Что ж, думал он, человек и там может хорошо провести время, даже в этой грязи и мерзости. Но извращенная гордость больно покалывала его ледяным острием сомнения, заставляла задуматься: «Может быть, это неправильно, чтобы такие люди, как мы, путались с ними. Ведь в конце концов...»

Вскоре после полуночи дождь полил снова. На сей раз это было покрывало из серых бусинок, накинутое на ночь, стремительно и настойчиво колотившее по крышам и высоко подпрыгивающее на дороге. Дождь был безлико-серый, но в нем все же был какой-то характер — резкий, булькающий, бормочущий, хлюпающий, пускающий пузыри, он был как слабоумный с ножом в руке, одержимый манией убийства.

* Под этим банановым деревом на острове...

Колонна полицейских автомобилей, грузовиков и арестантских машин двигалась по улицам пригорода, продираясь сквозь завесу дождя, и их фары вырывали из черно-серой тьмы желтые лоскуты.

Полицейские сидели неподвижно, прислушиваясь к постукиванию дождевых капель по крышам машин. Некоторые поднимали воротники макинтошей и прорезиненных плащей, точно чувствуя, как леденящий холод проникает за воротник и струйкой сбегает вниз по спине. Шины шуршали и шипели по асфальту, а когда попадали в выбоины дороги, людей подбрасывало, но они по-прежнему сидели с застывшими, безучастными лицами, прислушиваясь к шуму дождя. Почти никто не разговаривал.

Там, где кончался пригород и начиналась *локация,* полицейская колонна разделилась надвое и двинулась дальше, охватывая локацию в клещи. Теперь под колесами была глина, они буксовали, машины заносило, и водители осторожно работали рулем, пристально вглядываясь в пятна жидкого желтого света впереди через проволочные сетки, закрывающие ветровые стекла.

На подножке каждого из ведущих автомобилей в колоннах стоял человек, проклиная дождь, хлещущий ему прямо в лицо, судорожно цепляясь за мокрый металл кузова. Он смотрел вперед и указывал дорогу водителю. Легковые машины и грузовики швыряло из стороны в сторону, бросало вверх и вниз, но они продолжали продираться вперед, и вот наконец они встали, и локация оказалась окруженной цепочкой автомобилей.

Офицеры и сержанты подавали команды, и люди выпрыгивали из кузовов прямо в дождь, от которого сразу темнели макинтоши защитного цвета и начинали блестеть резиновые плащи. Белые полицейские были в портупеях, с кобурами поверх плащей, а черные и цветные, сутулясь под макинтошами, держали длинные полицейские дубинки. Их до блеска начищенные сапоги увязали в глине. Вскоре, разбившись на группы, они двинулись к жилищам африканцев. В некоторых хижинах горел огонь, тускло-желтый, похожий на медные пуговицы мундиров.

Джордж Мостерт опоздал. В конце концов он принял решение: он пойдет туда — так человек прыгает с обрыва, отступая перед стадом бегущих быков. Но на углу улицы, которую и улицей-то смешно называть, он снова остановился в нерешительности. Так он и стоял в холодной и влажной тьме и уговаривал себя, что все-таки нужно бы сходить попытать счастья.

Вокруг него темнота была полна звуков. Стрекот цикад, где-то вдалеке — собачий лай. Но прежде всего он ощутил зловоние: заглушающий все остальное запах разлагающихся отбросов, гнилого дерева и отхожих мест. Это был запах жалкой нищеты, так же, как аромат духов по две гинеи за унцию являлся запахом богатства.

Но вот полил дождь, а с ним улетучились вся решимость и мужество, какие он пытался собрать за непрочной пленкой своей воли. В кармане плаща у него было с собой полбутылки коньяку, прихваченного в качестве дружественного дара, но теперь он вдруг принял решение вернуться в гараж и самому допить ее. Он в конце концов предпочел острую боль одиночества.

И вот, повернувшись, под все усиливающимся дождем, он едва не столкнулся с девушкой, которая вынырнула навстречу ему из темноты. Он уловил запах дешевого вина и столь же дешевых духов, пробившийся через нечесаную слипшуюся щетину его усов, и инстинктивно, как вспугнутая лошадь, отскочил в сторону.

— Эй, парень, здравствуй,— приветливо сказала девушка. Это была Сюзи Мейер.— Что ты делаешь здесь в такой кромешной тьме?

— Проваливай,— пробормотал Джордж Мостерт и зашагал по разбитой полоске асфальта в сторону шоссе. Он хотел обойти Сюзи Мейер, но она не уступила дороги, а как назойливый терьер наскочила прямо на Мостерта, и коньячная бутылка в кармане его плаща уперлась ей в бедро.

— Хей! — крикнула она и пошла с ним рядом.— Что это там у тебя, а? — она обрадованно расхохоталась.— Кое-что для нас с тобой!

Дождь лил уже вовсю, и Джордж Мостерт оступился в яму, но девушка стояла рядом, вцепившись в его рукав; она всмотрелась в его злое, ожесточенное лицо и воскликнула:

— Ха, да это мистер Мостерт, верно? — Она снова засмеялась и хищно вцепилась в его плащ.

— Послушай, катись к черту,— угрюмо сказал Джордж Мостерт, но угасшие угольки желания вдруг стали разгораться где-то внутри, обжигая и пугая его. Перед ним была женщина, легко, наверно, доступная — за какую-нибудь выпивку и несколько шиллингов, но он боялся этого. Путаться с цветными женщинами не принято, во всяком случае, это противозаконно.

— Пошли к тебе домой,— говорила Сюзи Мейер.— Выпьем вместе немножко, а? Твой гараж совсем рядом.

— Нет, нет,— торопливо ответил Мостерт.

— Ну не будь таким, мистер. Послушай, мы отлично проведем время, точно тебе говорю.

Они подошли к дорожной насыпи, и Джордж Мостерт быстро вскарабкался по ней на дорогу, но девушка не отставала от него ни на шаг. У него не хватало мужества даже отпихнуть ее.

— Я не хочу иметь с тобой дела,— слабо пробормотал он.

— Да ладно тебе,— говорила Сюзи, улыбаясь ему через пелену дождя.— Ты боишься? Но ты ведь мужчина, правда? Мужчина.

— Нет, нет, нет.

— Ты забавный парень, мистер Мостерт. Я видела тебя около твоего гаража. Я тогда сразу подумала: вот мужчина, который мне нравится. Классный парень. Что надо. С деньгами, своя машина.— Они перешли через дорогу, Джордж Мостерт не поворачивал головы.— Послушай,— кричала Сюзи Мейер,— у тебя есть радио? Пластинки? Я так обожаю Бинга. Мы бы могли послушать музыку и выпить.

Он остановился в свете единственного мерцающего фонаря под навесом гаража и сердито сказал:

— Ты слышала меня, проваливай! — Его усы намокли и стали похожи на растрепанный обрывок веревки.

Но она была назойлива, как муха.

— Пошли, пошли. Мы здорово проведем время.

Ее намазанный рот улыбался ему, открыв черную дыру в ряду верхних зубов, маленьких, желтых, похожих на щенячьи клыки. Жесткие, уложенные в прическу волосы были повязаны ярким платком, стянутым в узел под подбородком и сейчас совсем обвисшим от дождя. «Она выглядит не так уж плохо»,— подумал Джордж Мостерт. Это была дешевая, искусственная привлекательность манекена в витрине магазина, но предательская мысль не уходила и сверлила: «Это не так уж плохо».

Дождь все усиливался за чертой тусклого света под навесом, и он снова услышал запах дешевых духов и назойливый винный привкус ее дыхания. Она дышала ему прямо в лицо, задувая разгоревшиеся было угольки страсти, и он оттолкнул ее и вставил ключ в замочную скважину двери, что вела наверх в его комнату.

Она стояла и ждала, улыбаясь своим грубо намазанным щербатым ртом, но он решительно и быстро распахнул дверь и тут же захлопнул у

нее перед носом, и улыбка на ее лице слиняла, как линяет иногда пестрый рисунок на дешевой ткани.

— Вот гад,— сказала она.— Надо же, дурак какой. Да провались он...

Она усмехнулась, поежилась и зашагала под дождем обратно через шоссе.

ГЛАВА XXI

Полицейский констебль Ван Ден Вуд сделал знак двум чернокожим полицейским следовать за ним, и все трое, с трудом ворочая сапогами в вязкой глиняной каше, двинулись через грязный двор к покосившейся лачуге. Ледяной дождь больно колол лицо, и все трое были не в духе оттого, что их погнали на облаву в такую погоду. Негры были в своих обычных плащах, вооруженные полицейскими дубинками — длинными гладкими палками, закругленными на концах. Ван Ден Вуд носил портупею с кобурой поверх макинтоша, и кобура была застегнута, чтобы вода не попадала внутрь. Во всяком случае, он не ждал сегодня никаких неприятностей.

Домик был погружен в темноту, и Ван Ден Вуд приказал одному из своих людей постучать. Полицейский сделал несколько шагов вперед по глине и забарабанил в дверь. От стука весь домик заходил ходуном. Повсюду вокруг полицейские стучали в двери и кричали. Где минуту назад лачуги были погружены во тьму, зажигались огни, и голоса сливались в один общий гул, вторя дождю.

Полицейский снова постучал в дверь, и Ван Ден Вуд гаркнул:

— Эй, там, открыть дверь!

Выждав несколько секунд, он отстранил полицейского-негра и, отступив на один шаг, со всего размаху двинул сапогом по двери. Лачуга зашаталась, задрожала, и изнутри донесся чей-то крик. В окне, составленном из обрезков стекла, вспыхнул свет, и в ту же минуту замок поддался, и дверь распахнулась.

Констебль Ван Ден Вуд ввалился по инерции в крохотную, душную, дымную комнату и еле удержался на ногах, проклиная все вокруг. Остальные двое вошли за ним следом. Голый негр стоял с коптилкой в одной руке, другой прикрывая стыд. Он стоял, как черная статуя. Позади него, на скомканной постели, натянув одеяло до подбородка, сидела женщина и испуганно смотрела на полицейских.

— Ну, быстро,— кричал констебль Ван Ден Вуд.— Где твой чертов пропуск? Где пропуск? — Он был высокий мужчина, и он стоял посреди комнаты в мокром плаще и фуражке, и у него было тяжелое розовое лицо цвета копченого окорока. Он продолжал бешено орать: — А ну, отпусти свои... и давай пропуск, паскуда!

Негр поставил лампу на стол и сказал по-туземному чернокожим полицейским:

— Дайте мне сначала одеться, приятели.

— Что он говорит? — спросил Ван Ден Вуд.

— Он хочет сперва одеться, баас,— ответил один из полицейских.

— Скажи ему, черт возьми, чтобы он не отнимал у меня время. Где пропуск?

— Твой пропуск,— сказал полицейский голому негру.— Твое разрешение заниматься любовью в этом районе.

— Сейчас достану,— угрюмо ответил мужчина. Он подошел к кровати и стал искать брюки. Женщина в постели начала всхлипывать, и он ей что-то сказал, но она не унималась.

Мужчина надел рубашку, заправив ее в брюки, повернулся к полицейским и угрюмо заявил:

— У меня нет пропуска.

— Что он сказал? — гневно спросил Ван Ден Вуд.

— Он говорит, что у него нет пропуска,— перевел полицейский, который до этого молчал.

Констебль даже замер от неожиданности.

— Грязный подонок. Заставил нас ждать чуть не полночи, а теперь говорит, что у него нет пропуска! — Он злобно посмотрел на черного.— Ну, ты у меня увидишь, ты, чертово пугало. Ты у меня увидишь.— Он повернулся к своим полицейским: — Надеть на него наручники и вывести на улицу. Я хочу обыскать эту комнату. Наверняка у них тут припрятана дагга*.

Полицейский достал наручники, приказал африканцу вытянуть руки, защелкнул их. Он подтолкнул мужчину к двери, и мужчина оглянулся, посмотрел на него, покачал головой и сказал:

— Зачем ты это делаешь, брат? Зачем ты так поступаешь со своими?

Ван Ден Вуд сказал второму полицейскому:

— Давай сюда, малый. Обыщи-ка помещение.

Сам он прошелся по комнате, смахнул на пол вещи с большой деревянной коробки, служившей ночным столиком. Он подошел к постели и безучастным движением плотника, выдергивающего клещами гвоздь, сорвал одеяло, в которое куталась обнаженная женщина. Она заплакала, издавая высокие, пронзительные звуки.

ГЛАВА XXII

На противоположном склоне, прямо через долину, итальянцы установили батарею мортир и обстреливали дорогу. Долина была желтая и темно-коричневая и глубокая, горная долина, и дорога была проложена по ее склону, а напротив стояли орудия итальянцев. Чарли Паулс лежал под грузовиком рядом с Фридой и прислушивался к глухим разрывам артиллерийских снарядов, которые падали вдоль обочины, где стояла колонна военных машин. Долина была темно-коричневая и желтая, и столбы густой пыли взметались в воздух, а мортиры все продолжали вести огонь, и все так же глухо звучали разрывы, и он чувствовал тело Фриды рядом с собой в этом шуме и слышал, как где-то далеко, но настойчиво звучит ее голос: «Чарли. Чарльз. Кто-то стучит».

Чарли Паулс просыпался медленно, с трудом продираясь сквозь сон, который, несмотря на видения, был мягок и нежен, как сироп, и он приподнялся, ощутив горячее сплетение ног в постели. В его ушах еще слышался артиллерийский огонь, но стреляли уже не пушки, а чьи-то кулаки неистово колотили в дверь. Он чувствовал, как содрогается лачуга под этими ударами, и его глаза открылись медленно, с трудом, как ставни на разбитых петлях.

Кто-то кричал с улицы:

— Открывайте, эй, вы, не то вышибем дверь ко всем чертям.

Чарли в постели, освободившись из объятий женщины, крикнул:

— Эй, ладно вам! Сейчас открою.

Рядом испуганно шептала Фрида:

— Что это, Чарли?

— Закон,— проворчал он.— Снова эта чертова облава.— И добавил: — Не беспокойся... Мы ничего такого не сделали.— Лачуга вновь сотрясалась от ударов, и он еще раз крикнул: — Иду, иду! Будет вам! — В передней части комнаты, за занавеской, испуганно заплакали детишки.

Чарли нащупал в темноте свои брюки и тихонько выругался. Фрида, приподнявшись, пыталась нашарить спички. Вспыхнуло пламя, и он усмехнулся ей в свете танцующего огня:

---

* Наркотик.

— Все в порядке. Присмотри за детьми.

Он спрыгнул с кровати и выпрямился, натянул джинсы и надел рубаху. Фрида тоже встала, пока он зажигал еще одну спичку, разыскивая лампу. Кулаки снова забарабанили в дверь, и он зажег лампу и подвернул фитиль, а Фрида устроилась на лежанке, утешая, успокаивая хнычущих детей.

Чарли босиком подошел к двери и повернул ключ. Дверь резко распахнулась, едва не задев его по лицу, и, когда ввалились люди в униформах, он отступил назад. Луч карманного фонаря остановился на нем на секунду и затем погас.

В этой группе было четверо полицейских — белый сержант и трое негров. Сержант посмотрел на Чарли Паулса и сказал:

— Отлично. Где дагга?

Чарли посмотрел на него.

— Здесь нет дагги. Мы приличные люди.

Сержант ухмыльнулся и осмотрелся вокруг. Это был низенький, грузный мужчина с густыми белыми бровями, которые изгибались, когда он говорил, подобно жирным извивающимся червям, и с маленьким тонким ртом, похожим на бескровную ножевую рану. А в остальном лицо его было кирпичного цвета и кирпичной твердости, рассеченное во всех направлениях мелкими морщинками, похожими на линии географической карты,— и на равнинах щек, и на впадинах в уголках рта, и на хребтовине носа. Его глаза были влажны и плоски, как серая гладь озера. Позади него стояли три темнокожих полисмена с унылыми, коровьими лицами.

Сержант снова огляделся, задержался взглядом на Фриде и на испуганных детских лицах; Фрида стянула ворот ночной сорочки. Потом сержант, крякнув, оттолкнул Чарли, подошел к занавеске, заглянул за нее и вернулся на середину комнаты.

Усмехнувшись, он посмотрел на Чарли.

— Приятно сейчас нежиться в постели, а? А я вот мотайся под дождем.— Так же усмехнувшись, он оглядел Фриду и спросил Чарли: — Имя, парень?

— Чарльз Паулс.

Сержант снова крякнул и посмотрел на Фриду своими плоскими, влажными, безрадостными глазами.

— А твое?

Фрида с трудом проглотила ком в горле и, напуганная, назвала свое имя. Сержант ухмыльнулся, показав краешек зубов, белых, как свежевыбеленный край тротуара.

— Вот как! — сказал он Чарли.— Приличные люди.— Рот его открылся, в глотке у него что-то захлюпало, заклокотало, затарахтело. Он хохотал. Затем закрыл рот, и хохот сразу прекратился, как будто какой-то механизм внутри его внезапно вышел из строя. С издевкой он посмотрел на Фриду:

— Вот шлюха черномазая.

Потом, дернув головой в мокрой фуражке, дал знак своим спутникам следовать за собой и вышел из дому в дождливую тьму. Все трое, не говоря ни слова, потянулись за ним. Чарли захлопнул за последним дверь.

— Блюстители! Подонки! — огрызнулся он.

Отвернувшись, Фрида укрывала детей. Но он видел, как задергались, задрожали под ночной рубашкой ее плечи. Он подошел к ней, положил свою широкую пятерню ей на плечо и повернул ее к себе. Из припухших сонных глаз по выпуклым скулам скатились две слезы.

Нахмурившись, он спросил:

— Черт возьми, чего ты плачешь? Ведь они ничего не сделали.

Но она посмотрела на него сквозь жемчужинки слез, тело ее затряслось от рыданий, и она сдавленным голосом сказала:

— Ты слышал, что сказал этот тип. Он назвал меня шлюхой.

Она вывернулась из-под его руки и, плача, убежала за занавеску. Чарли пошел за ней следом, пораженный, недоумевающий. Она лежала в постели лицом к стене.

А в стену настойчиво стучал дождь.

Он присел на край прогнувшейся кровати и смотрел на ее вздрагивающую спину. И любовь поразила его, пронзила ему грудь, сдавила горло, и он снова протянул к Фриде свою тяжелую руку и повернул ее на спину.

Он откашлялся и как-то неловко сказал:

— Слушай, мы же поженимся. Я и ты. Мы с тобой.— Он кашлянул, вид у него был растерянный, смущенный.— Ну, довольно плакать, милая. Ты увидишь. Мы поженимся. Какого черта, в самом деле!

Она проглотила слезы и сказала:

— Ты это только так говоришь.

— Нет. Ей-богу, это правда. Господи, да нам давным-давно надо было пожениться.

Фрида заглянула ему в лицо и зашептала, еще глотая слезы:

— Ты это вправду, малыш Чарли?

— Конечно. А ты как думала?

— В самом деле?

— Ну да.

И тогда он почему-то почувствовал себя чистым, незапятнанным, как странички нового школьного учебника, и это снова повергло его в замешательство. Он хотел больше не думать об этом, подумать о дожде, который хлещет и хлещет на улице, о том, как тепло и сухо в этой маленькой лачуге, с оклеенными бумагой стенами, все еще хранящими тепло от примуса. Примус надо починить, он этим займется. Он в мыслях снова вернулся к Фриде, как ребенок, который потерялся и снова нашел свой дом.

Где-то на улице в шуме дождя громко разговаривали люди, хлопали двери, голоса кричали — раздавались звуки другого мира, от которого они сейчас отделены. И тогда он вдруг встал, потянулся за своими армейскими ботинками и начал обуваться.

— Чарли,— крикнула Фрида,— куда ты?

— Пойду посмотрю, что происходит.

— Не ходи, Чарли! Мало ли что может случиться!

Он ответил, притопнув, чтобы ботинки влезли как следует:

— Не говори так, Фрида. Я только посмотрю. Посмотрю, что они там делают с нашими.

— Чарли, милый.

— Я не впутаюсь в беду,— сказал он.— Ты лежи спокойно и следи за детьми.— Он надел клеенчатый дождевик и улыбнулся.— Увидишь, все будет в порядке.

На улице ярко сияли фары нескольких арестантских машин — они стояли полукругом на тесном грязном пустыре. Неистово заливались лаем собаки, и фигурки людей двигались во все стороны в сплошном низвергающемся потоке воды. Полиция задержала нескольких негров, и они стояли, сбившись в кучу, промокшие, дрожащие от холода, и полицейские сортировали их и распихивали по грузовикам.

Негр вышел из своей лачуги и подошел к воротам, чтобы посмотреть, что происходит. На нем плащ, накинутый поверх пижамы. Луч фонарика падает на него, и тотчас вокруг него — полиция.

— Где твое удостоверение, кафр?

— В доме, в кармане пиджака.
— Где удостоверение, ты обязан иметь его при себе!
— Сейчас принесу. Оно дома.
— Так, значит, нет пропуска, да? А ну, пошли!
— Послушайте, он же в доме, сэр.

Но полицейские уже подхватили его и тащат в кучу других негров, ожидающих, когда их погрузят в полицейские машины.

Вот целая толпа черных и цветных, мужчин и женщин, ждущих под дождем, когда полицейские их усадят и увезут. Многих взяли потому, что у них не оказалось документов, у других документы были не в порядке — отсутствие штампа могло перевернуть всю жизнь. У третьих обнаружили даггу, другие оказали противодействие пришедшей с обыском полиции. И, наконец, последняя группа — их застали за незаконной торговлей спиртным.

Чарли увидел среди них тетушку Мину. Она препиралась с офицером, кричала на него и размахивала мокрым зонтом, от которого он то и дело со смехом пятился назад. Толстая и черная, как дуб, тетушка Мина негодовала:

— Так и знайте, капитан, мне до всего этого, о чем вы говорите, дела нет. Но почему это я должна мокнуть под дождем, вот что я желаю знать!

Офицер смеялся. Он был самоуверенно весел и находил эту старую толстуху забавной. Ему уже приходилось иметь с ней дело. Он сказал, смеясь:

— Не кипятись, Мина. Мы предоставим тебе отдельную полицейскую машину. Тебе там будет сухо и уютно. А потом отдельную камеру, будешь греться в ней до самого суда.

Тетушка Мина ткнула в него зонтом. Дождь и ветер доконали ее зонт, осталась только ручка, черный лоскут и несколько грозно топорщившихся спиц, напоминающих какое-то небывалое средневековое орудие пыток. Офицер попятился — чего доброго, выколет глаза старуха.

— Не боюсь я вашего суда, полковник. Я семь штрафов уплатила, могу еще семь уплатить. Да! Вы мне только скажите, почему вы это затеяли в такой дождь, а? Объясните.— Она теснила его, как старый африканский буйвол.

Задержанные смеялись, но нервничали. Офицер покачал головой и со смехом сказал:

— Ну, ладно, ладно, Мина.

Дождь все еще лил, но не так сильно. Чарли Паулс стоял в полутьме, на краю зарева автомобильных фар, и наблюдал за происходящим. Дождь струйками стекал с его желтого плаща, капал с кепки. Полицейские пересчитывали задержанных, рассаживали их по машинам, кричали, размахивали фонариками и дубинками.

Вдруг кто-то отрывисто произнес:

— А ты чего здесь стоишь, приятель?

Чарли оглянулся и увидел полицейского. Под сверкающим козырьком форменной фуражки глаза его были мертвы, как потухшие угли, в его светлых усах застыли жемчужины дождевых капель.

— Тебе здесь чего-нибудь надо, парень?

— Ничего, просто смотрю,— ответил Чарли и вдруг злорадно ухмыльнулся полицейскому, широко растягивая губы под мокрой щетиной.

— Убирайся,— сказал полицейский.— Иди домой. Ну, раз, два.

Что-то закипело в душе Чарли, но он спокойно сказал:

— Я только смотрю. Разве нельзя смотреть, когда своих упекают в тюрьму?

— А-а,— произнес полицейский, и его усы задвигались.— Да ты упрямый, оказывается? — Его рука потянулась к наручникам на поясе, а спрятанные в тени глаза не отрывались от Чарли.

Голос Чарли прозвучал грубо:

— Да, упрямый. Ну и что?

— Бьюсь об заклад, что ты один из этих коммунистических подстрекателей. Я тебе покажу.

Чарли усмехнулся грубо и оскорбительно. Его глаза следили за движениями рук полицейского. Это были большие красные руки, цвета сырой ветчины. Полицейский отцепил наручники, чуть-чуть повернул голову, чтобы подозвать кого-нибудь на подмогу, и в это мгновение Чарли вдруг ударил его в подставленную челюсть.

Это был тяжелый, резкий удар, в который Чарли вложил весь вес своего тела, ноги полицейского оторвались от земли, и он плюхнулся спиной в грязь с глухим хлюпающим стуком, точно упал с большой высоты. И тогда Чарли бросился бежать, перепрыгнув через дрыгающиеся ноги в защитных брюках, устремляясь в темноту.

Полицейский заорал ему вслед, крик подхватил хор голосов. Кто-то, хлюпая, топал по глине — сбегались, крича, полицейские. Но Чарли уже мелькал в темноте желтым, неясным пятном, петляя и мчась, как гончий пес.

Один из полицейских поднял пистолет и выстрелил. Выстрел в шуме дождя прозвучал как-то вяло и глухо, и пламя вспышки пронзило на секунду мутные огни фар, а эхо разнеслось вокруг и откликнулось где-то среди хижин.

Но Чарли уже скрылся в джунглях локации. Он свернул в сторону, перелез невысокий железный забор и присел за ним. Он знал, что если бежать, то рано или поздно наткнешься на других полицейских, обыскивающих локацию. Он сел прямо в глину под дождем, чтобы как следует отдышаться. Он думал. Отличный был удар, лучший удар в его жизни. И тогда он начал смеяться. Он смеялся беззвучно, и тело его сотрясалось под желтым клеенчатым плащом.

Он был далеко и не видел, как в светлый круг от фар полицейские ввели его брата Рональда.

ГЛАВА XXIII

Рональд как раз собирался сойти с усыпанной сухими листьями обочины на шоссе, куда забрел в своих одиноких ночных странствиях, как вдруг увидел Сюзи Мейер: освещенная тусклым фонарем, она вышла из-под навеса над гаражом Джорджа Мостерта. Он вздрогнул и остановился под деревом, с которого лило хуже, чем с неба; девушка переходила через дорогу. Потом черная, бессмысленная злоба вонзила в него свои острые когти, и он заторопился по тропе, чтобы перехватить Сюзи. Дождь хлынул с новой силой, он падал отвесными струями, но Рональд не чувствовал холода — в сердце его кипела горячая ярость.

Девушка кое-как съехала с глинистой насыпи и пошла по тропинке, сгорбившись под дождем,— голова, повязанная вымокшей косынкой, втянута в плечи, купленное на барахолке пальто с вытертым меховым воротником распахивается на каждом шагу, открывая яркое дешевое платье. Она уже почти достигла старой улицы, когда прямо перед ней выросла фигура Рональда.

Сюзи испуганно вскрикнула и отпрянула в сторону, но тут же узнала это лицо, приблизившееся во мраке к ее лицу, мокрое от дождя, озлобленное до безличия. Она сказала:

— Это ты. У, как я испугалась.

Его пальцы крепко сжали ее руку, он потянул ее под дерево:

— Испугалась? Еще бы тебе не испугаться, Сюзи.

— Слушай, пусти меня, парень. Что это тебе взбрело в голову?

— Отпущу, не беспокойся. Кончу только.

Он посмотрел мимо нее туда, где за шоссе виднелось бледное зарево над гаражом Джорджа Мостерта.

— Значит, вот ты чем занимаешься? Не ожидала, что я тебя накрою?

— Да о чем ты? Пусти, я пойду. Ведь дождь льет, парень.

— Ты брось про дождь. Знаешь, о чем я. У этого типа машина, собственное дело, монеты, ты и нацелилась, а?

Сюзи Мейер наконец поняла, о чем он говорит, и посмотрела через дорогу. Она злорадно усмехнулась и сразу успокоилась. Злорадство было ее стихией, ее натурой, частью ее существа, как губная помада и пластмассовые бигуди.

— Ну и что? Ты мне хозяин? Что хочу, то и делаю. Нет, скажешь?

— Ты так думаешь? — его голос звучал, как хруст угля под ногами. Его пальцы еще сильнее сдавили ее руку, но она по-прежнему вызывающе улыбалась ему, а ее глаза сверкали издевкой, как фальшивые драгоценности.

— Ну, ясно? Я там чудно провела время. Выпивка была и пластинки у него есть. Бинг и другие.

— Белый псих! — Его лицо исказилось не то в плаче, не то в бешенстве, унижение заключило его в свои позорные объятия.— Ты должна была развлекаться только со мной. Ведь ты моя девушка, так?

— Да иди ты... Я что хочу, то и делаю. Кто ты такой, чтобы помыкать мною? А теперь пусти, сопляки меня больше не интересуют.— И она закатилась жутким злорадным смехом, который действовал на его нервы, как тупая пила, и его свободная рука вцепилась в рукоятку ножа, который лежал у него в кармане.

А она все хохотала и хохотала, вырываясь и пятясь, но его рука дернула ее вперед, и прежде, чем она успела, хохоча, отпрянуть, нож вонзился в тело, и Рональд вскрикнул, как собака, которую пнули ногой.

Дождь бил ее по лицу, и она почувствовала жар лезвия в своей груди под леденящими потоками воды. Снова сверкнуло лезвие, полоснув ее по лицу, и снова вонзилось ей в грудь. Она попыталась крикнуть, но у нее лишь что-то забулькало в горле, так как нож уже раскроил ей горло и перерезал голосовые связки. Удары ножа сбили ее с ног, и она, барахтаясь, повалилась в глину. Она тяжело упала на бок, хотела встать, но была пригвождена. А нож снова и снова впивался в ее тело, раздирая дешевое яркое платье и тугую кожу. Руки не слушались, не поднимались, чтобы остановить нож. Этим диким, бешеным, раздирающим ласкам лезвия ей оставалось лишь покориться, как еще одному любовнику.

Рональд изумленно смотрел на ворох старой одежды у своих ног. В темноте он не мог ничего разобрать. Что-то поднималось и опускалось у него внутри, как будто какая-то чудовищная обезумевшая пружина. Он хотел что-то сказать, но получились у него те же звуки, какие издавала умирающая девушка. Так он и стоял над ней, ошарашенно глядя себе под ноги, когда полицейские фонарики залили вдруг своим белым светом его и мертвую девушку, и мертвые глаза на иссеченном, омытом дождем лице блеснули, как две тусклые жемчужины.

ГЛАВА XXIV

Каролина лежала на матраце в углу своей хижины-контейнера, слушая, как на ночной улице плещет дождь, и чувствовала, что боль подступает снова. Схватки начались еще после обеда, но она держала свою боль про себя, стараясь даже не думать о ней, ощущая скорее робость, чем страх. Схватки вообще-то должны были бы ее напугать — она собра-

лась рожать впервые, но мозг ее оставался спокойным, по-коровьи неповоротливым, как и ее лицо, и ее тело. Но сейчас боль хлестнула, словно бичом из колючей проволоки; она прикусила нижнюю губу, и все ее большое тело свело судорогой под старым одеялом и наброшенным поверх пальто.

Хижина была маленькая и захламленная. Они с Алфи спали на полу на старом матраце, один конец комнаты занимал ветхий умывальник, на нем — продавленный таз с облезшей эмалью и кувшин и рядом свеча на деревянном ящике, который служил им столом; одежда висела на проволоке, протянутой под низким потолком. Тут же лежала кипа старых газет, которые мать велела ей собрать для родов, над кипой — картинка «Распятие» в потрескавшейся рамке: Христос удобно повис на кресте, будто уснул сладким сном, и двое римских солдат в красных одеждах сторожили его, опершись на копья. Рядом на стене был наклеен вырезанный из журнала снимок какого-то киногероя в ковбойском наряде. Красивое лицо все словно в черных оспинах, оставленных мухами, улыбаясь, глядело в хижину.

Старинная керосиновая лампа висела под потолком, и Алфи, расположившись под ней на шатком ящике из-под яблок, читал в ее тусклом маслянистом свете замусоленную книгу без обложки. В хижине пахло отсыревшей одеждой, дымом и плесенью, и ледяной ветер свистел в ее непрочных швах.

Боль снова полоснула Каролину, она вцепилась в свой раздувшийся живот, и стон сорвался с ее губ. Альфред, поглощенный ружейной стрельбой и похождениями похитителей скота, услышал ее стон через завесу дождевого шума и воображаемый треск шестизарядного пистолета. Удивленный, он поднял голову.

— Хэй, в чем дело, а? Что тебе? — Он вскочил на ноги, отцовство надвигалось на него угрожающе, как иногда создание оборачивается против творца, и он бросился к жене с широко открытыми от ужаса глазами.

— Ма,— выдавила из себя Каролина между двумя схватками.— Позови мать.

Он торопясь дернул с проволоки свое пальто. Какие-то вещи посыпались на пол, он отшвырнул их ногой с дороги, на ходу просовывая руки в рукава.

— Тебе плохо? Ты лежи смирно, слышишь? Лежи смирно. Я позову мать.

Он потянул на себя дверь. Набухшее дерево поддалось не сразу, он рванул отчаянно, изо всех сил. Дверь распахнулась, дождь с ветром ворвался в комнату, и свеча на деревянном ящике потухла. Альфред выбежал и захлопнул за собой дверь. Каролина лежала на полу под тощим одеялом в тусклом свете керосиновой лампы и, обхватив живот, дрожала, ожидая нового приступа боли.

Она стонала, когда боль ножами вонзилась ей в поясницу; и лоб ее покрылся мельчайшими капельками пота. Она заплакала, и рыдания сотрясали ее, и она молила, чтобы поскорее пришла мать. Она боялась, что вот сейчас она умрет, и визжала от страха и острых приступов боли. Дождь барабанил, и на дощатом потолке, где толь треснул вдоль шва, образовалась течь. Вода, наконец, просочилась, у входа образовалась лужа и стала растекаться по полу.

Наконец пришла мать в накинутом на плечи старом пальто. Она принесла с собой шахтерскую лампу из комнаты Чарли. Затворив дверь, мать осмотрелась и ласково улыбнулась лежащей на матраце дочери.

— Сейчас, сейчас. Все в порядке, дитя мое.

Она скинула с себя мокрое пальто и бросила его к стене около двери, потом еще раз огляделась, нашла какой-то выступ под потолком, повесила на него лампу и выкрутила фитиль. Она прибавила огня и в другой лампе, взяла кувшин с умывальника и подставила под течь с потолка, и струйка воды тихонько забарабанила по жести.

Мать склонилась над Каролиной и вытерла ей лоб.

— Давно начались схватки, детка?

Каролина застонала и забормотала.

— Ну, вот. Надо было раньше меня позвать. Мы бы взяли тебя к себе. А теперь, видишь? Придется рожать здесь.— Она кашлянула и улыбнулась своими старыми высохшими губами.

Снова начались боли, и Каролина, зная, что мать здесь, дала себе волю и закричала.

— Ничего, ничего,— сказала мать.— Я послала Алфи за сестрой и велела еще сообщить Нзубе. Пусть придет, она всегда помогает в таких делах.— Дождь все шумел за стенками хижины.— Надеюсь, сестра придет вовремя.

Она стала развязывать кипу старых газет.

— Только не тужься, детка. Еще не надо тужиться.

В комнате от двух горящих ламп стало теплее. Дым плыл под потолком, и струйка воды сбегала с потолка в кувшин. А Каролина кричала и кричала.

Мать откинула одеяло и пальто, которыми была укрыта Каролина, и закатала ей до пояса старую рубашку.

— Теперь ты должна приподняться, слышишь? Чтобы я смогла подложить под тебя газеты. Скорей бы пришла Нзуба. Ну как, сможешь?

Каролина снова вскрикнула и застонала. Звуки, казалось, повисли в хижине. Дождь вдруг забарабанил слабее, ветер швырял его в стены порывами, и течь на потолке вдруг уменьшилась, струйка стала капелью, будто кто-то прикрутил кран.

Затем скрипнула и взвизгнула дверь, и миссис Нзуба вползла в хижину. Ее гороподобное тело сразу заполнило все помещение, и она закудахтала, словно какая-то гигантская птица.

— Ай, ай, хорошо, хорошо,— кричала она. Под ее тяжестью прогибался пол, но она двигалась бесшумно, как танцовщица.— Вот это дождь.

— Я рада, что ты пришла, Нзуба,— сказала мать.— Я поставила греть воду, и вот газеты.

— Ай, маленькая девочка,— сказала женщина, опускаясь на колени у матраца. Казалось, потеряй она случайно равновесие, она проломит стену. Но громоздкая, как гиппопотам, она с ловкостью фокусника и с полным знанием дела хлопотала над беспомощным телом роженицы, сочувственно повторяя:— Ох, ох, ох,— всякий раз, когда Каролина начинала кричать.

— Все будет хорошо? — спросила мать с тревогой.

— Еще бы, она сильна, как молодая корова,— ответила миссис Нзуба.— Не волнуйся, Паулс. Не волнуйся. Теперь надо ждать, и ничего больше.

— Она дотянула до последнего,— сказала мать.— Скорее бы уж пришел Алфи.

Каролина на матраце вдруг откинулась, дрожь передернула ее большое тело, колени судорожно согнулись, выпрямились, снова согнулись, она вскрикнула, цепляясь за руки обеих женщин, вскрикнула еще раз.

Сквозь крики раздался стук в дверь, точно треск барабана. Чей-то голос кричал:

— Эй, вы там, откройте! Откройте!

— Кто это может быть? — спросила мать.— Сестре еще вроде бы рано. Но дай бог, чтобы это была она.

Чья-то рука снова колотила в дверь, и хижина тряслась, словно в лихорадке. Мать встала, подошла и открыла щеколду. Луч карманного фонаря ударил ей в глаза, и она увидела в темноте фигуры в мокрых плащах, а прямо перед собой — лицо белого полицейского.

— Тихо,— сказал он.— Что тут за крик? Вы что, напились? Где вино? — Он хотел пройти, но мать решительно преградила ему дорогу, глядя прямо в это белое, как свиное сало, лицо и серые, как пепел, глаза под форменной фуражкой.

— Вам сюда нельзя,— сказала она твердо,— здесь... ребенок.

— Ребенок? Что еще за ребенок?

— Здесь рожает женщина,— сказала мать.

В этот момент Каролина закричала.

— Боже ты мой! — сказал полицейский. Он заглянул через плечо матери в хижину, увидел громаду миссис Нзубы, склонившуюся над лежащей на матраце женщиной. Глаза его оглядели прокуренный потолок, грязный пол, течь в крыше и всякую рвань, разбросанную как для продажи. Запахи дыма, масла и родов наполняли комнату.

— Рожает?.. Здесь? — спросил он, затем пожал плечами и проворчал:— Ну, ладно, ладно.— Он повернулся, отдавая приказания своим людям, и мать захлопнула за ним дверь.

Каролина снова закричала, ее ноги напряглись, и миссис Нзуба сказала матери:

— Головка показалась.

— Все будет хорошо, Нзуба? — взволнованно спросила мать.— Сестра...

— Все хорошо,— ответила массивная Нзуба.— Эти вещи нам не впервой. В этом мы разбираемся, Паулс.

Роженица кричала и напрягалась, и женщины суетились над ней. А в темноте улицы в глине, как гадюки, шипели шины — полицейские автомобили уезжали, как пьяные, спотыкаясь на камнях и колдобинах. Они перевернули локацию вверх дном, как иногда вытряхивают пальто, выворачивая карманы и отдирая подкладку, как скряга, пытающийся отыскать потерянную монету, и теперь они шумели и рокотали, удаляясь, под проливным дождем.

ГЛАВА XXV

Мусорная свалка на краю локации — излюбленное место детских игр. Там можно взбираться на дюны мокрой бумаги и ветоши, и продираться сквозь джунгли ржавого железа, и качаться на гнилых и скользких обломках, вдыхая зловонный болезнетворный воздух, кишащий мухами, как пудинг — изюминами.

Из гниющего трупа помойки торчат сокрушенные ребра каких-то машин, разломанные стулья, вывалившиеся, спутанные провода-внутренности. Здесь можно увидеть самые немыслимые обломки и отбросы: дверь, которая никуда не ведет, секцию канализационной трубы, в которой так изумительно звучит эхо. Черви, извиваясь, буравят ходы в черной мякоти разлагающегося дерева, и великое множество разнообразнейших насекомых населяют изломанный мир фарфоровых черепков и консервных банок. Здесь валяются ржавые железнодорожные рельсы, искореженные, изогнутые, как растения с какой-то другой планеты, и вспученный кузов древнего автомобиля, зияющий, как пасть небывалого чудовища.

Все на этой свалке — совершенно бесполезные отбросы, конечный результат деятельности гигантского кишечника трущоб. Потому что все,

могущее принести хоть какую-то пользу, имеющее хоть какую-то, самую ничтожную цену,— все это давным-давно уже растащили. Кто-нибудь выбрасывает треснувшую ночную посудину — ее подбирают, чтобы использовать как цветочный горшок. Свалка — это чудовищный обменный рынок. Здесь богатство даже в грязи. Однажды здесь был найден трупик задушенного новорожденного младенца, завернутый в окровавленные газеты. Собственно, нашел его первым один бродячий пес и как раз пожирал свою добычу, когда его заметил кто-то из людей.

Дождь прекратился, и дети снова принялись за свои игры на свалке, вскидывая над головами пригоршни конфетти из гниющих тряпок и размокшей бумаги и весело оглашая воздух детскими голосами:

— Вот это да! Ночной горшок! — кричит один и нахлобучивает его себе на голову, как каску.— Смир-р-но!

— Да пошел ты, знаешь куда. Солдат нашелся!

— А что? Я тебя могу насмерть пристрелить, запросто.

— Много воображаешь. Мой отец был солдатом, настоящим солдатом, понял!

— Ну, ладно, ладно. Вот у Джорни брат Чарли тоже был солдатом. Спроси его.

Джорни Паулс пыжится от гордости.

— Ну да, Чарли был солдатом, это точно. И на войне он был, но уже давным-давно. А вы как думали? — Что-то вспомнив, он вдруг кричит:— Это что! А вот знаете, мой другой брат, Ронни, убил шлюху. Он теперь сидит в тюрьме, только подумайте! Прирезал ее до смерти, ножом.— Он тычет себя пальцем в живот и визжит, изображая, как это было, и пританцовывает на груде отбросов. Все смеются, а он гордо кричит: — А Чарли говорит, что Ронни повесят, наверно, на веревке! — Он сжимает себе ладонями горло и давится, задыхаясь, а остальные кричат и хохочут в восторге.

Какой-то малыш кричит:

— Эй, посмотрите! Я нашел ружье.— Он прижал к плечу кусок старой водопроводной трубы и целится во всех.— Кх! Кх! Кх!

Те, кто толпились вокруг Джорни, мгновенно поворачиваются к нему спиной, он обиженно хмурится и тут же пускается вслед за остальными полюбоваться на новую игрушку.

— Давайте играть в воров и сыщиков. Я главный сыщик!

— Хэй, смотрите на него. Главный сыщик, ха-ха!

— Да бросьте вы! Ну что привязались?

— Ладно, ладно! Я тогда буду главный вор. Бежим!

И они бегут сквозь завесу мушиной тучи, крича, как вспугнутые чайки.

Одинокая гвоздика растет на свалке. Зародившись в грязи, слизи и нечистотах, она поднимается на своем зеленом стебле рядом с болтающимся концом какой-то железяки. Среди струпьев коричневой ржавчины в бледном солнечном свете рдеет ее яркий алый цветок. Его прекрасные причудливо сложенные лепестки сверкают, покрытые мельчайшими дождевыми бусинками, светлыми и чистыми, как бриллианты. Цветок стоит одиноко, рдея и горя, красный, как кровь, как жизнь, как надежда, расцветшая в исстрадавшемся сердце.

ГЛАВА XXVI

Дождь перестал, но небо загромождено грязными серыми облаками. С утра солнце было мутное, белое, его лучи, проложившие себе путь через громадные барьеры кучевых облаков, не приносили тепла и тускло отражались в лужах и целых озерках, разлившихся между хижинами. Люди, стоя в дверях, смотрели в небо и ждали, что с минуты на минуту дождь хлынет снова.

В лачуге Фриды было тепло и сухо. Примус горел почти все время, и фанерные, оклеенные обоями стены сохраняли тепло. Фрида подкачала примус, и он затрещал, как бенгальский огонь, и ровное пламя сменилось прерывистыми вспышками. Она подложила под примус пустую спичечную коробку там, где недоставало одной ножки. Удовлетворенная, застегнула красное пальто, когда-то давно подаренное ей хозяйкой, и заговорила с детьми.

Один из них, маленький мальчишка, порезал ногу стеклом на свалке; он грустно сидел на диванчике, хмуро разглядывая окровавленную повязку.

— Ну вот, только ведите себя как следует, ничего не натворите,— говорила она.— Грейси, ты присмотришь за Клонки. У него болит нога, и поэтому вы оба никуда не пойдете. Я все равно запру дверь, чтобы ты не вздумала от него убежать. Я иду в лавку.

— Хорошо, мама,— сказала девочка.

— Я ненадолго,— говорила Фрида.— Смотрите ведите себя хорошо. Может быть, я куплю вам по леденцу.

— Да, мама,— снова сказала девочка и застенчиво улыбнулась.

— Ну, хорошо. На улице все равно холодно, а от примуса тепло и приятно.

Завязав шарф, она вышла, захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Она положила ключ в кошелек с мелочью и зашагала по глинистой тропке под пристальным взглядом застывшего в ожидании неба. Ветер свистел среди деревьев, размахивая горчично-желтыми цветами, как веерами, срываясь, ударял в стены, гремел листами жести.

Дальше на маленькой площадке устроились со своими лотками негритянки, предлагая всяческие отходы на продажу: овечьи головы, длинные вороха требухи на столах из досок, ящиков или старых бочек из-под бензина. Мухи тучами кружились над мясом, и женщины отмахивались от мух руками, сухими и коричневыми, как ветви деревьев, а сами судачили друг с другом или зазывали покупателей.

Люди пробирались между хижинами, осторожно переступая колдобины и лужи, как путешественники в неисследованных землях, переходящие через трясины, продирающиеся сквозь джунгли ржавого железа и покосившихся палок, мимо удушающе пахучих орхидей — уборных, в колючем кустарнике проволочных изгородей и зубчатых заваленных заборов. А небо над головой словно затаилось в засаде, предательское, как болото.

В хижине детям казалось, что матери нет уже очень давно. Обещанные сладости дразнили их, и они беспокойно и нетерпеливо ерзали. Клонки, маленький мальчик, предложил соорудить из покрывала, лежавшего на диванчике, палатку, и пусть будет, будто они разбили лагерь. Но девочка, Грейси, сказала, что это нельзя, потому что мать рассердится и не даст леденцов.

— Тогда дай мне кусок хлеба,— захныкал Клонки.

— Нечего,— сердито ответила сестра.— Только и знаешь, что есть, есть и есть.

— Тогда я скажу маме, что ты не дала мне кусок хлеба,— хныкал мальчик.

— Ну, ладно, ладно,— сказала девочка, скорчив гримасу и показав брату язык. Она подошла к столу, где лежал кусок буханки возле таза с посудой и примуса. Примус рычал, завывал и захлебывался, как неисправный мотор. Девочка взяла нож и начала резать хлеб. Стол закачался на неровном земляном полу. От этого вылетела спичечная коробка, и примус, потеряв устойчивость, со звоном перевернулся. И затем раздался взрыв.

Старый, колченогий, неисправный примус, опасный, как мина, бухнул, как надутый пустой пакет, взорвался шрапнелью, разметая во все стороны горячие куски меди и железа. Горящий керосин плеснулся прямо в лицо девочке, зажег на ней платье и переметнулся в волосы. Языки пламени, как бурные потоки воды, побежали через стол и набросились на сухую бумагу и фанеру стен. Стены с треском ожили. Ребенок с воплем рванулся, слепо налетел на занавеску, протянутую через всю комнату. Занавеска вспыхнула, и, крича, девочка потянула ее на себя, зацепив висевшую на гвозде лампу. Керосин разлился повсюду, он плеснул на мальчика, который с плачем ковылял на одной ноге к порогу, и охватил его, отчаянно колотящего в дверь, танцующими рыжими языками.

Дети кричали и отплясывали ужасающий танец, пока огонь и дым не задушили их; огонь ревел, и ворчал, и рычал на внутреннюю обивку комнаты, на жалкую мебель, диванчик, матрацы, набитые волосом кокосовых пальм, одеяла, кровати — на все. Выгоревшая хижина закачалась и покосилась, как пьяная, а огонь уже бушевал на деревянных подпорках.

Пламя — сначала красное, затем желтое, затем раскалившееся, белое — быстро сожрало все внутри, и обитые жестью стены застучали и застонали, как в предсмертной агонии, горячие листы дымились, а дерево вспыхивало фейерверком искр.

На улице творилось бог знает что. Мужчины и женщины, крича и визжа, бросались к огню, скользили, падали в лужи. Они слышали детские крики, но эти леденящие душу звуки быстро смолкли. А жар и пламя, рыча, отбрасывали всех прочь. Никто не решался приблизиться к погребальному костру. Мужчины и женщины в ужасе метались вокруг, хватались друг за друга, рвали на себе волосы. Но вот затрещали и рухнули останки хижины, рухнули с таким шумом, будто тысячи журавлей разом взмыли в небо, и зашипели, как пускающий пары паровоз, когда горящие куски дерева упали в мокрую глину. А сверху, глумясь, взирало небо.

Сквозь все эти крики и треск пожара прорвался еще один звук. Сначала это был какой-то вой, но постепенно он перешел в душераздирающее, захлебывающееся причитание — жуткая звуковая картина, быть может, какого-то зловещего погребального ритуала первобытного племени. Крик взмыл на немыслимые верха — не просто визг или вопль, а звук невыразимой печали, голос горя, которое больше горя, отчаяния, которого не высказать и не понять. Это была Фрида.

Несколько человек держали ее, а она вырывалась и смотрела безумными глазами на дымящиеся руины и рвала на себе волосы, а крик рвался из ее широко открытого рта.

— Фрида, Фрида, Фрида. Нет. Нет. Нет,— кричал Чарли, держа ее за руку, и все кругом что-то твердили, кричали, шумели.

И тогда Чарли, вспомнив, как обращаются во время обстрела с мужчинами в истерике, отпустил ее руку и, отступив на шаг, вдруг ударил ее по щеке.

Фрида безвольно повисла у кого-то на руках, а Чарли тихо сказал:

— Я заберу ее к нам. Больше ей теперь, я думаю, некуда.

ГЛАВА XXVII

Гараж Мостерта на повороте главного шоссе, идущего на север, был как нищий у дороги, который стоит и ждет, чтобы кто-нибудь бросил монету ему в кружку.

Он в стороне от всех, как прокаженный,— сами его грязные облупленные стены, казалось, шелушатся от неизлечимой болезни. А Джордж Мостерт из своей будки смотрел сквозь захватанные, как облаками за-

тянутые, стекла и провожал глазами проносящиеся по шоссе машины. Скучающий, опустошенный его мозг отмечал все — каждую марку, каждую модель, словно разносил по карточкам какого-то ненужного каталога: вон пошел «даймонд-Т», а это «форд», старая модель, тридцать девятого года, а это «додж».

Вот пророкотал огромный грузовик, хрипло сигналя на повороте, в спешке раздраженно оттесняя с дороги встречные автомобили. Спустя некоторое время промчался маленький спортивный автомобиль, и перед Мостертом мелькнули развевающиеся на ветру рыжие волосы и раскрытый от испуга и смеха рот и довольная улыбка водителя.

Затем, к своему удивлению, он увидел красивый низкий и длинный лимузин, который, притормаживая, подруливал к заправочным колонкам. Мостерт вышел и заковылял по скользкому асфальту под навесом, а внутри него, словно выкрученный фитиль, разгоралась радость.

Из автомобиля выскочил мужчина и пошел навстречу Мостерту. На переднем сиденье осталась женщина, она рассеянно глядела перед собой. Лицо у нее было пухлое, красивое, искусственно-моложавое, оно все светилось здоровьем и самодовольством, бело-розовое и гладкое — кровь со сливками. Накрашенный рот был чуть приоткрыт.

— Добрый день,— сказал Джордж Мостерт мужчине.

— Привет,— ответил тот. Он был низенький и толстый, жировые наслоения ровно покрывали все его тело, поэтому первоначальные очертания фигуры были скрыты мягкими округлостями. У него были редкие седеющие волосы и лоснящееся розовое лицо. И еще на нем было красивое пальто.— Давай заливай полный бак,— сказал он и улыбнулся Мостерту.— Высший сорт.

Во всем его облике сквозила снисходительность, как будто он делал величайшее одолжение. Он оглядывал ветхое здание, кучу старых покрышек, разорванные рекламы, скособочившийся вентилятор, медленно вращающийся над пыльными бутылками со смазочным маслом.

— Дела не очень-то хороши, а? — заметил он, протягивая Мостерту ключ от бака. Рука у него была пухлая и гладкая, бледно-розовая и покрытая нежным пушком, точно персик.

Джордж Мостерт взял шланг. Слова мужчины были ему неприятны, всякое удовольствие пропало.

— Угу,— едва слышно буркнул он, открывая сверкающую крышку бака. Сзади в машине был сложен багаж. Джордж Мостерт вставил шланг в отверстие бензобака и стал следить за движением стрелки насоса.

— Удачно, что я наткнулся на тебя,— сказал мужчина.— Уезжал в спешке, и забыл заправиться. Жена получила чертову телеграмму, что ее старуха померла, и она решила, что ей необходимо присутствовать на этих чертовых похоронах.— Он говорил тихо, чтобы женщина в машине не услышала. Он снисходительно подмигнул Джорджу:— Чертова теща.

Джордж Мостерт на секунду оскалил зубы под лохматыми усами — мгновенная гримаса, точно мелькнувшее на экране изображение. С оттенком гордости он сказал:

— От этой напасти я избавлен.

— Ха, ха,— засмеялся мужчина.— Ты здесь совсем один? — Он снова вопросительно огляделся.

— Да.

— Слушай, проверь-ка заодно и покрышки.

Мужчина обошел сверкающий хромировкой лимузин и посмотрел через дорогу. На той стороне за кустарником виднелись крыши лачуг,

похожие на серые и коричневые камни, разбросанные по берегу моря. Над ними в сероватом небе поднималось облако дыма.

— Что это? — спросил он у Джорджа Мостерта.

Женщина повернулась и нетерпеливо сказала:

— Гарольд, долго мы еще будем стоять здесь? Надо ехать.

— Сию минуту, дорогая,— ответил толстяк и улыбнулся ей.

— Там? — спросил Джордж Мостерт, обходя машину с манометром в руке.— Всего лишь трущобы.

— Вот, наверно, где грязища-то адова! Непонятно, почему власти не снесут все к чертям собачьим. Сплошной рассадник заразы и всякой дряни.— Он смотрел на локацию.— Спросили бы меня, я бы немедленно снес все и выселил бы их к дьяволу,— он мотнул головой, и волосы его развалились в беспорядке.— За что только мы, бедняги, налоги платим.

— Проверил, шины в порядке,— сказал Джордж Мостерт.— Тем, кто живет там, во время дождя особенно достается.

Человек посмотрел на счетчик бензоколонки, вытащил кошелек, набитый деньгами, и отсчитал, сколько надо.

— Могу себе представить, как эти бедняги там живут.— Видно было, что он считал себя в вопросах нищеты тонким знатоком.— Вот, пожалуйста,— он положил на грязную, с поломанными ногтями руку Мостерта несколько бумажек, добавил до нужной суммы мелочи. Затем, подумав, добавил еще полкроны.— В расчете.

— Тысяча благодарностей, сэр,— сказал Джордж Мостерт.

Мужчина махнул ему рукой и направился к своему месту. Под красиво сшитым пальто колыхался округлый, как у женщины, зад. Мотор кашлянул и мерно гортанно зарокотал, как сытый тигр. Джордж Мостерт смотрел вслед удаляющемуся лимузину.

Когда они выехали на шоссе, женщина сказала:

— Что это за неповоротливый медведь там, у колонки?

— Да нет, он довольно быстро работал,— ответил муж.

— И грязища у него. Надо было заправиться в городе, я же тебе говорила.

— Что же делать, раз я забыл. Бензин везде бензин, верно?

Небеса разверзлись, и хлынул дождь. Он лил уверенно, энергично, на бетоне высоко взлетали брызги, по крыше лимузина тарахтела барабанная дробь. Сплошная серая пелена затянула окрестности. Толстяк включил щетки и, не сбавляя скорости, покатил дальше, наслаждаясь приятным теплом в своем автомобиле.

Джордж Мостерт подождал, пока автомобиль скрылся из виду, и пошел назад, неуклюже передвигая ноги. За его спиной на шоссе плясал дождь, перед ним — верная и неизбежная, как могила, была маленькая дверь стеклянной будки-конторы.

Войдя, он включил свет — сразу, как пошел дождь, стало темнее,— звякнул ручкой кассового аппарата, положил в ящик деньги и снова задвинул его. Затем он выдвинул ящик стола и вынул бутылку коньяку. Он налил себе в треснувший стаканчик. Он выпил и не почувствовал удовольствия. Он пил, не чувствуя вкуса, как будто алкоголь нужен был ему лишь как анестезирующее средство, притупляющее муку обиды и одиночества, неотступную и острую, словно зубная боль.

Как засыпанный обвалом шахтер, он смотрел на мир сквозь узкий оставшийся просвет, а вокруг валялись вороха пропыленных рекламных каталогов, стояла стопка наколотых смятых счетов и лежал грязный прошлогодний календарь, исписанный давно забытыми ненужными телефонными номерами.

ГЛАВА XXVIII

На северо-западе тучи сгущались в разбухшие серые горы, которые передвигались по небу, и эти громоздкие массы поглотили весь свет, кроме мрачного металлического отсвета падающего дождя. Ветер подхватывал тяжелые струи и превращал их в серые диагональные полосы, порывы ветра обдавали леденящим холодом.

День превратился в серебряно-серый сплав дождя и облаков, тучи спускались все ниже и ниже, пока не закрыли все небо, и серая злобная пелена протянулась от горизонта до горизонта. Дождь то журчал, то с рыком обрушивался на землю, снова и снова разрывались тучи, выплескиваясь на землю гигантскими водопадами.

Сначала дождь гулял и бил по крышам лачуг и сараев, затем, погоняемый надвигающимися тучами и ветром, он заревел и пошел барабанить по щитам стен, врезываясь в швы кровли. На пустырях и в узких улочках вода вздымалась серыми пузырями. Дождь заливал все канавки и ямы, улицы и тропки переполнились, и вода стала пробиваться по дворам к тощим фундаментам хижин и сараев. И все время небо грохотало, разрывалось и рушилось.

Дождь полоснул по крыше, ветер рванул ее и поднял, подбрасывая и крутя в небе гигантским серпом, который скашивает кроны деревьев и подрезает шаткие заборы. Дождь поскребся о стену дома, нащупывая слабый стык, разошедшийся шов, нашел, за что зацепиться, и схватил, потянул, подергал ржавые гвозди, и проволока не выдержала, и дождь с ветром, объединившись, вырвали огромный кусок дерева с жестью, обнажив внутренность хижины, как шрапнель, снеся пол-лица, выставляя напоказ все залитые кровью извивы мозга, уха, мышц — и это были намокшая мебель, сбившиеся в кучу люди и серые клочья мешковины.

Дождь подрыл фундамент и размыл почву, дом перекосился и осел, стены вспучились и стали ромбами с рваными, зияющими краями. Дождь журчал, булькал, клокотал в желобах, бегал, как ртуть, по потолку, а внизу дрожащие бедняки раздували свои жаровни, поддерживали огонь, съежившись, трясясь в ознобе от холодной, безжалостной сырости, тесно прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться, и стискивали зубы, чтобы не лязгали, не отбивали болезненную дробь.

В доме Паулсов слышали дождь, но не задумывались о нем. Этот звук не был звуком горя. Чудом дом выдержал. Отец, Чарли Паулс и их друзья постарались не зря. Дождь налетал на дом, точно в припадке ярости. Обнаружив, что дыра в крыше заделана, вода скатывалась к краям крыши и пропитывала стены насквозь. Но, казалось, дом стиснул зубы и отчаянно боролся за жизнь.

Старая железная печка, которую Чарли с отцом притащили откуда-то за четыре мили отсюда, гудела и ревела, и огонь бушевал внутри, разливал по комнате тепло, дом стонал и вздрагивал, как от боли под бичом дождя, пол прогибался, но стоял.

Мамаша Паулс сидела на стуле в спальне и тихо раскачивалась взад и вперед, сгорбившись, с лицом, высохшим от печали. Она пела про себя и мыслями была с папашей Паулсом, со своим сыном Рональдом и с детьми Фриды. Ее руки, сухие, в узловатых венах, словно мотки коричневой шерсти, лежали на коленях.

На кровати, на которой умер папаша Паулс, лежала Фрида, лицо ее было обезображено горем. Мать, как могла, старалась облегчить ее страдания, напоила водой с сахаром, разогнала всех, кто толпился у них, отослала Альфреда, чтобы посидел с Каролиной и маленьким.

Чарли стоял у окна и тупо смотрел на серый мир. Он хотел что-то сказать Фриде, что-нибудь ласковое, но слова не приходили, и он чувствовал себя пустым и неподвижным, как сброшенное на пол пальто.

Чарли высокого роста, у него широкие плечи и грудь человека, который годами работал киркой и лопатой, мускулы вздувались под старой защитной рубашкой. Его широкие железные челюсти сходились в крутой подбородок, темный и твердый, как красное дерево, впалые щеки покрывала черная щетина. Но, несмотря на свою силу, он чувствовал себя сейчас слабым и одиноким.

Фрида зашевелилась на постели и прошептала, всхлипывая:

— Я заперла дверь, заперла. Может...

— Фрида, Фрида,— тихо сказал Чарли.

— Я заперла дверь,— стонала она.

— Да,— сказал он мягко.— Да, ты заперла дверь. Но я мог бы починить примус. Ты просила меня, а я не починил. Поэтому не казнись, девочка.— Теперь слова слушались его, они хлынули неожиданно, как будто кто-то прочистил забитую трубу. Он сказал:— Ну, хорошо, может быть, мы с тобой оба виноваты. Или, может быть, это судьба, как люди говорят. А может быть, божья воля. Так объясняет дядюшка Бен. Я сам не знаю, Фрида, девочка.— Он откашлялся и взял ее за руку. Она не была холодной, как он думал, напротив, крепкая и теплая — живая.— Слушай,— сказал он,— когда мы прокладывали трубопровод на севере, там с нами работал один парень. Слабый парнишка, но толковый. Странные он вещи говорил. Он сказал, что всего труднее перенести беду, если человек один. Не знаю вот, с нами так ли? В общем-то, я не очень понял. Но у того парня была светлая голова.— Он помолчал и заговорил снова, с трудом подбирая слова, и в голосе его слышалась грусть.— По его, выходит, что человеку не справиться одному, людям надо быть вместе. Похоже, что он прав. Толковый он был парень. Может, вот и с братишкой Ронни так вышло. Не любил он, чтоб ему помогали. Хотел все сам. Не был вместе с нами. Или дядюшка Бен — тоже. Люди сделаны так, что им нельзя одним. Черт побери, сдается, что люди сделаны так, чтобы быть вместе. Я...—слова не слушались его, он покачал головой.

Он взглянул на Фриду и увидел, что она тихо плачет. Слезы искрились и поблескивали у нее под глазами и в уголках рта. Он чувствовал, как крепко она сжала его руку, и он взял ее руку в свои ладони и гладил ее теплую коричневую кожу.

Ощущая такую же неловкость, как и в тот раз, когда он предложил Фриде пожениться, Чарли сказал:

— Полежи спокойно, ладно? А я встану и приготовлю нам по чашечке кофе. Думаю, мы можем позволить себе выпить немножко кофе в такой день.— Он улыбнулся ей и высвободил руку.

Мать сидела неподвижно, сжав руки, и казалось, что она молится.

Чарли вышел из комнаты, и пол стонал под его тяжелыми ногами. В спальне, свернувшись калачиком в постели Рональда, спал малыш Джорни. Стены лачуги совершенно отсырели, и Чарли подумал, что надо будет снова заняться крышей, как только перестанет дождь.

В кухне было тепло, и когда он открыл печку, языки пламени вскользнулись ему в лицо. Он насыпал в кофейник кофе, налил воды, поставил кофейник на огонь, нащупал в кармане брюк пачку и достал сигарету. Он прислонился к кухонному столу и курил, ожидая, когда поспеет кофе. Он прислушивался к дождю, с шумом падающему на крышу и стены дома. Подошел к двери, отодвинул засов и приоткрыл ее. Порыв ветра ударил ему в лицо.

Чарли Паулс стоял и смотрел, как льет дождь. На улице было серо, и шум дождя был ровным, как стук сердца. Когда он еще раз взглянул вверх, он увидел, к своему изумлению, птицу, которая поднялась над цветными лоскутками крыш и взмыла высоко-высоко в небо.

Алекс Ла Гума и его новая книга

Одним из самых обещающих среди молодых писателей Южной Африки является Алекс Ла Гума, цветной, родившийся и выросший в Кейптауне, самом крупном и смешанном в расовом отношении городе ЮАР. Сын Джимми Ла Гумы, одного из выдающихся вождей движения за свободу цветного населения, члена ЦК Коммунистической партии Южной Африки, Алекс живет политикой буквально с рождения (1925) и до сегодняшнего дня. Молодым человеком он вступил в коммунистическую партию и был членом кейптаунского районного комитета вплоть до запрещения компартии националистическим правительством в 1950 году. И в последующие годы он ведет активнейшую политическую деятельность. Он был одним из главных организаторов Конгресса народов в Иоганнесбурге в 1955 году, самого массового собрания представителей всех слоев населения Южной Африки, на котором была принята историческая декларация прав, известная как Хартия Свободы. 5 декабря 1956 года он был одним из 156 мужчин и женщин всех рас, арестованных полицией по всей стране и переправленных военным самолетом в Иоганнесбург, чтобы предстать перед судом по обвинению в измене.

Всю свою жизнь Алекс увлекался литературой и еще в детстве пробовал писать. Первые его профессиональные опыты появились в печати, когда он в 1956 году стал сотрудником прогрессивной газеты «Нью эйдж», где он помещал яркие репортажи о жизни цветного населения и о трагедии Кейптауна. Он сотрудничал в газете до августа 1962 года, когда из-за недостатка средств газета была вынуждена до минимума сократить свой штат.

Одновременно с журналистской деятельностью он по-прежнему занят и политической работой, и заключение нисколько не охладило его порыва.

В декабре 1962 года Алекс Ла Гума был приговорен к домашнему аресту на двадцать четыре часа в сутки. Посещать его в течение пяти лет было разрешено лишь его матери, родителям его жены, доктору и адвокату. Закон о саботаже распространялся также на все, что Ла Гума писал или говорил: ни в какой форме это не могло быть напечатано или обнародовано в Южной Африке.

Немедленным следствием этого явился первый роман Алекса Ла Гумы «Скитания в ночи», выпущенный издательством «Мбари пабликейшнз» в Нигерии и запрещенный в Южной Африке в 1962 году.

Находясь под домашним арестом, Ла Гума работал над вторым романом «И нитка, втрое скрученная...», рассказывающим о жизни одного из трущобных районов на окраине Кейптауна.

Роман «И нитка, втрое скрученная...» весь насквозь пропитан сыростью и нищетой кейптаунской зимы, серые, тоскливые краски которой Алекс Ла Гума запечатлел в целой серии выразительных картин. Под пером более слабым эта картина глубочайшего дна Южной Африки, с его низменной жестокостью и безграничным запустением, могла выйти угнетающей. Но благодаря верности жизни эта картина проникнута духом оптимизма Ла Гума говорит читателям — люди не могут противостоять миру в одиночку, они должны быть вместе.

Тот факт, что он жил под круглосуточным домашним арестом и был таким образом полностью лишен возможности участвовать в политических акциях, не избавил, однако, Алекса Ла Гуму от новых правительственных преследований. После принятия южноафриканским парламентом в 1963 году закона о девяно-

стодневном заключении без суда, Алекс Ла Гума оказался одним из арестованных и заключенных без решения суда. В тюрьме он содержался в одиночке, запертый в своей камере на двадцать три с половиной часа в сутки, а полчаса отводились для одиночной «прогулки».

Со временем Алекс Ла Гума был освобожден, однако лишь на поруки, после предъявления ему обвинения в хранении запрещенной литературы. Если его признают виновным, то могут приговорить к трем годам тюрьмы. А пока он по-прежнему живет под круглосуточным домашним арестом, полностью изолированный от своих товарищей.

Надо надеяться, что опубликование романа «И нитка, втрое скрученная...» в других странах принесет Алексу Ла Гуме международное признание, которого он заслуживает. Следует надеяться, что выход книги вызовет в международном масштабе широкую кампанию, которая вынудит режим Фервурда вернуть свободу писателю и остальным политическим заключенным. Ведь именно это требование содержится в резолюции, принятой 106 голосами против 1 (Южная Африка) Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в октябре 1963 года. Настало время эффективных действий, способных положить конец кошмару апартеида и репрессий в Южной Африке. Настало время, чтобы воздали должное таким людям, как Алекс Ла Гума, чтобы они могли жить свободно в стране, где родились.

Брайан Бантинг

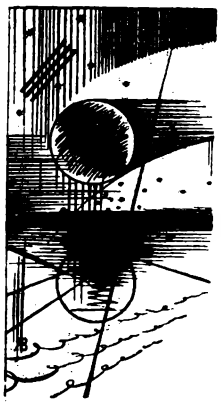
РОБЕРТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД
ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ
ОДРИ ЛОРД ◆ ДАВИД ШАЙНЕРТ
ЭЖЕН ГИЙЕВИК ◆ АРТУР ЛУНДКВИСТ
ГЕЙНЦ КАЛАУ ◆ КОРРАДО ГОВОНИ
ЛЕОПОЛЬД СТАФФ ◆ БЕРНД ЙЕНЦШ ◆ ЖАК
ПРЕВЕР ◆ ЭЛИО ПАЛЬЯРАНИ ◆ АНДРЕ ФРЕНО
ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ ◆ АРМАН МОНЖО ◆ ЭРИК
ЛИНДЕГРЕН ◆ ТАДЕУШ КУБЯК ◆ ИНГЕБОРГ
БАХМАН ◆ ДЖОРДЖ ЛАВ ◆ КАРЛ СЭНДБЕРГ
ОРХАН ВЕЛИ ◆ ЭЛИ ПАПАДИМИТРИУ
МЭЙ САРТОН ◆ ЛЕОПОЛЬД СЕДАР
СЕНГОР ◆ РАДОВАН ЗОГОВИЧ
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР

30 тихотворений любви

Рис. Вас. ЛАКТИОНОВА

РОБЕРТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

(род. в 1902 г.), австралийский поэт, автор пяти книг стихов.



СТАРАЯ ПЕСНЯ

Луна круглится
на водах сонных,
застыло время
на дивный миг —
а ночь безлюдна,
на взморье нет влюбленных,
не нужен юным
прекрасный мир.

Я стал за вечер
на вечер старше,
ворчу на юность,
на лунный свет —
и все ж любовь
ожидает нас, уставших,
зовет влюбленных,
которых нет.

Пусть лунный город мой
не стремится
за новой песней —
в ней нет чудес,
и нет влюбленных,
и дальней той зарницы,
что исчезает
в ночи небес.

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ЕЖИ ХАРАСЫМОВИЧ

(род. в 1933 г.), польский поэт, автор нескольких сборников стихов.

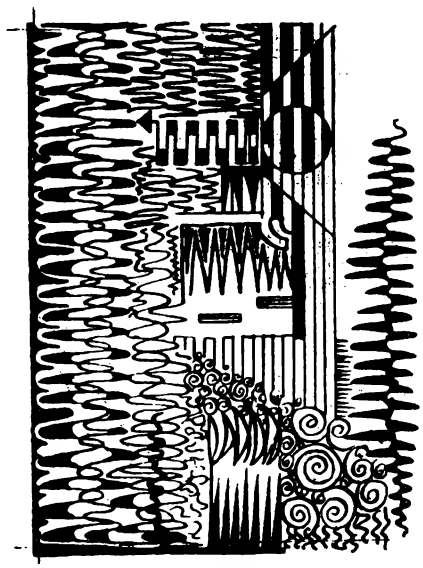
БЕЛАЯ СЕРЕБРЯНАЯ ГОЛУБАЯ

Моя жена белая
Моя жена серебряная
Моя жена голубая
Но только я серебряную
больше всего люблю

Моя жена белая
строгая хладнокровная
точь-в-точь укротитель львов
Все делает в перчатках
И словно хирург не переносит пыли
Так мудр ее лоб высокий
что сам Талейран в нетерпенье
кружево рвал бы с манжетов
Белую мою жену люблю

Моя жена голубая
Она так стройна что дамы

фыркают словно кошки и выгибают спины
в унылые триумфальные арки
мужьям показывая в небе
очаровательное солнце
Но вдруг непонятно с чего бы
все небеса расцветают
и чудится человеку
что над ним зашумели
плюмажи
версальских фонтанов
А это моя голубая
завернутый кран однорогий
превратила в вислоухого осленка
И моментально возникли
ассоциации эти
Голубую мою жену люблю.



Моя жена серебряная
Сказавши однажды ей нечто
не очень учтивое
решил я что все обернется
небывалой Генриховой Каноссой
Что мне предстоит превратиться
в миллионы шпал послушанья
покорности смиренья
И знает лишь бог как по шпалам
промчат поезда ее гнева
Жду — ничего
Вижу подходит тихонько к окошку
и вдруг появились эти —
два ручейка непонятных
взбирающиеся кверху
на возвышенья щек
Я подбежал к ней
обнял
И чувствую — дрожат
тоненькие
ее лопатки

Перевод с польского А. ЭППЕЛЯ

ОДРИ ЛОРД

(род. в 1934 г.), американская поэтесса, негритянка.

ОСЕНЬ ПРИДЕТ И РАССУДИТ

Долгой зимой
Все безлюбо вокруг,
А мы о любви
Рассуждаем,
но вдруг
Весна разражается —
Честное слово!
Вот тут и любить бы,
А мы не готовы.

Лето теряет
Счет поцелуям,
И мы о любви
По-иному толкуем.
И стало понятно
В осеннюю пору:
Любовь есть любовь.
К чему разговоры?

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ДАВИД ШАЙНЕРТ
(род. в 1916 г.), бельгийский поэт и романист, автор нескольких сборников стихов.

Я ИСКАЛ...

Я искал целый день напролет ежевику.
Ты пришла и протянула мне ягоды,
и я утолил свою жажду их
свежестью.
Я искал медяницу, и белку, и ласку.
Ты пришла и привела за собою
зверей полевых и лесных,
и стояли они за твоею спиной
и на меня глядели доверчиво.
Я искал за холодными тучами солнце.
Ты пришла и показала мне
солнце —
оно расцвело у подножия старого
дерева,
и оно отогрело меня.
Я искал извечную истину — в бочках
искал, в сундуках...
Ты пришла и показала мне робкое
пламя на краю горизонта,
и я увидел тебя обнаженную.
Я тебя полюбил.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ЭЖЕН ГИЙЕВИК
(род. в 1907 г.), французский поэт, автор нескольких сборников стихов.

■ ■ ■

Я ходил без тебя в луга,
Я ходил без тебя к цветам.

Я мог без тебя сто тропинок пройти,
Я мог без тебя у ручья прилечь,
Я мог без тебя весь вечер нести
Тяжесть моих одиноких шагов.

Больше я так не могу —
Без тебя.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

АРТУР ЛУНДКВИСТ

(род. в 1906 г.), известный шведский писатель, лауреат премии «За укрепление мира между народами», лауреат малой Нобелевской премии.

* * *

Илона,
ты исчезаешь в своих мечтах,
далека от меня, далека от себя,
твои раненые крылья волочатся по песку...
Или это волны разбиваются вокруг тебя?
Ты исчезаешь в мире снега
под колоколом молчания,

уходишь, уходишь
в мечты, которым нет конца.

Илона — серебристая рыбка,
тебя поглотила серебряная рыба
под названием «греза».

Я плачу, Илона, я вспоминаю
твои груди, смутные, как летние туманы
на пшеничном поле,
твои веки — теплые лепестки роз,
твое сладострастие, тяжелое, как водопад,
Илона — молодая луна
в багряной роздыми незнакомых городов.

Перевод со шведского Е. ГОЛОВИНА

ГЕЙНЦ КАЛАУ

(род. в 1931 г.), немецкий поэт (ГДР), переводчик, драматург, лауреат Государственной премии.

ДЛЯ КРИСТИНЫ

На ладони моей
лежит твое лицо,
такое теплое, бледное, юное.
И твои глаза,
которые следят за всем,
потому что знают так мало.
И твой рот,
такой доверчивый,
который не изменял еще
своих очертаний
от поцелуев.
Он так молчалив,
что меня пронизывает страх.
Твое теплое лицо
на моей ладони,
и ты смотришь на меня...
Нет, я не в силах сказать тебе,
что жизнь так же тепла,
как моя любовь.

Перевод с немецкого Е. ВИНОКУРОВА

КОРРАДО ГОВОНИ

(1884—1965), итальянский поэт, перу которого принадлежит более двадцати поэтических сборников.

■ ■ ■

Так боялась ты моих поцелуев
в полутемном доме, что осталась
до конца урагана за порогом.
Вздрагивая при раскатах грома,
ты стояла посреди потока.
Вспоминая себя двадцатилетним,
я дарю тебе кораллы молний.

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА

ЛЕОПОЛЬД СТАФФ

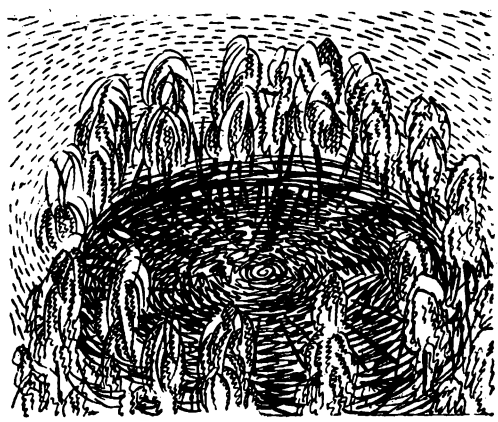
(1878—1957), видный польский поэт, лауреат Государственных премий.

БЕРЕЗЫ

Сияя серебром бересты,
Роняя злато в мураву,
Захороводили березки
Прудов и неба синеву.

В дрожанье веток, в ливнях света
Стоят они, и мир затих.
Травинки дождались рассвета,
И ветер долу клонит их.

И акварелью все, и славно,
И дивен мир — и трижды прав,
Как будто ты прошла недавно,
Оборками касаясь трав.



МИНУТА

Минует? Не жалей нимало!
Всегда минута быстротечна,
Была моей — ничьею стала,
Точь-в-точь шедевры туч невечных.

И хоть минует, не промешкав,
И утечет, забывши роздых,—
Всегда в озерах вперемежку
Купались девушки и звезды.

Перевод с польского А. ЭППЕЛЯ

БЕРНД ЙЕНЦШ

(род. в 1941 г.), немецкий поэт (ГДР).

НОКТЮРН

Взрыв тюля на оконных рамах...
Где-то
Твои слова маячат впереди...
Сквозь ночь, и ветер, и дрожанье
света
Я вижу полнолуние груди.

Твоей... И среди этих содроганий
Три слова в полутьму вплету...
И ночь
Опять нас прикует к столбу
желаний.
Молчанье медленно уходит прочь.

Бороться насмерть с тонким диалогом
Ушей и кончиков полураскрытых губ...
Слова, как бутафория... Издерган
Мой бледный рот, как ветер в горле
труб.

Перевод с немецкого Е. ГОЛОВИНА

ЖАК ПРЕВЕР

(род. в 1900 г.), известный французский поэт.

ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ

Это было в одном из кварталов города Света.
В том квартале всегда темнота и холодное лето.
Там зимою и летом зима,
И воздуха мало.
Он стоял с нею рядом.
Стояли на лестнице оба.
И ночь выползала
Из закоулков и темных углов,
И серою пахло,
Потому что в полдень морили клопов.
И ему говорила она:
— Здесь всегда темнота,
И зимою и летом зима,
И воздуха мало:
Не заглянет к нам солнце,
Оно своим занято делом в богатых кварталах.
Крепко-крепко меня обними,
Наша жизнь — это то, что сейчас.
Будет поздно потом.
Обними меня крепко.
Здесь все против нас.
Если холод — нам плохо,
И жарко — нам плохо,
Здесь мерзнешь,
Здесь воздуха нет.
Если ты не обнимешь меня, я умру.
Мне пятнадцать.
Пятнадцать тебе.
Нам обоим уже тридцать лет.
В этом возрасте надо работать,
И, значит, есть полное право у нас
Целоваться.
Потом будет поздно.
Скорее меня поцелуй.
Наша жизнь — это то, что сейчас.

Перевод с французского М. КУДИНОВА

РЕКА

Твои молодые груди белели,
облитые луной,
а он размахнулся и кинул
камешек ледяной,
кинул холодную гальку ревности
в отраженье
обнаженной твоей красоты,
танцевавшей в реке ночной.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ЭЛИО ПАЛЬЯРАНИ

(род. в 1927 г.), итальянский поэт, представитель авангардистской «Группы 63».

■ ■ ■

Друзья нередко надо мной
посмеиваются.
По мнению Джанни, вовсе не влюблен
я —
мол, видно по стихам — иль не умею
любить. Допустим, но тогда
он не подозревает, что я
жить не умею.
Ты же не приходишь,
любимая, чтоб научить меня.

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА

АНДРЕ ФРЕНО

(род. в 1907 г.), известный французский поэт, автор многочисленных сборников стихов.

■ ■ ■

Мы любим друг друга, и каждый из
нас
Себя самого не в силах узнать:
Нас просто нет, ни тебя, ни меня —
Есть птица, застывшая в пустоте.
И раскаты ее молчания исцеляют нас.
Мы снова невинны, моя любимая.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ

(род. в 1896 г.), один из крупнейших поэтов Италии XX века. Публикуемое стихотворение входит в большинство антологий современной итальянской поэзии.

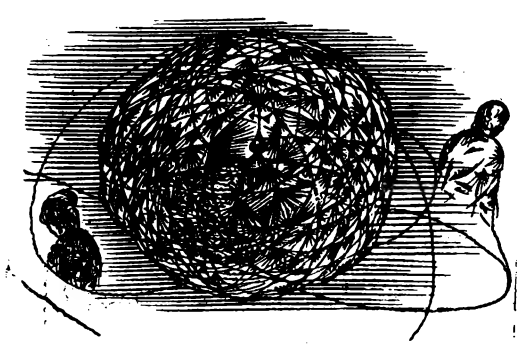
ТАМОЖНЯ

Не помнишь ты заброшенной таможни
над каменистым берегом крутым:
она приют сомнениям твоим
на вечер подарила и все безнадежней
тебя обратно ждет.

Годами ветер эти стены точит.
И твой далекий смех уже не тот.
Блуждает стрелка компаса, как хочет,
и больше нет везения в игре.
Не помнишь ты, ты вся — в другой поре.
Клубок привычно нитка обвивает.
За ниточку держусь, но даль отодвигает
таможню, и над нею флюгер безутешный,
покрытый копотью, не знает сна.
За ниточку держусь. Но в этой тьме кромешной
не дышишь ты. Ты далеко. Одна.

О горизонт бегущий, где сигнал
случайный зажигается над судном!
Внизу причал? (Как прежде, волны берег
терзают...) В памяти твоей провал,
и этот вечер мой в ней места не находит.
И я не знаю, кто из нас уходит.

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА



АРМАН МОНЖО
французский поэт, автор нескольких поэтических сборников.

ЛЕТО

По птицам твоих волос,
По нежным подснежникам жестов,
По волнам походки
Я предчувствую знойное лето —
Оно меня испепелит,
Грозу — она меня молнией скосит,
Море — я в нем утону.

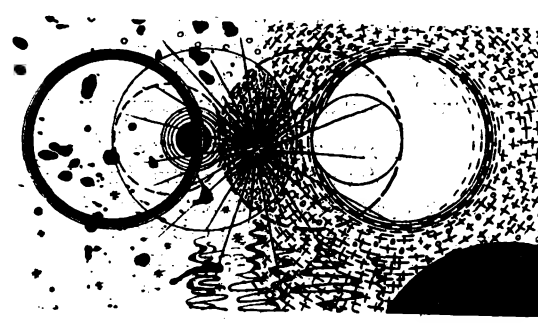
Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ЭРИК ЛИНДЕГРЕН
(род. в 1910 г.), шведский поэт, автор нескольких сборников стихов. Переводчик современной французской поэзии.

АРИОЗО

Все равно мы вместе
Что-то в нас
Наше равнодушие не может убить
Что-то в нас
Держит ушедшую любовь
Все поезда ушли и часы умолкли
Но что-то осталось
Зернышко «всегда» в туманах «никогда»
Обыкновенное часто бывает чудесным
Волны моря огонь розовых цветов снег
И что-то в нас останется когда кости побелеют
После мучительных поисков и сомнений
о надежда
Что-то в нас останется когда кости побелеют
Там где сталкиваются миражи
Моя уверенность медленной зарей всплывает вдали
Ты отражаешься вдали как звезда в пене моря
Я отражаюсь вблизи как звезда в пене моря
И ты уходишь от моего отчаяния
Чтоб вернуться
чтоб еще раз вернуться ко мне.

Перевод со шведского Е. ГОЛОВИНА



ТАДЕУШ КУБЯК
(род. в 1924 г.), польский поэт, автор нескольких сборников стихов и поэм.

НА РЫНКЕ СТАРОГО МЯСТА

Когда нахлынет ночь, твоих волос темней,
а с Вислы долетит и нас на рынке встретит
шум тихий, как твой взор в тени стены столетней,
хочу тебе открыть слова любви моей.

Рубин и аметист — в стене среди камней,
а утром проведет смычком по кровлям ветер —
возникнет пред тобой Барычка или Декерт
и меч Килинского — лучи далеких дней.

В краю моей любви, который не исчезнет,
покуда ты жива,— немой застывшей песней,
как волны грозные, воздвиглись города.

В потоке важных дел пустая площадь рынка
мне каплей кажется, твоей, мой друг, слезинкой,
и тем сильней люблю. Прощай. Придешь сюда?

Перевод с польского А. РЕВИЧА

ДЖОРДЖ ЛАВ
молодой негритянский поэт США.

АПРЕЛЬСКОЕ СОЛНЦЕ В ПОЛДЕНЬ

Когда по переулкам года в гору
весна летит на голосах мальчишек
когда трава похожа на улыбку
и под ногами как трава виденья
тогда текут дороги как вино
и пьют глаза желанья словно воду

тогда бушует мысль о гнете лет
и в жалких своих комнатах мужчины
стоят лицо прижав к оконным
стеклам
и мчатся по ручьям в моря мечты

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ИНГЕБОРГ БАХМАН
(род. в 1926 г.), немецкая поэтесса, член «Группы 47» (ФРГ).

■ ■ ■

Я прячу твое лицо
От моих закрытых глаз.
Я люблю тебя печально и бережно,
Словно память обрывок музыки...

Я люблю тебя моим эгоизмом,
Отравленным
Трупами несбывшихся предчувствий,

Я люблю твои желания
Лукавые,
Словно голубые прожилки
В глазах пьяных скотов...

Я люблю твои руки бледные, белые,
Эти белые линии, эти змеи,
Скользящие
В озере моих закрытых глаз...

Если ты бросишь меня,
Мои ресницы поднимутся
Из глубин твоего равнодушия,
И когда-нибудь через тысячу лет
Ты уколешься о мой последний
взгляд...

Перевод с немецкого Е. ГОЛОВИНА

КАРЛ СЭНДБЕРГ

(род. в 1878 г.), крупнейший американский поэт и прозаик, собиратель американского фольклора.

ЛУННОЕ РОНДО

«Любовь — это дверь, которую мы откроем вместе».
Так говорили они друг другу при полной луне
Однажды вечером, когда запах прелой листвы
С отголосками роз и картофеля
Доносился до них.

Этим вечером долго-долго
Глядели они на луну и звали ее
Серебряной пуговицей, медной монетой,
Бронзовым шариком, золотой бляхой,
Старинной, утерянной диадемой,
Латунной шапкой, качающейся на воде.
«Такие люди,
как ты да я,
могут делать с луной, что хотят».

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ОРХАН ВЕЛИ

(1914—1950), крупнейший турецкий поэт.

СТАМБУЛ

Апрель

Невозможно
Писать стихи,
Если ты безнадежно влюблен.
И не писать невозможно,
Если в Стамбуле апрель.

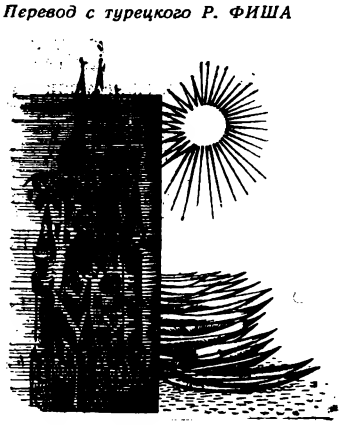
Желания и воспоминания

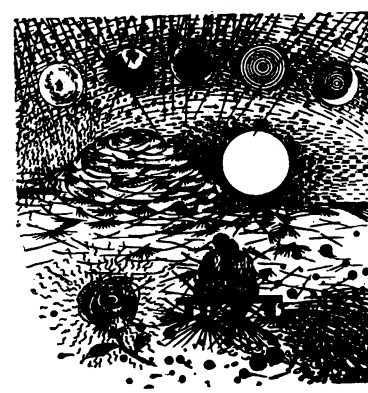
Воспоминанья — одно,
Желанья — другое.
Скажи, как жить
Без солнца в городе?

Приглашение

Я жду.
Приди ко мне в такую пору,
Чтоб отказаться было невозможно.

Перевод с турецкого Р. ФИША





ЭЛЛИ ПАПАДИМИТРИУ

греческая поэтесса, автор нескольких поэтических сборников, сатирической пьесы и документальной книги, посвященной греческому Сопротивлению.

■ ■ ■

Еще до рассвета отчаливают рыбацкие лодки,
я еще не проснулась, а желанья мои уж плывут за тобой.

Ты во сне мне явился,
но лица твоего я не видела,
только след от руки твоей
я нахожу на подушке.

Терпеливо, как узница,
на веках своих я твой облик рисую,
я поднимаю и опускаю веки,
и ты падаешь, словно мелкий дождик.

И пока не придешь ты —
в моем помрачневшем сердце
страхи будут скрестись,
как летучие мыши в пещере.

Перевод с греческого С. ИЛЬИНСКОЙ

МЭЙ САРТОН

(род. в 1912 г.), американская поэтесса, автор нескольких книг стихов и романов, лауреат литературных премий.

СТИХИ К СВАДЬБЕ

Как чисты все влюбленные, когда
Они гуляют в ясный тихий день
В лугах, где бродят тучные стада,
В полях, где зреет золотой ячмень,
А день так светел!

Тогда любой из любящих готов
Познать весь мир прикосновеньем рук,
Погладить мягкие бока коров,
Ладонью ощутить корявый бук
И нежный ветер.

Друг друга даже за руку не взяв,
Они идут, подставив ветру грудь,
Они впивают дух лесов и трав
И струи ветра могут натянуть
На мир, как струны.

Взглянув на ширь и на цветенье нив,
Они слова любви на них прочли
И, предрассудки смело отстранив,
Все лето бродят от жилья вдали,
Вольны и юны.

Но лето приближается к концу.
Без яблок сиротлив и жалок сад.
Свезенные снопы лицом к лицу
На общем брачном ложе возлежат,
Горды собою.

Влюбленные же чисты, как всегда.
Пускай ладони студит ветерок!
Их не страшит осенняя страда —
Для них везде найдется уголок
И миг покоя.

Перевод с английского А. СЕРГЕЕВА

ЛЕОПОЛЬД СЕДАР СЕНГОР

(род. в 1906 г.), крупный поэт и публицист, видный государственный деятель, президент Республики Сенегал.

■ ■ ■

(Для двух флейт и одного далекого тамтама)

То была ли магрибская ночь? Я покидал Могадор, его
девушек цвета платины.
То была ли магрибская ночь? Нет, и нашей она была, эта ночь,
наша ночь, ночь Жоаля,
Ночь до рождения нашего. Ты причесывалась перед зеркалом
моих глаз.

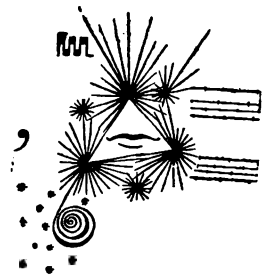
Мы сидели с тобою в сумраке нашей тайны, полные смутной
тревоги —
Ожидание имя ее,— и трепетали ноздри твои.
Ты не забыла спокойного гула, заливавшего ночь? Волна за
волной, вырываясь из города,
Гул накатывался на нас и у ног утихал. Далекий маяк
подмигивал справа,
А слева, у сердца,— неподвижность твоих зрачков.
О внезапные молнии в душной ночи! Я видел твое лицо,
Я его пил, оно было ужасно, и его черты искаженные
разжигали все больше и больше жажду мою,
И в моем удивленном сердце, в молчаливом сердце моем,
Каждый звук, доносившийся издали, даже лай далекого пса
взрывался гранатой.

Потом золотисто песок захрустел, будто листья взмахнули
ресницами.
Черные ангелы, гигантские боги Эдема, мимо прошли,
И ночные легкие бабочки, словно лунные блики,

Мерцали у них на руках. Это счастье чужое ожогом дохнуло на нас.

Наши сердца колотились — их стук долетал до Фадьюта,
Как дрожь возмущенной земли под ногами атлетов
Или голос влюбленной женщины, поющей сумрачный блеск красоты любимого своего.
А мы не решались рукой шевельнуть, и наши губы беззвучно дрожали.
Ах, если бы камнем на грудь кинулся с неба орел,
оглушая нас клекотом дикой кометы...
Но неумолимо теченье влекло меня прямо на рифы — на ужасную песню твоих неподвижных зрачков.
Будут ночи другие у нас, ты вернешься, сопэ, к сумрачной этой скамье.
Ты будешь все та же всегда — ты будешь другая всегда.
Но сквозь все твои превращенья я буду боготворить
Лицо нашей Кумба-Там.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА



РАДОВАН ЗОГОВИЧ

(род. в 1907 г.), крупный черногорский поэт, автор многих стихотворных сборников.

ВЛАДИЧИН-ХАН

Если б раньше про тот городишко меня спросили,
Где, какой,— я б ни слова ответить не мог.
А теперь он рубцом незажившим синим
На сердце мое и на предгорья Сербии лег.

Здесь ждал я тебя, а солнце на темные сливы
Падало пылью, горячим вином лилось на каштаны.
И все притихло вокруг: сверчки, и река, и ивы,—
Чтобы спокойно зрел виноград в тишине первозданной.

Здесь ждал я тебя, городок перестроить мечтая:
Чтоб росли по-другому акации, чтоб улица шире стала...
Отыскал скамью — под каштаном, чтоб тень густая:
С тобой посидеть вдвоем по дороге с вокзала.

Но когда тихонько, боясь потревожить спящие лозы,
Из-за ветвей молчаливо вынырнул поезд на свет,
Я уже знал — по схватившему сердце морозу,—
Что нет тебя в поезде, что тебя в нем нет.

Замер поезд. И мне — но откуда здесь взяться знакомым?—
Из вагонов приветливо машут люди
И видят по рукам моим, по лицу немому,
Что ждал я тебя, ждал напрасно, и встречи не будет.

Мне бы крикнуть в вагоны, в окно любое,
Не видел ли кто... Поезд отходит с жалобным свистом.
Отходит. А я? Сердце, куда нам с тобою?
И пошел я к скамье под каштаном ветвистым.

С той поры реально, уверенно, твердо
Живет он во мне и в предгорье сербском —
Незаживающий синий рубец в обличии города —
И тупою болью мучает сердце.

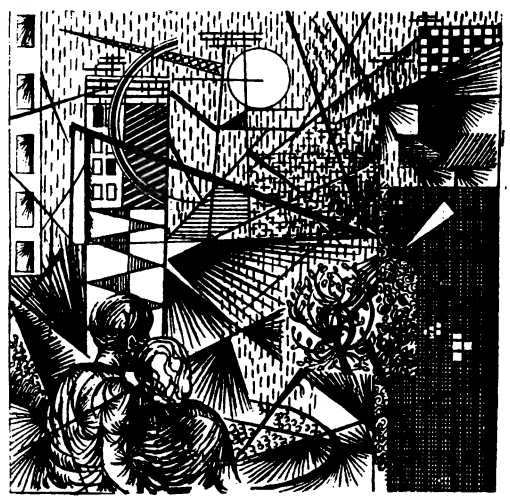
Перевод с сербохорватского М. НИКОЛАЕВА

РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР

(род. в 1930 г.), кубинский поэт и критик.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Если мужчина и женщина
проходят по улицам, которые только им и видны,
по окраинным улицам,
впадающим в сумерки, в бриз, в океан тишины,
с древним или современным пейзажем,
больше похожим на музыку, чем на пейзаж,
если там, где ступают они, вырастают деревья
и глухая стена начинает сверкать, как витраж,



если лица им вслед поворачиваются,
словно завороженные звонкой трубой
или радужным шествием клоунов,
окруженных толпой,
если при виде мужчины и женщины
кварталу горластому не до речей,
замирают качалки у дома,
и падают на мостовую связки ключей,
и одышки становятся вздохами —
то все это не оттого ль,
что любовь настолько редка, что увидеть ее —
словно почувствовать сладкую боль,
обмереть, задохнуться,
загрустить, не поверить глазам,
словно услышать наречье,
на котором когда-то разговаривал сам,
от которого что-то такое осталось на кончике языка —
что-то, на шепот похожее, на шепоток,
шорох замершего шепотка...

Перевод с испанского П. ГРУШКО

МАЛЬЧИКИ СТАНУТ ОТЦАМИ

Еще Екклесиаст (или кто там скрывался под псевдонимом) предупреждал: «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас».

Такой прием соблазнителен. Скажем, Е. Фейнберг, автор опубликованной в августовской книжке «Нового мира» статьи «Обыкновенное и необычное», убедительно и остроумно доказывает, что революционные достижения нынешней науки, и в первую очередь естествознания, лишь нам, современникам, кажутся исключительными и беспрецедентными. Как показала история, в таком же заблуждении пребывали наши предки, жившие во времена Галилея и Ньютона, Уатта и Лобачевского.

Это, конечно, не льстит, но как-то умиротворяет.

И впрямь, так ли уж необычайна и поразительна молодежь середины шестидесятых годов XX века? Заслуживает ли она того обозначения, которое звучит как название детективного романа,— «поколение Икс»?

Надо признать, что и здесь имеется преувеличение. В конце концов, любое поколение, появляющееся на земле, приходит под знаком «Икс», и только ход истории расшифровывает впоследствии этот «Икс», заносит его в соответствующий реестр уже под иным знаком: «лишние люди», «новые люди», «потерянное поколение», «рожденные бурей».

Было бы, разумеется, неверно не видеть заключенной в самих этих названиях разницы в их отношениях с историей. Не трудно, впрочем, обнаружить и аналогии. Озабоченное и горестное «ох, уж эта нынешняя молодежь!» сопутствовало человечеству во все времена и, вероятно, было впервые адресовано Адаму и Еве.

По свидетельству Стендаля, некоторые люди прекращали знакомство с ним на том основании, что предполагали в нем самом прототип Жюльена Сореля: и буржуа, и аристократам оказался равно несимпатичен юный плебей, павший жертвой своего честолюбия и классовой розни. Молодой Евгений Базаров вошел в литературу так же по-мужицки бесцеремонно, как вошел он в русскую жизнь; великий художник И. С. Тургенев не устоял перед здоровой силой и обаянием этого нового человеческого типа, но барин-либерал все же был несколько шокирован странной фигурой и не смог до конца преодолеть в себе отчужденности: кое-кто из современников подозревал писателя в том, что он сочинил памфлет на Добролюбова...

Так было, так есть и, надо полагать, так будет и в дальнейшем. Каждое новое поколение приходит в облике новом, а новое, особенно когда оно рождается в пору бурных революционных изменений, всегда необычайно, оно идет вразрез с привычными представлениями, одних тревожит, других возмущает, третьих повергает в сомнения.

Преходящи, к слову, и претензии на новизну. Уже на нашей свежей памяти и не где-либо, а у себя дома пронеслось поветрие, связанное с понятием «стиляги». Молодые люди, которые обзавелись чересчур пестрыми рубахами, чересчур узкими брюками и чересчур взбитыми коками, на некоторое время стали притчей во языцех, предметом пристального внимания педагогов и милиции, неиссякаемой темой для задорного цеха сатириков. Но вот прошло всего лишь несколько лет, и это поветрие улетучилось, миновало. Сегодняшнее наше юношество подчеркнуто равнодушно к броским атрибутам стиляжничества, брюки и коки перекочевали в витрины модных салонов, а пестрые рубахи внуков охотно донашивают пенсионеры в домах отдыха. Правда, сатирики все еще рисуют и рифмуют, но их можно извинить: легко ли поспевать за быстротечным временем, да и рука набита...

А где-нибудь за морем вчерашние битники, пресытясь скандальной славой и вниманием прессы, убедившись в том, что небритость уже сделалась хорошим тоном среди добродетельных клерков, спешат побриться и купить приличный костюм. Их барды входят в контакт с продюсерами и подумывают о возможных конкурентах на соискание литературных премий.

Пресса переключается на описание битв между «рокерами» и «модами». Внимание приковывается к «тинэйджерам»...

Но тогда, может быть, проблема вообще не существует? Или ею можно пренебречь?

Нет, это не так.

Мир, в который вступило поколение юных, противоречив и сложен. Два десятилетия, составляющие их биографию, оказались, к счастью, п о с л е в о е н н ы м и. Однако именно в этот период становление их душ проходило в постоянном страхе перед войной, ввиду зловещего призрака ядерного гриба. И если, с одной стороны, это предопределило как основную и выраженную наиболее ярко черту характера — решительное неприятие войны (во всяком случае, у подавляющего большинства), то, с другой стороны, это воспитало фатальную покорность судьбе, бессильное озлобление, стремление отгородиться от окружающего, политическую индифферентность и вялость.

Есть, правда, признаки, что эта индифферентность исчезает по мере того, как перед глазами молодежи наших дней во всей своей омерзительности встает личина фашизма, пытающегося снова разыграть свою роль на мировой сцене,— фашизма в его старых и новых разновидностях, от гитлеровских недобитков в Западной Германии до американских бэрчистов. А эта публика — воздадим ей должное — умеет лучше всех других пробуждать людей от безразличия и спячки, она прямо-таки искушает задать ей жару! Мы отлично знаем, что именно антифашистская борьба в крутой момент истории сплотила честные сердца, объединила людей самых различных убеждений.

Есть достаточные свидетельства тому, что ненависть к добропорядочному мещанскому свинству, стихийный юношеский бунт против буржуазного конформизма все явственней и чаще приобретает особые черты: это прежде всего ненависть к свинству п о л и т и ч е с к о м у и бунт против п о л и т и ч е с к о г о конформизма.

И тогда формы протеста меняются тоже. На смену эпатажу, нервическим, порой диким выходкам приходят действия целенаправленные и осмысленные. Все та же знакомая эволюция от желтой кофты и «Нате» — к социальным пророчествам!

Даже по высказываниям «тинэйджеров», опубликованным в этом номере журнала, можно проследить те ступени, по которым идет восхождение. «Они не терпят какой бы то ни было несправедливости»,— говорит о своих друзьях двадцатилетняя Сьюзан Д. из Лондона. А ее сверстник Майкл Арчер из Бирмингема уже заявляет: «Конечно, положение в мире — проблема серьезная. Одному человеку с ней, ясно, не справиться, кем бы он ни был. Но в силах каждого выяснить, что может сделать он, и сделать это как можно лучше».

Знает ли этот парень о том, что тридцать лет назад, при иных обстоятельствах и устами одного из героев великого писателя было сказано почти то же самое: «человек один не может ни черта...» (Хемингуэй, «Иметь и не иметь»)?

Не только так называемые «человеческие документы» — дневники, анкеты,— но и д о к у м е н т ы ч е л о в е ч е с т в а, произведения художественной литературы, романы, повести, рассказы современных писателей дают нам убедительные доказательства этих тенденций. Их молодые герои, преодолевая заразную зону пессимизма и цинизма, находят верный путь и верное применение своему гневу, своей непримиримости.

Герой последнего романа Алана Силлитоу «Смерть Уильяма Постерса», молодой рабочий, долго мечется в поисках смысла жизни. Эти поиски приводят его в Алжир. Там Уильям Постерс поначалу участвует в доставке оружия бойцам Фронта национального освобождения, а потом и сам берет это оружие в руки. В «Постоянстве разума» Васко Пратолини также изображается путь юноши, подвергающего сомнению все и вся. Он ищет в жизни подлинного познания и активного действия. В финале автор приводит своего героя в ряды коммунистической партии. Тема совести, диктующей необходимость действовать, все более настойчиво звучит в произведениях немецких писателей: трагический опыт поколений заставляет их пристально следить за развитием событий в Западной Германии, учит тому, что непротивление преступным планам само по себе преступно. К этой мысли приходит Энгельберт Рейнеке, молодой герой романа Пауля Шаллюка.

Говоря о других факторах, повлиявших на мораль современной молодежи, нельзя обойти и причины, кажущиеся парадоксальными, но вполне объяснимые на деле. Скажем, относительная сытость в развитых капиталистических странах — она также породила ожесточение. Выбор профессии, любой благой порыв служения обществу — все это намертво привязывается к деньге, целиком зависит от рыночной конъюнктуры. И благой порыв тонет в отчаянии, в эгоизме. Молодые люди, давшие интервью авторам книги «Поколение Икс», настойчиво винят свое общество в глухой классовой разграниченности — и это тем резче обнажает изнанку лицемерного мифа о «равных возможностях».

Доступность культуры, о которой могли лишь мечтать лучшие умы прошлого, вдруг оборачивается результатом досадным и плачевным: подлинная культура оттесняется в сторону потоком суррогатов, дешевого бульварного чтива, стандартной киностряпни, телевизионных убожеств, культивированием насилия и секса, коммерческой рекламы, возведенной в ранг искусства. Все это обольщает своей доступностью, одурманивает масштабами, создает иллюзию свободного спроса и удовлетворения

индивидуальных потребностей — в то время как на самом деле этот спрос заранее и умело организован.

Увы, сам этот принцип часто пускается в ход, принося свои тяжкие плоды.

Можно сокрушаться по поводу статистики, фиксирующей рост преступности среди молодежи. Но нельзя читать без содрогания репортаж японского журналиста Акихико Окамуры, рассказывающий о том, как было подготовлено и осуществлено правителями Южного Вьетнама массовое преступление — надругательство над сайгонскими школьницами. Это те самые правители и тот самый «свободный мир», защищать который послали за океан 140 тысяч американских парней, толкнув их, в свою очередь, на массовое преступление...

В публикующейся ниже подборке документальных материалов имеются ощутимые географические пробелы: помимо упомянутого репортажа Окамуры здесь нет публикаций, рассказывающих о молодежи стран Азии, Африки, Латинской Америки, тех, которые недавно обрели независимость, и тех, которые еще борются за свои права против сил империализма и колониализма. Конечно, черты этой молодежи и проблемы, ее касающиеся, во многих странах отличны от тех, что мы наблюдаем на страницах «Поколения Икс».

Но зато мы здесь можем прочесть другое: своеобразные исповеди юношей и девушек, живущих в социалистических странах и являющихся сверстниками своих государств. Мне довелось встречаться с этой молодежью — в Чехословакии и Польше, Болгарии и Румынии, в Германской Демократической Республике, которая вообще, в силу исторически сложившихся обстоятельств, может называться Республикой Молодых Хозяев. Эти встречи радостно поражали.

Нет, конечно же, тут, как и у нас дома, далеко до идиллии — и боже нас упаси от идиллий. Вообще наш мир, пронизанный вдоль и поперек не знающей преград информацией, ставший таким тесным, создает достаточные условия для того, чтобы ровесники в самых различных его уголках были похожими друг на друга, а эта похожесть предопределяет известное сходство проблем.

Но тем очевидней и коренные различия.

Я читаю дневник молодого поляка. Да, тут есть и мотоцикл — предмет вожделенных мечтаний, и сосредоточенный интерес к танцулькам, и горечь юношеских разочарований, и многое другое, что вполне соответствует признаниям «поколения Икс». Есть тут и пресловутая проблематика «отцов и детей»: записки юноши из Кошцежина — своего рода полемический диалог с отцом. Но, во-первых, нужно обладать достаточной неосмотрительностью и чрезмерным апломбом, чтобы начисто отрицать существование этой проблемы даже при социализме, а во-вторых, за строками этого дневника кроется совершенно новый, глубокий и важный смысл. Главное заключается в том, что здесь очевидно полное совпадение личных чаяний молодого человека и устремлений того общества, в котором он живет, а противоречия, которыми он мучится,— это реальные противоречия, которые тоже мучительно и трудно преодолевает его государство.

Уверенностью в себе, завидной самостоятельностью, немыслимой в иных социальных условиях, дышат ответы двадцатилетних чехов Ярославы Свободовой и Петра Микульчака на вопросы редакции еженедельника «Млады свет».

Вот один из вопросов: «Что бы ты сделал, если бы тебе на неделю доверили руководство нашей республикой?». И один из ответов: «Глупый вопрос. На это недели бы не хватило».

Будто бы сговорившись с чехословацкими коллегами, «Комсомольская правда» задала недавно вопрос своим читателям: «Что бы ты сделал, если бы вдруг стал министром просвещения?». Ответ десятиклассницы Нели Норкиной из Саранска суров и даже язвителен: «Отменила бы «классные часы». Учитель приходит раз в неделю прорабатывать — и все. Лучше б Ленина вместе почитали... Но, наверно, для этого не надо быть министром?»

«Комсомолка» предпослала этим ответам рубрику «Озорные интервью». Анкета еженедельника «Млады свет» не подчеркивает шутливости своего вопроса.

А ведь и вправду кому-то из этих юношей и девушек когда-нибудь придется стать министрами и главами государств — это неизбежно. И столь же несомненно, что на другом общественном полюсе — скажем, в стране, где издана книга «Поколение Икс»,— там тоже будет спрос на государственных деятелей...

И уж определенно нынешние мальчики и девочки со временем сами станут отцами и матерями. У них тоже будут дети.

Вот почему так пристально вчитываемся мы в строки их сегодняшних откровений.

Александр Рекемчук

молодые о себе

поколение ИКС

Интервью и письма английских тинэйджеров*

Сокращенная публикация из книги Г. ХЭМБЛЕТТ и Д. ДЕВЕРСОН, Лондон, 1964 г.

ПИТЕР ЛЭКОХИ, 19 ЛЕТ, ИЗ СЕМЬИ ДОКЕРА, РАБОТАЕТ УЧЕНИКОМ-РЕПОРТЕРОМ В ОДНОМ ИЗ ЛОНДОНСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ.

Мы носим кожаные куртки с блестящими медными пуговицами. Вместе с полосатыми брюками в обтяжку и самыми невообразимыми ботинками эти куртки делают нас внушительней на вид и придают уверенность в своих силах.

Одни ребята хотят походить во всем на старших братьев: у кого-то брат не раз бывал в лавочке у фараонов и прославился на весь район. Другие тянутся за своим «старником», а кое у кого старик, может, был в свое время порядочным гадом и отсидел положенное, а теперь каждый вечер приходит домой пьяный и поливает старуху почем зря. А что с него взять? У многих из нас такие семьи.

Сам я завалил переводные экзамены и очень переживал из-за этого. Родители во мне разочаровались, и я не то что не получил обещанного велосипеда, но шесть недель просидел без копейки в кармане. Правда, нет худа без добра. Парень, с которым я сидел за одной партой, сдал все на «отлично», получил велосипед и заделался пижоном, а кому охота становиться пижоном?

С этого и пошло — не можешь побить их умом, так молоти хоть кулаками. В гэнге** чувствуешь себя нужным, чувствуешь, что у тебя есть место в обществе. Среди своих ребят ты — человек. Тебя живо научат, чему следует. Полиции у нас маловато, воруй и дерись сколько влезет.

Конечно, не все мы такие уж плохие. Большинство из нас устраиваются потом на постоянную работу и неплохо зарабатывают. Хоть мы и строим из себя отпетых и устраиваем изрядные заварухи, большей частью мы вообще-то хорошие ребята. Взять хотя бы молодежный клуб в лондонском районе, где я живу и где всякое может случиться. Некоторые из тинэйджеров, которые туда ходят, уже успели побывать в участке за мелкое хулиганство, но спросите старосту клуба, и он любому ответит: «Были у них приводы или нет, я все равно разрешаю им вступать в клуб, потому что знаю — на самом деле они совсем не такие, какими хотят выглядеть, они добрые, всегда помогут человеку в нужде...»

СЬЮЗАН Д., 20 ЛЕТ, ПРОЖИВАЕТ В ЛОНДОНЕ.

У всех образованных тинэйджеров одна общая ненависть. Они яростно, до одержимости ненавидят расовые предрассудки. Они часто и подолгу обсуждают проблему расового барьера и классовых различий. Они не терпят несправедливости в любой форме. Смертная казнь — варварство.

Тинэйджеры ненавидят Франко, Мосли, Колина Джордана. Готовые спорить до хрипоты, мы яростно нетерпимы к нетерпимости. Но как бы ни бесили нас такие вещи, как казнь через повешение или фашистские пред-

* Так называют в Англии подростков и молодых людей в возрасте между 13 и 20 годами (от суффикса «teen», образующего в английском языке числительные от 13 до 19).

** Слово «gang» трудно перевести на русский. Такие понятия, как «банда» или «шайка» несут слишком однозначную оценку, чтобы ими можно было обозначить компанию подростков, живущих в одном районе и держащихся друг друга.

рассудки, мы понимаем, что наш гнев и бунт направлены против «них» и против всей их «липы» и фальшивой морали.

Наши «достойные» старшие не вдохновляют нас, не дают нам ни малейшего повода подражать им. Жуткие физиономии наших выборных вождей, министров, судей и ученых мужей напоминают живых мертвецов. Все вокруг — крысиная грызня. Молодым ощущаешь это особенно остро. Ты видишь, где болото, и все-таки тебя в него затягивают. Это какой-то порочный круг. Если ты не уступишь, старики отнимут у тебя твой хлеб и свободу.

Иногда я люто их всех ненавижу. А порой меня переполняет жалость к старикам и к одиночеству старости. Когда я думаю о тех, кто живет в трущобах, кого жизнь окончательно доконала, мне становится не по себе. Мне жалко миллионов людей, погибающих от голода в Азии и Африке.

Мне хочется помочь всем этим людям. Я вижу себя сестрой в колонии для прокаженных, или собирающей деньги в помощь голодающим детям, или участницей движения за повышение пенсии престарелым.

А что я делаю? Сегодня вечер, завтра танцы, послезавтра свидание, и легче забыть об этом. Но совесть не дает забыть — мне, по крайней мере. Мы, сумасшедшие, запутавшиеся дети, можем разгромить чужой дом за одиу дикую вечеринку, ио на следующее утро будем реветь, увидев на улице старуху или калеку или узнав, что где-то далеко от нас мучается голодающий арабский малыш.

Буря крайностей — любви и ненависти, насилия и пацифизма, добра и зла — ие стихает в нас ни на минуту.

ТРЕВОР СПЭНСУИК,
19 ЛЕТ, ИЗ МИДЛСБРО.

Мне хорошо дома. У меня два брата, одии работает на сталелитейном, а другой еще ходит в школу. У меня есть девушка, на которой я рано или поздио думаю жениться. Живу я на пособие по безработице. Прошло четыре месяца, как я безработный, и каждую неделю я выстаиваю очередь у биржи труда, чтобы получить эти 2 фунта и 15 с половиной шиллингов. Когда мимо проходят девчонки, я готов провалиться сквозь землю: у парня своя гордость.

Я хочу работать, мне стыдно, что я не работаю, мне бы так хотелось приносить домой получку и помогать матери. Чего я только не делал, чтобы устроиться, но везде слышал одно и то же. Попробуй тут почувствовать себя нужным! Не так-то приятно, когда перед тобой захлопывают двери, куда ни ткнешься. Это так угнетает. Мать не любит, когда я торчу дома, опустив руки, и дает мне деньги, чтобы я пошел куда-нибудь поразвлечься, но я-то знаю, как ей нужны эти деньги.

Иногда я брожу по городу, заглядываю в витрины и думаю: «Хорошо бы иметь это» или «Хорошо бы подарить вон то моей девушке». Мне приходится часто говорить ей, что мы не можем никуда пойти, потому что у меня нет денег, а тратить ее деньги я просто не могу. Я чувствую себя последним подонком, когда за меня платит девушка. Мы часто встречаемся, но из-за такой жизни я все время какой-то дерганый. Мы начинаем выяснять отношения и ругаться, а после я об этом жалею.

Обычно я встаю часов в одиннадцать, но и это не помогает. Мне до того надоело безделье, что хоть плачь. Я вступил в части Гражданской обороны и хожу на занятия два раза в неделю. Хожу с удовольствием — хоть на время забываешься.

Когда кончаешь школу, понятия не имеешь, как трудно тебе придется, даже не представляешь, что это за наказанне такое — сидеть на пособии. Порой мне бывает так худо, что я прямо не знаю, куда деться. Но это я еще как-то терплю. Конечно, гнетет мысль о работе, но еще тяжелее думать о тех, у кого жена и семья. Им деньги еще нужнее, чем мне. Я не завидую тем, кто работает, даже радуюсь, что есть такие счастливчики, и только чертовски хочу, чтобы работа была и у меня...

Скоро мне придется поехать на юг работать на стройучастке. Мне совсем не светит уезжать из дома, да и моя девушка от этого тоже, конечно, не в восторге. Но за четыре года я рассчитываю кое-что подзаработать и тогда вернусь и женюсь на ней.

Все, что мне нужно,— свой домик, и еще чтоб моя девушка была счастливой, и чтобы мы с нашими малышами жили по-человечески.

Нет смысла точить себя всю жизнь. Не нужно опускать руки, нужно действовать и брать от жизни все, что можно. Люди не понимают, какая здесь, в Северных графствах, трудная жизнь, они думают, что я бью баклуши. Но я и вправду хочу работать, отчаянно хочу. Мне нужны деньги — не для себя, а для матери и для моей девушки.

ДЖОН ГРИНУЭЙ, 18 ЛЕТ, ИЗ БИРМИНГЕМА:

В 16 лет я в первый раз по-настоящему увлекся девушкой. Но сейчас у меня нет девушки, с которой я бы встречался постоянно. Вечерами я отправляюсь пропустить по маленькой или иду в кино. Живу я за городом, а там не очень-то развернешься. Знакомые ребята обычно ездят знакомиться с девушками в Бирмингем, на танцы. Я чувствую себя не очень уверенно и хотел бы в будущем жениться. Наверное, для того, чтобы прибавить себе уверенности.

Мне трудновато знакомиться с девушкой, и первая встреча доставляет мало радости. Я держусь слишком скованно. Ты стараешься произвести впечатление на нее, а она — на тебя. Но обычно я сразу чувствую, захочется ли мне снова с ней встретиться. Откуда берется такое чувство, я и сам не знаю. Я каждый раз думаю, что эти встречи приведут к чему-то стоящему, но пока что мои романы почти всегда как-то сами собой расклеивались.

Иногда я люблю побыть один. У меня появляется желание уйти от всего на свете, я без всякого повода вдруг начинаю хандрить. Но это быстро проходит. Я включаю приемник или начинаю думать о чем-нибудь приятном, что мне еще предстоит сделать, и снова прихожу в норму.

Я много думаю о том, как здорово было бы иметь действительно хорошую девушку. Нельзя же быть довеском в компании, где у всех ребят есть подруги. Вот и ищешь себе девушку, а там не важно, кто она и так ли уж она тебе нравится. Главное, можно снова быть со всеми.

Но чего я действительно хочу, так это влюбиться в настоящую девушку. Не могу сказать, какой я ее себе представляю, но надеюсь скоро встретить ее.

Человеку прежде всего нужна уверенность. Если у тебя ничего не отложено в банке на черный день, тебе не избавиться от тревоги. Я рвался уйти из школы, а теперь все время в нервах из-за работы и не знаю, как жить дальше.

На меня находят совершенно беспричинные приступы подавленности. С матерью мы ладим прекрасно, а вот с отцом — не очень-то. Мы с ним слишком похожи друг на друга — оба упрямые и спорим по пустякам. Родители за меня переживают — ведь я у них один. Я все время твержу им, что у меня все в порядке и им нечего беспокоиться, но это не помогает.

Не то, чтоб мне было не по себе дома — семья-то у меня как раз хорошая. Просто я не могу чувствовать себя уверенным, глядя на то, что происходит в мире. Как можно быть по-настоящему счастливым, когда все вокруг так ненадежно? Меня особенно потрясло убийство президента Кеннеди. У меня было такое чувство, как будто мир лишился последнего символа порядочности и здравого смысла. Наши правители показали, чего они стоят, когда попытались замять все эти сексуальные скандалы *. Кеннеди казался единственным несомненно порядочным государственным деятелем на Западе. Разве такие, как я, могут повлиять на будущее, когда вокруг столько профессиональных временщиков и политических боссов, одержимых манией власти? За какую партию я ни голосуй, моего мнения никто не спросит, когда какой-нибудь псих вздумает нажать на кнопку. Кто правит нами? Гении вроде Кеннеди не встречаются на каждом шагу.

Тут поневоле станешь подавленным. И всем на все наплевать. Все только и норовят ухватить Удачу за хвост. Если мне повезет и я найду надежную денежную работу, то я буду вести себя так же, как все. Представить только, что значит для человека небольшой счет в банке и теплый семейный очаг. Начинаешь думать только о своей машине, о том, чтобы был ухожен твой собственный садик, о страховом полисе, о том, чтобы купить еще один телевизор, и совсем не остается времени беспокоиться о действительно больших проблемах или подумать, например, о том, сколько людей умирают от голода в Африке.

Чувство устроенности может стать твоим убийцей, разъесть твои ум и душу. Но как бы я хотел, чтобы оно у меня было!

ДЭВИД МАКМИЛЛАН, 17 ЛЕТ, ИЗ ГУЛЛЯ, ЙОРКШИР.

Религия дает мне цель в жизни. Вместо того чтобы устраивать личную карьеру, я хочу служить богу.

Нехристианин думает только о себе. Большую часть времени я так или иначе отдаю церкви. Я играю за церковную футбольную команду, вхожу в молодежное «Братство», играю на рояле в воскресной школе, посещаю службу четыре раза в неделю.

* Имеется в виду нашумевшее «дело Профьюмо».

Христианская вера учит смотреть на мир как на нечто преходящее. Все в нашем мире очень ненадежно, и мне кажется, что именно религия помогает мне обрести в нем чувство уверенности. Я часто стараюсь обратить людей в веру, по-дружески беседуя с ними. Указываю им на те факты, изложенные в библии, которые подтвердились. Но если человек просто не хочет верить, тут уж ничего не поделаешь.

Мне хотелось бы стать юристом: это интересная работа, и можно помочь людям.

Я понимаю, отчего многие тинэйджеры сбиваются с пути. Они думают, что живут на краю водородной катастрофы, и хотят насладиться жизнью, пока не поздно. Я думаю, что им не мешало бы более трезво взглянуть на вещи. Но многие из них не способны на это, потому что считают, будто весь мир пошел прахом.

Мне кажется, что проблема средневекового варварства стоит сейчас куда острее, чем проблема молодежи. Если бы нам показали лучший пример, все могло бы быть и по-другому. Фильмы, телевидение, газеты — нас отовсюду бомбардируют сексом. Мы не можем никуда от этого скрыться, а ведь этот их «секс» — очень поверхностный, не имеет никакого отношения к подлинной сути взаимного влечения полов. Секс, поставляемый средствами массовой информации,— это же мечта средневекового человека!

Так что не стоит обвинять во всем одних тинэйджеров. Им с самого начала подали дурной пример, а большинство из них и не знает лучшего. Я часто ловлю себя на том, что не позволяю себе некоторых поступков, эгоистических поступков, потому что меня останавливает религия. Для меня лучше сразу решить не делать ничего злого или дурного. Если я пойду против духа моей веры, то, знаю, сам буду потом об этом жалеть.

Но у многих ли ребят и девушек есть в жизни такая вера? Христианскую церковь часто критикуют, однако она не дает людям причинять вред и разрушения.

ДЭЙВ СКРИББИНС, 19 ЛЕТ, СТОК-ОН-ТРЕНТ.

У меня было замечательное детство. Нас тринадцать детей в семье, и в доме никогда не прекращались шум и смех. Мы всегда были счастливы, хотя денег постоянно не хватало и жилось не так-то легко.

У меня, хоть я и был самым маленьким и любимцем в семье, никогда не было никаких преимуществ перед другими. Отец последние семь лет жизни сильно болел и не мог работать. Мне исполнилось тринадцать, когда он умер, и матери пришлось положить немало сил, чтобы нас воспитать. Она делала чудеса, и теперь мне хочется ей помочь чем только можно. Я подрабатывал еще мальчишкой — служил у букмекера.

Я и сейчас работаю у букмекера, иногда по тринадцать часов в сутки, и работа приносит мне радость, хотя сам я никогда не играю на тотализаторе. Мне очень не хватает отца. Если бы он был жив и посмотрел на меня, каким я стал! Думаю, он остался бы мной доволен, и мне это было бы очень приятно.

Два года тому назад я был хорошим гонщиком. Гонки по нерасчищенному треку доставляли мне особое удовольствие. Хозяин считал, что из меня выйдет толк; он даже купил мне все необходимое для гонщика-мотоциклиста. Но мать очень волновалась из-за меня. Она хотела, чтобы я все это бросил, потому что гонки — слишком опасное дело. Мне до слез не хотелось бросать мотоцикл, но зато я осчастливил мать. После всего, что ей пришлось пережить, мне страшно даже подумать, что я могу ее чем-то огорчить или заставить волноваться.

Хорошее детство влияет на всю дальнейшую жизнь. Ты уже не можешь озлобиться, хотя, конечно, временами и чувствуешь себя неважно. Я веду деятельную жизнь и провожу время в свое удовольствие. Для этого не нужно много денег. Всю получку я отдаю матери, а она снабжает меня деньгами, когда хочется пойти поразвлечься. Она заслужила все, что я могу ей дать.

Я хожу в джаз-клуб, принимал участие в пяти постановках любительской оперной труппы и не раз выступал в барах с пеннем популярных песенок. На скуку у меня просто не остается времени. В жизни так много нужно успеть. Люди называют наши края дырой, но они не понимают, как много дела здесь можно найти. Конечно, чтобы хорошо провести время, нужно поискать развлечений — они не явятся к вам на дом сами собой.

Я не могу понять тех, кто жалуется на скуку и однообразие. Если им скучно, так зачем они вообще появились на свет? Я хочу здесь остаться. Сток-он-Трент — мой дом, хоть это и звучит сентиментально.

И зачем мне куда-то уезжать? У меня хорошая работа, хорошие друзья, замечательная семья — это вся моя жизнь.

Чего еще я могу себе пожелать?

ДЭВИД РЕНАРДСОН, 18 ЛЕТ, ИЗ ГУЛЛЯ.

В школе я специализируюсь по экономике, географии и французскому. Мне хотелось бы поступить в университет, вернее, не то чтобы очень уж хотелось, но университет — единственная дорога, если рассчитывать чего-то добиться в жизни. К работе я пока что не очень стремлюсь: ведь потом мне всю жизнь придется зарабатывать на существование. Я пока еще не решил, кем я стану, однако думаю, что в Англии все слишком смахивает на крысиную грызню. Если ты готов принять в ней участие и попытаться урвать свое, что ж, тогда порядок. Мне лично все это очень не нравится, но тут, пожалуй, ничего не поделаешь, не помирать же с голода.

Будущее рисуется мне весьма смутно. Я часто размышляю над тем, что из меня получится. У меня нет никаких определенных планов, но мысль о будущем не оставляет меня ни на минуту. Скорей всего, я пойду работать в промышленность, но мне хотелось бы уехать в Канаду, Австралию или Южную Америку. Там вроде поменьше этой крысиной грызни. В Британии слишком силен дух пуританства и принадлежности к своему классу. Все англичане делятся на большинство боящихся социальных перемен и горстку людей, которые паразитируют на этой трусости. Если у тебя нет нужных связей или ты недостаточно хорошо умеешь притворяться, тебе уж никак не пробиться «наверх» честным путем. Конечно, производство у нас налажено хорошо, но чтобы сделать страну по-настоящему жизнеспособной, нужна более плановая экономика.

Люди меня не очень интересуют, мне мало дела до того, чем они занимаются. Я предпочитаю держаться небольшого круга близких друзей, вообще же в подавляющем большинстве люди кажутся мне скучными и ограниченными. Я не терплю болтовни по пустякам и скучных собеседников. Беда с девушками — они только и умеют, что глупо хихикать да все время думать о замужестве. Конечно, когда-нибудь и я женюсь. Года три тому назад я пережил пору, когда обязательно есть постоянная девушка. Сейчас я этим не занимаюсь — вышел из возраста.

Моя жизнь, скорее всего, будет абсолютно бесполезной. Таково большинство жизней. Но и будущее не очень-то обещает, не так ли? А в какую невообразимую мешанину превратило человечество этот мир?

СТИХОТВОРЕНИЕ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ, СТРАДАЮЩЕЙ ДУШЕВНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ.

ПОКОЛЕНИЕ ИКС

(Написано под тихими и мирными кущами в саду психиатрической лечебницы)

Почему я здесь?
Что я сделала?
Зачем я родилась?
Кто я?
И кому я нужна?

Я — это я.
Я должна страдать,
Потому что я — это я.

Никого не хочу обидеть,
Никого не хочу убивать,
Хочу жить.

Зачем мы живем?
Для любви и счастья?
Почему бы мне не покончить
с собой?

Ненавижу этот мир,
Ненавижу родителей и свой дом,
Почему — не знаю.

Ревут машины,
Визжат рекламы
Со стендов, с экранов телевизоров,
со страниц газет.

Купи то.
Сделай это.
Секс, секс, секс.

Я искала правду,
А нашла одиу неуверенность,
Мне помешали искать любовь.

Слишком много денег,
Слишком миого досуга —
Вот что нам повторяют.

Деньги, время —
Суррогаты
Настоящего счастья.

Где мне найти счастье?
Я не знаю —
И, наверное, никогда не узнаю.

РОБЕРТ АРНОЛЬД ЭВАНС, 18 ЛЕТ, ИЗ УИМБЛДОНА.

Я живу со своими родителями. Моей сестре 21 год, и она живет вместе с подругой — хочет быть самостоятельной. Я не оставлю моих стариков, потому что у меня больной отец. Он заболел артритом, когда мне было семь лет. Я зарабатываю семь фунтов в неделю, а с чаевыми и все девять. Два с половиной фунта я отдаю матери, но вообще-то получается три, потому что я плачу за телефон. Я без конца названиваю моей девушке.

Отец получает пенсию от государства, потому что не может работать, но я его не опекаю — куда там! Он — потрясающий старик, дает мне советы и все время помогает людям. Он не только очень добрый — он умный, говорит на трех языках. Я во многом от него завишу, и он многому меня научил.

На следующее рождество у меня будет помолвка. Я познакомился с ней в туристическом лагере на Френчемских прудах — сейчас его закрыли из-за хулиганов. Мы поженимся, когда скопим на первый взнос за дом. Мы хотим, чтобы у нас был свой угол.

С Кэрол чудно́ это вышло. Она совсем не похожа на других девушек, с которыми я встречался. У меня такое чувство, будто я знаю ее всю жизнь. Она — все, чего мне всегда хотелось. Она — как есть «то самое». Когда мы с ней гуляем, я надеваю черный костюм, а она — что захочет. Она — НЕ мод, и НЕ рокер. У нее свои принципы. Она не станет со мной спать до женитьбы. У нее есть все — она красивая, из хорошей семьи, и у нас общие интересы.

Я по-настоящему влюбился в нее, когда мы были знакомы уже около трех месяцев. Тогда мы по-настоящему сблизились; то есть, конечно, никакого интима не было, просто сблизились. Нас влечет друг к другу. Если я потеряю ее, я сойду с ума или покончу с собой. Иногда я боюсь, как бы она не ушла к другому, но не думаю, чтобы она ушла. Такой, как она, мне не найти, ищи я хоть миллион лет. Для нее я и живу, и работаю. Я встречаюсь с ней как можно чаще, но все равно не каждый вечер. Когда она рядом, я не могу пойти по дурной дорожке.

Я нервничал, когда делал ей предложение: вдруг она откажет. Это было, когда мы однажды гуляли вечером после работы на Уимблдонском пустыре. Потом мы зашли в бар и немного выпили, и я вернулся домой и сообщил обо всем отцу. Тот сначала не поверил, подумал, что я его разыгрываю. Мне хотелось бы иметь двоих детей. Пока что она не хочет и слышать о детях. Не знаю почему — наверно, каприз. Но, думаю, все образуется после того, как мы поженимся.

До того как мы с Кэрол познакомились, я был совершенным дикарем. Я все время дрался, лупил бутылками и кирпичами, всем, что подвернется под руку. Я никогда не убегал от драки, всегда ввязывался и дрался изо всех сил. Да и сейчас не убегу, если будет нужно, но теперь я дерусь куда меньше. Теперь для меня только и есть что я да моя девушка. На других как-то не обращаешь внимания.

Теперь я не дерусь, но если кто-нибудь ударит мою сестру или заденет и оскорбит кого из семьи, я убью его. Но сам я не напрашиваюсь на драку. Для меня только и есть что я да моя девушка. Ради нее я живу.

ДЭВИД ГЕНРИ ТОМАС, 16 ЛЕТ, ИЗ ЧЕЛТНЕМА.

Я учусь в школе и готовлюсь по гуманитарной программе — изучаю французский, немецкий и родной язык. Хочу поступить в Оксфорд, он считается самым лучшим университетом. Еще год назад я был баптистом, но теперь хожу к ним раз в неделю, да и то не молиться, а встретиться с ребятами и поиграть в бадминтон.

Я отступился от веры, потому что считаю ее лицемерием. Я не вижу никакого смысла в молитвах, а служба выглядит и вовсе неуместной.

Религия должна быть делом личной совести. Когда я был маленьким, меня заставляли посещать воскресную школу, и я подчинялся. Но потом я стал надо всем этим задумываться и понял, что церковь совершенно бессмысленна. Кому от нее какая польза? Разве что старикам, которым нужно на что-нибудь опереться, потому что они боятся жизни.

Библия сама себе противоречит на каждой странице, и большая часть того, что в ней написано, сегодня звучит совершенно дико. Что касается библейской морали, то я не знаю, как увязать ее с жизнью. Баптизм — всего лишь символ, обрядовые предрассудки. Он не имеет никакого смысла. Когда я был верующим, я все время искал каких-то знамений, тайного

смысла. Потом я понял, что религия не выдерживает проверки разумом. Либо ты глотаешь ее целиком, либо порываешь с ней и приходишь к согласию с фактами реальной жизни.

Я не могу объяснить, как я порвал с религией. Может быть, я становлюсь циничным. Но просто вдруг перестаешь во всем этом видеть смысл. Я не разделяю больше догматов церкви, и мне не нравится служба.

Религия — суеверие, такое же устаревшее и не более ценное, чем древние мифы. Мальчишкой я часто молился богу, чтобы он помог мне избежать экзаменов, освободил от подготовки к ним. Конечно, это было самообманом, но зачем священники поощряют такой самообман?

И еще я не могу принять учения о том, что нехристиане не попадут на небо, что им отказано в вечной жизни. Почему это? Несусветная чушь!

Кроме того, в наш век мне кажется отталкивающей и немного наивной перспектива вечного блаженства.

Нет, религия мне не подходит...

МАЙКЛ АРЧЕР, 20 ЛЕТ, ИЗ БИРМИНГЕМА, СТУДЕНТ II КУРСА КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

В школе я слишком много работал и лишь в университете понял, что в жизни есть кое-что и помимо занятий. Тут я узнал, что важно не одно только учение. Я состою в четырех обществах: спортивном, любителей кино и двух исследовательских.

Я собирался поехать в Ливию, но поездка не состоялась. Я — член организации «Война нужде» и этим летом поеду в Грецию работать на дорожном строительстве. Там же я начну писать диплом. Мне хочется побывать за границей, я мечтаю о том, чтобы поехать учителем в Новую Зеландию. Но это, скорее всего, так и останется мечтой.

Замечателен сам дух университета. Здесь все вместе — и бедные, и обеспеченные. Я получаю 300 фунтов стипендии в год и умудряюсь на них прожить. Девушка, за которой я сейчас ухаживаю, также специализируется по географии. Так что мы, понятно, встречаемся на лекциях, и наши отношения не мешают работе. Я решил не позволять себе по-настоящему увлечься ею: недавно я здорово обжегся — девушка, с которой я был помолвлен, разорвала помолвку.

Я решил, что мне следует попутешествовать и кое-что сделать, прежде чем осесть и обзаводиться семьей. Иногда приходится работать по десять часов в день, а девушки отвлекают. Отец у меня — директор в одной из бирмингемских начальных школ. Я поступил в университет еще мальчишкой. Вдали от семьи жизнь совсем другая. Самое большое преимущество университетской жизни — ты сам себе хозяин и должен сам принимать решения.

Конечно, положение в мире — проблема серьезная. Одному человеку с ней, ясно, не справиться, кем бы он ни был. Но в силах каждого выяснить, что он может сделать, и сделать это как можно лучше. Здесь необходимо специализированное образование: оно подскажет, на что направить энергию. Жизнь становится разрушительной лишь тогда, когда она бесцельна и лишена смысла.

ДЕРЕК УОКЕР, 17 С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, ИЗ КАРЛАЙЛА.

Всю получку я отдаю матери, а она выдает мне из этих денег 1,5 фунта, они идут на выпивку, сигареты и на кино, куда я хожу довольно редко. У меня слишком много дела, чтобы тратить время на кино. Я играю в регби и два вечера в неделю отдаю тренировкам. Один вечер уходит на общество любителей пения. Этим летом мы уходим в плавание, которое организует Шотландский клуб молодежи. Мы посетим Норвегию, Данию и Германию и везде будем выступать с программой шотландских песен.

У меня была девушка, за которой я ухаживал и которую очень любил. Но родители сказали «нет». Они решили, что я еще маленький, чтобы связываться с девушками. Мне кажется, что, когда двое любят друг друга, никому не нужно вмешиваться. Вообще-то родители не очень меня опекают, только когда речь заходит о девушках.

Сначала мне было очень горько. Мы работаем с ней в одной фирме, и я подумал, что, если сменить работу, мне будет легче ее забыть. Я пытался объяснить матери, что это серьезно, но она сказала, что думает о моем благе и что мне еще рано себя связывать. Она так и не поняла, как я люблю мою девушку. Я все еще встречаюсь с ней в две недели раз, но уж лучше не поднимать дома шума, поэтому мы постепенно расходимся.

Рано или поздно я хочу жениться, когда у меня будет больше денег. Я подумываю о том, чтобы уехать в Австралию. У меня там живут друзья, и, судя по их письмам, в Австралии у человека больше шансов на будущее. Я здорово настроился на Австралию, а уж если я что-то решил, так я обычно так и поступаю. Я многого жду от будущего — хочу стать лучше и хочу наконец почувствовать себя уверенно. Мне кажется, старшие должны постараться понять, чем мы дышим. Если сесть и спокойно поговорить с ними, они обычно всегда все понимают. Для того чтобы управлять, требуются возраст и опыт; молодежи нужно, чтобы старшие ее направляли. Но тут возникают разного рода барьеры. Я выслушиваю советы родителей, но не всегда им следую.

У меня была возможность пойти в репортеры, но затем подвернулась моя теперешняя работа, и я решил на ней остановиться. Хоть она и не такая интересная, да зато надежнее. Ребята, мои друзья, больше всего на свете стремятся к надежному.

В субботу вечером мы с ребятами ходим в джаз-клуб на танцы. Другие ребята назначают девушкам свидания, а я — нет: из-за родителей. Лучше уж я изредка буду встречаться с моей девушкой, чем устраивать дома скандалы.

ДЖОН МАЙЛЗ, 21 ГОД, ИЗ УЭЛЬСА, СТУДЕНТ III КУРСА ЭДИНБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Если я получу диплом, то хочу уехать за границу. Если нет, то, скорее всего, придется торчать здесь. Мне хотелось бы уехать в одну из стран Содружества *, где меньше шансов угодить под бомбу. В Лондон-то я уж наверняка не поеду, потому что на этот город бомба будет сброшена в первую очередь.

Мой отец имеет гостиницу в Уэльсе, но я не собираюсь жить в тех местах. Я много времени провожу с другими студентами, мы часто собираемся, но ровным счетом ничего не делаем. На первом курсе я вообще не упускал возможности попасть на вечер. Познакомиться с девушкой здесь не так-то просто, разве что на танцах, да и то ребята устраивают на девушек форменную облаву, так что к ним и не пробьешься. Я махнул рукой на это дело.

Один семестр встречался с сестрой из больницы, но постоянно ухаживать за кем-то я не собираюсь — отвлекает от занятий. Думаю, что моя главная цель — устроиться на хорошую работу и постараться забыть о бомбе. Я слежу за событиями и интересуюсь спортом. Будущее представляется мне смутным, порой мне кажется, что никакого будущего вообще не наступит. Если кое-кто не возьмется, наконец, за ум, начнется война. Никто по-настоящему не пытается выправить положение, и надеяться на это, по крайней мере в нашей стране, не приходится.

Беда в том, что у англичан гипертрофировано чувство классовой принадлежности. Если бы я окончил среднюю школу, я бы мог великолепно устроиться — вот как оно получается. Меня выводит из себя обращение «сэр», я ненавижу власти, вернее, тот гонор, с каким держатся люди, облеченные властью. С тобой обращаются так, как будто ты еще школьник.

Одна трусость. Люди, отгораживающиеся от других барьером класса или власти, как правило, оказываются страшно трусливыми. У них нет настоящего мужества. Они и пальцем не пошевельнут, чтобы помочь человеку.

Меня интересует строительство. Тут, по крайней мере, сразу видишь результат своего труда, а не копаешься в мире ничтожно малых величин, как химики или математики. Я люблю видеть то, что делаю, и стараюсь, чтобы от моей работы никому вреда не было. Меньше всего я хотел бы стать ученым-атомщиком, который тихо и мирно обдумывает, как бы вернее и эффектнее уничтожить наш мир. Я знаю, что они разглагольствуют о благе науки, но предпочту поработать для блага человечества. Не думайте, что я читаю проповедь,— просто иначе я не могу считать себя человеком.

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОГО ЮНОШИ.

Приходит время,
Когда нужно решиться.
Да, обязательно придет время,
Когда нужно выйти в мир, чтобы заработать свой грош.

---

* Имеется в виду Британское Содружество наций.

Вот, в принципе, все, чему учитель в школе обязан научить невинного парнишку, который попадает к нему, не задумываясь над тем, как жить дальше. Смысл жизни любого человека — «выйти в мир, чтобы заработать свой грош». Ведь ему нужно есть, одеваться, платить за жилье и за транспорт. И, может быть, нужен еще кто-то, вместе с кем можно было бы жить и безмятежно тратить изобилие грошей, которые человек надеется заработать. А мы, окончив школу, удивляемся: почему это великолепный огромный мир отнюдь не спешит идти нам навстречу. В школе-то нам вдалбливали, что все будет совсем наоборот. Следующая ступень — разочарование. И, наконец,— первое увольнение.

Во всем мире нет более неуютного места, чем биржа труда в понедельник утром. Разнообразные плакаты с доски объявлений при входе приглашают безработных на место тюремного надзирателя («Прекрасный коллектив и нормированный рабочий день») или, на худой конец,— в британскую полицию. Тех, кого не прельстят столь очевидные преимущества деятельности на одном из двух достойных поприщ, направляют на второй этаж к двери с табличкой: «Прием ходатайств о зачислении на пособие. Регистрация карточек национального страхования и т. п.». Дверь почти никогда не закрывается из-за беспорядочного потока сутулящихся безработных, которые непрерывно входят и выходят из комнаты.

Другие безработные толкутся в очереди перед тремя столами в самой комнате, стены которой также украшены плакатами, живописующими радиус действия водородной бомбы в районе Лондона и последствия взрыва для отдельного дома. Эти восхитительные шедевры не способны, однако, развеять царящую в комнате атмосферу уныния, еще больше усугубляемую клубами табачного дыма. Дым выполняет заодно и функции поглотителя: в нем гаснут самые крепкие из выражений, которыми обмениваются разговаривающие. Женщины, разумеется, здесь так же неуместны, как на холостяцкой пирушке членов Национальной федерации гольфа.

Мужчины выглядят так, будто получили одежду из армейской лавки,— все в синих байковых куртках с кожей на воротниках и манжетах и в суконных кепках, которые недвусмысленно свидетельствуют, что их владельцы пошли «по строительной части» (иными словами — рабочие-строители). Человек, одетый иначе, здесь «выпирает» так же, как дохлый кит в бассейне.

Все они — постоянные клиенты, так как клерки называют их по имени и расспрашивают о «половине» и «детишках». Они с точностью знают, куда становиться и где какую карточку предъявить. Все это, конечно,— часть разветвленной системы всеобщей тайной слежки, которая ведется при помощи картотеки. Без карточки ты — пустое место.

На бирже у тебя первым делом требуют карточку, а затем начинают шпынять, выясняя, почему ты пробездельничал две недели, прежде чем встать на учет, так что в конце концов тебе хочется одного: забрать у них карточку, выскользнуть через черный ход и больше никогда сюда не возвращаться.

Нас заглатывает машина прогресса, нашу индивидуальность порабощает великое зло в облике тред-юнионов, которые были когда-то просвещенной и гуманной организацией, а сейчас разрослись в сердце нации, как огромная раковая опухоль. Ушло то время, когда человек получал работу по способностям и умению, кончились дни здорового соревнования. Сегодня впереди тот, у кого на карточке налеплено больше марок. Сбылись фантазии Уэллса и Оруэлла.

Нам уже не позволяют по собственному вкусу выбирать автомобили и сигареты, одежду и предметы потребления, нас со всех сторон осаждают гнусные проспекты и вопящая реклама, пока, наконец, мы не плюем и не идем по линии наименьшего сопротивления, покупая то, что нас призывают купить, чтобы выторговать себе немного покоя. С одной стороны нас уламывают купить сигареты такой-то марки, с другой — тот же самый идиотский ящик, телевизор, и лопающиеся от пропаганды листки, именуемые газетами, обрушивают на нас кампанию по борьбе с раком легких. Кому же верить, если каждая из сторон с благородным негодованием обвиняет другую в мошенничестве?

Да и кто станет тревожиться о раке легких, который еще то ли будет, то ли нет, когда наши правители обеспечили нам атомную войну почти со стопроцентной гарантией? А с этой войной не справится, пожалуй, даже наша добрая старушка Гражданская оборона. Ей даже не удастся собрать образчики радиоактивной пыли, чтобы продемонстрировать их на очередной всемирной выставке,— потому что не останется такого мира, где можно было бы говорить о выставках.

Мне как-то довелось присутствовать на показательных занятиях Гражданской обороны. Сначала пожарные части продемонстрировали мощность

брандспойтов, начисто содрав кору с дуба струей воды, а затем полицейская овчарка, под одобрительный рев толпы, в два счета разделалась с укутанным в вату «преступником». Но даже пожарные машины и полицейские овчарки вряд ли сумеют нам помочь за те четыре минуты, что пройдут между сиреной атомной тревоги и взрывом.

Итак, мы зарабатываем свой грош и раздумываем, где же оно кончится, это наше существование. Жизнь должна продолжаться. Рождаются младенцы, хотя даже им не дают теперь спокойно появиться на свет: ведь мамаши разрешают подкатывать камеры прямо к родильному столу, чтобы поделиться со зрителями прогрессивного телевидения Би-би-си всеми интимными подробностями этой великой минуты.

Через несколько лет мы перестаем задумываться над происходящим. От этого никуда не денешься. Мы научились с математической точностью предсказывать, что завтра произойдет изнасилование, послезавтра — похищение и т. д.

Так пусть нас поглотит забвение! Если времени хватит, можете написать продолжение к этой книге * и назвать его «Поколение Ноль».

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЭВИДА ЧЭЛОНЕРА ИЗ МОТТРАМ-СЕНТ-ЭНДРЮСА.

Я призраки войны убью вглядевшись в жизнь
И я не обречен
и надпись на стене еще не появилась **
Политиканы я бросаю вызов крикливой вашей глупости
Бросаю вызов ядерным грибам от ваших бомб
И вызов вашим лимузинам
Свой вызов напишу я на холстах в кричащих красках
Я не Рембо и я не перестану кричать
или писать
Я буду защищать все что на благо миру
Я не смирюсь и не приму от вас удар сказав Спасибо
Мы не обречены и это
написано на ясном небе
Шуршит во вздохах ветра
ревет потоком горным
кричит из глубн моря
поется птицей на рассвете дня —
МЫ НЕ ОБРЕЧЕНЫ!

ИЗ ПИСЬМА САМИРА БЭСТЫ, 20 ЛЕТ, ИЗ ХОУВА, САССЕКС.

Последнее время много говорнтся о «современной молодежи». О том, какие мы опрометчивые и несдержанные, преступные и помешанные на сексе. Помимо всех ярлыков, которые на нас навешивают, нас называют еще желторотыми цыплятами, не имеющими представления об ответственности и не знающими, что такое жизненные проблемы и невзгоды.

Что же, эти ярлыки и в самом деле соответствуют правде? Во всем мире чуть ли не каждого молодого человека, работает он или учится, мучает одно слово — «Будущее», — которое непрерывно отдается у него в голове, как будто кто-то стучит молотком. Это слово нашло союзника в лице современного общества, которое, во всеоружии статистики возросшего жизненного уровня и со своим обожествлением Преуспевающего Человека, внушает юноше, что он ничтожество, если не может добиться места «наверху», в той области, где работает.

С раннего детства подросток уже рисуется себе таким, каким, как он думает, он должен стать. Когда же юноша обнаруживает, что превращается в каплю в океане, к тому же еще — из-за своей молодости и неопытности — в малую каплю, он восстает. Из привычного, такого надежного домашнего быта он выброшен в мир конкуренции и крысиной грызни. Мечта об успехе отступает еще дальше, на третий план, и ни у кого нет времени прислушаться к тому, что этого юношу беспокоит.

Еще неразрешимее дилемма, перед которой оказывается студент. Каждый студент мечтает о том, чтобы кончить университет и сделать хорошую

---

* «Поколение Икс».

** По библейскому преданию, невидимая рука возвестила гибель царю Валтасару, начертав на стене пиршественной залы роковые слова.

карьеру. Когда же выясняется, что ему не под силу одолеть даже первую сессию, все его планы на будущее терпят крах. Легко сказать: «Значит, ему следовало больше работать». Но ведь у всего есть свои границы, существует предел и той работе, которую студент способен осилить за какой-то отрезок времени. Учитывая то, что с университетами у нас очень плохо, а требования, предъявляемые к студенту, все повышаются и повышаются, шансы на окончание университета уменьшаются с каждым годом.

Столкнувшись с такой дилеммой, юноша ищет поддержки и совета. Но он редко находит их у старших. Как это ни поразительно, найдется лишь горстка взрослых, способных и готовых дать нам дельный совет. Темп жизни настолько высок, что у старших, как правило, просто не остается времени на то, чтобы нас выслушать.

Поэтому мы и ищем спасения в интимной жизни. Юности нужно, чтобы ее защитили и обогрели в семье, дома. Когда же нет ни дома, ни семьи или, как это бывает зачастую, дома нам не могут помочь, мы обращаемся к человеку противоположного пола. К тому, кто нас выслушает и поймет, что нас тревожит. К тому, в чьих объятиях мы, пусть на несколько коротких часов, вернем себе уверенность и силу.

Студент, которого изводят экзаменами, рабочий паренек, на которого «давит» хозяин, могут отдохнуть от всего этого в объятиях девушки. Случается, что парень, в свою очередь, срывает на ней злость, накопившуюся от слов и дел старших.

Итак, молодежь стремится укрыться от общества в сексе. Старшие нас за это осуждают, но не видят одного: ведь мы ощупью ищем свое место в жизни, и никто нам в этом по-настоящему не помогает. Всю вину за это должно нести современное общество с его жесткими требованиями и давлением на человека, с его органической неспособностью удовлетворить насущные нужды молодежи.

Оно слишком слепо, слишком глухо, слишком уродливо, чтобы попытаться *хотя бы* понять нас...

Когда историки захотят подвести черту под тем, что сделало в жизни «поколение Икс», им снова и снова придется говорить об одном и том же: о гневе и отвращении, которые Сын унаследовал от Отца. С начала века, когда Европа, возмущенная бесчеловечностью социальных условий, решила уничтожить культ викторианского благополучия, и до земного ада двух мировых войн молодое поколение было призвано развенчивать опасные иллюзии прошлого.

Сейчас, как никогда раньше, социальные проблемы стоят в мыслях каждого человека на первом месте, а чувство личной ответственности особенно обострилось, хотя им пренебрегают и его попирают безответственные политики, стоящие у власти. Протест — это слово выражает существо нашего века; протест либо коллективная смерть — другого выбора нет.

Мы постарались покончить с голодом, но сейчас нам не хватает пищи духовной сильнее, чем когда-либо. Мы добились полной свободы мысли, но тщетно ищем конца нашему безбрежному одиночеству.

Мы заговорили на новом языке техники, но древний язык любви в его первозданном совершенстве тревожит нас по-прежнему.

Один день в году мы посвящаем памяти погибших в двух мировых войнах. Но с каждым годом источник этой печали бледнеет в нашей коллективной памяти, а наша скорбь становится формальностью. И с течением лет возникают все новые оттенки человеческого безумия.

В нашем безумии мы уничтожили бога, но не нашли ничего, что могло бы его заменить.

Хватит ли у нас мужества жить дальше — в одиночестве и без успокоительных шор веры?

Единственное, в чем я твердо уверен,— мы должны жить дальше.

Но не спрашивайте нас почему.

Перевод с английского В. СКОРОДЕНКО

молодые о себе

Дневники сельской молодежи, один из которых публикуется ниже, поступили на конкурс, объявленный в декабре 1961 года Союзом сельской молодежи при содействии Польской академии наук и народно-издательского кооператива. За четыре месяца было получено 5475 рукописей. На основе этих материалов издается многотомная серия «Сельская молодежь в народной Польше». Первый выпуск вышел в свет в 1964 году, а два последующих тома готовятся к печати. Вся серия издается под наблюдением комиссии по мемуарам современников, существующей при Польской академии наук. Возглавляет комиссию профессор Юзеф Халасинский, которому мы выражаем благодарность за эту публикацию.

Из дневника польского юноши

Автор записок — крестьянин, работает в хозяйстве своих родителей. Возглавляет в деревне организацию Союза сельской молодежи. Член Польской объединенной рабочей партии. Живет в уезде Кощежина Гданьского воеводства. Родился в 1938 году. Окончил среднюю школу.

...Интересно, неужели всю жизнь так и придется воевать с отцом или когда-нибудь он наконец прозреет? Нельзя же до самой смерти твердить: «Я — хозяин» — и считать, будто я не способен соображать быстрее и лучше его. Мой отец всего боится, страшно суеверен, верит в привидения, сказки времен своей молодости. Стоит кому-нибудь незнакомому заглянуть в хлев, как он трижды сплюнет, чтобы отвести «порчу»... Когда в 1954 году в нашей деревне был создан производственный кооператив, нашлось всего несколько желающих. Отец с соседями вступить отказались. Мне казалось, что кооперативы — вещь неплохая, надо только изгнать оттуда бюрократизм и неразбериху, и тогда это будет лучше, чем возиться с индивидуальным хозяйством. Но для этого нужны работящие, полные энтузиазма люди — общественники.

Еще в школе я очень любил ходить в кино. С одним из моих друзей мы каждую неделю отправлялись в кино за пять километров. Мы ходили туда пешком зимой и летом, возвращались домой около полуночи. Отец кричал, что я когда-нибудь замерзну по дороге, что просплю школу. Не хотел пускать меня в кино: «Картиной сыт не будешь, только глаза испортишь!» Сам он побывал в кино только один раз и говорил, что его туда больше никогда не затянешь. Мать попала в кино впервые в 1957 году, когда к нам в деревню приехала кинопередвижка... Народу набилось — полная школа. Кино — это уже было «что-то реальное». Передвижка появлялась теперь у нас раз в две недели. Клуба у нас не было, и кино доставляло людям много радости.

Кино неплохо воспитывает. Это я по себе знаю. Я видел много картин. Прежде, когда я еще ходил в школу, мне нравились только приключенческие фильмы и книги «про войну». Теперь я предпочитаю книги и картины психологического характера, затрагивающие моральные проблемы. Нравятся мне советские фильмы, такие, как «Баллада о солдате» и «Летят журавли». Какие потрясающие сцены есть в «Балладе»! Простая, но большая любовь. А сколько в фильме «Летят журавли» великолепных кадров, которые невозможно забыть! Лучшие польские кинокартины до нас не доходят. Хотелось бы увидеть «Канал», «Пепел и алмаз», ну и «Крестоносцев». Очень люблю смотреть хронику и научно-популярные киножурналы.

Читая книги, я стремился вникнуть в авторский замысел. Одни авторы нравились мне больше, другие — меньше. Полюбились небольшие, но хорошие стихи. Поэтические сборники меня не привлекали: они казались нудными, неинтересными. Когда я стал уже постарше, мне случайно попались в руки «Дзяды» Мицкевича. Тогда я убедился, что был неправ в своем предубеждении.

Так я познакомился с поэзией Мицкевича, Словацкого, Конопницкой, Стаффа, Тувима, Броневского, Галчинского, Яструна, немного Слонимского. Мне нравятся стихи молодых поэтов. Я знаю все, что печаталось в журнале «Нова весь» *. Толь-

* Иллюстрированный литературно-художественный еженедельник; одно из самых популярных в Польше периодических изданий для сельской молодежи.

ко подчас не слышишь биения сердца поэта в этих новых стихах...

Общение с поэзией делает человека лучше, восприимчивее к красоте... В 17-летнем возрасте я влюбился второй раз в своей жизни. Переживал это радостно и трагично. Мое увлечение не было настоящей любовью, хотя тогда мне казалось, что она — это действительно «та единственная»...

Когда мне исполнилось 20 лет, на свадьбе своего среднего брата я познакомился с милой, подобно мне романтически настроенной девушкой. Мы полюбили друг друга. Стали переписываться. Однажды я был на какомто празднике в ее селе, где она работала домработницей у учителей. До нее дошли слухи, будто мой отец неодобрительно отзывался о ней, говорил о ее бедности. Она написала мне, прося ответить: правда ли все это и что я сам об этом думаю, согласен ли я, что истинное богатство — здоровье и любовь. Я придерживался того же мнения, что и она. Ответил ей, что люблю ее, но жениться на ней раньше, чем через 3 года, не могу. На этом все и кончилось. Я был еще неопытным мальчишкой, и у меня не было условий для того, чтобы пытаться построить совместную жизнь.

Когда мне исполнилось 20 лет, отец купил мне костюм за 500 и ботинки за 400 злотых. Это был третий костюм в моей жизни.

Те из моих друзей, что работали в городе, лучше одевались, были независимы, у них водились деньжата. Приезжая в деревню на воскресенье, они щедро угощали своих девушек. Танцевали модные танцы, которые у деревенской публики поначалу вызывали возмущение, их же это только подзадоривало. Словом, показывали, что они из города... Наши парни стремились подражать им... Кто был посноровистее, подавался в город, оставались только выпускники 4—5 классов.

У меня большой интерес к земледельческому труду. В деревне у нас нет ни фруктов, ни овощей, ни садовых цветов. Если у кого-то еще и водятся фрукты, так только со старых плодовых деревьев, которые постепенно гибнут. Новые почти не сажают. У нас в саду после войны нет ни одной груши и яблони. Только сливы да вишни. Отец с полным равнодушием взирал на это. По окончании школы я неоднократно уговаривал отца купить несколько плодовых деревьев, но он все тянул и тянул. Только в 1961 году я на собственные деньги купил дюжину деревцев. Стремился подобрать их так, чтобы они плодоносили в разные годы.

Вторым (после появления кинопередвижки) событием у нас было то, что в деревню в 1958 году пустили автобус. Больше всего выиграли от этого те, кто работал в Г. Теперь они могли ездить туда на автобусе, не заботясь о подыскании для себя там жилья...

Не раз размышлял о том, сколько необходимых вещей приобрел бы для себя, будь у меня деньги. Я немного играл на скрипке, вместе с друзьями мы подумывали о том, чтобы завести в деревне оркестр. Я увлекался фотографией, туризмом, но на все это тоже необходимы были деньги, которых у меня не было: 20—30 злотых, которые перепадали мне от отца в воскресенье,— вот все, чем я располагал. Другие, застряв в деревне в подобных же условиях, проклинали все на свете. «Хоть бы скорее в армию,— говорили они.— В армии получишь специальность, и потом есть шансы выбиться «в люди».

Хорошо, конечно, что после октября 1956 года в деревнях нашей округи вся жизнь перестраивается на новых началах — на это необходимы средства, и это нужно в первую очередь,— ты же сиди и жди. От индивидуальных хозяйств, которые некоторые пытаются вести по старинке, без механизации, не много получишь. Через несколько лет будет лучше: старики приобретут современный опыт, а молодежь получит право голоса.

В 1960 году мы построили новый дом. Строили два года.

Оба моих брата женаты, работают в милиции, младшая сестра в 1959 году поступила в педагогический техникум в уездном городе. Каждый месяц ей необходимо посылать «стипендию», а мы и так с этим строительством по уши в долгах, едва сводим концы с концами. Хоть и тяжело, но живется теперь прилично. Дом строили из пустотелого кирпича, крыли черепицей. Такие дома сейчас везде строят, поскольку обычный кирпич не особенно качествен, да много его и не достанешь. У нас четыре комнаты и сени с кладовкой. Наконец-то дом застеклили. Приобрели новую мебель: спальный и кухонный гарнитуры. Все страшно радовались, и, пожалуй, больше всех — наша мать. Сколько мучений выпало на ее долю в нашей старой халупе!

На строительство дома мы получили в банке ссуду в 20 000 злотых. Пришлось продать двух коров и нескольких свиней, чтобы погасить долг. Теперь наше положение выправилось. У нас две коровы, стельная телка, телок, две лошади, свиноматка и семь поросят.

Третьим значительным событием после кинопередвижки и автобуса было проведение в 1959 году электричества. Вокруг все уже светилось по ночам, и только у нас еще было «гру-

стно и убого». Деревня сразу пробудилась. Появилось радио, и по вечерам уже не было так нудно, как прежде.

В 1961 году меня избрали членом совета Рады Народовой, приняли в партию. Меня очень порадовало, что я буду принимать участие в руководстве советом и смогу поставить вопрос о недостатках работы в области культуры, сказать о том, каково положение с сельским хозяйством, и потребовать, чтобы нам была оказана помощь.

Я посещаю курсы автомобилистов-мотоциклистов в соседней деревне. Вместе со мной на курсах занимаются двое моих друзей. Мы ходим на курсы всю зиму через день. У нас прекрасный преподаватель, хочет сделать из нас настоящих водителей. Он очень предан своему делу. Приезжает в мороз и метель за 35 км в один конец, а потом пускается в обратный путь. В автоделе я полный профан и должен учиться как приготовишка, в правилах езды и дорожных знаках тоже ничего не смыслю. В нашей деревне только три мотоцикла. Но теперь картина немного изменится. Когда я сдам экзамены на курсах, то в течение каких-нибудь трех лет обязательно приобрету мотоцикл. Только за 1961 год я купил себе новый велосипед, часы, костюм и фотоаппарат «Друг». Деньги я заработал на рытье котлована для воды на случай пожара, а также тем, что вместе с другими ходил косить траву на лугу. Котлован чудесный, все дно его до самого верха забетонировано.

Котлован — наша гордость, нас — молодежи. Это мы вместе с солтысом * создали его. Работали всю осень 1960 и весну 1961 года. Стоило нам это немалых трудов.

В деревне у нас не всем еще хорошо живется, надо много строить. Санитарное состояние немного улучшилось. Уже несколько лет, как в соседней деревне — двухэтажный родильный дом и там же — зубоврачебное отделение. В деревне, где находится наш приход, есть фельдшерский пункт. Теперь, если болезнь не очень сложна и серьезна, больного уже не надо везти в город. Нет еще парикмахерской и мясной лавки.

Из нашей деревни вышли: врач, инженер-строитель, агроном и трое учителей. Из них только агроном — теперь уже заведующий станцией — остался в деревне и здесь работает. Так как у нас до сих пор нет клуба, мы собираемся у одного из моих друзей, куда часто приходит и агроном. Мы беседуем на разные темы, спорим, читаем газеты. Часто заглядывают и люди значительно старше нас по возрасту, которых заражает наш современный образ мысли. Кажется, еще в 1959 году у нас собирали пожертвования «на дождь». Вся деревня смеялась над этим, но многие давали деньги, чтобы не повредить своей репутации. Сегодняшняя деревня уже не та, что раньше — без радио, без газет.

В 1960 году в деревне по соседству был создан пункт по сбору молока. До этого каждый хозяин вынужден был возить молоко в далекую молочню, где всем ставили общий «средний процент». Теперь все делается без обмана. На машине привозят фураж, который часто — истинное спасение для скота. Можно также приобрести различные семена, а потом рассчитаться молоком. С фуражом теперь значительно легче. К силосу отец относится неодобрительно, как вообще ко всему новому.

Уже несколько лет я регулярно покупаю книги, у меня скопилась целая библиотечка. В этом году за 65 злотых я купил «Учебник по ветеринарному делу». Соседи у меня уже его одалживали. В минувшем году я начал записывать, сколько зерна мы намолотили, сколько денег выручили за молоко и от продажи яиц. Я хочу, чтобы наше хозяйство было рентабельным.

Вот так и живется у нас. Я посещаю автомотокурсы, а по вечерам, вернувшись домой, пишу эти заметки...

Сегодня, 10 февраля 1962 года, я узнал, что умер Владислав Броневский. Грустно стало на душе оттого, что он уже никогда ничего не напишет. Я очень любил его и кое-какие из его стихов знаю наизусть. Броневский, как я помню еще по школьным годам, действительно всегда шел впереди. Сейчас будет передача с его похорон. Как все-таки здорово, когда в доме — радио! Я должен быть благодарен ему и за это. Он бился и за это всю свою жизнь.

В Варшаве скоро состоится съезд Союза сельской молодежи. В газетах много дискуссий и предсъездовских выступлений. Союз постепенно превращается во все более важную и действенную организацию в деревне...

Наш старый дом пустует. Мне пришла в голову мысль разводить в нем кур, руководствуясь советами «из книжки». Я провел туда электричество. У нас 50 кур. Прежде в зимнее время куры никогда не неслись. Когда я стал давать им необходимый составной рацион (овес, бекон, сушеный клевер, картофель, известку), они начали нестись, словно летом. Иногда бывало по 30 яиц в день. За вычетом затрат на корма я получал 20 злотых чистой прибыли ежедневно. Итак покупка книги себя оправдала. Вна-

* Сельский староста.

чале отец с полным равнодушием отнесся к моей затее: «Сроду курица зимой не станет нестись».

Отец и не представляет себе, что значат все эти понятия: белки, жиры, углеводы и т. п. Он думает, что достаточно насыпать курам овса — и дело с концом. Но этого одного мало. Теперь нужно столько знать! А отцу и невдомек, почему он держится на поверхности Земли, он никак не может поверить, что Земля вращается. И после всего этого старики еще кричат, будто теперь из-за просвещения молодые восстают против старшего поколения! Мой эксперимент с курами убедил отца.

Сегодня, 20 февраля, возвращаюсь с курсов домой, а дома сообщают, что американский Гагарин облетел вокруг Земли. Хвала третьему Икару!

Еще раньше попалась мне в руки книжка «Дорога к звездам», прочитав которую я понял, что возможности человека безграничны. Когда я говорил старикам, что человек полетит на Луну, они считали, что я поверил сказкам и пытаюсь вести пропаганду против религии. Отец говорил. «Ты совсем поглупел от своих книг». Когда запустили первый спутник, это было потрясением для всех консерваторов. Не зная, что сказать, они говорили: «Кто знает, правда ли это, может, это только пропаганда, вокруг Земли облететь — это не то, что на Луну отправиться. Туда еще никто не летал и никогда не полетит».

Потом полетел Гагарин, а позднее Титов. Снова было волнение, но люди уже проявляли на этот раз больший интерес, так как обо всем подробно сообщали по радио, «разъясняли», а не так, как прежде — только сообщение в газетах. Разговорились мы с одним из моих приятелей, с которым читали прежде всю эту «безбожную» литературу. Говорит мне: «Видишь, осуществляются наши мечты, прежде казавшиеся фантастическими, исполняются еще в дни нашей молодости». Мы поздравили друг друга, и хотя вообще-то мы с ним люди, отличающиеся умеренностью, на этот раз отправились «вспрыснуть» такое событие. И я, никогда не куривший, на этот раз даже закурил...

Сегодня 21 марта, первый весенний день. Спешу на курсы автомобилистов. День теплый и солнечный. Еще много снегу. Что за снежная зима выдалась на этот раз, но наконец-то пришла долгожданная весна. Уже поют жаворонки...

Нынче водил «Варшаву», отрабатывал переключение скоростей, на этот раз было лучше. Приближается экзамен, уже 29 марта.

Как я рад, что наконец сдал его. Одной заботой меньше...

Сегодня, 31 марта, я получил письмо от девушки, с которой мы близко знакомы и переписываемся. Она рассказывает, как учится, чем занимается после занятий, что видела последний раз в кино, радуется весне, извиняется, что долго не писала, и спрашивает, как мои дела. Как-нибудь в воскресный день, когда выдастся свободная минута, я ей отвечу. Я уже трижды провожал ее. Поцеловал ее только один раз. С девушками я не напорист, как улан. Я считаю, что поцелуя нельзя добиваться силой. В подходе девушек к парням существует еще мало понимания. Большинство ребят отличается тем же самым. Они немного стыдятся, не знают, как подойти друг к другу.

2 апреля. Сегодня я услышал соловьиное пение. В прошлом году соловей пел еще раньше — 25 марта. День нынче прекрасный и теплый. Снег держится только в глубоких оврагах. Поток талых вод, устремляющихся через деревню-матушку, похож на небольшую реку, шум которой приятно слушать по ночам. Кажется, будто зимы и вовсе не было...

В костеле я по-прежнему бываю очень редко. Близится время исповеди, когда надо будет записать перечень своих грехов на отдельном листке. Сколько крику было когда-то у нас, оттого что я не ходил на исповедь. Даже ксендз на коляде прошелся на мой счет. Дома я слыву грешником и безбожником. Но я не замечал, чтобы кому-нибудь стало легче после такого отпущения грехов, я же узнал другую правду...

Свою неказистую родную деревушку я полюбил еще больше. Ведь в ней прошли мои лучшие годы. Я чувствую с ней столь же кровную связь, что и с родной семьей. Мне хотелось бы, чтобы она прославилась в числе других наших деревень, я жажду для нее счастья и блага. Мне хотелось бы также, чтобы мой отец увидел когда-нибудь на экране телевизора, как люди полетят на Луну, чтобы он понял, что у его «блудного сына» свои понятия о мире и о настоящей жизни и что мои убеждения — это не только позаимствованное из книг, но много самим выстраданное.

Нет, молодые никогда не уподобятся старикам. Но чтобы существовало единодушие, старикам следовало бы помолодеть, чтобы не быть с молодежью на разных полюсах. Должно существовать какое-то взаимопонимание.

Мне уже 24 года. Необходимо серьезно подумать о жизни. Большие дела совершаются в мире. Мечты великих умов человечества осуществляются. Я хотел бы дожить до конца XX века... Я верю в будущее мира, своей деревни и свое собственное...

молодые о себе

Из пражского еженедельника «Млады свет», 1965 г.

«У ДВАДЦАТИЛЕТНИХ ЕСТЬ СВОИ РУКИ И СВОЯ ГОЛОВА, СВОЕ СЕРДЦЕ, СВОЯ РАДОСТЬ И СВОЯ БОЛЬ, СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ И СВОЕ БУДУЩЕЕ, СВОЙ МИР И СВОЯ ЖИЗНЬ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЭТОТ «МАЙСКИЙ ЛИСТОК», КОТОРЫЙ ДЛЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «МЛАДЫ СВЕТ» К ЮБИЛЕЙНОМУ МАЮ 1965 ГОДА* НАПИСАЛИ САМИ ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ».

«МАЙСКИЙ ЛИСТОК» СОСТОИТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ИЗ ВОПРОСОВ РЕДАКЦИИ И ОТВЕТОВ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

Петр Микульчак (6.12.1945), слушатель годичных курсов программирования и обслуживания автоматических счетных машин в Праге.

Ярослава Свободова (20.3. 1945), слушательница годичных курсов программирования и обслуживания автоматических счетных машин в Праге.

КАК ТЫ ОТПРАЗДНОВАЛ — ЕСЛИ ПОМНИШЬ — СВОЕ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ?

П.: Обыкновенно. Был в театре, смотрел «Идиотку». Я не пью.

Я.: Восемнадцатилетие? Да не очень. Я была тогда как раз на первом курсе физико-математической школы и возилась с работой над ошибками по математике.

ЧТО БЫ ТЫ ДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ ИМЕЛ ДВА ГОДА КАНИКУЛ?

П.: Наверно, месяца этак через четыре мне стало бы скучно. Я бы стремился как-то заполнить время. Скорее всего, я не хотел бы иметь каникулы длиной в два года.

Я.: Большую часть времени я хотела бы провести за границей, а потом бы пошла куда-нибудь работать, потому что это ужасно — лодырничать столько времени. Но, скорее всего, было бы все наоборот.

ТЫ ВЫИГРАЛ МИЛЛИОН. ЧТО ТЫ С НИМ СДЕЛАЕШЬ?

П.: Я вложил бы эти деньги в вещи, которые понадобились бы мне в будущем. В квартиру, и вообще окружил бы себя комфортом. Примерно половину отдал бы родителям.

Я.: Не знаю. Если бы это была меньшая сумма... но с миллионом — я бы не знала, что делать.

ЕСЛИ БЫ ТЕБЕ ПРИШЛОСЬ ГОД ЖИТЬ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ, КАКИЕ ТРИ КНИГИ ТЫ ВЗЯЛ БЫ С СОБОЙ?

П.: «Мадам Кюри», «Пусть бросит камень» и «Ветераны».

Я.: Прежде всего «Овод», потом «Старик и море» и, возможно, также стихи. Может быть, те, которые сейчас у меня в сумке. Они называются «Потерянная роза» — древнегреческая поэзия.

---

* Двадцатилетие Чехословацкой Социалистической Республики.

ЧТО БЫ ТЫ СДЕЛАЛ, ЕСЛИ БЫ ТЕБЕ НА НЕДЕЛЮ ДОВЕРИЛИ РУКОВОДСТВО НАШЕЙ РЕСПУБЛИКОЙ?

П.: Я бы не взял его на себя.

Я.: Глупый вопрос. На это недели бы не хватило.

БЫВАЕТ ЛИ У ТЕБЯ ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ТАКОЕ, ЧТО ТЫ СЧИТАЕШЬ НЕДОСТОЙНЫМ СВОЕГО ВОЗРАСТА?

П.: Я считаю, что любое дело достойно любого возраста.

Я.: Конечно. Такие детские желания, как, например, играть в шарики. Устроить большие соревнования по игре в шарики. В этом году мне все время приходят в голову такие глупости. Нас здесь всего несколько двадцатилетних. В основном здесь все восемнадцатилетние детки из школы. На днях мы ходили к зубному врачу, и вот все построились парами и хором кричали: «Пани учительница, как мы рады, что вы пришли». Девицы на каблучках, а валяют дурака. Ужас!

КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ РАДОВАЛСЯ?

П.: Когда я досрочно сдал экзамены в физико-математической школе. Это было год назад.

Я.: Все время. Например, вчера, когда нам сказали, что у нас будет большая экскурсия на три недели автостопом или на велосипедах в Словакию, Польшу, а оттуда через Татры в Венгрию.

ЧТО МОЖЕТ ТЕБЯ РАССЕРДИТЬ?

П.: Легкомыслие и равнодушие людей. Каждое утро я езжу в троллейбусе, и уж если кто-нибудь встанет на подножку, то стоит там, как пень, и никого больше не пускает.

Я.: Если подумать, то таких вещей страшно много. Например, каждый день меня злит одна учительница. У нее очень странный метод преподавания. На улице — люди, например то, как они ведут себя в трамваях. Но это старая песня.

СЛУЧАЕТСЯ ЛИ С ТОБОЙ, ЧТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ТО, ЧТО ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ?

П.: Редко. Чаще всего мне удается выражать свои мысли.

Я.: Да. Тогда кажется, что деревенеет язык, но я стараюсь побороть себя и через какое-то время нахожу слова.

ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ИЛИ БЫЛО ЛИ КОГДА-НИБУДЬ ЧУВСТВО, ЧТО ТЕБЯ ОБИДЕЛИ?

П.: Однажды меня обидели родители. Но они сделали это неумышленно.

Я.: Я думаю, такое чувство бывает у каждого, и в этом нет ничего особенного. Мне кажется, что это естественно для всех, не исключая и меня.

СТРАДАЕШЬ ЛИ ТЫ КАКИМ-НИБУДЬ КОМПЛЕКСОМ? СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ПРИЧИНЫ?

П.: Нет.

Я.: Нет. Этим я не страдаю. А впрочем, да, иногда страдаю. Глупостью.

МЕЧТАЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ О НЕОГРАНИЧЕННОЙ СИЛЕ, ВЛАСТИ?

П.: Нет. Никогда. Я бы не знал, что с ней делать.

Я.: . . . . . .

ХОТЕЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ УМЕРЕТЬ?

П.: Нет. У меня никогда не было для этого причин.

Я.: Не хотела. Нет. По собственной воле? Я отрицаю самоубийство. И потом, я еще никогда не попадала в такое положение, чтобы мне это стало нужно.

ЕСЛИ БЫ ТЫ НИЧЕМ НЕ МОГ ПОМОЧЬ, СМОГ ЛИ БЫ ТЫ СМОТРЕТЬ, КАК УМИРАЕТ ЧЕЛОВЕК?

П.: Я бы остался с ним для того, чтобы он видел и чувствовал, что с ним кто-то есть, что он не один.

Я.: Нет. Я бы ушла. Это было бы очень страшно — смотреть и чувствовать свою беспомощность. Это тяжело. Но категорически утверждать я этого не могу.

ДУМАЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ О ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА?

П.: Только для того, чтобы внутренне убедить себя в том, что он не существует, и при этом мысленно еще раз придирчиво «допросить» общепринятые материалистические законы, чтобы иметь возможность поставить вопрос, что было раньше, яйцо или курица, или почему один плюс один равно двум, а не трем.

Я.: Нет. Я не думала, потому что когда ходила на урок закона божьего, то воспринимала его, как, например, арифметику, как точную науку.

КАК ДОЛГО ТЫ ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ?

П.: Так долго, чтобы достичь ощущения, что я прожил жизнь не впустую, что я кому-нибудь помог и что все это имело какой-то смысл.

Я.: До скольких лет? До ста. Я хотела бы знать, как все тогда будет, быть свидетелем событий.

ТАКОВЫ ЛИ ТВОИ ДРУЗЬЯ, КАК ТЫ БЫ ХОТЕЛ?

П.: Нет, но я надеюсь, что когда-нибудь встречу человека, с которым мы понимали бы друг друга, и это будет для меня большим событием.

Я.: Нет. Не совсем. Впрочем, у меня нет никакого определенного идеала.

СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ ВРАГИ?

П.: Нет. Может быть, кто-нибудь и чувствует ко мне антипатию, но врагов, я полагаю, у меня нет.

Я.: Ну, конечно. У каждого есть враги. Но чтобы кто-нибудь добивался твоей смерти — этого, наверно, не бывает.

ХОТЕЛ ЛИ БЫ ТЫ ПРИ ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И КОМУ УГОДНО ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ПРАВДУ?

П.: Говорить правду я бы хотел, но не всегда для этого есть возможности. Попробуйте сказать человеку после инфаркта, что у него умерла дочь.

Я.: Это вопрос, на который нельзя дать категорический ответ. Иногда это не выходит. Чувства и вообще.

ЦЕНИШЬ ЛИ ТЫ В ЛЮДЯХ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ?

П.: Если она хорошо направлена, то ценю.

Я.: Ценю. Хотя в большинстве случаев это не их заслуга.

БОИШЬСЯ ЛИ ТЫ КОГО-ЛИБО ИЛИ ЧЕГО-ЛИБО?

П.: Я боюсь без причины попасть под подозрение, чтобы мне приписали бы что-то, чего я не делал.

Я.: Да. Людей — нет, но чего-либо? Например, войны или какой-нибудь катастрофы.

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ТЫ ХОТЕЛ БЫ ИМЕТЬ?

П.: Двоих. Все равно, мальчиков или девочек.

Я.: Троих. Двоих мальчиков и одну девочку.

ХОТЕЛ ЛИ БЫ ТЫ ОСТАТЬСЯ В ПРАГЕ?

П.: В самой Праге нет. Я хотел бы жить в Брно. Я не патриот этого места, но мне кажется, что в Моравии люди приятнее. Гостеприимнее и как-то дружелюбнее.

Я.: Да, я хотела бы, но это не обязательно.

ПРЕДПОЛАГАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО У ТЕБЯ БУДЕТ ГДЕ ЖИТЬ?

П.: Пока нет.

Я.: Пока да. У родителей.

КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ГДЕ ЛУЧШЕ ЖИТЬ: В ГОРОДЕ ИЛИ В СЕЛЕ?

П.: Если бы это зависело только от меня, я бы охотно поехал в село примерно месяца на три, но у меня всегда должна была бы оставаться возможность вернуться в город.

Я.: Где лучше? Как для кого.

ИЗ ПРАЖСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «МЛАДЫ СВЕТ», 1965 г.

ВСТРЕЧАЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ НЕГРАМОТНОГО?

П.: Нет.
Я.: Нет.

СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫМ?

П.: Конечно, оно полезно. Но, когда у человека есть образование, у него возникают некоторые проблемы, вопросы, на которые он ищет ответ. Я знаю людей, у которых нет высшего и даже среднего образования, и мне кажется, что они живут как-то спокойнее. Но образование, как таковое, конечно, отличная вещь.

Я.: Разумеется. В сегодняшнем обществе уже невозможно жить без общего образования. Но лучше, если человек знает еще больше, даже если это ему практически ничего не дает.

СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНО ПИСАТЬ О ВОЙНЕ?

П.: Я думаю, что о первой и второй уже нет. Потому что, те, кто их пережил, имеют на них свой взгляд, и я не знаю, очень ли они хотят его освежить. А для нас, мне кажется, важнее предотвратить новую войну, чем писать о прошедших.

Я.: Полезно. Потому что это еще не исчерпанный вопрос. Но иногда мне кажется, что пишут уж слишком много, что мы уже насквозь пропитались этим.

КЕМ БЫЛ МАРТИН БОРМАН?

П.: Если не ошибаюсь, это был после Гитлера второй наивысший главарь нацистской империи (его секретарь). Велись долгие споры о том, удалось ли ему скрыться или нет, и, кажется, израильская тайная полиция установила, что он скрывается в Южной Америке.

Я.: Он имеет что-то общее с нацизмом. Крупная фигура в руководстве концентрационными лагерями.

ПРИЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ АВТОРИТЕТЫ — КТО ДЛЯ ТЕБЯ ОБРАЗЕЦ?

П.: Когда мне было двенадцать лет, образцом для меня был идол всех мальчишек Затопек, а сейчас человек, которого я чту,— Мария Кюри-Склодовская.

Я.: Конечно. Руководитель нашей спортивной организации «Славия».

КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЕСТЬ У ТЕБЯ ЧУВСТВО ЮМОРА?

П.: В общем, нет. Рассмеяться шутке ведь может каждый. Если бы кто-нибудь подметил некоторые мои привычки, жесты и повторил бы их, я, наверно, тоже бы смеялся. Но все-таки мне кажется, что у меня нет чувства юмора.

Я.: Да. Ведь я отвечаю на эти вопросы.

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЛИ ТЫ РЕШИЛ ВОПРОС О ТВОЕЙ УЧЕБЕ НА ЭТИХ КУРСАХ?

П.: Давление? Нет. Мне только рассказывали, в каких учебных заведениях изучают высшую математику. Эти курсы очень хороши. Это чисто практическое дело в отличие от слишком теоретического подхода в физико-математической школе.

Я.: Абсолютно. Родители практически ничего не знали о том, что я подала заявление. В будущем я хотела бы быть программистом.

КАК ТЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ ПОНЯТИЕ «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»?

П.: Мне вспоминается статуя на Летне. Но я вижу там не только Сталина. Я вижу там какую угодно личность, на которую переношу помпезность и огромную массу памятника, человека, который настоит на чем угодно, плохо это или хорошо.

Я.: Это просто такая личность, которая при всех обстоятельствах гнет свою линию и проводит свои идеи при всякой ситуации.

ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ ОБЩИЙ ЯЗЫК С РОДИТЕЛЯМИ?

П.: Думаю, что есть. Правда, мне еще не случалось проверить...

Я.: Скорее есть, чем был. Примерно на 60 процентов. Главным образом с матерью.

СЧИТАЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВИЛЬНОЙ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ?

П.: Нет. Разве можно чего-то достичь казнью какого-нибудь подлеца? Правда, он навредил обществу тем, что лишил кого-то жизни. Но ведь не общество дало ему жизнь, и, я думаю, оно не имеет права ее отнимать. Было бы лучше послать его на 25 лет куда-нибудь работать, может быть строить дороги, чтобы он хоть как-нибудь возместил ту ценность, которую, правда, возместить нельзя,— жизнь. Если же его казнят, то никому от этого не будет никакой пользы. В таком случае государство представляет сторону, осуществляющую кровную месть. Не знаю, прав ли я, я не сведущ в судопроизводстве.

Я.: Да. Если она юридически обоснована.

ДУМАЛ ЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ? ЕСЛИ ДА, ТО ЧТО ИМ, ПО-ТВОЕМУ, ЯВЛЯЕТСЯ?

П.: Я не пришел ни к какому выводу. Маркс тоже, наверно, заранее не решал, что смыслом его жизни будет «Манифест» или все, что он напишет. Я думаю, что довольно трудно проложить пути, по которым ты пойдешь прямо к цели.

Я.: Это очень трудно. Мы читаем об этом ежеминутно. Я могла бы повторить то, что уже говорили другие. Но это было бы лишь фразой. Быть полезной людям. Это как-то банально звучит.

Блажена Йонакова, лаборантка научно-исследовательского института бурых углей и газа в Залужи.

ВАША ЦЕЛЬ?

Моя цель? Окончить химический институт, куда я уже поступила. Тогда у меня будет лучшее материальное положение и более интересная работа.

ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В ДРУГИХ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ?

В юношах то, что на вечерах они много пьют, в девушках — вульгарные выражения. Но в то же время я считаю, что сегодняшние двадцатилетние лучше, чем были прежние поколения, теперь мы все равны, и поэтому нет причин для зависти или для чванства.

ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ВСТУПИТЬ В ПАРТИЮ?

Охотно. Это организация лучших.

Мария Брабцова, техник-конструктор. Залужи.

ВАША ЖИЗНЕННАЯ ПРОГРАММА?

Я хочу долго оставаться конструктором. Нет, я не хочу удовлетвориться тем, что я делаю, человек должен все время учиться. Но моя работа мне нравится.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАШ ИЗБРАННИК?

Главное — достойным. Чтобы он много занимался спортом. Кем он должен быть — не имеет значения, только бы его интересы не очень отличались от моих. Я играю на рояле, люблю баскетбол и волейбол, тренируюсь; хорошо бы, чтоб его это тоже интересовало.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О ВСТУПЛЕНИИ В ПАРТИЮ?

Если бы я была уверена, что могу отважиться, я бы тоже добивалась приема. Это очень большая ответственность, я вижу это дома, мой отец — партийный работник.

ПУСТЬ ЛЮДИ УЗНАЮТ

АКИХИКО ОКАМУРА

Молодой японский журналист Акихико Окамура — с декабря 1962 года военный корреспондент в Южном Вьетнаме. Он принадлежит к послевоенному поколению японской интеллигенции. Окамура побывал в Таиланде, Лаосе, Камбодже, Южной Корее, но все это были этапы трудного пути, которым он добирался до передовой линии фронта в Южном Вьетнаме.

Окамура — один из немногих иностранных корреспондентов в Сайгоне, видевших войну в джунглях своими глазами, а не через призму официальных пресс-конференций; вместе с солдатами марионеточной армии бродит он по болотам, по колено в грязи, стараясь не намочить фотоаппарат; его подстерегают не только пули, но и болезни: малярия, дизентерия. В результате часто — одна катушка отснятой пленки. но зато какие снимки! Правда о войне, о жестокой расправе американской и местной военщины с мирным населением — все, что попадает в объектив его фотоаппарата, заставляет его постепенно произвести переоценку ценностей, вникнуть в истинную суть происходящего. Вернувшись на родину в декабре 1964 года, Акихико Окамура в начале нынешнего года опубликовал «Записки военного корреспондента во Вьетнаме».

Читая эту книгу, глядя на собранные в ней фотоснимки, видишь, как ее автор, потрясенный открывшейся его взору страшной картиной произвола и насилия, становится убежденным противником всех тех, кто посягает на жизнь и свободу вьетнамского народа. Вот почему ощущаешь внутреннюю закономерность в словах, сказанных Окамурой в конце его книги: «Какой бы ни была моя дальнейшая судьба, отныне я хочу быть среди тех людей, которые борются за мир».

Отрывки из дневника Окамуры мы публикуем ниже.

Когда я в конце концов добрался до передовой, некий американский офицер отозвался обо мне, как о «затесавшемся во фронтовой штаб ужасающе невежественном в военном отношении японце». Так оно и было на самом деле, и я ничуть не стыжусь этого. «Деликатный» американец и не подозревал, что именно «ужасающее невежество» и было той движущей силой, которая заставила меня стремиться на фронт. Нужно сказать, что американский офицер сам оказался «ужасающе невежественным» во всем, что касается японцев моего поколения. О прошлой войне я не помню ничего, кроме того, что это было голодное время, вот у меня и появилось желание узнать побольше о нынешней войне, даже если ради этого придется рискнуть жизнью. Таковы внутренние причины, побудившие меня не только побывать под огнем пушек в Южном Вьетнаме, но и пройти весь путь от Южной Кореи на севере до Малайзии на юге. Пройдя этот путь, я обрел уверенность в том, что существует великая сила, способная остановить войну,— народ, что народы сами завоюют право на мирную жизнь.

До тех пор, пока в мире существуют люди, стремящиеся убивать себе подобных, я не спущу палец с кнопки фотоаппарата — моего единственного оружия.

...Вернулся в Сайгон с передовой, в городе — репрессии, еще более жестокие, чем в августе. Арестовано несколько тысяч студентов, выступивших против правительства. Только что начались аресты школьниц. За мной заехал студент университета; вскочив на заднее сиденье его мотороллера, я помчался к месту происшествия. Солдаты швыряли молоденьких девушек — им было лет семнадцать-восемнадцать — в грузовики. Поводом для такого произвола послужило то, что школьницы, встревоженные судьбой несправедливо арестованных юношей, среди которых были их друзья, отказались посещать занятия. «Идем на демонстрацию протеста ко дворцу президента!» — кричали они.

Заперев учителей в классах, школьницы собрались на демонстрацию, но тут нагрянули солдаты. Я был потрясен: ведь в условиях осадного положения участие в демонстрации означало смертельную опасность. Девушки знали это и все же вышли на улицу...

Я фотографировал, подойдя вплотную к грузовикам. Солдаты кинулись ко мне: то, что я делал, было строжайше запрещено правительством. Я заскочил в другую школу поблизости. Ученики этой школы в знак солидарности тоже прекратили занятия. Поддерживая друг друга, они взбирались на крышу, срывали черепицу и бомбардировали ею солдат. Для усмирения бунтующих прибывали новые грузовики с солдатами.

...Число студентов и школьниц, арестованных войсками и тайной полицией, достигло четырех тысяч. Сейчас они снова на сайгонских улицах. Залитый светом, искрящийся Сайгон прижимает юношей и девушек к груди, как мать, обнимающая похищенного у нее и возвращенного ей ребенка. До чего же светло и радостно вокруг! Атмосфера на улицах совершенно переменилась: впечатление такое, будто война окончена. Это — подлинно историческое мгновение, прекрасное в своей завершенности, испытать его может только народ, поднявшийся на борьбу за свое освобождение. Трудно предугадать, что будет дальше, но если война окончится победой Вьетконга, тогда — я уверен в этом — вся страна преисполнится такой же из глубины души идущей радостью, какая сейчас царит на празднично шумных улицах Сайгона...

Возбужденный и опьяненный, шел я по городу и вдруг возле центрального рынка столкнулся с одной из вьетнамских школьниц. Это она, когда я носился повсюду с фотоаппаратом, потихоньку предупреждала меня: «Поглядите, вон там — агенты тайной полиции в штатском. Если они погонятся за вами — удирайте!» У нее была гибкая, стройная фигурка, на белоснежной щеке — ямочка, падающие на плечи длинные черные волосы. Что же случилось с ней? Ее не узнать — идет, погруженная в свои мысли, лицо скорбное, страдальческое. Я громко окликнул ее. Вздрогнув, она кивнула мне. Я подбежал к ней, пожал руку:

— Мы так давно не виделись! Я боялся, что тебя арестовали. Хорошо, что ты жива-здорова!

Она, потупившись, молчала. И вдруг губы ее задрожали, она судорожно обхватила меня руками и, уткнувшись мне в грудь, зарыдала. Стали подходить люди, спрашивать, что произошло, а я так растерялся, что никак не мог сообразить, что же мне делать. Наконец, подозвав проходившее мимо такси, я усадил ее в машину, и мы поехали...

— Где ты живешь? Проводить тебя домой?— спросил я. Она жила возле аэродрома Бьен-Хоа, в загородном поселке, построенном для служащих университета. Пока мы ехали туда, немного пришла в себя. И дома, в своей комнате, рассказала мне о том, что случилось.

Я слушал ее, дрожа от гнева. Мы, корреспонденты, преследуемые агентами тайной полиции, фотографировали школьниц, которых насильно затаскивали в грузовики. Мы писали статьи и разными путями пересылали их в свои газеты, что-

бы мир узнал об этих чудовищных репрессиях. Но пока мы это делали, девушек загоняли в тюремные камеры и оттуда одну за другой уводили на допрос. Их пытали: из ушей вырывали серьги, в маленькие отверстия втыкали электропровода. Пытки повторялись изо дня в день, но девушки, стиснув зубы, выносили все. В тесных камерах стояло невыносимое зловоние. Однажды девушек разделили на группы и повели мыться. Туда, где они мылись, как звери ворвались солдаты. То, что было потом, не поддается описанию. Около шестисот школьниц подверглось насилию. Моя знакомая сказала, что многие забеременели. Когда она говорила, мне хотелось заткнуть уши, я не в силах был смотреть ей в глаза. Но ее голос постепенно креп. И в конце своей страшной исповеди она твердо сказала:

— Вьетнам погибнет, если эти люди будут так обращаться со своим народом. Война должна быть прекращена. Для меня больше нет ничего страшного. Я не боюсь быть убитой. Мы, молодые, при любых обстоятельствах будем бороться за спасение своей родины.

— ...Аааа... Аааа,— стонет лежащий на земле юноша. Ему всего 18—19 лет, руки заломлены назад и связаны. Лицо будто оклеено мокрым полотенцем. Полотно подергивается там, где у юноши нос и рот.

Целый час под палящими лучами солнца продолжается пытка.

— Говори, где спрятано оружие? Кто уполномоченный Вьетконга в этой деревне?

Но молодой крестьянин не разжимает рта. Он только корчится и пытается пнуть солдата ногой.

— Скотина! Ну-ка, всыпать ему...

Шестеро солдат хватают парня за руки и ноги. На горло кладут толстый шест.

— Ты у меня заговоришь или издохнешь!— рычит ефрейтор.

Мать пытаемого — она молилась в отчаянии — не выдерживает и бросается к сыну. Солдат отталкивает ее, и она, как сухая былинка, отлетает в сторону.

— Прекратите! Вы не имеете права пытать безоружных людей! Прекратите, вам говорят, немедленно прекратите! Это нарушение международного закона!

У меня пересохло в горле. Я снова и снова выкрикиваю протесты, но моя фотокамера, ничего не упуская, фиксирует все — от начала и до конца пытки.

Неужели все это делают люди? И это, как они говорят, путь к миру? Какая гнусная ложь!

Перезарядив пленку, я продолжаю съемку. Я преклоняюсь перед молодым крестьянином, я расскажу о нем всему миру. Ты корчишься в муках, мысленно говорю ему я, но моя камера покажет тебя людям, они испытают твои муки вместе с тобой. Они захотят мира!

Видоискатель застилают слезы. Мой фотоаппарат перестал быть просто механизмом: он — оружие.

С тех пор как я стал военным корреспондентом в Южном Вьетнаме, американские офицеры много раз предлагали мне оружие для самозащиты.

Фотоаппарат — совсем другое дело: это — оружие для защиты народа. И этим оружием я буду сражаться.

...Объектив моей камеры следует за мужчинами со связанными сзади руками: они молча повинуются указаниям солдатского штыка. Детишки, перебравшись через канал на лодках, подбегают с мисками в руках, чтобы в последний раз покормить отцов. Плачут отцы, плачут дети. Эти дети, которые сегодня, не боясь штыков, прибежали накормить своих отцов, уже завтра станут бойцами Сопротивления.

...Я крепко сжал в кармане семь отснятых пленок и впервые с тех пор, как стал писать корреспонденции с театра военных действий в Южном Вьетнаме, подумал о том, как бы сбежать с фронта. Ведь я — свидетель, которому известно действительное положение вещей, и мне нельзя умереть. Я должен благополучно вернуться в Сайгон, я обязан обратиться к людям с призывом.

Приземлились американские вертолеты, чтобы отвезти арестованных на тыловую базу правительственной армии. Уж там постараются выпытать у них все!

Вертолеты взлетели один за другим. Живыми эти крестьяне в деревню, наверно, уже не вернутся. Запускает мотор последний вертолет. Я бегу к нему, впервые бегу с фронта, хочу поскорее благополучно доставить эти пленки. Я должен это сделать во что бы то ни стало. Пилот показывает знаками, чтобы я поторопился. Бегу изо всех сил.

...На базу я вернулся через три дня. Лег в постель. Но в этот вечер никак не мог заснуть. Пошел в офицерский клуб, пил рюмку за рюмкой. Потом принялся ругать себя. Когда солдаты начали пытку, на руке у одного из них я заметил повязку Красного Креста. Но я как раз тогда перезаряжал пленку и упустил эту деталь. Зеленый мундир и Красный Крест, та самая рука, душившая крестьянина,— все это запечатлено теперь только в моей памяти. Неопытен, ах, как я неопытен! В любых условиях святая обязанность журналиста — запечатлеть то, что надо показать людям.

НИКОЛАЙ АТАРОВ

Тинэйджеры

Я принялся за вторую дюжину плоских устриц; брал их с размельченного льда на серебряном блюде, а потом смотрел на то, как их невероятно нежные коричневатые края вздрагивали и съеживались, когда я выжимал на них лимон, а потом отделял от раковины и долго, тщательно жевал.

Эрнест Хемингуэй

Я не вижу никакой надежды ни для себя, ни для мира, какой он есть. Я уверена, что, будь жизнь организована лучше, таким, как я, можно было бы помочь. А так меня просто свезут в больницу, промоют желудок и выпишут как можно скорее. Впереди у меня либо полицейский инспектор, либо психиатричка. Но я не хочу, чтобы меня запирали! Я не душевнобольная. Просто я лучше многих вижу ненависть и безразличие, скрытые за лицемерным притворством и обманом.

Маргарет Х., 19 лет, живет в Эдинбурге

1

Когда я был маленький, людей на земле было меньше.

Дальше мужского монастыря на Лысой горе, в четырех верстах от родного моего Владикавказа, я не рисковал уходить в горы, но и тут, на всем пути вдоль овражка над заросшим ручьем, я не встречал ни одной живой души. А ведь рядом город! Монастырь был разорен и пуст, за ним, в полуверсте, у хрустального родника всегда тянуло запахом кизяка и дыма, но я знал, что и этот осетинский двор покинут, люди ушли в опустевшие казачьи станицы, в сады — «на плоскость»,— увели с собой тощих овец, и только старик в сером бешмете, перепоясанный в тонкой талии коричневым башлыком, стоял обычно спиной ко мне и стругал палочку.

Все расстояния были велики в моем детстве, все горы высоки, все реки бурливы. Если год високосный — то майские жуки несметными тучами обсыпали тротуары. Осенью табунки верблюдов пробегали по городским улицам. На Александровском проспекте детское воображение обжигал запыленный автомобиль с чемоданами, крепко увязанными на задке,— легко было догадаться по его виду, что он сейчас прикатил из Тифлиса через безлюдный Кавказский хребет со скоростью свыше двадцати верст в час. О, как он мчался по мостовым проспекта!

Когда я был маленький, слепых было много на церковных папертях — грозили слепотой и корь и оспа, в горных аулах свирепствовала трахома. И почему-то каждый раз, когда меня пугали трахомой, я вспоминал лермонтовские дымные кельи:

...Он настроит дымных келий
На уступах гор.

Потом началась война с кайзером, и Кузьма Крючков посадил на пику тринадцать немцев, и вся Россия ликовала, звонили по телефону — в городе была телефонная станция с двузначными номерами. В синематографе братьев Патэ показывали чубатого казака с пикой.

С тех пор вся моя отдельная ото всех и в то же время слитная со всеми жизнь, то есть все то, о чем мечтаю и что делаю, что люблю и чего боюсь, мой гнев, и горечь, и сны, и чем бывал иногда безумно счастлив — вся, вся моя жизнь видится мне на фоне ускорения ритма мировой истории, на фоне ошеломляющего динамизма событий, колоссального напора социальных преобразований, охвативших теперь уже всю планету. Небывало быстрое умственное оснащение человечества сопровождается ростом городов-левиафанов и бешеным потоком техники — в бронедробящих танковых битвах, на свистоподобных автострадах, в тишайших термоядерных реакторах, наконец брызги этого потока все чаще залетают и в космос. Но я рассказываю об этом со всей возможной сдержанностью, потому что только в полном спокойствии разума и нервов можно осмелиться повторять вместе со всеми, что мы все-таки ничего не знаем о будущем людей на земле с их дилеммой термоядерной катастрофы и лучевой смерти или почти фантастического всеобщего изобилия и творческого взлета.

В первый раз я серьезно подумал об этом, когда слетал в родные места... Как будто вчера покинул их. Сколько раз успели облететь дубы на аллеях городского

сада? Какое это поколение павлинов в аллеях и лебедей на пруду? Но старого города армянских виноделов, украинских молокан и русских отставных офицеров словно и не бывало, он полностью освоен двумя-тремя поколениями горцев: горские научные институты, горские театры, горское телевидение. То, что произошло с осетинами из моего детства — а я помню, точно вчера это было, их латаные бешметы с соломинками на плечах, кремневые пистолеты на закоптелых стенах, и блеяние овец, и жердевые изгороди, и скрип колес арбы, и запах сыромятной кожи, и возле здания царского военного трибунала фигуры закутанных женщин, сидящих на земле в ожидании каторжного приговора их мужьям,— то, что произошло с полудикими кавказскими племенами всего лишь за полстолетия,— этому, наверно, могут позавидовать все маленькие народы мира: баски в Испании, пуэрториканцы в Латинской Америке, нубийцы на берегах Нила. При встрече мне называли знакомо с детства звучавшие фамилии — Гуриевы, Саламовы, Борукаевы, Тхапсаевы, Дудуевы, Плиевы,— а это были маститые академики, народные артисты, опытные горняки-инженеры, геологи, прославленные генерал-полковники. Это были дети былых аульчан — когда-то в латаных бешметах с соломинками на плечах. И потому, что маленький народ в условиях социализма порвал с вековой замкнутостью, его сыновьям стали доступны все расстояния на планете, стали возможны самые современные поприща: кто уехал в Республику Мали открывать африканцам их рудные богатства, кто — в народный Китай ставить технологию маисового производства, кто — в Ленинград заведовать кафедрой биологии, кто — в Н-ский военный округ командовать бронетанковыми войсками. Я вышел к Тереку, я узнавал его — не этот Терек, а тот, из памяти детства,— вспоминал по шуму, по мутно-зеленому цвету воды, по галечным отмелям и фашинным запрудам, и было удивительно думать, что неукротимо-буйный поток, воспетый Пушкиным и Лермонтовым, работает в бетонных тоннелях на мощной Дарьяльской гидростанции, которая, впрочем, нисколько не знаменита. Над городом часто раздавались пушечные залпы, но они не пугали даже лебедей в пруду,— это пролетали самолеты на сверхзвуковых скоростях. Между прочим, земляки прокатили меня в аул Нар, на родину Коста Хетагурова. Высокогорное селение — последнее в самом отдаленном ущелье северной Осетии, туда когда-то не было колесной дороги, и нам, подросткам, казался астрономически-недоступным поход в Нар, еще опаснее, чем мои излюбленные в детстве путешествия Ливингстона и Стэнли в джунгли Африки. Теперь за дружеской болтовней мы почти не заметили горной дороги. Меня провели в саклю, где родился народный поэт Осетии, и тут из узкого окошка я увидел, как бульдозер прокладывает дорогу еще дальше — на Рокский перевал. Бульдозерист резал по откосу горы впрямую и выгонял землю с камнями, сбрасывал ее своим лемехом, каждый раз из-под него сыпалось в пропасть, и я был уверен, что кончится плохо. Пока я смотрел, в уступе горы возникли сто метров новой дороги, и это, в соседстве с небом, было впервые от сотворения мира. А внизу паслась лошадь, мальчишка в войлочном лопухе сидел и глядел снизу на это чудо. Вечером бульдозер вошел в поток без брода и так же, не ища выезда, взял круто и выполз на наш берег — мы жарили форель на костре. Бульдозерист играючи сам себе сделал дорогу. Когда он соскочил с машины, он был изящен и ловок, как матадор, удивительной силы мускулы играли на его плечах. И он запомнился мне среди башен, таких же ржавых, как породившие их камни. Звали его Борис, из аула Црау, ему не было девятнадцати. Всю ночь луна, как в лермонтовские времена, заливала скалы, башни библейским серебряным светом, а в шесть утра — и ради этого весь мой рассказ — мы услышали в сакле «Последние известия»: ракета, запущенная три дня назад, облетела эту самую лермонтовскую луну и сфотографировала ее с обратной стороны.

Вот так, по случаю, я засекал иногда события личной жизни на фоне все ускоряющихся скачков мировой истории. Но чаще — нет. Я не скажу, например, когда меня оглушил впервые дьявольский смысл слова «тотальный». Или «глобальный». Когда впервые, в жару болезни, я оценил, какое благодеяние научного прогресса — пенициллин? А счетчик Гейгера? О нем я помню: мне сунули его в карман пиджака во время экскурсии на первую атомную станцию в лесах под Москвой. Но я не могу сказать, когда в первый раз услышал о каплях теплого майского дождя, которые могут принести смерть и моему ребенку только оттого, что где-то, за десять тысяч километров от нашего дома, поднят в небо атомный гриб, а ветер повернул его дыхание для многих миллионов людей счастливо, а для нас, для меня — неудачно. Лучевая болезнь — когда же и она сделалась возможностью моей судьбы? Ведь многолюдная семья моего деда в Ростове-на-Дону в 1920 году вся вымерла в пять дней не от лучевой болезни, а от сыпняка...

За время, пока я живу, несколько поколений перешло от безмятежных детских игр в суровый возраст военных мобилизаций — и это повсюду, на всех континентах. Дети, играя, растут, в том, собственно, и вся предназначенность детства — цели в их жизнь вносит с годами общественный строй. В джунглях Вьетнама одна священная цель, приведшая скованную нацию в движение, повелевает ее подросткам взвалить на спины по 20 килограммов риса и идти, идти, идти в тропических болотах, едва поддерживая свои силы в пути, чтобы донести отряду народной армии хотя бы немного риса. Но видели мы и другое: безумные цели овладевали самыми культурными нациями, даруя их молодым поколениям сперва коричневую надежду, затем черное отчая-

ние. Фашизм, точно чума, носил эпидемический характер — иначе уже не постигнуть сегодня смысл некоторых эпизодов документальной кинематографии. Недавно я увидел на экране праздник немецкой молодежи при Гитлере, трибуны огромного стадиона телами десятков тысяч юношей и девушек изобразили клятву: «Мы принадлежим тебе, фюрер!» Я увидел и японский документальный фильм о войне, он ошеломил меня эпизодами трагических атак на американские авианосцы японских летчиков-смертников: вчерашние малыши вылетали в океан без запаса горючего на обратный путь.

Но я и об этом рассказываю со всей возможной сдержанностью. Вот уже двадцать лет прошло, как завершилась победой прогрессивных сил человечества их многолетняя битва с мировым фашизмом. Говорят, что каждые тридцать лет удваивается население планеты. Дети, рожденные в 1947, 1948, 1949 годах, уже взрослые люди, их сотни миллионов, и они снова стоят перед выбором. Личная жизнь каждого из них видится им на фоне все ускоряющегося ритма мировой истории. Почти на их глазах возникло и побеждает на четырех материках содружество социалистических наций. На их глазах в короткие годы по швам расползся бесчеловечный мир колониальных империй. На их глазах потеряли блеск славы многие авторитеты — и фюреры всех мастей, и вечные истины, и даже такие абсолютные понятия, как «да» и «нет». Поколебался престиж самого Земного шара! Над головами сотен миллионов молодых людей летают «спутники» по своим хронометрированным до секунды орбитам: девяносто минут для кругосветки! И уже был такой день, когда человек физически вошел в космос где-то над Керчью и через десять минут возвратился из космоса над Енисеем.

Как чувствует себя молодой человек — уже не в двадцатом веке, а именно в последнем электронно-ракетно-ядерном десятилетии, когда даже человеческая память и способность логически умозаключать как бы узурпирована цифровыми машинами? Как чувствует он себя в том мире, где появилась некая реальная кнопка? Чей палец на этой кнопке — думает ли он об этом?

Передо мной книжка, изданная в Англии в прошлом году. Называется она — «Поколение Икс».

2

Англичане называют их тинэйджерами, и это не переводимо на русский язык. Чем они живут, эти английские подростки и юноши? Что они думают — о любви, об отцах и матерях, о работе, о своих кумирах и идолах, о путешествиях и джазе, о сексе, о битлах и «поп-искусстве», о религии, о политике, обо всем остальном мире, черт его побери?..

Чарлз Хэмблетт и Джейн Деверсон начали в январе 1963 года и закончили в июне 1964 года длительный контакт с молодежью во многих графствах и городах Англии, провели множество интервью, прочитали сотни писем. Объективные исследователи заставили разговориться тех, кто вообще неохотно вступает со взрослыми в разговор, а особенно о себе. Позиция была найдена верная. «Может быть, они ничего интересного не скажут,— так условились думать составители сборника «Поколение Икс»,— но все-таки это достовернее, чем если бы о них писали, их описывали».

Время от времени человечество проводит подобные замеры душевной жизни молодых поколений. Помню в тридцатых годах «Несчастье быть молодым» — книгу французской молодежи о самой себе, составленную Вайяном Кутюрье. Помню книгу итальянского сценариста Элио Петри «Рим, 11 часов» — скрупулезное изложение опроса двухсот девушек, которых поиски работы заставили сбежаться по объявлению (на единственное вакантное место машинистки) и рухнуть вместе с ветхой лестницей, в ее обломках, в доме на улице Савойя. В подобном репортаже не следует искать обобщенной правды, тем более что молодость всегда склонна видеть себя не такой, какая она есть, а какой она себя представляет. Подлавливать ее в кокетстве фразой, неточности мыслей, преувеличениях чувства, по-моему, так же нечестно, как «дать подножку» в товарищеской борьбе на школьном дворике. Я с жадностью читаю такие книги, потому что в них всегда заключена правда мгновения и, значит,— мгновение правды.

То, что я вычитал в книге «Поколение Икс», больше всего похоже на известную нам формулу: «увольнение по собственному желанию». Сколько горечи и желчи порой бывает заключено в таком вынужденном заявлении, сколько бессилия, утраты веры и нежелания борьбы, протеста и громких слов,— и у меня нет желания обвинять живых персонажей этой драматической книги в безыдейности и безволии.

Если отношение человека к действительности и есть его сознание, то по книге «Поколение Икс» нужно осудить прежде всего не дух молодого поколения Англии, а ту действительность, которую наследует ее молодежь.

Вот пишет Тревор Спэнсуик из Мидлсбро:

«Я хочу работать, мне стыдно, что я не работаю, мне бы так хотелось приносить домой получку и помогать матери. Чего я только ни делал, чтобы устроиться, но везде слышал одно и то же».

Вот пишет неизвестный юноша:

«Приходит время,
Когда нужно решиться.
Да, обязательно придет время,
Когда нужно выйти в мир, чтоб заработать свой грош».

Вот, в сущности, все, чему учитель в школе обязан научить невинного парнишку, который попадает к нему, не задумываясь над тем, как жить дальше. Смысл жизни любого человека — «выйти в мир, чтоб заработать свой грош».

Я прочитал эти строки и вспомнил одно из впечатлений своей английской поездки. Мы стояли во дворе Тауэра в очереди к сокровищнице английской короны, а рядом — стайка школьников. Я спросил малыша:

— Кем будешь после школы?

Он не улыбнулся моему вопросу.

— Животным доктором (ветеринаром, понял я).— Так он ответил.— У меня уже восемнадцать мышей, я их лечу.

— А ты что будешь делать, когда кончишь?

— Я хочу быть строителем, сэр.

— А ты?

— Я пойду в торговый флот, сэр.

Это был верзила лет двенадцати, и он тоже не улыбнулся моему вопросу. Скажу откровенно, мне хотелось увидеть улыбки, чтобы маленькие лондонцы стали мне знакомы, похожи на наших ребят, которые всегда улыбаются, когда взрослые пристают к ним с нелепыми вопросами. Но ни один из лондонских малышей не посчитал глупой мою любознательность, у каждого был трезвый практический ответ.

— Я хочу быть конторщиком.

— Я буду официантом.

Улыбнулся только сопровождавший их учитель.

— Никто не сказал, что хочет быть безработным? — спросил он меня и добавил от собственной мудрости: — Некоторые хотят найти за углом жар-птицу за два шиллинга. Что ж удивительного, что им не нравится потом перо от павлиньего хвоста...

Так вот, я не нашел никакой жар-птицы в раздумьях парней из «Поколения Икс». Они, разумеется, живут не в Сомали или Уганде, а в высокоразвитой цивилизованной стране, и они учатся пользоваться логарифмической линейкой, математическими таблицами, работать на клавишных счетных автоматах. Но они ни во что не верят. «Человеку прежде всего нужна уверенность,— утверждает Джон Гринуэй из Бирмингема.— Если у тебя ничего не отложено в банке на черный день, тебе не избавиться от забот. Я рвался уйти из школы, а теперь все время в нервах из-за работы и не знаю, как жить дальше». Такое страстное стремление обрести уверенность, что даже униформа с медными пуговицами «делает нас мощней на вид и придает уверенность в своих силах».

Они чувствуют себя в родной Англии нелюбимыми — именно так, как чувствуют себя нелюбимые дети в несчастной, пусть даже богатой, семье. Возможно, что в моем впечатлении от этих пронзительных исповедей присутствует некоторая линейность, но славные юноши и девушки, пока я читал, кричали мне в уши: весь мир нас не любит, нас не любит ревущая машина прогресса, нас предают фильмы, бомбардирующие сексом, обманывают идиотские ящики телевизоров, вопящая реклама вечерних улиц, наркотизирует культ «преуспевающего человека». О, как хорошо мы знаем и как ненавидим жестокую заповедь жизни: «Те, у кого ничего нет,— не существуют»!

Но если цивилизация не любит нас, как хочется отомстить ей за эту нелюбовь, компенсировать себя хотя бы виртуозными плевками скепсиса и нигилизма!

Никакого самодовольства. Столетиями Британия жила сознанием своего превосходства, и был особенный народ — англичане (как в нашу эпоху успели побывать в особенных — немцы и японцы, а нынче пребывают в особенных — американцы). Нация островитян была отгорожена от всех опасностей на том берегу Ламанша. Поглядеть — и сейчас уверен в себе англичанин: все так же играет в крикет на лужайках. И те же, самые красивые в мире, деревья в Гайд-парке, и те же ножницы стригут газон, и те же молоточки на дверях особняков в палисадниках, и те же зонтики в непогоду, те же уличные оркестры и пестрые мундиры «Армии спасения». Но Англия, которая без любви к американцам пошла на тайные договоры, унизилась до стандартизации вооружений, впустила атомные лодки в свои глубокие бухты, а еще того постыднее, без боя пропускает на свой остров немецкий бундесвер,— о, эта Англия в глазах ее молодежи... Нет, судя по «Поколению Икс», кончилась навсегда гордая островная психология.

Я читал тревожные высказывания молодых англичан — многим из них кажется неизбежной термоядерная катастрофа — и вспоминал свой последний вечер в Англии, когда мы прощались за столом в ресторане с нашим шофером Робертом Робсоном, бывшим боевым летчиком, летавшим когда-то на Берлин. За стаканом водки он помрачнел и хмуро отзывался о будущем.

— Пока они (я думаю, он имел в виду тех, кто в парламентах и в кабинете министров) выгуливают своих собак и бросают им щепки в воду, расстояния на планете все сокращаются и сокращаются. Ламанш — это две минуты полета. Планета — шарик,

понимаете, сэр? Не более чем шарик... И мы на этом шарике еще обязательно встретимся. И как друзья, надеюсь...

Мы-то с ним расстались друзьями, но он был парень старшего поколения. Как же относятся сегодняшние тинэйджеры к поколению Боба Робсона — то есть к отцам?

«Иногда я люто их всех ненавижу. А порой меня переполняет жалость к старости и к одиночеству старости»,— так говорит Сьюзан Д., ей двадцать, она живет в Лондоне.

«Темп жизни настолько высок, что у старших, как правило, просто не остается времени на то, чтобы нас выслушать»,— так говорит двадцатилетний Самир Бэста из Сассекса.

Отцы и матери уже отстали от новых скоростей, и даже твист пугает их. А что они могут сказать в оправдание своей Хиросимы? А сексуальные скандалы в правительстве? А стронций в молоке коров и в воде океанов? А убийство Кеннеди? А бесконечная бойня в Адене, во Вьетнаме, в Конго? А счетчики Гейгера? В каких карманах они их прячут?.. И потом их ужасно много, этих стариков, они просто не умирают: пенициллин! (В самом деле, в Великобритании число людей старше 60 лет выросло с 3 280 000 в 1910 году до 8 510 000 в 1960 году). И все они в общем говорят нам одно, а сами-то всю жизнь делали другое. Ложь, ложь... «Липа»...

«Поэтому мы и ищем спасения в интимной жизни. Юности нужно, чтобы ее защитили и обогрели в семье, дома. Когда же нет ни дома, ни семьи или, как это бывает зачастую, дома нам не могут помочь, мы обращаемся к человеку противоположного пола. К тому, кто нас выслушает и поймет, что нас тревожит. К тому, в чьих объятиях мы, пусть на несколько коротких часов, вернем себе уверенность и силу... Старшие нас за это осуждают, но не видят одного: ведь мы ощупью ищем свое место в жизни, и никто нам в этом по-настоящему не помогает. Всю вину за это должно нести современное общество с его жесткими требованиями и давлением на человека, с его органической неспособностью удовлетворить насущные нужды молодежи. Оно слишком слепо, слишком глухо, слишком уродливо, чтобы попытаться хотя бы понять нас...»

Так они обосновывают свое бегство, свое «увольнение по собственному желанию».

Одни бегут в Канаду, Австралию или Южную Америку. Джон Майлз из Уэльса пишет: «Мне хотелось бы уехать в одну из стран Содружества, где меньше шансов угодить под бомбу. В Лондон-то я уж наверняка не поеду, потому что на этот город бомба будет сброшена в первую очередь».

Другие спасаются в религии — есть еще у дряхлой, вздыхающей на каждом такте паровой машины буржуазной идеологии спасительный клапан в виде господа бога.

Третьи «увольняются» в секс или в крайнюю замкнутость. «Люди меня не очень интересуют,— пишет Дэвид Ренардсон из Гулля,— мне мало дела до того, чем они занимаются. Я предпочитаю держаться небольшого круга близких друзей...»

Есть и такие, которые собираются в пресловутые «гэнги», в шайки молодых шалопаев, которых, по свидетельству журнала «Курьер ЮНЕСКО», всюду достаточно — в Англии их зовут тедди бойз, в Голландии — нозем, в Швеции — раггары, во Франции — блузон нуар, в ФРГ — хальбштаркен. «Мы привязывались к людям просто так, от нечего делать,— рассказывает Роберт Арнольд Эванс из Уимблдона.— Если ты где-то уже видел этого парня, ты принимал его сторону, если нет — он становился врагом. Большей частью ты и не знал, с кем и за что дерешься. Да это и не важно, потому что получаешь удовольствие от самой драки, прикончив в мыслях трех человек или около того... Может быть, в такие минуты я чувствовал себя настоящим крепким парнем или уж не знаю кем...»

Таких-то и будет рекрутировать неофашизм — может быть, не в Англии, но в США у молодежи нет никакой прививки от подступающей к горлу нации новой эпидемии.

Есть такое с виду безобидное слово — «приватизация». Пропагандистский журнал «Англия», выходящий на русском языке, по-своему и вполне идиллически трактует бездуховный потребительский мир английской молодежи. Грустная книга «Поколение Икс», как это ни странно, кажется куда как радостнее январского номера журнала «Англия» 1964 года, там жизнь молодых англичан выглядит более чем благополучно, а окружающая их действительность обладает всеми достоинствами муниципального плавательного бассейна с подогретой водой. «Надеюсь стать управляющим машиностроительной фирмы...» «Мне удалось скопить денег на покупку автомобиля...» «Безработицы я не боюсь, и мне кажется, что у нас в южном Уэльсе никто не испытывает перед ней страха... В общем, я смотрю с оптимизмом на будущее мира, и, по-моему, ядерная война едва ли разразится...» «Мне нравится печь пироги...»

Это и есть приватизация. В том же журнале профессор социологии в Лондонском университете Дональд Макрэй успокоительно разъясняет: «Многое из того, что я описал, является частью процесса, который социологи иногда называют «приватизацией». Под этим подразумевают возрастающий интерес к дому и домоводству, к музыке и искусству, к личной жизни и личному потреблению, к личным успехам в образовании и спорте и, больше всего, к личным отношениям. Полагают, что это сопро-

вождается снижением интереса к религии, экономике и политике... Молодые люди часто пренебрегают возможностью вступить в какую-либо политическую партию».

Точка поставлена вовремя. Профессор Макрэй может спокойно идти спать. Только мне кажется, что другой профессор-социолог, француз Ги Бесс, в дни известной дискуссии о путях прогресса человечества, в Руайоме, точнее и беспощаднее обрисовал ту же картину, когда предложил «рассматривать загнивающий капитализм как в определенном смысле чудовищное предприятие обезличивания, как постоянное покушение на человеческую индивидуальность — на эту инициативную и творческую силу». Он добавил еще, что «нет ничего более обманчивого и более бедного, более смехотворно безличного, чем эта слабовольная субъективность, которая стремится противопоставить свои богатства разуму общественного человека. Потерявшее почву «Я» не более богато, чем «Они», от которых оно хотело бы освободиться. И то и другое является двумя сторонами той же нищеты, нищеты отчужденного человека».

3

Но почему же вырвалось у меня признание, что грустная книга «Поколение Икс» все-таки радостнее чего-то другого?

Да потому, что юные персонажи этой книги думают!

Мудрый Джон Стейнбек в речи по случаю получения Нобелевской премии, предостерегая мир от всеобщей катастрофы и устанавливая альтернативу между бытием и небытием, назвал бремя выбора ужасающим. Он сказал: «Опасность, и слава, и выбор покоятся в человеке. Испытание его способности к совершенствованию близится». И еще он сказал: «Сам человек стал величайшей нашей опасностью и нашей единственной надеждой».

Вот почему так пристально — одновременно с чувством опасности и с надеждой — вглядываемся мы в «поколение Икс» капиталистического мира. Ну, хорошо, пройдет десять-двадцать лет. Где встретимся мы с этими ребятами? Бросит ли их ускорение мировой истории навстречу нам с самоубийственным оружием в руках, когда какие-то новейшие Голдуотеры и Мосли произведут ужасающий взрыв? Или — мы в это верим! — добрые силы возобладают, мир победит войну, и рука об руку с нами бригада английских парней, сегодняшних тинэйджеров, возьмется растоплять льды Гренландии, перегораживать Берингов пролив и опреснять воды мирового океана?

Ведь некоторая часть человечества, не дожидаясь англичан, уже начала эту работу. В прошлом году мне посчастливилось увидеть это в Африке — там сибиряки, грузины, москвичи вместе с арабами перегородили Нил в гранитных теснинах у древних порогов Катаракта и начали среди пустынь накапливать воду в бассейне вместимостью в десять Женевских озер.

Вечером мы с группой советских инженеров помчались поглядеть на самые старые в мире каменоломни. Опять, как в горах Кавказа, сверкал надо мной серп молодого месяца, и в тишине Ливийской пустыни не хотелось говорить громко — это было точно чудо: общение с давно поработавшими здесь людьми. Они пытались из гранита скалы вырубить гигантский прямоугольник и, наверно, бросили его, заметив трещину, не то просто устрашенные приближением в песчаном облаке верблюжьих орд чужеземцев, не то по смерти монарха... Самой своей анонимностью эта работа будила мое воображение. Мы ходили по недоделанному, недовынутому из материнской скалы полуфабрикату несбывшейся колонны. Мы видели следы насечек, хотелось заглянуть в лицо тому, кто три тысячи лет назад вбивал в шурфы клинья кедрового дерева, размачивал их водой, чтобы, набухнув, они взрывали гранит. И он действительно откалывался по нужной человеку линии! Какой же он был — этот наполовину взрывник, наполовину ваятель? Сейчас, занятые своими грандиозными гидротехническими работами, мы примчались в свободную минуту на древнюю каменоломню, чтобы внезапно почувствовать свое сообщество с теми, кто здесь работал, порадоваться, что мы — люди...

О чем же тогда на обратном пути в поселок строителей заговорили инженеры? Они заспорили: сколько поколений отделяет нас, строителей Асуанской гидростанции, от тех работников каменоломни? Сколько лет считать на поколение? Двадцать, тридцать, когда помирали от чего попало? Или семьдесят, когда изобрели пенициллин? Помню, мы щедро дали человечеству для смены поколения по тридцать пять лет на круг. А потом заговорили о своем — об энергетике. Нынче человечество еще совсем маломощно: на душу населения приходится что-то вроде одной десятой киловатта. И тут кто-то в мерцающем свете африканской ночи высказал мечту, смешную и трогательную, но она поразила меня, может, именно потому, что произнес ее русский человек, инженер, коммунист, в мерцающем свете африканской ночи.

— Ведь наступит же скоро время, товарищи, когда не золото, не доллар станет мерой экономического общения народов и стран, а киловаттчас...

Как бы хотелось мне, чтобы услышали этот разговор тинэйджеры из грустной правдивой книги. Может быть, в такую минуту и почувствовали бы они себя «настоящими крепкими парнями или уж не знаю кем...»

СЛОВО О МОЛОДЫХ

Четыре интервью

Мы обратились к ряду советских писателей с просьбой поделиться мыслями о современной молодежи, рассказать о недавних зарубежных встречах. Четыре интервью, полученных нашим корреспондентом, публикуются ниже.

Борис ПОЛЕВОЙ

Есть, видимо, какая-то закономерность: в той точке земного шара, которая в силу обстоятельств становится самой «горячей», там, где народ поднимается на борьбу за свою свободу, взоры обращаются к советской стране, к советскому народу — к его мужеству, к его боевому опыту.

Особенно остро ощутил я это, оказавшись во Вьетнаме. Географически Вьетнам для нас, советских людей, страна далекая, до нее не скоро долетишь и на самом быстроходном воздушном лайнере. Но нам она близка, как близка борьба вьетнамского народа, столь героически отстаивающего сейчас свою честь и независимость.

Мне много приходится ездить по разным странам, и, думаю, я не ошибусь, утверждая, что именно во Вьетнаме, в борющемся Вьетнаме, на чьи мирные города американские самолеты сбрасывают бомбы, неся смерть и разрушения, молодежь по-особому тянется к советской литературе, запечатлевшей великую борьбу советского народа в дни Отечественной войны и великое созидание — строительство коммунизма.

Разговаривая с молодыми вьетнамцами, мы просто поражались тому, насколько хорошо они знают книги советских писателей, прежде всего те, которые показывают героизм советских людей в дни Отечественной войны. Пожалуй, самая интересная читательская конференция из всех, что я вообще помню за свою писательскую жизнь, состоялась у меня на одной из крупных текстильных фабрик Вьетнама — там, где сегодня работают, храня рядом со станком винтовку, гранату, противопожарный инструмент. Обсуждалась книга, не очень у нас известная,— «Человек человеку друг», посвященная Валентине Гагановой. Пришли лучшие люди фабрики — ударники, герои социалистического труда, ткачи, прядильщики, наладчики станков, инженеры — знатоки текстильного дела, почти все без исключения молодежь. Слушая их выступления, я думал о том, какой мощный «прямой» потенциал может быть подчас извлечен из наших книг: вьетнамская молодежь видела в них больше чем произведения литературы — прежде всего это были учебники жизни. Не скрою, мне как автору было дорого сознание, что среди «пособий» оказались и мои книги.

Запомнилось выступление одного из участников этой удивительной конференции — молодого мастера прядильного цеха, он же — руководитель боевой дружины противовоздушной обороны.

Он рассказал о том, как под воздействием этой книги пришел в отсталую бригаду, как она стала передовой, как переслал книгу в сельхозкооператив своему брату и как тот у себя в деревне последовал его примеру.

В штрихах этих я вижу больше чем свидетельство своеобразия духовного склада, национального характера. Они укрепляют мою уверенность в том, что этот удивительный героический народ, сломивший хребет французскому империализму, отстоит свою свободу, сражаясь против американских агрессоров.

Не будет стоять винтовка возле станка молодого вьетнамца. А книга — с книгой он уже не расстанется.

Илья ЭРЕНБУРГ

Есть существенные различия между общественным строем нашей страны, других социалистических стран, с одной стороны, и капиталистических стран — с другой. Но есть также некоторые явления, которые общи для всех.

Они связаны с небывалым ростом точных наук, с некоторым «затмением» роли искусства в жизни каждого отдельного человека, с увлечением спортом, с привязанностью к своей работе и некоторой ограниченностью в общечеловеческом развитии, с критическим отношением ко многим явлениям предшествующих десятилетий, с большей легкостью жизни и большей трудностью разобраться в ее ходе.

Я заметил, что во всех странах, где я бывал, лучшая, наиболее активная, наиболее мыслящая часть молодежи стремится к изучению естественных наук не только потому, что они открывают молодым людям больше перспектив в их работе, но и потому, что эти науки доказуемы и законы математики не меняются каждое десятилетие. Однако и среди этой лучшей части молодой интеллигенции можно заметить большое духовное смятение. Оно, по-моему, вытекает из неравномерного развития человека.

Если в эпоху Данте сознание превосходило знание и «Божественная комедия», изобилуя схоластическими суждениями о вселенной, поражает нас глубиной созна-

ния, то я встречал во всех странах, где мне приходилось бывать за последние десять лет, немало молодых людей, обладающих большими знаниями в облюбованной ими области, но беспомощных в вопросах сознания или, точнее говоря, совести.

Они, если говорить о работе, вполне развиты и зачастую чрезвычайно эрудированные специалисты. Но в своей частной жизни порой растерянны, а порой — грубоваты: у них не хватает культуры эмоций. Повсюду знание опередило сознание — об этом хорошо знают девушки, которые по своей природе несколько более эмоционально развиты, чем юноши, и которые подчас со страхом думают о том, как они проживут жизнь в тесном соседстве с прекрасным инженером, не понимающим того, что понимал человек прошлого столетия.

Несмотря на то, что кое-где можно встретить интерес к различным религиям, и несмотря на ошеломляющую модернизацию церквей — в первую очередь римско-католической (заседания Собора в Ватикане напоминают не то научный симпозиум, не то сессию парламента),— мне кажется бесспорным, что религия не может претендовать на роль ведущего души.

Эмоциональным воспитанием человека второй половины нашего века должно заняться искусство. И если оно не обречено на гибель, оно должно вернуть себе ту роль, которую играло в прошлом. Молодые писатели и художники тех стран, где я бывал, понимают, что они должны стать либо разведчиками в духовный мир завтрашнего человека, либо тунеядцами — пересказывателями общеизвестных политических положений, окаменевших философских тезисов или упрощенной утилитарной морали.

Старому человеку остается одна вера — вера во внуков. И я хочу верить, что молодые люди, которые скоро придут на смену промежуточному поколению, сумеют быть творцами не только событий, но и душевного мира людей.

Виктор РОЗОВ

В техасском городе Хьюстоне я видел, как мальчики, студенты университета Райса, на большой перемене подают в столовой обед профессорам — первое, второе, третье. Это позволяет им бесплатно учиться и питаться — в Америке обучение в высшей школе стоит очень дорого.

Я вспомнил эту сценку, как одно из сегодняшних свидетельств извечной тяги молодежи к знанию. Замечу, что меня поразило, насколько легко, непринужденно, независимо, живо делают эти мальчики свою работу. Не скрою, я подумал, глядя на них: а ведь доведись нашим ребятам нечто подобное, не один наверняка пожалеет себя, бедного,— вот, мол, чем приходится заниматься, чтобы учиться. Как это ни странно, но отношение к труду, особенно к труду, если так можно выразиться, примитивному, вроде труда подавальщика или подметальщика улиц, со стороны наших молодых чаще всего презрительное. Очевидно, где-то в процессе нашего воспитания мы допускаем определенный промах... Но это к слову.

Желание все увидеть своими глазами — тоже, наверно, извечно для молодых. Когда я рано утром вышел из каюты на палубу корабля, державшего курс из Турку в Стокгольм, она была сплошь усыпана спящими парнями и девушками из самых разных стран мира. Новозеландцы, канадцы, немцы, бельгийцы, итальянцы... Большинство этих ребят вовсе не были зажиточными, чтобы собрать средства на свой скромный «вояж», им приходилось подрабатывать лифтерами, разносчиками газет, подносчиками вещей... Вокруг спальных мешков были разбросаны их нехитрые пожитки — фото- и киноаппараты, толстые тетради-дневники... В Норвегии я видел таких же юных путешественников, спящих просто под деревьями...

Я слышал, что молодые люди соревнуются друг с другом — кто побывает в большем количестве стран мира... Глядя на этих путешественников, знакомясь с ними, я понял, что это не праздные зеваки, не искатели приключений. Они едут, чтоб видеть, а видеть, чтоб понимать.

Конечно, всякая есть современная молодежь. Впрочем, многоликой она и должна быть — общество взрослых тоже многолико. Сегодня, как и всегда, далеко не однозначное выражение получает потенциал молодых сил. Даже внешние признаки молодежной «экзотики» не всегда приведешь к одному знаменателю.

В Англии я видел на Трафальгар-сквере совсем молодых ребят и девушек, разгуливающих по этой прекрасной площади без башмаков, в драных носках, из которых высовываются пальцы,— небритых парней, нечесаных, патлатых девиц, в грязных свитерах, в грязных юбках. Одна такая пара — он и она сидели на лавочке в обнимку и читали книгу. Я заглянул через плечо и был несколько удивлен — книга оказалась не детективом, не порнографией, а какой-то серьезной работой по эстетике — жаль, не запомнил названия.

Когда я был в Италии, один мой знакомый-коммунист рассказывал, как «современные», «модные» мальчики, узнав о фашистском сборище на площади, оставили в кафе своих подружек и разогнали фашистов, понеся при этом кровавые потери.

В читальном зале великолепной Гарвардской библиотеки мы были поражены тем, что студенты сидели около длинных массивных столов, положив на них ноги — причем, выбросив их довольно далеко вперед, почти под нос своему визави — и куря сигарсты, сигары, трубки. Некоторые спали, уронив головы на стол — это в святая-то святых! В библиотеке! Но все это не нарушало правил поведения, потому что, в сущности, правило было одно — не шуметь.

Порой подобная «экзотика» — просто привычка, нрав, болезнь возраста, дань моде, подчас же с нею связаны деяния, отнюдь не безобидные: я вспоминаю, например, английских рокеров — парней, которые, вооружившись девизом «жизнь — это риск», совершали шумные набеги на городки, тер-

роризируя своими развлечениями местное население.

Кстати, в Гарвардском университете у нас состоялась очень интересная встреча со студентами — оживленная, немного напряженная, но радостная для обеих сторон. Как, впрочем, и в упомянутом мною Хьюстоне, где студенты провожали нас толпой до ворот парка. И когда один из нас задал декану вопрос: «Как, на ваш взгляд, прошла встреча с вашими студентами?» — он ответил: «Главное — они убедились, что у вас тоже два глаза и один нос». Какой-то милый юноша пришел даже к нам в гостиницу на следующий день и принес всем на память спичечные коробки, ластики. С отвагой в глазах он признался, что отправился сюда несмотря на то, что ему было сказано: «Если пойдешь — можешь вылететь из университета».

Вот это чувство своего рода гражданской самостоятельности я бы назвал прежде всего, говоря не о внешних, а об истинных приметах современной молодежи,— растущее сознание своей ответственности за происходящее, протест, подчас инстинктивный, но вызванный одним — устроить жизнь на земле по-иному, более сносно.

Конечно, процесс этого «гражданского возмужания» вовсе не совершается гладко и отнюдь не отменяет всей сложности сегодняшних настроений современной молодежи — нередко тревожных, смятенных, ждущих решения.

Мне доводилось много раз возвращаться в своих беседах с молодыми, особенно в буржуазных странах, к проблеме взаимоотношения полов. Она чрезвычайно остра. И в Англии, и в Америке, и в Швеции, и во Франции. То, что приходилось слышать и видеть, наводит на грустные размышления. Но в конце концов это живая жизнь, и было бы глупо только укоризненно качать головой, а не вдумываться в явления, не докапываться до их корней, не пытаться увидеть их в перспективе. В лихорадочном поиске свободы от каких-бы то ни было рамок и ограничений, «свободы от всего», конечно, нельзя не узнать приметы «психологической радиации», которую распространяет угроза атомной войны, буквально терроризирующая сознание стольких юношей и девушек. «Мы спешим — все равно война будет»,— говорят иные из них. Повторю в этой связи коротко то, о чем мне уже приходилось говорить и писать: есть внутренняя, личная «несвобода», ограничение, которое существует для лучшего. В безбрежном океане «свободы от всего» человек рано или поздно захлебнется, потонет. И чтобы не потонуть, он неминуемо должен обрести ту самую гармонию своей личной внутренней «свободы» и «несвободы», которая только и может сделать его счастливым.

Закончить свою беседу я бы хотел рассказом о недавней поездке в ГДР. Я ездил в Берлин смотреть два спектакля, поставленных по моим пьесам. И до сих пор нахожусь под впечатлением встречи с молодыми немецкими актерами. Особенно знаменательным мне показалось то, что они хотят не просто играть или утверждать свое «я» на сцене, стать известными, знаменитыми актерами, этак повеличаться над толпой,— нет, они хотят выразить со сцены то, что дорого им как художникам и гражданам.

Кстати, я далеко не во всем был согласен с их эстетической платформой, спорил с ними. Я считаю, что язык театра — это прежде всего сфера человеческих эмоций. Они непосредственно заражают зрителя, вызывая в зале ответную реакцию. В немецком же театре сейчас решительно отказываются от воздействия на чувства, перенося центр тяжести на сферу рассудка. Отсюда чрезвычайный лаконизм в решении спектакля, этим определяется и сам выбор пьесы к постановке.

И все же главное, о чем я вспоминаю, не эта полемика, а то, что я бы назвал настоящим знамением времени,— стремление молодых художников вести со зрителем разговор, как у нас принято говорить, «по большому счету». И опять, опять об одном и том же — о лучшем устройстве мира.

В заключение скажу одно: в этом шатком, переменчивом, начиненном «до корочки» взрывчаткой мире молодежь хочет, если так можно выразиться, «светлой стабильности», уверенности. Для того чтобы дерзать, нужно знать, что твой подвиг не будет издевательски сметен атомным взрывом.

И несмотря на то, что молодые люди встречаются, и, к сожалению, нередко, скверные, подчас отвратительные, все же с уверенностью утверждаю — больше молодых с глазами пытливыми, полными надежд, любви, жизни.

И еще: какова бы ни была молодежь, все равно законом жизни она получит в свои руки земной шар. Лучшая часть молодежи мира понимает это и не боится принять его в свои руки. Даже больше — хочет поскорее принять его в свои руки, чтобы сделать жизнь на земле совершеннее.

Юрий БОНДАРЕВ

Вспоминаю о спорах и дискуссиях, о разговорах и диалогах с американскими писателями, журналистами, редакторами газет, архитекторами и миллионерами, но прежде всего — о встречах со студентами университетов разных городов. Аудитории были переполнены, стояли в проходах, сидели на полу, держа на ладонях чашечки с кофе. Обычно встречи эти начинались с наших выступлений, завершались — бесконечным потоком взаимных вопросов и ответов. Но интерес узнавания с той и другой стороны был не только в словах.

Многое объяснял зал — в напряженных глазах любопытство, ожидающее и сосредоточенное внимание молодости; порой бывала такая тишина, какая бывает только в лаборатории. Казалось, вслушивались не только в слова, но и в интонации голоса каждого из нас.

Одна из записей в блокноте: дискуссия в

университете города Блумингтона — здесь учатся 26 тысяч студентов.

Не успеваем отвечать на вопросы: «Что больше всего понравилось и что не понравилось в Америке?», «Как вы пишете и как читаете книги?», «Есть ли в России миллионеры?», «Какое влияние оказали на ваше творчество американские писатели?», «Какова роль писателя в обществе?», «Над чем работает Твардовский?»...

И мы совершенно откровенно говорили о том, что нам понравилось и что не понравилось в Америке. Мы говорили о прекрасных автострадах и о смоге в Лос-Анжелесе, о Золотых воротах в Сан-Франциско и о порнографической литературе, которая лежит на прилавках киосков и магазинов. Мы говорили о том, что американцы чтят память покойного президента Кеннеди, и о том, что самая больная проблема в их стране — это проблема расовой дискриминации.

Мы чувствовали интерес к советской литературе, хотя студенты знали о ней ничтожно мало и в тенденциозном освещении.

Эта встреча меньше всего напоминала официальное и корректное собеседование. Чем больше было вопросов, тем заметнее страсти разгорались: тоненькая девушка с челкой, вскочив с места, начала отчаянно спорить с высоким парнем в свитере, высказавшим мысль о том, что «сладкая каторга» писательского труда (я говорил об этом) обрекает художника на своего рода «самоограничение», отказ от соблазнов житейских радостей.

Кончилась встреча, студенты окружили нас, пожимали руки, приглашая чаще приезжать к ним, многие говорили о своем желании побывать в Советском Союзе, тщательно изучать русский язык, читать книги советских писателей.

Не всех, разумеется, удовлетворила эта встреча. Корреспондент антисоветского издания, молчаливо присутствовавший, как мы потом узнали, на этой дискуссии, назавтра же выступил с пространным злобным отчетом, в котором можно было прочитать все — от описания нашей одежды, тембра голоса, жестов до мистического определения, кто же из нас был «партийным отцом». Он писал: «Пусть уезжают русские в блаженной уверенности, что им ловко удалось провести американскую публику». Тем не менее во время самой встречи этот корреспондент не решился выйти на трибуну: мы совершенно уверены, что аудитория не дала бы ему рта раскрыть. В этом я уверен еще и потому, что помню, как в Калифорнийском университете насмешливо улыбались студенты, глядя на своего профессора Глеба Струве, с которым мы вели дискуссию по поводу его статьи в «Нью-рипаблик». В этой статье Глеб Струве определял мой роман «Тишина» как последний «крик» социалистического реализма, строил прогнозы о судьбах советской литературы, утверждая, что ее «задушат». В споре Глеб Струве заявил, что не писал такой статьи, но когда мы показали ему эту статью, он сказал, что его не так поняли. Было неловко, студенты усмехались, профессор Струве был бледен.

Американские студенты весьма импульсивны. Чувствуется — они не стоят в стороне от общественной жизни. Довольно резки были в университетской среде антиголдуотерские, антиэкстремистские настроения. Из Чикагского университета многие юноши выезжали в южные штаты преподавать в негритянских школах. Несколько лет назад по требованию профессоров и студентов были отменены выступления некоего яростного фашистского лидера, приглашенного читать лекции. Не говорю уж о «непопулярности» войны во Вьетнаме.

В чем-то наивные, доверчиво-искренние американские юноши и девушки показались мне в то же время настойчивыми, знающими, чего хотят: они хорошо понимают, что профессия, которую приобретают, будет нужна им всю жизнь, и в учебе их заметны серьезные усилия. Трезвость, практичность, правда, нередко оборачиваются узостью, некой ограниченностью — дело здесь скорее всего в принципах обучения, в разделении наук и профессий.

Вот еще одна блумингтонская запись — разговор за ленчем с двумя восемнадцатилетними студентками. Нам захотелось узнать, что читают они, что интересует в литературе этих милых застенчивых девушек с чистыми внимательными глазами. Спрашиваем: «Кого вы знаете из русских писателей?» Называют Толстого и Достоевского. Одна отвечает простодушно: «Войну и мир» не дочитала, слишком длинно»...

Оказывается, и с западной литературой тоже знакомы мало: одна читала Сэлинджера «Над пропастью во ржи», другая называет «Здравствуй, грусть» Франсуазы Саган. «Вы любите живопись?» — «Абстракционистов не люблю и не понимаю. Люблю пейзажи — красивые закаты, траву, лес»...

Что я вообще думаю о поколении сегодняшних молодых? На этот вопрос пытаюсь ответить в своем новом романе, над которым вот уже два года работаю. Знаю одно — я люблю молодость, эту удивительную пору человеческой жизни.

Скажу еще, что я не прислушиваюсь к фразам вроде «не та нынче пошла молодежь, вот в наше время были — и в плечах сажень, и росту два метра». Эту фразу можно сказать за бездумным сидением возле самовара. Каждое поколение хорошо по-своему, и каждое поколение несет свою нагрузку. Нет плохих и хороших поколений. Само время ставит перед ними те или иные задачи. Отрицать то или это поколение — значит потерять ощущение времени. Когда-то и о моих сверстниках — о тех, кому сейчас сорок,— тоже брюзгливо говорили за чаепитием, что они слишком беззаботны, слишком бездумны, слишком увлекаются футболом, а мое поколение прошло через войну, тяжелейшую тяжесть ее вынесло на своих плечах от Сталинграда и до Зееловских высот. Я верю в молодое поколение так же убежденно, как верю в человеческую доброту.

МОЛОДЕЖЬ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ И ЛИТЕРАТУРА О НЕЙ

Молодежная тема во всем мире привлекает к себе пристальное внимание и писателей, и читателей. О чем думает, чем живет, к чему стремится молодежь, какими духовными ценностями вооружает ее общество, какова ее роль в социальной жизни наших дней — эти вопросы снова и снова возникают на страницах книг, на экранах кино, на подмостках театров, возникают, естественно, по-разному в разных странах, в разных социальных условиях, в разных общественных слоях.

Для юноши, вступающего в жизнь, естественно свежее, острое восприятие взаимоотношений человека и окружающей среды, личности и общества. И в искусстве молодой герой всегда несет с собой обостренную постановку вопроса о месте в жизни, о нравственных ценностях, об идеале. Молодежная тема никогда не стояла в литературе особняком. Наоборот, в книгах о молодом поколении с особой ясностью проступают узловые проблемы жизни общества. Книги о современной молодежи позволяют многое понять в нашей бурной эпохе исторических перемен, стремительного обновления, решающих революционных преобразований во всех сферах жизни.

Пять лет назад на страницах «Иностранной литературы» были опубликованы материалы дискуссии под общим названием «Молодой человек середины XX века в жизни и в литературе». Эта же тема оказалась в центре внимания критиков и литературоведов, специалистов по зарубежным литературам, во время встречи, которая недавно состоялась в редакции. Казалось бы, пять лет — небольшой срок, но многое успело измениться в мире, появились новые проблемы, иные задачи, на смену одной волне молодежи пришла другая, со своими взглядами и стремлениями.

Выступления участников встречи — иногда дополнявшие, а порой и опровергавшие одно другое — складываются в своеобразную мозаику, по которой можно судить о некоторых процессах, происходящих в современной литературе.

— Во время первой нашей встречи,— сказал в своем выступлении **Д. Урнов,**— много говорилось об английских «сердитых» молодых людях. Но уже и тогда творчество «сердитых» ясно показывало, что едва ли не каждому из них суждено остаться в истории литературы или, во всяком случае, в памяти читателей автором одной книги. Никакой из других романов Кингсли Эмиса не казался столь оригинальным, не производил такого впечатления, как «Счастливчик Джим». С Осборном произошло то же самое. Хотя Лоуренс Оливье и заявил, что роль во второй пьесе Осборна «Конферансье» была одной из самых его значительных актерских работ, все же этот спектакль не вызвал таких споров, как «Оглянись во гневе».

Но даже если оставить в стороне вопрос о читательской популярности, будет видно, что эти писатели как бы сразу сказали то, что могли сказать, а затем они остановились в своем развитии или же двигались по некоему замкнутому кругу. Бешеный критицизм в адрес британской благонамеренности быстро достиг высшей точки. У Осборна, например, в двух его одноактных «Пьесах для Англии» по-прежнему осмеяно все: и застарелые традиции, и разного рода предрассудки, социальные преграды. Все подвергнуто откровенной издевке, однако ничего особенного, ничего нового, творческого не внесено. Правда, в конце 50-х — начале 60-х годов в английской литературе поднялась вторая волна молодежного «гнева». Однако Шейла Делани, например, с ее пьесой «Вкус меда» быстро, тут же сошла с литературной сцены.

В целом же становится ясным, что так называемый «молодежный вопрос», в том виде, в каком он встал в буржуазной литературе Запада несколько лет назад, сегодня так или иначе исчерпан. Мне кажется, что теперь литература, созданная молодыми писателями и о молодых героях, не претендует на то, чтобы составлять некую особую область, особое направление. Если же посмотреть несколько шире — на английский роман, драму, поэзию в целом,— прислушаться к разговорам в английской критике, то можно вынести весьма определенное ощущение: нечто кончено, истек какой-то период. Ничего принципиально нового не возникает.

Вакуум, конечно, существовать не может. «Ничего нового не возникает» — это не значит, будто не появляются новые произведения, отражающие в той или иной мере проблемы сегодняшнего дня. Продолжают писать «сердитые» молодые люди, которые, правда, теперь уже не так сердиты и не в такой мере молоды. Появляются и новые авторы. Однако творческого импульса, секрета, который свойствен истинному таланту, не хватает сейчас молодым английским писателям. Молодые авторы быстро сгорают, подхваченные первым успехом.

Недавно мне удалось выслушать мнение известного английского романиста Ч. Сноу. Он пенял нам за то, что мы слишком увлекались тривиальным, как он выразился, несколько пошловатым бунтом, мнимым восстанием «сердитых». «Что вы ими восторгаетесь,— говорил Сноу.— Как правило, все это легко и просто объясняется либо поиском места под солнцем, либо — иногда — сексуальными проблемами». Может быть, и не всегда недовольство «сердитых» объясняется так «просто», но, чтобы возразить маститому писателю в тот момент, я не мог отыскать в новейшей английской литературе убедительного материала.

— Я позволю себе не согласиться с утверждением,— заявил **В. Скороденко,**— будто молодежная тема исчерпана в английской литературе. Всю современную литературу Англии, а это литература интересная и богатая, нельзя сводить к нескольким именам. Память «сердитых» молодых людей действительно можно «почтить вставанием», хотя, к примеру, роман Джона Уэйна «Убей отца» (1962) по художественным достоинствам не уступает его роману «Спеши вниз».

Герой произведений «сердитых» молодых людей — выпускник краснокирпичного университета. Ему 24—25 лет. Персонаж этого возраста, конечно, не ушел из английской литературы. Значительное место в английской литературе заняли молодые герои «рабочего» романа (который пришел на смену произведениям «сердитых»), герои А. Силлитоу, С. Барстоу, Сида Чаплина, Д. Стори с их пытливой мыслью, с их беспокойством за судьбы мира, с их желанием понять, как устроена жизнь, «добраться до нутра всего этого», чтобы следующая неделя и следующий год были лучше предыдущих, как говорит один из героев в романе Барстоу «Любовь... любовь?». Пусть не всегда этот герой умеет «добраться до нутра», пусть иногда он сходит с круга, не пройдя всего пути, успокоившись на мысли о семейном счастье, как Артур Ситон («В субботу

вечером и в воскресенье утром» Силлитоу), но эстафета передана дальше: Брайан Ситон («Ключ от двери» Силлитоу) и Тим Тугр («Стражники и поднадзорные» С. Чаплина) уже не хотят только ждать, «пока люди у власти не придут в себя», они пытаются действовать, чтобы сделать жизнь лучше. Герой романа Силлитоу «Ключ от двери», рабочий паренек, проходящий «воспитание жизнью» не только в самой Англии, но и как солдат «грязной войны», мужает буквально на наших глазах.

Но появились в английской литературе и произведения, герои которых значительно моложе героев как «сердитых», так и «рабочих» романистов — это подростки в возрасте от 13 до 20 лет, те, кого в Англии называют «тинэйджерами».

В 50-е годы общепринятым определением по отношению к жизни и к литературе было слово «апатия». Потом доминирующим тоном стал бешеный вопль ярости, который должен был вывести общество из состояния апатии.

Сейчас чаще говорят уже не об апатии, а о насилии. Это насилие в какой-то степени является тем наследием, которое оставили по себе «сердитые» молодые люди, потому что их позиция: наплевать на все, дальше некуда идти,— оказывается, не была «безвыходной». Оказалось, что можно идти и дальше: можно громить все, что попадет под руку, можно уйти в банды, можно устраивать страшные драки, можно срывать свою злость на всем подряд, искать выход в убийстве и разрушении.

С каждым годом становилось яснее и яснее, что речь идет не об увлечении, не о моде, а о другом — о том, что молодежь не желает проглатывать в сыром виде те блюда, которые ей преподносят, то есть не принимает тот комплекс взглядов на мир, который дают ей в английской школе, который ей предлагают люди старшего поколения, руководящие ею. Однако еще до того, как вопрос о «тинэйджерах» был поставлен британскими социологами, художественная литература почувствовала тревогу за молодежь.

В конце 50-х — начале 60-х годов в Англии появились книги, написанные как исповедь от лица подростка, то есть в духе повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Эти книги по форме находятся где-то на границе между «рабочим» романом и романом-исповедью. Наиболее, может быть, классический образец этого жанра создал очень интересный английский писатель Колин Маккиннес, который получил широкое признание как в Англии, так и за ее пределами, автор так называемой «Лондонской трилогии», объединенной не преемственностью героев, но местом действия. Роман «Абсолютные новички» позволяет заглянуть в джунгли современного английского общества. Подростки, которые туда попадают, начинают жить по законам этих джунглей и совершают дикие поступки ради того, чтобы все узнать «на собственной шкуре». Стремясь к абсолютной правдоподобности и документальности, Маккиннес позволяет читателю погрузиться в гущу самой жизни. Другие два его романа — «Город черной масти» и «Господин любовь и справедливость» — не менее интересны.

Изданная в Англии антология «Поколение Икс», в которой опубликованы письма, присланные самими «тинэйджерами», и интервью с ними, подтверждает многое из того, что доказывали писатели, создававшие роман о подростках.

Сейчас таких «романов-исповедей» появляется все меньше, эта литературная форма уступает место новым. Но хочется отметить: то, что касается озлобленности молодежи, войны, которую ведет эта молодежь с английским обществом, то эта война не затухает, а скорее даже обостряется — достаточно вспомнить побоища между «модами» и «рокерами» в двух курортных городках Англии — Брайтоне и Маргете.

Не могу не упомянуть в связи с этим о книге писателя среднего поколения Д. Уоллиса «Только влюбленные остаются в живых», вышедшей в 1964 году. Это роман-утопия: все взрослые кончают с собой и остаются одни «тинэйджеры». И вот, когда подростки предоставлены самим себе, тогда вся их ненависть, не сдерживаемая уже законами взрослых, взрывается и разрушает все, что можно разрушить. После того как молодежь приходит в себя, она видит, что остается на развалинах цивилизации, и понимает, что нужно начинать все сначала.

Эта мрачная и необыкновенно проницательная утопия показывает, что тема молодежи в английской литературе себя далеко еще не исчерпала.

— Прежде всего,— начал свое выступление **Д. Жуков,**— необходимо еще раз оговориться, что к понятию «молодое поколение» следует подходить дифференцированно. Например, американскую молодежь, мне кажется, можно разделить на три группы. Во-первых, это интеллектуальная элита, к которой относятся молодые ученые, часть университетской молодежи, молодые литераторы, художники и т. п. Они живут своей особой жизнью и, в общем, слабо связаны с остальной молодежью. Это в их среде десять лет назад появились так называемые «битники», а в литературе — «разбитое поколение», в книгах ко-

торого нашли отражение ненависть к буржуазной цивилизации и растерянность перед лицом большого, холодного, равнодушного мира, не способного внушить те идеалы, ради которых стоило бы жить и бороться. Уже пять лет назад было ясно, что литература разочарования не имеет перспективы. И как мы видим, ни Керуак, ни Гинзберг, ни Ферлингетти — никто из тех, кто принадлежит этому направлению, не показал себя большим писателем.

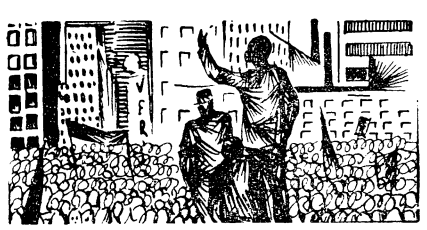
Ко второй группе я бы отнес, если так можно выразиться, элиту деловую. Среди этих молодых людей — и те, кто имеет наследственное состояние, и те, кто стремится разбогатеть. Мышление их четко и целеустремленно, конформизм органичен. Они полностью приемлют законы стяжательства и являются надежной опорой того мира, в котором царят эти законы. Часть деловых молодых людей даже объединена в определенные организации, находящиеся под покровительством маститых бизнесменов. Наиболее характерны «Джуниор чеймберз оф коммерс» — «Младшие торговые палаты», где завязываются связи, где учатся делать бизнес. Из «Младших торговых палат» вышли многие известные промышленные и государственные деятели США. Более того, эти организации привлекают начинающих дельцов из азиатских и африканских стран, оплачивают их длительное пребывание в Штатах, оказывают помощь в делах. Возвращаясь в свои страны, эта молодежь приобретает там определенный вес и влияние и образует своеобразный костяк, на который часто опираются в своей политике американцы.

И третья группа — это подавляющее большинство современных молодых людей, это рабочие и служащие. Они читают, как правило, не ту литературу, которая создается интеллектуальной элитой, а, в лучшем случае, книги развлекательного толка, часто не знают, куда себя девать, и очень тяготятся этим. Именно в эту группу пристально всматривается сейчас литература США, особо выделяя в ней подростков.

Общество не может занять их, и они проявляют свой нрав дико и разнузданно. Их называют бешеными, невоспитанными, больными. На смену апатии и безразличию молодежи определенного круга и в США, как в Англии, пришло насилие.

Проблема эта серьезнее, чем ее поставили здесь. По мере развития научных знаний и техники — недаром сейчас так много говорят о науке управления, о кибернетике,— общество становится очень сложным механизмом и все меньше внимания уделяет индивидууму. Сейчас в Америке многие стараются ответить на вопрос: каким должно быть общество будущего? Будет ли оно обществом, где в жертву общему благу не станут приносить индивидуальность человека, или это будет гигантский муравейник, в котором все будет очень точно, функционально разграничено, но в таком случае личность должна раствориться и исчезнуть в этом обществе. То, что составляет сейчас суть американской литературы (я, может быть, говорю слишком прямолинейно), это борьба против превращения общества в муравейник.

Индивидуум все меньше ощущает, что он что-либо значит в обществе, что он способен на что-то большое, что он может каким-то образом влиять на жизнь общества. И часть молодежи ищет выхода из тупика. Одни в дебошах и пьянстве, другие — пополняя всякие террористические организации. В той же ОАС были совершенно молодые банковские служащие, весь мир которых — это сидение за конторкой днем и игра в покер вечером. Если такой молодой человек попадал в ОАС, ему давали пластиковую бомбу. И он должен был прикрепить ее к двери чьей-то квартиры. Гнусный и трусливый этот акт в его глазах вырастал в геройский поступок, и сам он тоже рос в своих глазах. Он приобщался к активному действию, и это, между прочим, очень важно, тем более что молодежь во многих странах изверилась в словах. Поэтому вакуум, который образуется в сознании подростка, делает особенно острой борьбу за его образ мыслей между прогрессивным и реакционным лагерем.



— Американская молодежь действительно очень разная,— начала свое выступление **М. Тугушева**,— стоит добавить, например, что оживилась критическая мысль в американских университетах, среди студентов, молодых ученых. И это началось приблизительно с 1959 года. Молодежь хочет перемен, ей надоели расизм. цинизм, военная истерия. Оживление в студенческой среде приобретает своеобразные, очень современные формы. Это так называемые «сит-инз», «тич-инз», «лернинги» и публичные лекции, на которых дебатируются злободневные вопросы. Не случайно, конечно, в том широком движении протеста против войны во Вьетнаме, которое сегодня выходит на поверхность общественной жизни США, молодежь играет такую большую роль.

Вновь оживился интерес к марксизму и к социализму.

Этот интерес к «левым» идеям диктуется изменившейся ситуацией в мире. И прежде всего, несомненно, подъемом освободительного движения в Латинской Аме-

рике, в странах Азии и Африки. Объясняется это также и успехами стран социализма.

Надо сказать, что попутно растет разочарование в том, что принято называть «американ дрим». «Американ дрим», то есть «американская мечта» — это те демократические идеалы, которые возникли в революционный период американской истории. С тех пор это демократическое наследие претерпело значительную эволюцию. Для многих американцев — это только конгломерат иллюзий, которые в течение двух столетий внедрялись в сознание их сограждан. Известный американский историк и публицист Генри Стил Коммаджер говорит: нам слишком долго внушали, что мы особенный народ. Это представление поддерживается литературой, кино, радио, телевидением. Но позиция некоторых американских писателей, например, Нормана Мейлера, если вспомнить его роман «Американская мечта», свидетельствует о разочаровании и в «мечте», и в самой американской действительности. В этой связи нельзя не вспомнить также пьесу «Американская мечта» молодого драматурга Олби.

В пограничных балладах, говорят эти писатели, пели о стопроцентном американце, о его верности свободе, полосатому флагу, жене, о всех американских добродетелях, но посмотрите, что остается от этого американского идеала. Он изуродован современной действительностью. В среде молодых интеллектуалов происходит то же, что и в среде студенческой молодежи: они полны негодования по адресу безнадежности, которая очень модна и словно написана на знамени американской литературы; их цель — поиск позитивных ценностей. Поиск этот не всегда проходит безболезненно. Но среди молодых американцев сегодня больше, чем раньше, людей, которые хотят познавать окружающий мир и бороться против несправедливости.

— Когда мы повторяем слово «молодежь»,— говорит **А. Зверев,**— мы не всегда уточняем, какая молодежь имеется в виду — все ли поколение 60-х годов или только известная его часть. А уточнение здесь необходимо, потому что свойственное социологам на Западе стремление непременно наградить поколение тем или иным эпитетом («поколение икс», «поколение твиста», «выбитые из седла», «скептическое поколение» и т. д.), выражающим, по их мысли, весь комплекс идей и настроений, присущих некоему типичному молодому человеку 60-х годов нашего века, ложно в своей основе.

Молодой герой американской литературы, как правило, не принадлежит ни к рабочему классу, ни к фермерам. Не появилось и оставивших заметный след книг о подростках, попавших на опасный путь преступности и наркомании, хотя это явление приняло в Америке ужасающий размах. Молодые герои американской литературы — это чаще всего интеллигенты, те, кого американцы называют емким словом «graduates» — выпускники либо колледжей, либо университетов, либо школ.

Молодой человек, вставший со страниц книг Сэлинджера, Керуака, Эллисона, выразительно свидетельствовал о том, что в 50-х годах известная часть молодежи (повторяю, разговор идет только об американской интеллигенции) не желала больше жить по официальной указке и стремилась сама познать мир, отыскать в нем не опошленные, а истинные ценности и идеалы. Это особенно ярко видно на примере романа Эллисона «Невидимка», где трагедия удесятеряется, потому что герой — негр.

Мобилизуя все свои силы и способности, этот юноша добился того, что выделился среди других выпускников негритянской школы. Директор школы посылает его в Нью-Йорк с рекомендательными письмами к различным деятелям негритянского движения. Прибыв в Нью-Йорк, юноша рассылает письма и ждет ответа. Но ответа нет. Тогда он сам отправляется по адресам и узнает, что в письмах директор просил адресатов сделать все для того, чтобы помешать этому юноше расти интеллектуально.

Это его первая драма, и это завершение первого цикла его «университетского» образования: он возвращается в положение негра, лишенного всего.

Второй цикл. Он поступает на фабрику красителей, становится помощником кочегара. Герой не знает, что его наставник — хозяйский шпик, и вновь попадает в неприятную историю. Он приходит на митинг рабочих с самыми искренними намерениями сблизиться с этими людьми, но его с негодованием изгоняют, так как он работает вместе с доносчиком, а вскоре хозяин увольняет его с фабрики. Завершается вторая фаза его образования, и вновь надо все начинать сначала.

Третий этап связан с деятельностью в качестве агитатора какого-то полумистического «Братства» (подразумевается Коммунистическая партия США). По неумению он вызывает взрыв черного расизма и снова оказывается изгнанным, избитым, приходит в себя в клоаке Нью-Йорка, на самом дне, потеряв на этот раз всякое желание идти вперед. Круг замыкается, юноша решает отказаться от своих попыток всплыть на по-

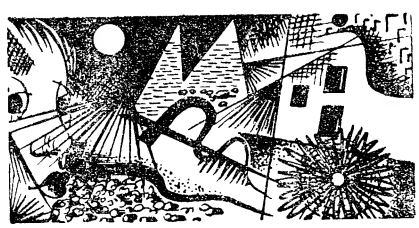
верхность, становится невидимкой, «имени которого никто не знает», новоявленным «человеком из подполья» середины XX века.

Есть что-то общее между героями книг Сэлинджера, Керуака и Эллисона, несмотря на все различие этих писателей. Герой всякий раз отказывается принять и оправдать существующий порядок, но это неизбежно ведет его к всеобщему отрицанию, к тому, что он замыкается в одиночестве и весь мир становится для него объектом презрения, не больше. Начинается копание в себе и попытка выявить свою сущность до конечных глубин. Герой претерпевает трансформацию, его душа становится тиглем, где переплавляются все события окружающего мира, но переплавляются так, что герой лишь укрепляется в своем превосходстве над «недостойным» его миром. В романе 50-х годов у нас фактически нет оснований говорить о диалектике характеров, ибо характер метафизичен, он не развивается. Наверно, в этом причина повторяемости идей и образов в книгах Сэлинджера и Керуака и долгого молчания Эллисона.

Из их книг можно было очень мало узнать о самой реальности, потому что она нужна была только как дополнительный материал для изображения душевной жизни героя. По словам писателя Джона Ноулза, надо воспроизводить «...чувство в той степени его обостренности, когда оно больше, чем мысль, несет в себе правду о мире».

Когда мы смотрим американские романы 60-х годов, то бросается в глаза, что герой не хочет далее отгораживаться стеной от мира. Этот сдвиг, сменивший апофеоз индивидуализма, наметился в самые последние годы. Надо принять во внимание оживление общественной жизни в Америке. Большие массы молодежи оказались вовлеченными в общественную жизнь, которой они ранее всячески чурались, от которой бежали, что справедливо отметила здесь М. Тугушева.

Рано говорить о том, что заблудившийся герой американской литературы 50-х годов нащупывает какой-то выход. Но мертвая точка сейчас уже позади, и доказательством этого может служить сопоставление книг Сэлинджера и талантливого писателя Филиппа Рота, творчество которого заслуживает того, чтобы стать предметом отдельного разговора. Но ясен какой-то поворот к тому, чтобы не изолировать роман от реальности, сосредоточив его только на герое, а, наоборот, наполнять роман реальностью, заставляя героя делать выводы, принимать решения, преодолевать тот индивидуализм, который остается его внутренним врагом,— именно об этом прежде всего идет речь в новых романах о молодежи, появившихся в США за последние годы.



Психология крайнего индивидуализма, характерная для определенных кругов молодежи, в том числе и молодых писателей, обращающихся в поисках цели к строго ограниченному самим собою внутреннему миру, приводит их в конечном счете к движению по замкнутой кривой. Попытки утвердить это мироощущение средствами литературы обернулись разрушением формы стиха, разрушением самой поэзии — этот путь не выдержал проверки искусством. Об этом свидетельствуют те наблюдения над современной поэзией, которые на примере нескольких произведений шведских поэтов предложил собравшимся **Е. Головин.**

— Мне хотелось,— сказал он,— немного отрешиться от политики, от социологии и поговорить о любви, о том, как она отражается в литературе о современной молодежи.

Однако любви в западной литературе приходится трудно. Если взять поэзию, то молодые поэты предпочитают писать о циклонах, циклотронах, но не про любовь. Любовь попала на подмостки кафе, ночных баров и т. д. О любви поют с эстрады, но на страницах поэтических сборников строк о любви очень мало. Много пишут о сексе, о разгуле секса, утверждая при этом, что, поскольку жизнь стала сложной (машинизация, освоение космоса), трудно сейчас говорить и писать о любви в том духе, как писалось раньше («Паоло и Франческа», «Тристан и Изольда»), и т. д. Что же взамен любви мы встречаем на страницах поэтических сборников? Поэзия уходит из обычного мира, в котором мы живем, который нас окружает, она переходит в физику, математику и кибернетику. Самых занимательных сказок можно наслушаться от физика (антимир, четвертое измерение и т. д.). В поэзии появляются свои физики и математики: стихи Элиота, Сен-Джон Перса, Эзры Паунда абсолютно не похожи на то, что мы привыкли понимать под этим словом. Они отображают сложный психологический процесс. Это поэты-философы с изощренным ходом мысли. Их стихи понимать очень трудно.

Любовная лирика за последнее время изменилась.

Если возьмем любовную лирику Аполлинера и Элюара, она покажется очень сложной. Аполлинер так может написать о губах возлюбленной: «Твои губы — красные рыбы в бокале моего голоса». Элюар: «На небе твоих слов твои губы звезда».

Сейчас существует другая крайность. В Швеции появилась новая конкретная поэзия, или, как ее называют, «ниенкла» («новая конкретность»).

Что хотят молодые шведские поэты выразить этим новым термином?

Если молодой поэт приезжает на берег моря, что он может написать об этом море интересного и оригинального? Очень хорошо заметил шведский критик Геран Пальм: «Молодой поэт приходит на море, ставшее музеем для поэтов и художников. Он не хочет снова писать так же, а иначе у него не получается: очень трудно найти что-либо новое. Отсюда и рождается определенная вражда ко всему тому, что существует уже столько веков».

Каждый поэт, каждая поэтесса хотят быть как бы Адамом и Евой, хотят увидеть мир впервые и описать его, как он показался им, а не таким его представляли поэты и писатели разных национальностей и разных эпох.

Но они бессильны в этом состязании и неудовлетворены — так рождается конкретная или неоконкретная поэзия, где практически не существует связи между словами, грамматика и синтаксис полностью отсутствуют и просто перечисляются те предметы, которые попадаются на глаза.

Некоторые зарубежные критики сравнивают современную поэзию с джазом, именно со «свободным» джазом, то есть таким, в котором каждый инструмент начинает вести свою особенную партию и получается какофония, неразбериха, музыканты впадают в некий транс.

То же происходит с поэтом. Он забывает о реальности, видит только слова и, импровизируя, пользуется ими, как музыкант джаза своим инструментом.

Пример можно привести хотя бы из поэзии молодого шведа Бенгта Эмиля Йонсона, который считается одним из наиболее известных поэтов этого направления. Его строки звучат так:

Ночь,
Затяни твоими словами
Нити печали
На горле будущих поколений.
Рожденных в глубинах смеха
Конвульсией похотливой улыбки,
Которая задохнулась иронией,
Плюнув чудовищным солнцем
В лиловые отражения слов...

После этого Йонсон пишет: у нее было трое детей, встречаться с ней было не так интересно, но встречи продолжались около года... Только читатель почувствовал себя в знакомой сфере (женщина, семья, любовь и т. д.), вдруг Йонсон начинает снова свой вокабулярный транс, и это продолжается на протяжении страниц пяти. Так психология разорванных связей, возведенная в эстетический принцип, приводит поэзию на грань сомнамбулических заклинаний, к уничтожению смысла и самой ее сути.

— Французская литература не знала такого эмоционального взрыва, как английская литература 50-х гг.,— говорит **Т. Проскурникова,**— хотя и считается, что англичане более сдержанны, чем французы.

В самом начале 50-х годов во Франции появились писатели, называвшие себя «детьми абсурда» (Ван ден Бош, Блонден, Нимье). Они говорили о себе, что вошли в жизнь с пеплом разорвавшейся атомной бомбы, с опытом Хиросимы. В своих произведениях они утверждали, что молодежь не хочет ни во что верить и не хочет себя ничем связывать. «Дети абсурда» выступили против так называемой «завербованной», или «ангажированной», литературы. Именно они в какой-то мере подготовили успех Франсуазы Саган.

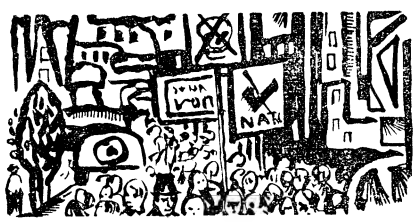
Проблема нигилиствующей молодежи очень волновала французских художников. Как бы последним аккордом в «симфонии» о неприкаянной, все отвергающей молодежи стала картина молодого режиссера Бертрана Блие «Гитлер?! Такого не знаем» — фильм о родившихся после войны мальчишках и девчонках, не желающих отягощать свою голову никакими мыслями, которые выводили бы их за рамки повседневных забот и развлечений.

Одной из самых жгучих и сложных жизненных проблем Франции тех дней была война в Алжире. По вполне понятным причинам на прилавках французских магазинов можно было найти не много книг, правдиво рассказывающих о роли Франции в алжирской войне. Но и те книги, которые появлялись, чаще всего лишь косвенно касались проблем молодежи лишь постольку, поскольку большинство солдат молоды. Пожалуй, один Андре Стиль в своих романах «Мы будем любить друг друга завтра» и «Обвал» рассказал о трудном испытании, выпавшем на долю молодого человека, которого нравственно калечит алжирская война.

Среди немногих книг о молодом французе 60-х годов был и роман П. Гаскара «Огненные бараны» (1963). Гаскар выступает против фашизма, против ОАС. Характерно, что для Аллена, героя его романа, вступление в ОАС не связано с какими-либо соображениями политического порядка. Фашистская организация для него — это просто переход к активности от бездеятельности, от состояния апатии, от бесцельного шатания по салонам Сен-Жермена. То, что он идет убивать человека, который лично у него не вызывает никаких антипатий, политических или социальных, для Аллена только акт самоутверждения.

Меньше всего, конечно, можно искать «молодежную тему» у писателей таких направлений, как «антидрама» или «новый роман», обращающихся к некоей проблеме человека «вообще», человека «как такового». Здесь уже предметом изображения становится человек без каких-либо индивидуальных черт, в том числе и возрастных.

Мне кажется, что отсутствием собственно литературы о молодежи во Франции объясняется в какой-то мере и большой интерес французских юношей и девушек к книгам молодых советских авторов. Это не только стремление узнать о том, как и чем живут их ровесники в СССР. Думается, что в этом интересе к книгам советских авторов сказывается и естественное тяготение молодого человека к примерам, которые несут в себе идею активной позиции по отношению к миру, а именно для французской молодежи поиски такой позиции — насущный вопрос сегодняшнего дня.



— Проблема молодежи действительно не занимает в современной французской литературе заметного места,— говорит **О. Тимофеева.**— Но достаточно обратиться к свидетельствам самой жизни, чтобы убедиться в том, что эта тема, вероятно, в недалеком будущем вторгнется в литературу, и совсем в ином аспекте, нежели в книгах Ф. Саган. В качестве одного из таких свидетельств мне хотелось бы сослаться на выступление Жана-Поля Сартра по позоду так называемой «деполитизации» французской молодежи, о которой много писала французская буржуазная пресса.

Во Франции распространена та точка зрения, будто французская молодежь отворачивается не только от партий и идеологий, но и от идей вообще, будто у нее остался лишь один бог — техника, лишь одна мечта — благополучие.

По сравнению с послевоенным десятилетием и с периодом колониальных войн в Индокитае и в Алжире определенное понижение политической активности действительно произошло. Сартр объясняет это тем, что Франция не переживает сейчас национального кризиса. Тем не менее, пишет он, «большинство молодых людей, даже если они не принадлежат ни к какой партии, несравненно более сознательно воспринимают политическую действительность, чем люди моего поколения в молодости».

Твердить об аполитичности молодежи — не значит ли это желать видеть ее таковой? Пропаганда изображает разочарованных, циничных молодых людей, политически пассивных. Постоянно смотря в это фальшивое зеркало, молодой человек начинает, наконец, узнавать в нем себя. Ради того, чтобы отвлечь молодежь от политики, создаются целые отрасли промышленности, специальные журналы «Салю ле копен», «Шу-Шу», миллионы пластинок. Эта продукция находится под строгим контролем правительства, а реклама и пропаганда обеспечивают предпринимателям высокие доходы. Иллюзию свободы, пишет Сартр, нетрудно сохранить, стоит лишь дать молодежи возможность поломать несколько кресел и поорать в концертных залах. Им кажется, что они устроили революцию, а на самом деле их водят за нос.

Недавно «Юманите» начала своеобразное социологическое исследование, посвященное рабочей молодежи Франции, материалы которого печатаются под рубрикой «Политика их глазами». Корреспонденты газеты провели беседы с 2000 юношей и девушек, преимущественно рабочими, чтобы выяснить, чем живет эта молодежь, какие у нее стремления и идеалы.

«Юманите» вступает в открытую полемику с буржуазной прессой, показывая, что так называемые «черные блузы» не очень характерны для французской молодежи, что так называемая «война между молодыми и старшими» вообще не существует, как не существует и никакого глубокого конфликта между поколениями. Конфликт возникает не между поколениями, а между юными рабочими и бессовестно эксплуатирующими их владельцами предприятий, которые за одну и ту же работу платят подросткам меньше, чем взрослым.

Интересны цифры, которые приводит «Юманите»: 62% опрошенных считают, что человечество идет к прогрессу, и 60% считают, что они должны «играть более активную роль в социальной жизни».

На вопрос о том, какой стране принадлежит преобладающее положение в области науки, 66% ответили — СССР и только 17% — США. На вопрос о том, какая из

этих двух стран их больше привлекает, 39% высказались в пользу СССР, 28% — в пользу США, 33% не дали никакого ответа.

На вопрос о том, кому принадлежит будущее — капитализму или социализму, 66% ответили, что победа будет за социализмом. Подавляющее большинство высказалось за мирное сосуществование.

94% заявили о своей готовности жить и работать ради великой идеи, высокого идеала, ради общества и его свободы и, если нужно, отдать за это жизнь.

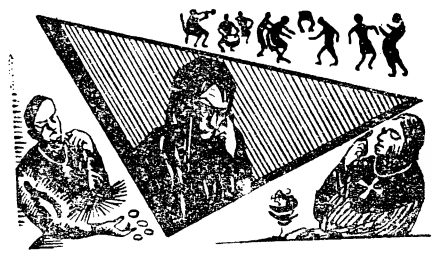
«Юманите» отмечает полное отсутствие расизма у этой молодежи. Большинство ее высказалось за помощь развивающимся странам.

Политическая активность рабочей молодежи доказана недавними стачками — газета отмечает массовое участие в них молодых рабочих и работниц. Они вводят даже свои «молодежные» формы борьбы, например, музыкальные выступления с гитарами под окнами дирекции предприятия. 100% утвердительно ответили на вопрос, считают ли они необходимым единство рабочего класса.

Тем не менее, пишет «Юманите», часты случаи, когда молодежь в своей борьбе ограничивается экономическими требованиями, не переходя к более общим требованиям политического характера. Само слово «политика» часто их смущает. На них, бесспорно, влияет голлистская пропаганда и давление, которому они подвергаются на предприятиях, где их предостерегают от «политиканства».

Но классовое сознание, которым, бесспорно, обладает рабочая молодежь Франции, толкает ее к действию, и в случае необходимости она будет в первых рядах борцов, пишет «Юманите».

Таково свидетельство, взятое из самой жизни, и оно говорит о том, что молодежь сегодняшней Франции ставит важные проблемы перед литературой.



— Я хотела бы обратиться к примерам из испанской литературы,— говорит **И. Тертерян.**— Если еще в середине 50-х годов эта страна была страной нищеты, исключительной на общеевропейском фоне, то теперь жизненный уровень в Испании стал выше. Суть франкистского режима осталась та же, однако эти перемены немало значили для духовной жизни страны. Перед испанскими писателями встали новые «больные вопросы».

Испанская писательница Долорес Медио — одна из тех, кто неизменно верен теме «маленького человека», городского труженика. Раньше герой Медио, маленький человек, не мог ждать от этого мира ничего, кроме громких слов, газетной демагогии. И потому маленький человек был озлоблен и унижен, он ежесекундно чувствовал свое бессилие, безвыходность. Именно таковы герои романа Медио «Государственный служащий», переведенного на русский язык. Впрочем, большинство известных нашему читателю произведений молодых испанских писателей показывает испанскую жизнь именно такой (вспомним хотя бы роман Х. Гойтисоло «Прибой», печатавшийся в журнале «Иностранная литература»).

И вот последний роман Долорес Медио «Бибиана» (первая часть трилогии «О тех, кто ходит пешком»). Все тех же героев — рабочих, служащих, мелкого коммерсанта — окружает изменивший свой внешний облик мир, яркорекламный, предлагающий тысячи соблазнов и тысячи путей к этим соблазнам. Не так уж вся эта роскошь недоступна — ищи, играй свою игру, выбивайся и ты насладишься всем этим на миг, а может быть, и на всю жизнь.

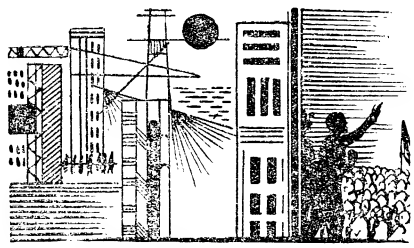
Для испанских, как и для многих других европейских, писателей сейчас уже отошло в прошлое экзистенциалистское решение темы быта, когда быт представляется абсурдом, мутью, обволакивающей подлинные духовные проблемы, которые рано или поздно потребуют от человека решения, выбора. Потом молодые испанские реалисты атаковали быт как орудие социального угнетения. В их книгах людей принуждают к быту, как к медленной казни. Долорес Медио теперь смотрит на быт иначе: как бы то ни было, но люди продолжают жить этой обыденной жизнью — значит, ее нельзя просто осудить и отвергнуть. Раньше человек думал о куске хлеба, теперь он может позволить себе мечтать, скажем, о холодильнике. Духовная жизнь его от этого не обогатилась, человек как личность ущемляется и так, и этак. Значит, надо увидеть нравственное движение личности внутри этого привычного, плотного быта. Это и пытается сделать Долорес Медио.

Ее героиня — только мать. В Испании миллионы простых людей еще далеки от политики, боятся ее, не решаются подумать о переустройстве жизни. Боится и Бибиана. Но она не превращается в жалкого, раздавленного жизнью нытика и не мечтает, подобно многим героям западной литературы, о «пути наверх».

Какую постоянную напряженную борьбу ведет мать, чтобы оградить детей от всепроникающей буржуазности! Чтобы поддержать их, когда в отвращении к окру-

жающей пошлости они убегают в хрупкие убежища искусства, остановить тех из них, кто готов растратить все силы души, лишь бы войти в рекламный «рай богачей».

Писательница не формулирует, какие именно духовные ценности защищает ее героиня, когда борется против растления душ своих детей. Возможно, сама Бибиана назвала бы их очень старомодными словами. Но если в ее старшем сыне Хосе мы угадываем нового человека, то для того, чтобы появлялись хосе, нужны вот такие бибианы, которые сохранят и передадут людям душевную цельность и здоровье, благодаря которым народ и в буржуазной стране остается антибуржуазным по своему духовному складу. И в этом смысле «Бибиана» Д. Медио очень верно выражает отношение прогрессивной испанской литературы к молодому поколению.



Тема духовной неудовлетворенности молодежи, не желающей довольствоваться мечтой о материальном благополучии, которое ей сулят идеологи «экономического чуда», отрицающей мораль буржуазного общества и ищущей иных жизненных целей и ценностей, прозвучала во многих выступлениях.

— На протяжении всей истории австралийской литературы, — рассказывает **А. Петриковская,**— существовал, подобно «американ дрим», миф о «счастливой Австралии». Сегодня Австралия идет по пути монополизации капитала, превращаясь из индустриально-аграрной в индустриальную страну. Это страна высокого жизненного уровня. Правда, после быстро промелькнувшего периода полной занятости все больше дает о себе знать безработица. Непопулярные «грязные» войны в Малайе, Корее, Вьетнаме, расовая дискриминация, вызывающая протест коренных австралийцев, аборигенов и «цветных», особенно молодежи, американская экономическая и идеологическая экспансия — все это ведет к девальвации идеалов, к духовной опустошенности части молодежи. Года два назад журнал «Оверленд» опубликовал результаты опроса, проведенного среди молодежи. Среди опрошенных было 14 юношей, все они окончили школу, некоторые из них были студентами. Но на вопрос «Против кого воевала Россия?» не все смогли правильно ответить. Некоторые считали, что атомную бомбу сбросил Советский Союз. Вызвал замешательство вопрос «Что такое фашизм?» Многие полагали, что фашист — это попросту немец, и, кажется, только двое слышали об Освенциме.

В австралийской литературе, где, как известно, преобладает реалистическое направление, в последние годы появились произведения о молодежи, герои которых хотя и не принадлежат к передовому демократическому авангарду, но не удовлетворяются критериями и эталонами буржуазного общества.

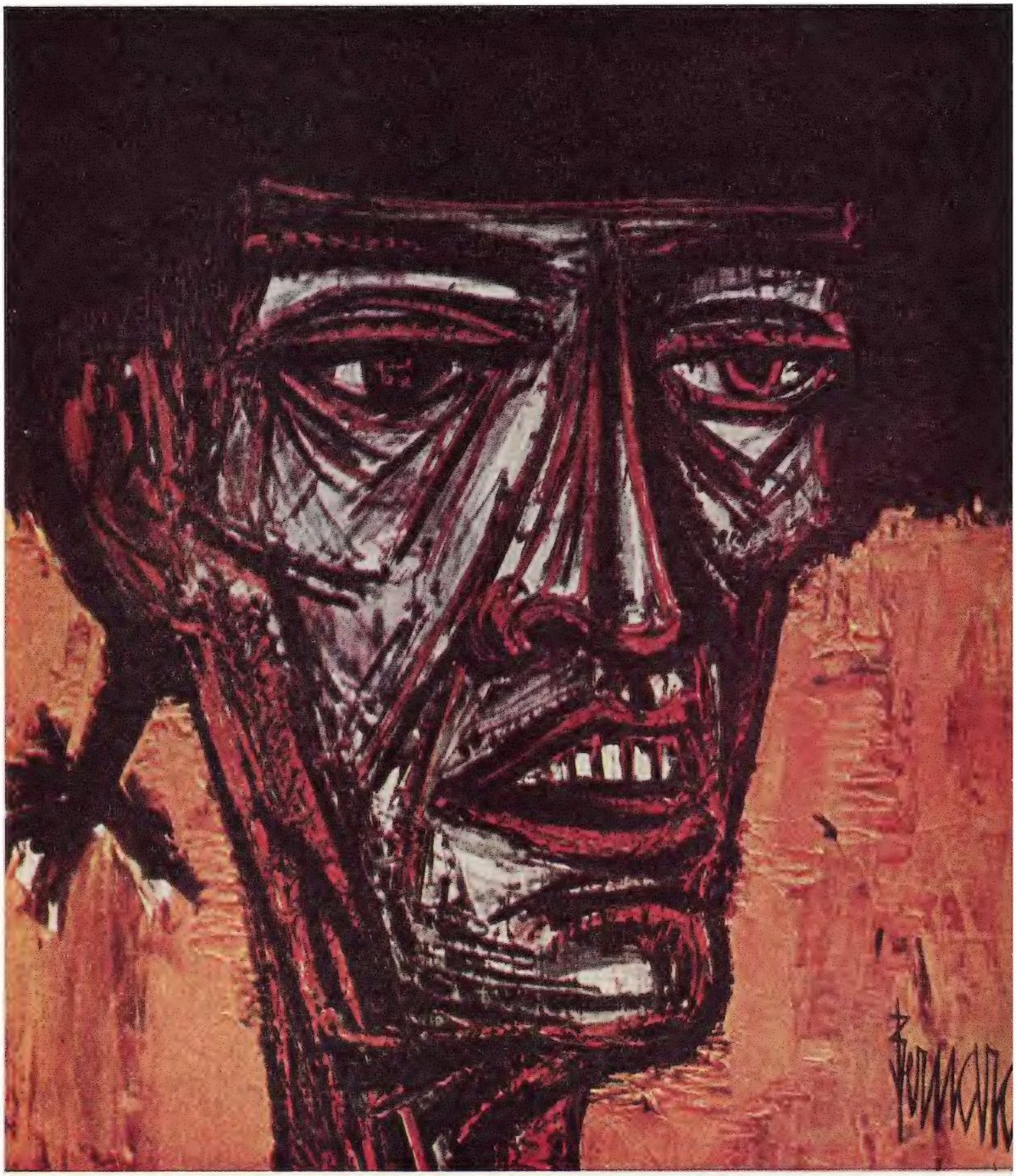
К лучшим страницам «Черной молнии» Кьюсак принадлежит дневник восемнадцатилетнего Кристофера, который иронически оценивает и старомодную чопорность отцовского дома, и склонность матери к «американскому» и «ультрасовременному» стилю, и нравы частной школы, и порядки лагеря для новобранцев. Кристофер связывает свою судьбу с темнокожей девушкой и ставит этим себя вне семьи, вне своей среды. Его отправляют в Малайю, под партизанские пули.

Дэнни, герой романа Дональда Крика «Площадь Мартина»,— юноша из сиднейского предместья. Шестнадцатилетним желторотым клерком он приходит в национальную страховую компанию, исполненный уверенности в том, что он сумеет найти применение своим способностям на благо соотечественников. Он преисполнен самых радужных надежд и благородных идеалов. Его мать и отец, уборщик на фабрике, надеются, что сын вырвется из нищеты, что ему будет обеспечен кусок хлеба и «чистая» работа. Пять лет отделяют день, когда он впервые отворил двери помпезного здания на площади Мартина, от того дня, когда эти двери захлопнулись за ним навсегда.

Дэнни — мечтатель, поэт, отдающий свободные минуты книгам Толстого, Достоевского, Франса, сопротивляется тем заманчивым, казалось бы, перспективам, которые открывает перед ним его служба. Он уходит в тот момент, когда ему предлагают высокий пост — залог блестящей карьеры. Он говорит управляющему, прощаясь: «Не хочу делать хороший вклад в продажный банк, вообще не хочу делать никакого вклада, я не бизнесмен, я — лошадка другой масти».

Роман Крика — одно из многих произведений, показывающих, что даже та часть молодежи Австралии, которая далека от политической борьбы и еще не может противопоставить буржуазной пропаганде свою позитивную программу действий, все же стремится найти цель, в которой она могла бы видеть подлинное призвание человека.

Как только мы берем в руки книги о молодежи, созданные в странах социализма, мы попадаем совсем в другой мир. Претворение идеала в реальную действительность определяет ту сложную духовную атмосферу, в которой живет молодежь этих стран. Каждое поколение взыскательно осмысливает вновь те идейные ценности, которые

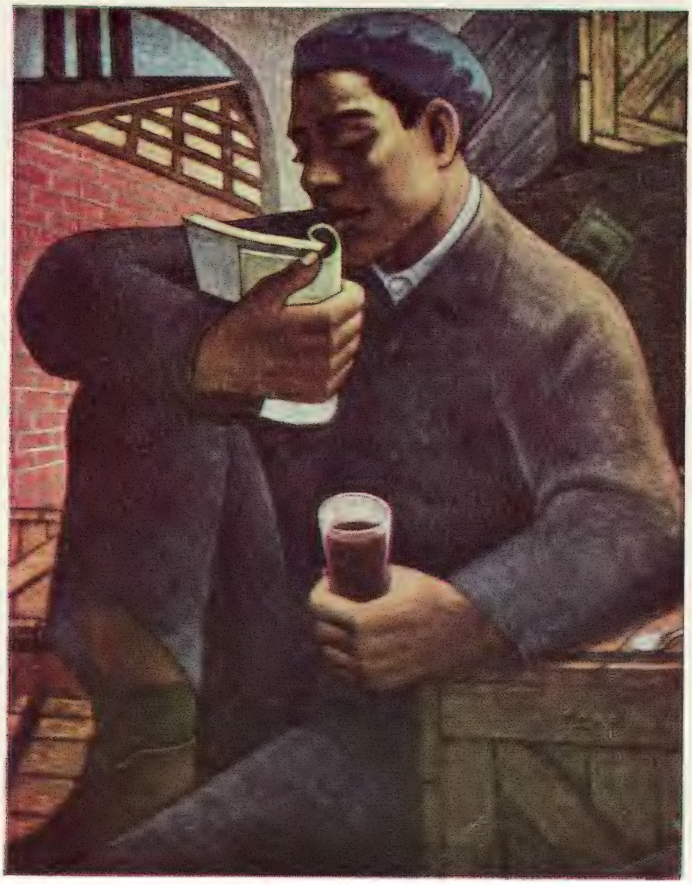


БЕРНАР БЮФФЕ. Тореро. (ФРАНЦИЯ)

ИЗ РАБОТ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

АННА САЛЬВАТОРЕ. Влюбленные. (ИТАЛИЯ)

НГУЕН ВАН-БИНЬ. Бамбук. (ВЬЕТНАМ)

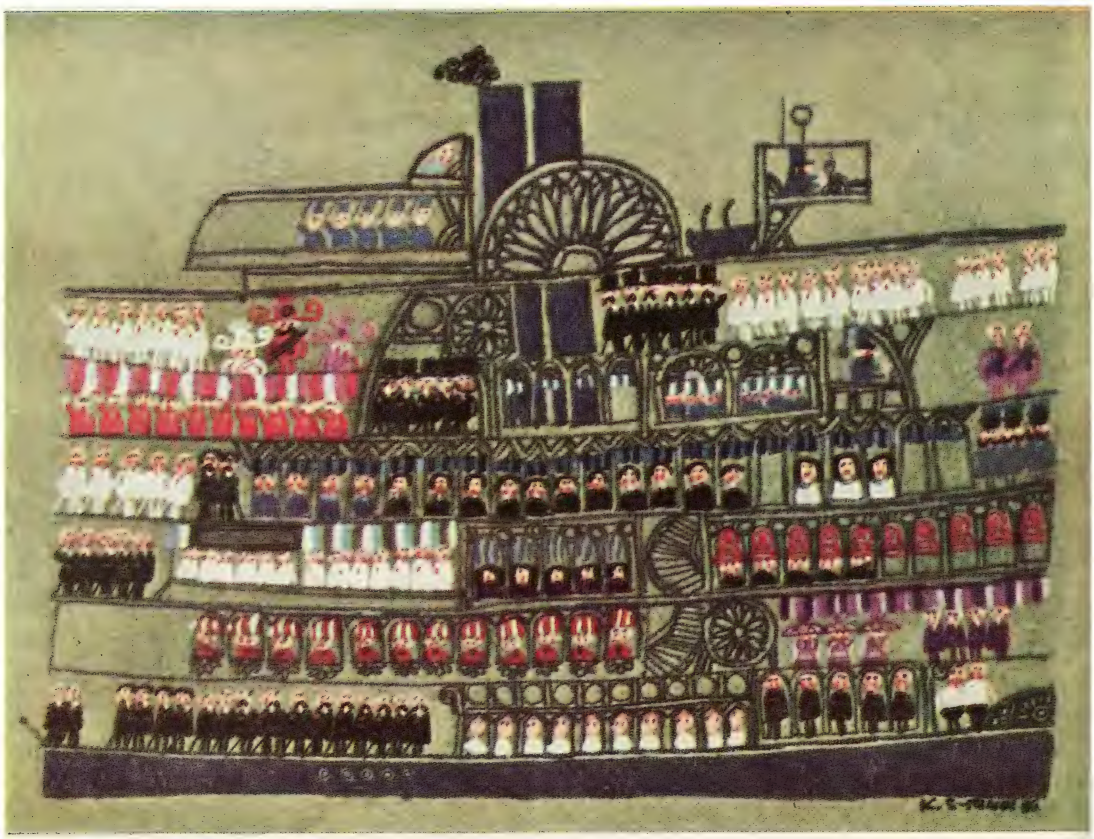


МУХАММЕД ЭВИСС. Читающий рабочий. (ОАР)

АНДЖЕЙ МАЕВСКИЙ. Декорация к балету Стравинского «Петрушка». (ПОЛЬША)

ГИ ПЕЕЛЭРТ. Иллюстрация к календарю авиакомпании Сабена. (БЕЛЬГИЯ)

ДИМИТР КИРОВ. Молодежный конгресс. (БОЛГАРИЯ)



КЬЕЛЛ СЁРЕНСЕН-РИНГИ. Пароход. (ШВЕЦИЯ)

ВИЛЛИ НЕЙБЕРТ. Деталь фрески «Свобода» (ГДР)

ПАПА ИБРА ТАЛЛ. Портрет. (СЕНЕГАЛ)

выкристаллизовались за последние годы. Не будет натяжкой сказать, что идеи и художественные принципы литературы социалистического лагеря присутствуют в творческих исканиях писателей в разных концах земного шара — независимо от того, принимает ли эти принципы и идеи писатель или отталкивается от них.

Молодые герои в литературе социалистических стран, утверждая и критикуя, движимы стремлением к совершенствованию тех форм общественной жизни, которые сложились у них на родине, не путем отрицания того, что было создано до них, но познавая действительность и выверяя ею свои представления и мысли о современности, ощущая свою ответственность перед обществом, продолжая дело отцов.

— Болгарская литература,— говорит **Т. Воздвиженская,**— не знает проблемы «потерянного» или «непонятого» поколения, как это характерно для ряда стран Западной Европы. Стремления болгарской молодежи нельзя оторвать, изолировать от помыслов старшего поколения.

Борьба с пережитками культа личности и утверждение ленинских принципов и норм общественной жизни составили важную черту жизни страны в конце 50-х годов. Изменение же человеческой психологии, самого образа мыслей и преодоление прежних навыков в поведении оказалось задачей большой сложности. Они нашли свое воплощение в художественной литературе лишь в произведениях 60-х годов. Увлеченные, взволнованные поиски своего решения важных жизненных проблем — этим живет и та часть молодежи, которая выступает в литературе.

Поскольку восприятие молодых поэтов, прозаиков, критиков особенно живо и обостренно (молодежь есть молодежь!), поскольку им свойственны горячность и резкость суждений, постольку их выступления и произведения не раз привлекали внимание литературной общественности страны и волновали читателей разных поколений.

Так в начале 60-х годов молодые поэты С. Цанев, А. Стоянов выступили зачинщиками острой дискуссии о современной поэзии, о формах ее воплощения и поисках новых изобразительных средств. В нашу эпоху — утверждают они,— эпоху завоевания космоса, огромных достижений культуры и науки, нельзя воздействовать только на чувства людей. В статье, опубликованной в газете «Литературен фронт», С. Цанев писал, что «старая поэзия искала путь к человеку с его слабой стороны — чувствительности... Мы же избрали противоположный путь — воздействовать на мысли людей мыслями». В центре внимания оказался важный вопрос о соотношении в поэзии интеллектуального и эмоционального начал. Это соотношение некоторые участники дискуссии видели в противопоставлении современного восприятия мира традиционному, национальному, якобы утратившему актуальность. Отсюда возникло противопоставление свободного стиха классическому, противопоставление манеры письма, свойственной части поэтической молодежи, поэтам старшего поколения. Субъективно они стремились к тому, чтобы максимально сблизить поэзию с сегодняшним днем — с его новым ритмом и учащенным пульсом, с его большим интеллектуальным содержанием. В этом благородном порыве все же явно чувствовалась недооценка крупных явлений национальной литературы прошлого. Не случайно поэтому поэма С. Цанева «Город солнца», сборник стихотворений Л. Левчева «Позиция» вызвали оживленные споры среди критиков и читателей.

Несомненный интерес представляет роман Георгия Маркова «Мужчины». Можно не соглашаться со многими сторонами этого очень современного по своей идейной направленности и полемической заостренности произведения. Можно принимать или отрицать форму, в которой оно написано. Но нельзя не почувствовать глубокой заинтересованности автора в том, как решат для себя проблему жизненного пути три друга — Иван, Младен и Сашо.

Представляя своих героев, автор в первой же главе называет их «трое, которые ищут»,— ищут ответ на «один-единственный вопрос — как жить?»

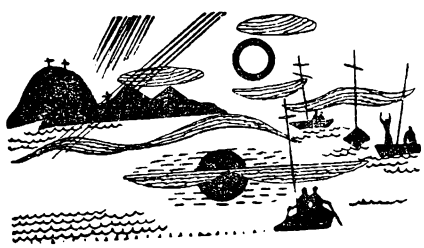
Истина приходит не сразу. Для Ивана, молодого математика, столкнувшегося с рутиной и закоренелым догматизмом, пережившего тяжелую личную трагедию, она заключается в том, что нельзя жить как растение, как животное. «Я знаю,— говорит Иван,— что куда бы я ни пошел, я пойду по своему пути. Потому что я ищу свой путь, но ищу не ради себя». Для Сашо — это стремление «быть не как все», бунт против благополучия и спокойствия. А для Младена истина — по крайней мере в начале книги — означает сделать карьеру любой ценой. Она звучит так: «Каждая ступенька должна стать трамплином для следующих...»

Автор не уходит от сложных жизненных ситуаций, заставляет своих героев многое отвергать и во многом сомневаться. Я верю в наше время со всеми его недо-

статками, говорит один из них. Испытывая Младена, автор ставит его в такое положение, что тот постоянно может оказаться или героем, или подлецом. В решающий момент он выбирает трудный путь, ведущий к героизму.

В последнее время внимание широких кругов читателей в Болгарии привлекли повести «Жестяной петушок» Й. Радичкова, «Небо над Велекой» Д. Фучеджиева. В центре этих произведений поставлены судьбы молодых людей, которым довелось пережить драматичные столкновения и в работе, и в личной жизни и сохранить высокую принципиальность и чистоту человеческих отношений. Повести проникнуты лирическим настроением, покоряют искренностью и непосредственностью, праздивостью изображения людей, быта, обстановки сегодняшней жизни в Болгарии.

В разговоре о том, как ставится в болгарской литературе проблема молодежи, нельзя пройти мимо споров, которые критики ведут сейчас на страницах журнала «Септември». Эта острая дискуссия началась в феврале нынешнего года с выступления молодых критиков З. Петрова и К. Куюмджиева. Справедливо борясь против схем, упрощенчества и догматических представлений о задачах литературы и критики, они временами теряют трезвые критерии в оценке литературного процесса, увлекаясь «артистической сущностью» и внутренней интуицией писателя, явно переоценивая роль ассоциативных связей в искусстве. Это, несомненно, крайности, но это болезнь роста, в них проявляется желание быстрее освободиться от последствий минувшего периода в литературной жизни, от заранее регламентированных установочных положений, не подлежащих никакой критике. В литературной практике и критической деятельности идет широкий процесс развития ищущей творческой мысли, преодоления ошибочных схем, и он служит, может быть, самым ярким свидетельством обновления болгарской литературы. В нем активную роль играет молодежь Болгарии — и своей дерзкой мыслью, и своим беспокойным талантом.



— Современная румынская молодежь, пожалуй, лучше всего выражает себя в поэзии,— говорит **К. Ковальджи.**— Сегодняшние молодые румынские поэты — ровесники новой Румынии, они росли вместе с ней, и вот теперь, когда социализм победил в стране, подоспел их час, и они сказали свое первое слово. Это молодость вдвойне — она наделила их голоса (при всем разнообразии) общими чертами: щедростью красок, густой метафоричностью, жадным жизнелюбием, пристальной пытливостью. Недаром один из них — Никита Стэнеску — говорит, что сердце поэта больше тела, сердце выплескивается во все стороны и снова ливнем обрушивается на него со всех сторон. Недаром Анна Бландиана пишет, что держит время в руке, как пригоршню черешен, которые текут сквозь пальцы — красные, красные... Поэзия Анны Бландианы — яркая, свежая и очень молодая. Прямые строки ее стихов прошиты вкось трепетными штрихами весеннего дождя, за ними проглядывает радуга. Это языческие гимны ливням и дождику с солнцем. Это девушка, пляшущая под дождем,— она расцветает весело и гордо. Но это в первый раз так, это точное мироощущение сегодняшнего неповторимого поколения, не отягощенного никакими скверн ами прошлого. «Мне нечего стыдиться, мне нечего забыть,— говорит Анна Бландиана.— Я взбираюсь по нитям дождя, чтобы с звездами вас связать. Глядите на руки мои — живые, игривые молнии! Пусть меня обвивают дожди, пусть разматывают ветра — мои колени никогда не лобызали землю, мои волосы никогда не трепыхались в грязи». Это жажда полета, чувство подъема. И потому так естественно, органично, недекларативно вырастает обобщение — уверенность в справедливости нашей интернациональной цели, нашего совместного идеала: «Мы дойдем. Будьте готовы. Скоро по нашим следам взойдут все люди земли. А мы — будем их ждать: красивые, счастливые, упоенные высотой».

«Я первый певец в своем роду, не знающий войны и угнетения»,— заявляет Ион Александру в первом своем сборнике «Как вам сказать». Радость первооткрытия пронизывает его стихотворения. Вон он, уроженец гор, впервые на море, вечером гуляет по побережью, одна рука пахнет кострами и лесом, другая — рыбой и солью...

Но молодые румынские поэты, чья колыбель сотрясалась войной, осознают себя и свое поколение, не только радуясь настоящему и предвкушая будущее, но и оглядываясь в прошлое. Ион Александру нередко возвращается к последним годам войны: «Меня все солдаты мира, плача, целовали; мои фотографии были найдены в тысячах карманов, с тысячами отцов я был похоронен во рвах, и гибель моя до сих пор во мне отзывается болью...»

Вот характерное: чтобы передать напор чувств, у Иона Александру метафора помножена на метафору, чтобы передать мысль — сдвинуты, пересечены понятия и реалии: война, уходя, раздавала в крестьянском доме дары: тебе, отец,— деревянную

ногу из старого крепкого дуба; тебе, мать, за все твои слезы на пепелище — два креста над могилами твоих сыновей да белую прядь в придачу... Уходила война, раздав свои дары, и благодарили ее проклятьями так, что содрогались горы.

Молодые румынские поэты добиваются философской емкости даже самой перестановкой, даже инверсией привычного ряда. Как в фильме, пущенном наоборот,— пишет поэт Марчел Михалаш — мертвые солдаты вскакивают, бегут к окопам, маршируют в тылу, возвращаются домой к матерям и невестам, кончают школу, курят тайком, гоняют мяч на пустыре, залезают разом в кроватки и рождаются...

Молодая социалистическая румынская поэзия показывает, с одной стороны, неповторимость собственного постижения мира молодыми поэтами, с другой стороны — продолжение богатой традиции родной поэзии и прочное знакомство с мировой культурой.

Молодые пишут самозабвенно, взахлеб, как бы торопясь наверстать «упущенное», то есть то время, когда их еще не было в литературе. Их подхлестывает и удивительная творческая молодость старейшего и крупнейшего поэта Румынии Тудора Аргези, публикующего еженедельно свои новые произведения. Да, тут никак нельзя молодым пасовать, тут приходится предъявлять к себе высшие требования. Ибо, как известно, молодость проходит, а поэзия не должна «проходить» вместе с нею.

— Один из критиков,— начала свое выступление **И. Бернштейн**,— сказал, что среди молодых писателей, которые выступают в последние годы в Чехословакии, многие начали свое собрание сочинений с последнего тома: «Статьи и полемика». Можно назвать поэтов и прозаиков, которые опубликовали по одному сборнику или по несколько рассказов и беспрерывно печатают статьи о том, как писать, и участвуют в спорах.

Выходит в свет специальный молодежный журнал «Тварж», созданный два года назад. В Братиславе один из старейших чехословацких журналов «Словенски погляды» (он праздновал недавно свое 80-летие) редактируют молодые люди. Когда я пришла в редакцию этого журнала, я встретила там трех молодых людей, которые показались мне студентами. Я попросила: «Проведите меня к главному редактору»,— один из них поднялся и сказал, что он и есть главный редактор.

Молодые писатели и критики выступают чаще всего с полемикой против «отцов». Но и «отцы» эти молоды. Двадцатилетние полемизируют с сорокалетними.

Конечно, ни журнал «Тварж», ни «Словенски погляды» не выражают настроение всей творческой молодежи Чехословакии (не говоря уже о том, что и программа обоих журналов не во всем сходна). Но они считают, что говорят от имени поколения. Оба эти журнала, как и большинство молодежи, выступающей активно в печати, проникнуты антидогматическими идеями, но эти идеи преломляются часто довольно парадоксально, потому что, полемизируя со средним поколением, они полемизируют с теми, кто начиная с 1956 года боролся против догматизма в Чехословакии, с теми, кто группировался вокруг журнала «Кветен». Они выступают и против книги Ладислава Мнячко «Запоздалые репортажи», в которой содержится, может быть, самая резкая в Чехословакии критика отрицательных явлений минувшего этапа, обвиняют Мнячко в догматизме, потому что он рассматривает духовный мир человека в тесной связи с общественными условиями, а по их мнению, литература такого типа — это своего рода «неодогматизм».

Какие же позитивные ценности выдвигаются этими критиками и молодыми писателями? Говорить о позитивных ценностях гораздо труднее. Перейти к утверждениям им пока не удается. В ходе критических перестрелок возникли два понятия, в определении которых пока много туманного и противоречивого. Первое — это часто повторяющееся требование «аутентичности». Предлагается даже провести новую классификацию литературы, разделив ее на «аутентичную» и «аранжированную», то есть подчиненную каким-либо внелитературным целям. Литература аутентичная — это литература, которая является самовыражением автора. Тут невольно возникает вопрос: почему же не может быть аутентичной литература острой политической направленности? Но по этому поводу ясного ответа критики не дают. Второе — так называемая «экзистенциальная проблематика». По мнению некоторых критиков, такие писатели, как Ян Отченашек, Владимир Минач, и другие исходят из понимания человека только как существа детерминированного социально и упустили «экзистенциальную проблематику», то есть самые общие вопросы человеческого бытия. Впрочем, вопрос о соотношении этой проблематики и проблематики социальной пока тоже этим критикам далеко не ясен.

Уже раздаются трезвые голоса о том, что на одном отрицании литература существовать не может, что ей, как воздух, необходимы положительные решения. Очевидно,

быстро и активно идет процесс дифференциации, результаты которого еще не определились; о направлении же его правильнее судить по наиболее заметным явлениям литературы, по книгам, которые создаются. Среди молодых поэтов есть крупные дарования, как Иозеф Ганзлик, Антонин Броусек. Их поэзия, построенная на сложноассоциативной образности, во многом далекая от русской поэтической традиции, проникнута сильным и благородным нравственным пафосом. Я бы назвала также Вацлава Гавела, очень талантливого молодого драматурга, автора острой сатирической пьесы «Празднество в парке».

Что касается прозы, то в молодых прозаиках числятся тридцатилетние, опубликовавшие свои произведения несколько лет назад; они сравнительно мало пишут о молодежи. В некоторых произведениях молодых прозаиков заметна перекличка с «Продолжением легенды» А. Кузнецова, очень популярным в Чехословакии. И здесь речь идет о поисках молодым человеком «рабочего места» в жизни своей социалистической родины.

Надо сказать, что молодой герой, активно участвующий в жизни и труде народа социалистической Чехословакии, чаще проявляется в произведениях даже не самых молодых писателей. Хочется вспомнить героя повести А. Бублика «Позвоночный столб» Карела Кратохвила, который в чрезвычайно трудных, почти трагических обстоятельствах сумел осознать свою ответственность за все зло и добро, творящиеся вокруг. В нескольких произведениях последнего времени герой положительный выступает как полемический герой. Автор как бы доказывает в полемике, что существование положительного героя возможно. Таков интересный роман Яна Прохазки «Перестрелка», герой которого, молодой старшина, наделен немалыми недостатками, но все-таки в трудный момент он проявляет настоящий героизм, преданность родине.

Молодой человек появляется в литературе Чехословакии еще и в другом подобии. Сорокалетние рассказывают о юности своего поколения, о тех, чье духовное созревание пришлось на годы войны и оккупации. Для молодых героев романа Яна Отченашека «Хромой Орфей» проблема общественной активности жизненно важна. Только участвуя в подпольном сопротивлении, они могут сохранить свое человеческое достоинство, как бы дорого ни пришлось за это платить. Еще более трудные жизненные вопросы приходится решать героям романа словацкого писателя Ладислава Тяжкого «Аменмария», на которых нацепили мундир фашистской армии и погнали их воевать против Страны Советов. Но и эти обманутые, порабощенные люди, даже не найдя возможности для открытого сопротивления, вынесли из этого горького, унизительного похода такой опыт, который помог им понять, где друзья и где враги. Произведения, посвященные прошлому, которые появляются в последние годы в Чехословакии, касаются актуальных общественных и этических вопросов современности.

— Зачастую приходится слышать,— говорит **Н. Вагапова,**— что вся югославская литература посвящена прошедшей войне. Эта тема действительно занимает в югославской литературе большое место. Осмысливая опыт войны, югославские писатели, как правило, думают о современности. В этом плане в югославской литературе есть немало творческих удач. Возьмите хотя бы недавно вышедший на русском языке роман Бено Зупанчича «Поминки». Герой его порывает с мелкобуржуазной средой, в которой вырос, разрыв этот дается ему нелегко, больно, но он весь захвачен пафосом отрицания, разрушения лживой мещанской морали. Рядом с ним — люди чуть постарше, более зрелые духовно, более трезвые. Война со старым миром еще только началась, но они, ее активные участники, напряженно думают над тем, каков будет новый мир, какова будет молодежь, которая придет им на смену, каковы будут они сами. Эту тему развивает и Мира Алечкович в своем романе «Утро», вышедшем в 1964 году. Ей посвящена, например, небольшая повесть Цирила Злобеца «Мужественные годы нашего детства» и повесть Ивана Потрича «Встреча», она затронута в известной мере в романе Матея Бора «Дали». Эта же тема стоит в центре романа Оскара Давичо «Песня» — он вышел в начале пятидесятых годов, но до сих пор справедливо считается в Югославии одной из лучших книг о людях, отдавших жизнь за идеалы социализма.

Основной призыв, обращенный к сегодняшним читателям и к будущим поколениям авторами этих книг,— не забывать, в каких условиях рождалось социалистическое общество, сохранять то лучшее, что дали годы народно-освободительной борьбы: преданность делу революции, непримиримость к врагам и полное доверие к единомышленникам.

Что касается изображения современной молодежи, то литература приходит к этой теме очень осторожно, и, очевидно, на это есть свои причины. Здесь чаще всего мы встречаемся не с утверждением, а со знаком вопроса.

Пожалуй, свободнее других чувствует себя, обращаясь к теме современной молодежи, Гроздана Олуич. Критик Влатко Павлетич определил один из ее последних романов «Голосую за любовь» как «бесспорное достижение наших молодых прозаиков, которые не бегут от проблем и которые сами однажды могут стать проблемой». Герои Олуич — или студенты, или школьники старших классов, или молодые чиновники, начинающие самостоятельную жизнь в столице. Ее интересует прежде всего формирование личности и взаимоотношения этой личности с окружающей действительностью, причем личность эта, как правило, одинока, несчастна, выброшена из жизни. Герои Олуич отвергают идеалы буржуазной семьи, но в то же время они не принимают и того аскетизма, который был присущ «отцам», вернее старшим братьям, в условиях партизанской борьбы. Они остро чувствуют шаткость своих собственных моральных критериев и болезненно ищут выхода. Начинают они с отрицания всех норм, с декларации полной свободы в области морали, в области интимных отношений. Затем наступает крах, и, как правило, именно в этот момент автор оставляет своего героя со всеми его мыслями и сомнениями.

Итак, рядом с темой современной молодежи звучит сегодня в литературе Югославии тема молодости на войне. И те и другие книги зовут человека к раздумьям, основной их мотив — молодежь должна серьезно взглянуть на себя, на свое место в обществе.

— Напряженна и богата духовная жизнь польской молодежи, хотя, чтобы понять это, надо подчас внимательно присматриваться, не доверяя первым, поверхностным впечатлениям,— говорит **И. Колташева.**— На улицах Варшавы и Кракова много «битлов» — юношей до 20 лет со странной прической: длинные волосы закрывают лоб и шею. Похожи на девушек. Общий облик странно неприятный. Летом увлечение — нонстоп: на тротуарах, в садах, на бульварах кто-нибудь играет на гитаре, его сменяет другой, третий. Поют, танцуют без остановки — нонстоп. Твист, твист, твист. В Варшаве, на стенах Старого Мяста, выставляют свои картины — в основном дешевая мазня — «абстракционисты»: молодые «художники» охотятся на снобов-иностранцев, чтобы подзаработать.

Таковы отрывочные наблюдения, поверхностные, как случайная фотография.

В аудиториях, на встречах, в дискуссиях совсем иное. Много споров, много вопросов, огромный интерес к жизни в других странах, обсуждают самые серьезные проблемы: литература, культура, экономика, отношения между людьми, любовь. Из этих разговоров основное впечатление — молодежь ищет. Ищет своих путей везде: в жизни, в искусстве, в труде,— хочет все знать сама и иметь свое мнение обо всем.

А что дает литература, самый нелицеприятный, тонкий и чуткий свидетель, не доверяющий внешним фактам?

Из молодых писателей, дебютировавших в прозе совсем недавно, выделяются два имени: Леон Вантула и Эрнст Брылль. В произведениях первого преобладает столь редкая нынче для польской литературы тема труда — Л. Вантула пишет о нелегкой, даже героической жизни шахтеров Силезии (рассказ его «Праздничный день» был опубликован в «Иностранной литературе»). Э. Брылля интересует переломная в жизни страны и каждого поляка ситуация первых лет народной Польши (повесть «Тетка»). Писатели старших поколений Я. Ивашкевич (в третьем томе «Хвалы и славы») и Богдан Чешко («Поколение») создали подлинные литературные памятники героической польской молодежи, боровшейся с фашизмом, погибавшей на баррикадах Варшавского восстания. О молодой учительнице, мужественно выполняющей свой долг, несмотря на все невзгоды и большое личное горе, написал интересный роман недавно умерший Вильгельм Мах.

Остановиться я хочу на двух книгах. Одна из них «Диснейленд» — последний роман известного и у нас своим «Путешествием» писателя старшего поколения Станислава Дыгата. Дыгат — прекрасный, уже давно определившийся писатель, оригинальный и тонкий мастер-лирик. «Диснейленд» — книга о молодежи, но молодежь увидена глазами опытного писателя, очень чутко реагирующего на моральные проблемы современности.

Марек Аренс — спортсмен, герой стадионов, многократный победитель в соревнованиях, кумир молодежи. Это внешняя сторона его жизни. Оказывается, решительный Марек, умеющий побеждать соперников усилием воли,— удивительно незащищенное существо, фантазер и мечтатель, живущий в иллюзорном мире. Поэтому все его попытки, поиски, отношения с людьми лишены реальной основы. Моральный девиз Марека — прожить без «свинства» — оказывается для него невыполнимым. Запутавшись в конфликтах, весьма реальных, Марек приходит к моральному банкротству. Рассеивается последняя прекрасная мечта, герой остается на руинах

своего иллюзорного Диснейленда. Под занавес он размышляет о том, что ему предстоит начать жизнь заново.

С чем? На смену иллюзиям, мифу, видимо, придет опыт, понимание, знание а следовательно, и долгожданное самоопределение. Путь поисков, который проходит герой Дыгата, очень болезненный, но это болезнь роста и возмужания.

Другая книга — роман «Возвращения» совсем молодого писателя Чапало. Это его первая книга. Чапало — рабочий, электротехник. Повесть, явно автобиографическая, заинтересовала меня как выражение мироощущения молодого человека, на долю которого выпало немало горечи, обид, трудностей. Герой не соглашается с общепринятыми моральными категориями, которым следуют люди старшие и опытные, ему эти категории кажутся «устаревшими», ведь жизнь старших определили события, которых ему не довелось пережить. Юноша ищет, оступается, хочет все решить самостоятельно, порой, наверно, ломится в открытую дверь, но он «открывает» для себя и принимает целый кодекс моральных норм. И неважно, что многие из этих норм давно известны человечеству. «Открытие» помогает герою определить свои отношения с обществом, свой долг и обязанности перед обществом.

Эти два произведения заинтересовали меня тем, что в них отразилась, мне кажется, очень характерная для мироощущения современной польской молодежи черта — поиск своего места в жизни народной Польши.

— Книги молодых, книги о молодых, созданные в ГДР, все больше становятся известными и по ту сторону Эльбы,— говорит **Л. Симонян.**— У меня в руках первый номер нового мюнхенского журнала «Тыквенное семя». Не берусь объяснить, почему его издатели, один из которых Кристиан Гайслер, оказывают предпочтение тыкве. Но, судя по всему, то, что посеяно, должно дать неплохие всходы.

В журнале представлены не только писатели ФРГ, но и писатели ГДР. В нем напечатан отрывок из еще не вышедшего отдельным изданием романа Германа Канта «Актовый зал», посвященного судьбам студенческой молодежи, проза и поэзия Карла Микеля, письма о литературе Вернера Бройнига. Но, пожалуй, важнее всего суждения, высказанные в публицистической статье Якоба Мадера. Смысл их в том, что «осилить прошлое» — имеется в виду фашистское прошлое, которое не должно повторяться,— не удастся до тех пор, пока будет пропагандироваться антикоммунизм, уже давно названный Томасом Манном «величайшей глупостью нашей эпохи».

За последние годы в литературе ГДР произошел сдвиг, заметный, бросающийся в глаза. В эту литературу хлынула, если можно так выразиться, современность. Осмысление современности, острые конфликты которой не укладываются в плоские схемы, стало ведущей тенденцией литературного развития.

По-моему, у писателей-шестидесятников — почему бы не воспользоваться этим давнишним русским термином применительно к писателям социалистического лагеря? — свой голос. Пока еще, быть может, не очень звучный — если говорить о молодых писателях ГДР,— но без тех фальшивых нот, которые, бывало, резали слух.

Скажу несколько слов о романе Эрика Нейча «След камней». Название романа объясняется профессией его героя: он каменщик. Фигура молодого рабочего Ганнеса Баллы — одно из открытий в литературе, сделанных немецкими шестидесятниками.

Если бы Ганнес Балла жил во времена гитлеровской диктатуры, он мог бы стать чем-то вроде Вольцова из «Приключений Вернера Хольта» молодого писателя Дитера Нолля. Дело в том, что Ганнес Балла — сильная личность, он признает только силу, в первую очередь свою собственную. Он сделал легенду из самого себя, отчаянного парня, смелого до наглости, лучшего бригадира каменщиков, готового, если придется, уворовать у соседей строительный материал, устроить ни с того, ни с сего публичный скандал. Балла считал, что ему все позволено.

Живи он при фашизме, Балла вполне мог бы поверить в легенду о германском всемогуществе, которое он счел бы и своим всемогуществом; во имя этой легенды он стал бы совершать насилие. Но Ганнес Балла живет в той Германии, в которой на протяжении шестнадцати лет снова и снова развенчивается легенда о сверхчеловеке. И чем дальше, тем больше утверждается человечность, неотъемлемой частью которой является доверие человека к человеку.

Ганнес Балла становится иным оттого, что встречает людей, которые не только оказывают ему доверие, но и оправдывают его доверие.

Прежний Ганнес Балла однажды объявил забастовку: ему хотелось добиться, чтобы работа, которую он всегда любил, шла лучше; он привык добиваться всего в одиночку. Новый Балла понял, что там, где он живет и работает, можно и нужно чувствовать себя не одиночкой, а одним из многих, делающих общее дело. Более того, он перестал чувствовать себя волком среди волков, и причина этой перемены в тех

новых общественных отношениях, складывающихся в ГДР, в нравственных законах социализма, по которым строится жизнь в ГДР. Трудный, сложный процесс перестройки жизни целой страны не приукрашен в книге, потому и фигура героя, который в этой обстановке становится иным, не выглядит иконописной, потому и книга оставляет след в сознании ее читателей. Правда, этот след был бы гораздо глубже, если бы молодой романист устоял перед соблазном наполнения и переполнения своей книги всем тем, что служит иллюстрацией к мысли о вреде догматизма. Эта формулировка, вероятно, покажется странной, но я постараюсь объяснить, в чем тут дело. Во-первых, книжка вообще слишком иллюстративна (что, правда, не относится к тем ее страницам, которые посвящены Ганнесу Балле). Во-вторых, искусство одерживает победу в борьбе против догматизма тогда, когда оно остается искусством. Ведь и антидогматизм может превратиться в догму, если писатель руководствуется заранее заданной схемой.

Молодые авторы, пишущие о молодых героях, как это видно на примере «Следа камней» Эрика Нейча, больше всего остерегаются фальши, они ищут правду. Разумеется, им легче оттого, что они ориентируются в своих поисках по компасу передовых идей нашего времени. Настоящее противодействие всяческой пропаганде «антикоммунизма» оказывают именно те книги, которые создаются в итоге трудных поисков правды. На немецкой земле таких книг появляется все больше и больше. Не могу не назвать роман Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру», герой которого принадлежит к тем, кто был молод в годы второй мировой войны. Хотя действие книги относится к 1945 году, она современна. Ибо и двадцать лет назад молодой немец стоял перед выбором: с кем ему по пути, со сторонниками мира и социализма или со сторонниками войны и фашизма.

Излишне прямолинейный подход к Руди Хагедорну, человеку, у которого позади очень сложный и очень извилистый путь, закрыл бы ему дорогу в будущее. А сколько в ГДР таких хагедорнов, дезертировавших из гитлеровской армии накануне ее окончательного разгрома, вернувшихся домой с легкой котомкой за плечами и с тяжким грузом вопросов, на которые, как им казалось, не было ответа? Шульц создал книгу о поколении, которое могло бы стать, но не стало потерянным.

В конце романа Руди Хагедорн и его жена Хильда ждут ребенка. Одного из нынешних двадцатилетних. Одного из тех, у кого свои вопросы и свои ответы, свои тупики и свои выходы. Так мы переходим от книги к жизни.

А книга Макса Вальтера Шульца кончается словами: «Какая бездна надежд...»

Писатели социалистических стран в последнее время часто обращаются к годам фашизма и героике Сопротивления. Их книги злободневны в прямом смысле слова, потому что угроза фашизма и его растлевающее влияние на молодежь — это не только прошлое, но и настоящее.

В чем молодые люди видят в наши дни смысл жизни, что их объединяет и разъединяет, какие голоса имеют на них наибольшее влияние — этот вопрос, который повсюду привлекает внимание как писателей, так и социологов, приобретает особую остроту и глубокий смысл, когда мы обращаемся к литературе тех стран, где несколько поколений молодежи находились под воздействием идеологии фашизма, где молодой человек, одурманенный пропагандой, добровольно отказывался самостоятельно мыслить и готов был по первому приказу совершить — и совершал — преступления перед человечностью, перед своим народом, перед самим собой.

— Если судить о молодежи по книгам западногерманских писателей,— подчеркивает **И. Млечина,**— там есть немало молодых людей, воспитанных на официальной пропаганде, жадно впитывающих неофашистскую идеологию, которой их усердно пичкают, готовых участвовать в войне, ратующих за пересмотр границ.

Есть и другая категория молодежи, видимо самая обширная в Западной Германии,— люди, старающиеся уйти от политики. Это так называемые «онемихель» от слов «ohne mich» — «без меня». «Все, что делается, делается без меня, я отныне и навеки не желаю участвовать в ваших делах». В этой философии таится большая опасность: история показала, во что выливается политическое равнодушие, безразличие к преступлениям, нравственная пассивность.

Столкновение разных мировоззрений мы видим в недавно вышедшей в ФРГ книге Рихарда Маттиаса Мюллера «О Германии. 103 диалога», написанной по образцу знаменитого «Катехизиса» Генриха Клейста. Автор этой книги — учитель, он отлично знает психологию современного молодого немца к западу от Эльбы. Книга построена в виде диалога между двумя действующими лицами — отцом и

сыном. Сын — благополучный подросток, выросший в стране «экономического чуда», который не знал ни войны, ни лишений. Этот молодой человек весь пропитан лозунгами и идеями, которыми его в изобилии снабжает официальная пропаганда Западной Германии. «Что будет,— говорит он, возражая отцу,— если каждый станет руководствоваться не законами государства, а законами собственной совести?»

Отец, наученный горьким опытом, отвечает ему: «Что будет? Вот что: заводы откажутся строить печи для сжигания людей, другие откажутся производить газ для того, чтобы отравлять людей, солдаты откажутся расстреливать заложников, когда это прикажет их лейтенант...»

В «Диалогах» Мюллера сын цинично признается: «Я за то, чтобы забыть и оставить прошлое в покое». Он прямо говорит: «С нами поступили несправедливо, Германии должны быть возвращены восточные области, которые были отторгнуты от нее в 1945 году». Юный герой книги Мюллера очень напоминает молодого выпускника военного училища из рассказа Эрнста Шумахера «Лейтенант бундесвера». Молодой человек с пеной у рта твердит о том, что готов защищать «свободные формы жизни», бороться за «европейскую демократию». «Смогли бы вы нажать кнопку атомной ракеты?» — спрашивают его. Молодой человек раздумывает, краска на мгновение заливает его юное лицо, но потом он говорит:

— Да, я бы это сделал.

— И не испытали бы угрызений совести?

— Не испытал бы, ведь мы защищаем свободную Европу.

Молодой лейтенант не отдает себе отчета в том, что лозунг «свободной Европы» полностью соответствует гитлеровским лозунгам «защиты» Европы от коммунизма.

Разумеется, характеристика молодого поколения ФРГ не исчерпывается бездумными лейтенантиками или молодым фанатиком из книги Мюллера. Есть в ФРГ и молодежь, настроенная антифашистски, честно пытающаяся разобраться в прошлом и настоящем своего народа, готовая сделать все, чтобы не допустить повторения прошлого. В новой пьесе М. Вальзера «Черный лебедь» возникает другой образ человека, который чувствует себя совестью всего поколения. Он кончает самоубийством, узнав, что его отец занимался в концлагерях экспериментами на людях. Он пытается вызвать отца на разговор, но тот не признает себя виновным: он отсидел 4 года в тюрьме и считает, что «искупил грех». А двадцатилетний юноша Руди стреляется, его преследует мысль, что прошлое может повториться.

Характерно, что западногерманская пресса по-разному реагировала на эту пьесу. Одна штутгартская газета написала: «Своей пьесой Вальзер обращается к нам, молодому поколению. От нас зависит будущее». Другая газета реагировала по-иному: «Где Вальзер видел таких молодых людей? Только не в ФРГ. Разве у нас есть молодежь, которая испытывает угрызения совести за преступления отцов? Разве наша молодежь страдает гамлетовскими комплексами, которыми наградил своего героя Вальзер? Нет».

Книги западногерманских писателей о молодежи так же различны, разнообразны, как и само молодое поколение. Лучшие из этих книг рисуют его таким, какое оно есть: со всем грузом сомнений, оставленных ему фашизмом, которые у одной части молодежи рождают настроения реваншизма, а у другой — желание сделать все, чтобы фашизм никогда не смог поднять головы.

— Бунт западногерманских «детей»,— продолжил разговор о литературе ФРГ **А. Карельский,**— как бы ни велика была здесь доля анархизма, с самого начала — еще с Борхерта и первых шагов «Группы 47» — был отмечен четкостью чисто политических антипатий. Это был бунт против нацистского прошлого своей страны и своих отцов.

Начиная с середины 50-х годов, когда реваншистский характер боннского государственного организма стал очевиден, в западногерманской литературе появился новый герой — молодой человек, выросший уже после войны, но в какой-то момент своей жизни оказывающийся лицом к лицу с непреодоленным преступным прошлым. Возьмите, например, роман Гейслера «Запрос», драму Хохгута «Наместник» или уже упоминавшуюся И. Млечиной драму Вальзера «Черный лебедь». Отвергая прошлое отцов, герои этих произведений ощущают и на себе «наследственную» вину и мучительно пытаются найти для себя путь к бескомпромиссной этической позиции.

Очень остро эти проблемы поставлены в «Энгельберте Рейнеке» Пауля Шаллюка, романе, известном читателю журнала. Чем больше настоящее предстает перед молодым героем книги как непреодоленное преступное прошлое, тем ближе он к решительному шагу — к неприятию, к бунту, к борьбе.

Вряд ли следует делать вывод, что такой путь типичен для современной западногерманской молодежи. Это — скорее своеобразная форма утверждения в литера-

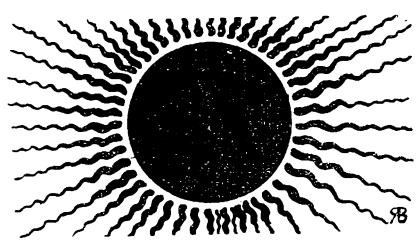
туре образа «идеального героя», стремление создать некий моральный эталон общественного поведения. Современную ситуацию западногерманской молодежи, как мне представляется, более верно отражает в литературе другой герой — молодой человек, остро ощущающий свою неприкаянность в мире «экономического чуда».

Вариации в изображении этой позиции необычайно разнообразны. На одном полюсе — всевозможные варианты конформистского самоутверждения в этом мире, вплоть до «авангардистского» кокетничанья с темой соглашательства в искусном косноязычии лирических «текстов» Хайсенбюттеля: «Процветание смертельный гешефт я заявил что я согласен я живу». Зато на другом полюсе — яростная атака на психологию «вундеркиндов» — «детей чуда», на само это «чудо» экономического процветания ФРГ. Это сквозная тема всего творчества Бёля. Мимолетный афоризм Ганса Шнира, героя романа «Глазами клоуна», о блудном сыне, которому по его возвращении родители, сидящие у телевизора, не зарежут тельца, а лишь ткнут пальцем в сторону холодильника,— это острота, рожденная временем.

Гротескный образ «червивого экономического чуда» проходит через роман Грасса «Собачья жизнь». Сытую и все еще алчную «пену на губах века» проклинает Энценсбергер в своих яростных, шокирующих стихах: «Я утоплю вас в собственной вашей слюне!»

В то же время никто из этих писателей не в состоянии предложить какую-то альтернативу для своих оппозиционно настроенных героев. Их «нонконформизм», несомненно делающий им честь, будучи возведенным в абсолют, оказывается явлением в высшей степени догматичным. Пожалуй, самый яркий тому пример — политическая лирика Энценсбергера. Ее можно было бы даже назвать высоким словом «гражданская», если бы Энценсбергеру не отказывало вдруг чувство политической объективности и разумности там, где он судит о другой Германии — судит по инерции запальчиво и слишком поспешно. В результате он оказывается в том же самом заколдованном кругу неприкаянности и бездомности, для которой он, правда, находит слова, потрясающие искренностью и силой гражданского чувства. Его западная родина для него — мачеха, и он не устает декларировать это отсутствие кровного родства между ними: «Чего я не видел здесь, в этой стране, куда меня привели мои старшие в своей беззаботности? Урожден, но безутешен, я здесь — отсутствующий, у себя в уютной нищете, в милой довольной яме. Зачем я здесь! Что я здесь потерял, в этой мясорубке, в этой блаженной стране, где дела идут на лад, но не вперед?»

Молодой герой современной западногерманской литературы — я говорю о серьезной, настоящей литературе — это прежде всего бездомный человек. Но, определяя сам для себя причины этой бездомности, он, как мы видели, обнаруживает далеко идущую политическую проницательность. Можно сказать, что его чувство бездомности основывается на реальном ощущении времени — ощущении того, что его страна «не преодолела» своего прошлого. Именно это ощущение времени придает литературным свидетельствам послевоенных поколений западных немцев большое национальное звучание.



— Когда мы говорим о молодом герое в японской литературе, мы находим много общих черт между нею и литературой ФРГ,— замечает **В. Гривнин.**— Специфика же здесь заключается в том, что романы 50-х годов показывают нам молодого человека, который воспитывался на идеях прогрессивного движения, которого затем захватила, однако, националистическая пропаганда, которому на фронте пришлось убеждаться, что военщина втянула Японию в бессмысленную войну и что сам он погибнет, и погибнет страна. К концу войны комплекс рухнувших националистических идей был достаточно ясен, и нарисовать облик этого героя было значительно легче, чем описать юношу, которому к моменту окончания войны было 15—16 лет. Этот молодой герой не видел никогда демократического движения. В течение многих лет учитель рассказывал ему в школе, что японский народ — великий народ Азии, что близится эра процветания и он должен думать не только о своем доме, но и обо всей Восточной Азии в целом. Разумеется, в разных кругах японской молодежи эти идеи преломлялись по-разному, но наследие их сказывается и сегодня, определяя острые идейные бои между реакционными и прогрессивными силами.

Японская молодежь продолжает жить в очень сложных условиях еще и потому, что страна в течение многих лет была оккупирована США и сейчас еще американское влияние там довольно сильно. В 60-е годы в Японии развернулось широкое прогрессивное движение против заключения договора безопасности.

Тогда среди японских писателей, обращающихся к современности, наметились две тенденции. Одна тенденция — сознательно ограничиваться повседневностью, тем, что они видели каждый день. В их книги вошла борьба против договора безопасности, подъем студенческой молодежи, очень активной и очень левой по своим взглядам. Но некоторые писатели, в частности Тацудзо Исикава и Сэйити Фунабаси, сделали эту борьбу лишь фоном, на котором развертывается действие в их произведениях.

Другие пошли по иному пути, и в связи с этим мне бы хотелось кратко остановиться на творчестве Кэндзабуро Оэ — одного из очень интересных, на мой взгляд, писателей, молодого и много пишущего о молодежи. Он ставил вопрос: почему молодой человек, который окончил школу, не видел в своей жизни ничего плохого, не видел зверств на фронте, почему же он превращается в фашиста или, во всяком случае, в человека, который потом может стать фашистом?

Страна оккупирована, страна разгромлена. Для семнадцатилетнего юноши, который «опоздал» на войну, каковы бы ни были цели войны, поражение его страны — катастрофа. Кэндзабуро Оэ показывает, как в этой катастрофе гибнет все, что было для этого мальчика свято. В книгах «Семнадцатилетний» и «Опоздавшая молодежь» он очень убедительно рассказывает, как из японского мальчика сознательно воспитывают потенциального фашиста, который пойдет на все ради тех «идеалов», о которых ему твердили в течение многих лет. Конечно, это «идеалы» ложные, но для него они существуют.

Надо оговорить, что Кэндзабуро Оэ не всегда идет правильной дорогой. Когда он обращается к социальным причинам того, почему молодежь, или определенная группа ее, или избранный им герой оказываются во власти профашистских взглядов, его книги убедительны.

Но в романе «Крик», который вышел несколько лет назад, он стал искать эти причины в физической или социальной неполноценности того или иного человека. И вот один из героев — эпилептик, другой болен венерической болезнью, третий — алкоголик, у четвертого, родившегося от брака американского негра и японки, полосатая кожа, ему даже дали кличку Тигр и т. д. И, наконец, последний из них тоже считает себя неполноценным, поскольку у него отец кореец, а мать японка. Почти все они становятся преступниками из-за ощущения своей неполноценности: или сами убивают, или их убивают. Японская критика, которая внимательно следит за творчеством Кэндзабуро Оэ, единодушно расценила эту книгу как неудачу писателя.

Но следующий его роман, «Индивидуальный опыт», чрезвычайно интересен, потому что показывает другую возможность развития молодого характера в условиях современной Японии. Оэ в этом романе отрицает то, что утверждал в «Крике», и говорит, что независимо от того, каким было воспитание до войны, вопреки тому, что сейчас в молодом японце стараются пробудить идеи реваншизма и националистические настроения, японская молодежь находит в себе достаточно сил, чтобы противостоять этому и способствовать утверждению в стране демократических принципов.

Таким образом, творчество Кэндзабуро Оэ может служить еще одним доказательством того, что ни в коем случае нельзя на молодежь смотреть как на абсолютно единую монолитную массу — в том числе и на японскую молодежь.

— Слишком часто говорят о «современной молодежи» вообще, суммарно,— подчеркивает **Е. Гальперина.**— А в действительности в современном мире существуют самые различные типы молодежи. И для того, чтобы разговор о ней не повисал в воздухе, приходится как можно глубже и конкретнее определять ту почву, на которой эти типы молодежи возникают и развиваются. Тут приходится учитывать и общемировую ситуацию, и разный характер стран (страны социалистического лагеря, страны буржуазного Запада, молодые государства, страны острой национально-освободительной борьбы), и наконец своеобразие положения в каждой отдельной стране.

Важно и другое. Порой та молодежь, которая наиболее шумливо и настойчиво заявляет о себе в литературе, «сердитая», разочарованная, тинэйджеры и т. д., может в глазах читателей заслонить собой иную молодежь. А это неправомерно.

Хотя нельзя не признать, что молодые люди, попавшие в идеологический тупик,— серьезнейшая проблема современного мира. Говоря о них, нельзя не учитывать того, как давит на ее сознание угроза новой мировой войны, которая кажется им столь реальной — ведь «малые» войны уже идут. Здесь уже упоминали «беснующихся» молодых людей Англии и США, с их воинствующей асоциальностью, с их попытками порой искать выхода из морального тупика в насилии. Фашизация молодежи, об опасности которой говорят писатели ФРГ и Японии, бросает новый и тревожный свет и на

тех молодых англичан или американцев, кто ищет выхода в «приступах насилия». От этих приступов насилия до гангстеризма, до полуфашистских или фашистских организаций только шаг.

Правильно говорили и о том, что присущие молодежи активность, жажда действия, стихийное бунтарство могут приводить молодежь в диаметрально противоположные лагери. Один путь ведет к гангстеризму, но другой — к боевым, непримиримым выступлениям против войны, против расизма. И здесь очень важным становится вопрос о положительных ценностях и о причинах столь частого их отсутствия. Среди молодежи сейчас широко распространено разочарование в «образе жизни» капиталистического мира. Но вместе с тем, если в тридцатых годах это почти неизбежно вело множество людей из разных социальных слоев к идеям социализма и коммунизма, то последние двадцать лет процессы эти шли более усложненно. Нельзя не задумываться над причинами того, что молодые люди часто остаются в идейном вакууме. Борьба против войны, против расизма дает выход энергии молодежи. И все же это еще далеко не всегда означает, что у нее есть четкие позитивные идеалы.

Если перейти к странам с сильно развитым национально-освободительным движением, то мы сразу попадаем в совершенно иной психологический мир. Посмотрите на молодежь Южного Вьетнама, борющуюся с оружием в руках, самоотверженно отстаивающую идеалы независимости и свободы. И разве не такие же героические характеры мы видим во многих странах Латинской Америки и Африки, где сильное освободительное движение ставит перед молодежью ясные конкретные цели. Эта целеустремленная мужественная молодежь есть в мире, она существует, и никакие разочарования не должны затемнять этот факт. Нельзя не учитывать, что эта боевая молодежь занимает в мире очень значительное место.

Я говорю больше о странах национально-освободительного движения, поскольку ряд лет занималась литературой некоторых стран так называемого «третьего мира». Но и там ведь очень разные ситуации порождают очень разные пути, судьбы, характеры литературной молодежи. И там все намного сложнее и разнообразнее, чем могло бы показаться на первый взгляд.

Вот несколько примеров.

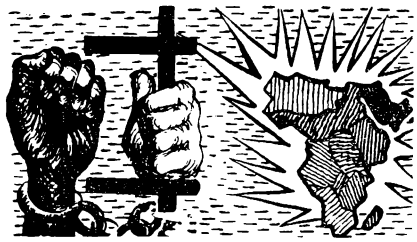
Гаити. Полицейское государство, где тюрьмы переполнены, литература полузадушена, писатели старшего, среднего и молодого поколения вынуждены эмигрировать. Тем не менее среди этого разнузданного террора молодые поэты обнаруживают удивительную моральную стойкость. Часто эзоповым языком они все же снова и снова говорят о пути к будущему. Ничем нельзя задушить живущего в них чувства ответственности за свою страну. Они пытаются любой ценой поддержать в своем измученном народе надежду, хотя бы непрестанным повторением этого слова. Такая молодежь не может не вызывать уважения. К ней трудно относиться равнодушно.

Но вот другой пример — Нигерия, самая большая страна Африки. Так называемая «витрина свободного мира» в одном из развивающихся молодых государств. Там выдвинулась группа молодых поэтов, воспитанных под руководством квалифицированных английских профессоров в отличном Ибаданском университете. Это одаренная, образованная, утонченная молодая интеллигенция. Они превосходно умеют писать стихи, пьесы, прозу. Но к чему они стремятся? Это вопрос. К социализму они не тяготели и, видимо, не тяготеют. Судя по всему, они думали, что им придется жить в государстве с буржуазно-демократическими порядками английского образца, с большой интеллектуальной свободой. Но эти иллюзии не оправдались. Молодежь эта вышла на арену в 1960 году, а уже через три года она очутилась в обстановке острой политической борьбы, наступления реакции, репрессий, арестов, давления феодального прошлого, продолжающего свою власть в настоящем. В романе Воле Шойинки «Интерпретаторы» дан интересный портрет интеллектуальной молодежи его поколения — тридцатилетних. Это острые и печальные раздумья о судьбах одаренных юношей, ощущающих себя противостоящими обществу, которое они не могут уважать. Раздумья над будущим молодых интеллектуалов, которым угрожает бесплодие, если не возьмет верх чувство ответственности, столь остро звучащее в творчестве Шойинки.

Наконец, третий пример — Мали. В недавно вышедшем на русском языке сборнике поэтов Мали можно увидеть совсем иной тип молодых людей, создателей и лирических героев поэзии.

Поэзия Мали только начинает развиваться, и, может быть, не всегда новые чувства выражены в ней достаточно полнокровно, с полной поэтической убедительностью. Но какое сильное чувство единства молодежи со своей страной, со своим государством! Их ясность, прямота, твердое желание строить и создавать свой, наконец, обретенный дом — качества, весьма ценные в современном мире. И можно думать, что эти психологические качества приведут к новой поэзии Африки, начатой в свое время такими поэтами, как погибший Давид Диоп,— поэзии сильной и революционной.

Заключая, я бы хотела вернуться к своей первой мысли. Пути и характеры молодежи в современном мире многообразны. И это многообразие требует пристального, точного изучения.



— В тех странах Африки, где литература вдохновляется идеями освободительной борьбы и национального становления, все более заметное место занимают молодые писатели, которые видят в литературе одно из важных средств в борьбе за свои идеалы. Во всей современной литературе Африки нет литературы более молодой, более целеустремленной, более гонимой, чем литературы Анголы и Мозамбика,— говорит **Л. Некрасова.**— Молодое поколение этих стран кричит о трагической судьбе своих сверстников, о жизни и о смерти так громко и так явственно, что почти каждого писателя сегодня власти рассматривают как политического преступника.

Еще лет десять назад португальские правители старались не замечать молодую поросль национальной литературы, чьи голоса, несмотря ни на какие цензурные строгости, прорывались на страницы газет, журналов и тоненьких книг, издаваемых полуконспиративными издательствами, вроде издательства Дома студентов в Лиссабоне. В последние годы представителям власти пришлось заметить и оценить деятельность тех молодых литераторов, которые оставались честными африканцами и писали правду. Многолетнее тюремное заключение и каторжные работы в местах самых тяжких по климатическим условиям — такова оплата литературного труда ангольских и мозамбикских писателей.

Высокая гражданственность и глубокий реализм отличают как поэзию, так и прозу в этих странах.

Луандину Виейра, анголец, берет эпиграфом к своему последнему сборнику рассказов «Новая жизнь» строки из стихотворения Пабло Неруды:

> ...Я говорю о том, что существует в действительности.
> Избави меня бог выдумывать, когда я пою...

И в небольших рассказах, вошедших в этот сборник, автор продолжает правдивый до боли разговор об ангольских патриотах, начатый им еще в повести «Путь Домингуша Шавиера», напечатанной в журнале «Иностранная литература».

Мальчишки из четвертого класса (рассказ «Зиту Макуа из четвертого класса») вступают в неравный бой с представителем власти, своей учительницей, и с честью выходят из этой борьбы, не совершив предательства... Молодой анголец Жоан Кангату (в рассказе «В ожиданье света») погибает, выполняя свое первое партийное поручение... Три юных друга (в рассказе «Как заколдовали предателя») расправляются с доносчиком — сборник полон живым ощущением борьбы и ненависти.

В апреле 1965 года за книгу рассказов «Луанда», вышедшую в Луанде, Луандину Виейра была присуждена премия Португальского общества писателей за лучшую книгу минувшего года. А сам писатель в это время находился в лагере особого режима на островах Зеленого Мыса. Свое тридцатилетие Луандину Виейра не встретит среди друзей... Но герои его произведений совершают почетный путь по многим странам мира, на многих языках рассказывая от имени молодого поколения Анголы правду, правду и еще раз правду.

Луиш Бернарду Онвана еще моложе, чем Луандину Виейра. Он родился в 1942 году. У него всего лишь один маленький сборник, вышедший в Лоренсо-Маркесе в 1964 году. В феврале 1965 года писатель был брошен в тюрьму.

Молодой патриот, который осознал силу такого могучего оружия, как слово, стремится донести правду до сердец и умов неведомых ему миллионов читателей.

Политика белых угнетателей «разделяй и властвуй», натравливания одних угнетенных на других (рассказ «Мы убиваем Паршивую Собаку»), солидарность всех слоев африканского населения (рассказ «Хозяйка»), правда о бесправном положении африканской женщины, находящейся в зависимости от самого ничтожного белого начальника («Перерыв на обед»),— таковы темы его рассказов.

Большинство из них писатель ведет от первого лица. Пусть мальчишки, посланные Господином Ветеринаром, все-таки убивают несчастную Паршивую Собаку, пусть герой рассказа «Хозяйка» еще не находит решения мучающих его вопросов, пусть рабочие на плантации маиса еще покорно следуют за наглым надсмотрщиком. Мы понимаем, что условия цензуры в Мозамбике таковы, что иная книга совсем не могла бы появиться в свет. Но вопросы поставлены с предельной ясностью, и ответы на них напрашиваются сами собой! Рискуя своей жизнью и свободой, писатели Анголы и Мозамбика открывают миру истину о том, как живет и борется молодое поколение их стран.

— Я хочу рассказать о стране, где не выпускают книг,— говорит **А. Полищук.**— В Нигере нет писателей-профессионалов. Здесь, в сущности, еще нет и читателей. Из каждых пятидесяти ее жителей умеет читать лишь один. И не на родном языке, а на французском — здесь нет своей письменности. Это явление характерное — в очень многих странах африканского континента (хотя далеко не во всех!) литературные проблемы пока что прежде всего развиваются «вширь». Они включают в себя развитие просвещения, создание письменности, ликвидацию поголовной неграмотности, создание издательской базы и так далее. Далеко не во всех странах литература имеет свои традиции.

В десятках же других стран, даже таких, как Сенегал или Нигерия, имеющих сегодня прекрасные образцы прозы и поэзии, литература начала возникать лишь в послевоенный период. Литература Африки молода, она создается талантом молодых и адресована прежде всего молодому читателю, тому самому, который сейчас втянут в культурную революцию. И, быть может, в этом одна из причин того, почему в современной африканской литературе прочно утверждаются реалистические тенденции. Культурная революция — длительный процесс, не надо забывать, что она происходит в молодых государствах, средний возраст которых составляет пять лет. Все помнят 1960 год — «год Африки», когда независимость провозгласили без малого два десятка стран. Мы знаем, как сложны проблемы, стоящие перед этими странами. Их многовековая отсталость — наследие, доставшееся от бывших колониальных хозяев, которые, впрочем, и сегодня не прочь нагреть руки на безысходности, нищете, невежестве и болезнях. Это не то, что деликатно именуется «историческим фоном». Это условия жизни, и тот, кто берет в руки книгу о молодежи Африки, должен помнить об этом.

В столице Нигера Ниамее я побывал в типографии. Она похожа на кунсткамеру. Она единственная в стране. Представьте себе два десятка листов, в размер машинописных, скрепленных между собой примитивной скрепкой,— так выглядят оба выходящих в этой стране издания (еженедельник и ежемесячник). Первый состоит из коротеньких информационных заметок о внутренней жизни Нигера. Второй — из телеграмм, присылаемых западными агентствами (прежде всего Франс Пресс). Тираж обоих изданий 2800 экземпляров. В стране с населением в 3,5 миллиона человек! Больше не требуется: читать некому.

Проблема ликвидации неграмотности, как известно, тесно связана с другой — с проблемой языка. Талантливый тридцатидвухлетний нигерийский романист Чинуа Ачебе пишет по-английски, двадцатипятилетний малиец Гауссу Диавара — по-французски, двадцатидвухлетний Луиш Бернарду Онвана из Мозамбика — по-португальски. И так повсюду: все пишут на языке бывших или нынешних (Ангола, Мозамбик) колонизаторов. Даже в Алжире с его давними традициями арабской литературы очень многие известные и начинающие поэты и прозаики пишут на французском языке.

Для молодых писателей Африки ясно, что формирование национальной культуры должно привести к возникновению литературы на родном, а не чужеземном языке. В желании развить национальные языки проявляется стремление развить самобытную африканскую культуру. Эта тема так или иначе находит свое воплощение в сюжетах современных произведений, когда молодой герой порой то встает на путь преклонения перед европейской культурой, то пытается найти решение жизненных проблем в обращении к уходящим в прошлое племенным традициям, то ищет выход в разумном синтезе двух культур.

— В сознании молодежи Индии, как и других стран Азии, огромную роль играют идеи национальной независимости,— говорит **В. Чернышев.**— Естественно, литература много пишет об этом, и по судьбам молодых героев из книг последнего времени мы можем многое понять в жизни этой страны. В конце 1959 года вышел в свет новый роман Бхагватичарана Вармы «Забытые картины», восторженно встреченный читателями и критиками, удостоенный премии Литературной академии Индии. Этот роман-эпопея — своеобразная «сага о Прасадах»: первые представители этого рода, начав с простых мунши — переписчиков бумаг при суде, верой и правдой служили британской короне, усердно взбираясь по чиновной лестнице,— последний, юноша по имени Наваль, порывает с прошлым своих предков и становится в ряды борцов за независимость. Название романа, на первый взгляд, не связанное с его содержанием, и весь роман в целом — это напоминание молодым людям

независимой Индии о том, какой дорогой ценой досталась свобода, призыв к современной индийской молодежи следовать героическому примеру своих отцов.

В то время когда молодежь Индии вместе со старшими боролась за независимость своей страны, и эта цель объединяла ее, отодвигая на задний план различие во взглядах и идеалах, в едином строю вели борьбу за сварадж (независимость) и конгрессист Наваль, и коммунист Премшанкар из уже названного романа, и заминдарский сынок Пхуль-бабу, и его слуга Бальчан из повести Нагарджуна «Бальчанма».

Но вот великая цель была достигнута: 15 августа 1947 года над Красным фортом в Дели вместо «Юнион Джек» взвился трехцветный флаг независимой Индии. В наследство ей досталась отсталая промышленность, отягченное феодальными пережитками сельское хозяйство, миллионы беженцев, нищета и безработица, запутанный национальный вопрос и невежество масс, гнетущая власть касты и социальных предрассудков.

Если раньше индийскую молодежь объединяла общая цель, то теперь, определяя свое отношение к современной действительности и свое место в жизни, молодые люди оказываются в разных лагерях. Определенная часть молодежи поддерживает официальную программу правящей партии о «Строительстве общества социалистического образца», своими усилиями стараясь улучшить хоть как-нибудь жизнь крестьян. Других же, прежде всего подростков, привлекает тонкий дурман шовинизма, культ силы, атмосфера таинственности и конспирации — все то, что так импонирует подростку среди будней средних слоев и что процветает в молодежных военизированных отрядах «Раштрия севак-сангха» («Союза служителей нации») — ударной силы поднимающего голову индийского фашизма. Религиозно-общинные партии «Джан-сангх» («Народный союз») и «Хинду махасабха» («Великое сообщество индусов») тоже в последнее время серьезное внимание уделяют работе среди молодежи. Эту тенденцию к фашизации младшего поколения зорким взглядом художника подметил Рену, показав в романе «Грязное покрывало», как, стремясь защитить свои богатства и земли, деревенские богатеи с помощью приезжего «инициатора» из парней, принадлежащих к касте раджпутов, создают отряд «черношапочников», вооруженных дубинами, «для защиты веры и привилегий высших каст». Что же касается кадров для этих «штурмовых отрядов» индийской реакции, то их поставляют не только средние слои города и деревенская верхушка, но и деклассированные элементы, готовые на ком угодно выместить свою злобу на жизнь, едва им в руки попадает увесистая палка.

В этой связи обращает на себя внимание позиция определенной части интеллигенции, получившая свое отображение на страницах романа Раджендры Ядава «Люди, вырванные с корнем». Это действительно «люди без корней»; они толкуют о народе — и бесконечно далеки от него, от его жизни, запросов и нужд; они презирают «хозяев жизни» — и идут к ним в услуженье; они ненавидят гнет и эксплуатацию — и не способны к активной борьбе. «Они,— как выразился один из персонажей романа,— не могут идти с капитализмом, но в то же время боятся коммунизма, потому что или не имеют о нем ни малейшего понятия, или же представляют его как некое пугало». Запуганные сложностью мира, безвольные и одинокие, герои романа Р. Ядава, точно так же, как и Амар — главный персонаж его произведения «Один дюйм улыбки», не способны дать отпор злу и насилию. И это тем более опасно, что последние события в Индии: напряженные отношения между Индией и Китаем и особенно индо-пакистанский вооруженный конфликт — подняли мутную волну национализма и шовинизма, захлестнувшую и значительную часть индийской молодежи.

Индийская молодежь, можно сказать, находится на перепутье, на скрещении нескольких дорог, и прогрессивные круги Индии прилагают немало усилий, чтобы направить ее по единственно правильному пути, уберечь молодость своей страны. Молодежь, наиболее пытливую и думающую, уже не может удовлетворить действительность «государства Рамы», где фасад из социалистических фраз скрывает всевластие капитала, разительный контраст между роскошью и нищетой. Молодежь, особенно студенческая, думает, спорит, и многие после долгих поисков вливаются в ряды истинных борцов за народное счастье. Этот путь избирает, например, Кришнакумар — герой повести Амарханта «Сухой лист», так же, как его литературный предшественник Сатьяван из романа Амритрая «Ростки» в более ранний период — в канун независимости.

— То, что волнует молодежь Турции,— говорит **Р. Фиш,**— волнует независимо от возраста любого мыслящего человека. Шестьдесят процентов населения Турции неграмотно. Деревня нищая. В провинции — пережитки средневековья, религиозный фанатизм. Безработица. Засилье иностранного капитала и, наконец, жестокий политический гнет, который вызвал взрыв народного негодования в 1960 году,— все это отзывается на всех поколениях.

Но молодой герой в турецкой литературе был и есть. Турецкий реалистический роман со времени установления республики рассказывал о молодом человеке, о столк-

новении его представлений о правде и справедливости с реальной действительностью. В двадцатые-тридцатые годы в романах Якуба Кадри, Решада Эниса, Решада Нури это был молодой офицер-националист, возглавлявший борьбу крестьян с интервентами, молодой учитель или учительница, сталкивающиеся в провинции с невежеством и фанатизмом. В конце тридцатых-сороковых годов этот молодой человек был уже не выходцем из аристократических или либеральных кругов стамбульской интеллигенции, а крестьянским сыном, который возвращался после учительского института в родную деревню. Позднее заявил о себе новый герой — молодой рабочий. Такие писатели, как Орхан Кемаль, показали, как жизнь превращает полуграмотного деревенского паренька из «рыбы, что в море живет, ничего не зная о море», в рабочего, осознающего свои классовые интересы. И, наконец, явился еще один герой — студент, молодой интеллигент, который сквозь туман шовинистской демагогии, окутывающий значительную часть турецкой молодежи, пробивается к идеям гуманизма и демократии. Правда, этот герой был выведен еще в 1940 году Сабахаттином Али в романе «Дьявол внутри нас». Но затем он почти на двадцать лет исчез из турецкого романа, чтобы появиться в поэзии Рифата Ильгаза, Орхана Вели, Мелиха Джевдета. Это любопытное явление, по-моему, объясняется двумя причинами: внешними — в стране в эти годы царил неограниченный полицейский произвол, и в лирической форме было легче высказать то, что в объективной прозе не имело возможности увидеть свет; и внутренними — прежде чем показать такого героя во всем богатстве его связей с миром, литература училась говорить от его имени, его голосом. Лишь в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов такой молодой интеллигент занял центральное место в романе Самима Коджагеза, Кемаля Тахира, Орхана Ханчерлиоглу. В эти годы освобождение молодежи от расистской, шовинистской, неофашистской идеологии всех толков и расцветок стало для Турции проблемой номер один.

Современная турецкая публицистика понимает это. Приведу такой пример. Известно, что в Западной Германии работают десятки тысяч турецких рабочих. Крупнейший литературный журнал Стамбула «Варлык» под рубрикой «Письма к брату-рабочему» поместил недавно серию репортажей из ФРГ. В одном из них писатель Танжу Юнер рассказывает о вожаке молодых рабочих-турок неком Кадире. Ярый националист Кадир, наслушавшись неофашистской пропаганды, в восторге от Гитлера. «Есть только три мужественных народа на свете,— говорит он,— немцы, японцы и турки, да и то у первых двух все в прошлом». Но Кадир, по сути дела, ничего не знает о гитлеровской Германии. Писатель ведет его вместе с группой турецких рабочих на фотовыставку, посвященную Освенциму. Кадир ошеломлен. Столкновение с правдой заставляет его по-новому взглянуть на фашизм и милитаризм, как немецкий, так и отечественный.

— Латинская Америка сегодня, как и Азия,— клубок острых противоречий, социальной и антиимпериалистической борьбы, и молодежь находится в самом центре этих противоречий,— сказал **Юрий Дашкевич.**

Одна из героинь романа «Область наипрозрачнейшего воздуха» молодого мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса говорит, обращаясь к своему другу: «А наши интеллектуалы!.. Они хотят лишь наслаждаться престижем, дорогой, et ça suffit; они не хотят ни идей, ни труда, ни вдохновенья, что может создавать что-то; единственно, что они предпочитают,— это красоваться в витрине!» Пренебрежительное отношение этой девушки к определенной части литераторов, очевидно, отражает точку зрения самого Фуэнтеса, с творчеством которого читатели нашего журнала недавно познакомились по роману «Смерть Артемио Круса».

Бесспорно, ни Фуэнтес, ни другие молодые писатели Латинской Америки не «красуются в витринах». Они не остаются в роли сторонних наблюдателей, и, пожалуй, правильнее сказать, что многие из них находятся сегодня на передовой.

Мне хочется рассказать об одном случае в литературной жизни стран «вулканического континента», как назвал его Артур Лундквист, хотя, как известно, вулканы бывают не только действующие, и не все «вулканы спящие» пробуждаются. Скажем, в той же Гватемале, в такой крошечной стране, насчитывается более сорока вулканов, почти все они пребывают в безмолвии, но неизмеримо больше здесь партизан, не прекращающих ни на миг напряженной борьбы, самоотверженно сражающихся с оружием в руках против реакционной диктатуры. Одним из таких партизанских отрядов командовал сын нашего друга, титана латиноамериканской литературы, Мигеля Анхеля Астуриаса — студент Родриго Астуриас (мне думается, этот факт имеет самое непосредственное отношение к разговору о путях молодого поколения и о молодом герое наших дней). В романе «Глаза погребенных» Мигель Анхель Астуриас написал о двух чудесных молодых людях — рабочем Хуане Пабло Мондрагоне и учительнице Малене Табай,— избравших путь борьбы, а сын автора романа сам встал на этот путь.

То, о чем я хочу рассказать, произошло не так давно в военном колледже перуанской столицы Лимы. Во двор этого старейшего в стране военно-учебного заведения было завезено свыше тысячи экземпляров книги, написанной молодым перуанским писателем,— и затем публично сожжено. Это аутодафе организовано не в Испании времен святейшей инквизиции и не в гитлеровской Германии. Это случилось в Перу наших дней. Нужно представить себе всю картину. Военный колледж, в котором учатся подростки и юноши, приехавшие сюда из разных уголков страны и принадлежащие разным слоям населения. Военным колледжем управляют военные, и действие развертывается в стране, где всем командуют военные, реакционнейшие армейские элементы, которых в Латинской Америке окрестили «гориллами». «Гориллы», верные слуги Пентагона, само собой разумеется, заинтересованы в том, чтобы из кадетов колледжа сделать слепых исполнителей своей воли, а следовательно, и воли Пентагона, чтобы можно было бы послать их затем и против партизан-индейцев в Кордильеры Анд и в Санто-Доминго или в Южный Вьетнам. Чтобы молодого человека превратить в бездумного робота в военной форме, который беспрекословно выполнял бы приказы «горилл», следующих указаниям Пентагона, в военном колледже существует жестокая система обесчеловечения. Одним из этапов обработки является варварский ритуал «крещения» первокурсников, проводимый не без ведома и не без поощрения начальства,— кадетов первого курса здесь именуют «собаками» и заставляют их в течение нескольких месяцев вести поистине собачью жизнь — даже бегать на четвереньках, обнюхивать друг друга и т. д. Такова цена вступления в касту будущих офицеров. Дикие сцены жизни и быта в реально существующем военном колледже имени Леонсио Прадо в Лиме воспроизвел молодой писатель Марио Варгас Льоса, который, между прочим, сам проходил курс обучения в этом военном учебном заведении. Его роман «Город и собаки», правдиво, реалистически рисующий то, что делается за стенами «фабрики офицеров», вызвал бешеную ярость «горилл» и их приспешников. Надо думать, что если бы Варгас Льоса не жил за пределами Перу, то его судьба была бы весьма печальна. Ярость «горилл» вызвало не только то, что писатель сказал слово правды о системе подготовки кадров для перуанской армии и для Пентагона. Реакция поняла и другое — в романе по сути отражена жизнь всей страны, выведена перуанская действительность. Более того, писатель осмелился заявить в своем произведении, что даже в военном колледже имени Леонсио Прадо находятся такие юноши, которые не желают мириться с обстоятельствами, не хотят встать на колени, поднимаются на борьбу против существующего режима, против царящей несправедливости и произвола. Вот почему была сожжена книга Марио Варгаса Льосы.

Сегодня в Латинской Америке, над которой бушуют революционные бури, уже никому не удается остановить молодое поколение. Настойчиво ищет свой путь к лучшему молодая девушка Кармен Роса из романов венесуэльского писателя Мигеля Отеро Сильвы «Мертвые дома» и «Контора № 1». Вступают в схватку с сильными мира сего обездоленные, выброшенные за борт жизни герои романа бразильского писателя Жоржи Амаду «Пастыри ночи» и пьесы бразильского драматурга Алфредо Диаса Гомеса «Вторжение». Сплачиваются для борьбы молодые рабочие банановых плантаций в романе гондурасского писателя Рамона Амайя Амадора «Красный батальон». Вчера — на страницах романа Карлоса Фуэнтеса — порывает со своей средой сын мексиканского миллиардера Артемио Круса, Лоренсо, и уезжает в Европу сражаться против фашизма. Сегодня — в романе уругвайского писателя Альфредо Гравины «Время, выше!» — дочь землевладельца Марсела Эскивель находится среди тех, кто проводит в Монтевидео митинг солидарности с кубинской революцией. Это — литературные герои. А литераторы? Молодой талантливый сальвадорский поэт Роке Дальтон Гарсия, принадлежавший к кругам крупной буржуазии, ныне с гордостью, во всеуслышанье заявляет, что он — член Коммунистической партии Сальвадора, находящейся в глубоком подполье. Я мог бы привести многие другие примеры.

На латиноамериканском континенте развертывается народная антиимпериалистическая и антифеодальная революция. И не будет преувеличением, если я скажу, что в современной литературе латиноамериканских стран нет сколько-нибудь значительного произведения, в котором в той или иной степени не были бы отражены происходящие ныне революционные процессы. Главными героями этих произведений, почти как правило, выступают молодые люди. Это вполне логично и понятно. Взгляните на карту Латинской Америки. Знамя свободы, водруженное молодыми кубинцами, реет на Острове Свободы. Под знаменем свободы сражается — уже не в литературном, а буквальном смысле этого слова — молодежь Доминиканской Республики и Перу, Гватемалы и Венесуэлы, Колумбии и Гаити. И нет сомнения, что их борьба вдохновит еще многих писателей.

Те факты литературы и жизни, о которых шла речь в дискуссии, еще раз говорят нам о том, как бесконечно разнообразен и богат неисчерпаемый океан человеческих судеб, который мы называем «жизнь современной молодежи». Тема молодости, тема «отцов и детей» постоянно встает в искусстве по-новому, потому что она постоянно встает по-новому в жизни. Заново открывая для себя старые истины, придирчиво проверяя опыт отцов, продолжая их борьбу, молодежь каждой страны, каждого народа подходит к решению своих задач, поставленных перед нею эпохой.

Наш век — век контрастов и стремительного движения вперед. Жизнь меняет свои формы буквально на наших глазах. Молодое поколение и в жизни, и в искусстве предстает перед нами бурным, пестрым, неоднородным. И как всегда, глубинные процессы, рождающиеся в гуще народной жизни, оказываются важнее и долговечнее, чем многое, лежащее на поверхности, становящееся модой. Настроения пассивности, безысходности, затрагивая молодежь, быстро утрачивают свою мнимую привлекательность под напором органически присущего молодости здорового, светлого мироощущения. Бесцельный протест, как бы ни был он громок, быстро сходит на нет, уступая место осознанию целей борьбы. Хаос мыслей и чувств, порожденный реальными сложностями нашей эпохи, отступает перед силою постижения уроков общественного развития. Молодежь каждодневно на своем опыте учится «постоянству разума» (вспомним название романа Васко Пратолини, одного из лучших романов о молодежи наших дней), учится созидательной активности, учится действовать. Так осуществляется поступательное движение человечества.

Когда говорят о молодежи, думают о будущем мира. Чуткий свидетель своего времени, литература убеждает нас в том, что сейчас повсюду, на всех континентах, молодежь не только ищет ответа на вопросы: как жить? во что верить? к чему стремиться? — но и претворяет свои идеалы в жизнь.

Проблема ответственности за судьбы народов, за судьбы человечества, за то, куда идет история,— а в наш двадцатый век, век космоса, перед каждым мыслящим человеком вопрос стоит именно так широко,— требует разных решений от молодых людей разных стран. Для одних — это укрепление социалистического настоящего, строительство коммунистического завтра; для других — защита с оружием в руках своей независимости, освобождение своего народа из-под гнета вековой отсталости; для третьих — противодействие реакционным силам, обреченным на гибель, но бешено сопротивляющимся всему новому. Мир и социализм — вот светлая цель, в которой, в конечном счете, сливаются все реки и все ручьи народных движений нашего времени. Молодежь все более осознает опасность, исходящую от реакционных сил, молодежь борется за свободу, молодежь своими руками строит фундамент лучшего будущего человечества.

КНИГИ О МОЛОДЕЖИ

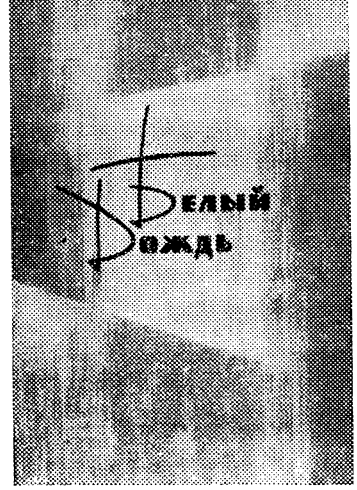
ИСКРЕННИЙ ТАЛАНТ

Думитру Раду Попеску. Белый дождь. Перевод с румынского и предисловие Д. Шполянской. Москва, «Молодая гвардия», 1964. 303 стр.

Среди немногих воспоминаний, которые остаются человеку на всю жизнь,— детство. Тут время обретает обратную силу: чем невозвратимей отдаляется детство, тем оно вспоминается ясней. Утратив более значительные события, память хранит многие мельчайшие подробности тех лет. И странное дело, издали они не кажутся меньше, в свете прожитых лет каждая такая подробность приобретает для нас и особое значение, и новый свой смысл.

Для писателя детство — не только заряд впечатлений на всю жизнь, но в дальнейшем, в зрелые годы, это в какой-то степени пробный камень его таланта. Трудно даже назвать писателя, который бы в той или иной форме не рассказал о детстве. Иногда эта книга оставалась лучшим из всего, что он написал.

О книгах Думитру Раду Попеску пока еще рано говорить в том смысле, какая из них лучшая, хотя бы потому, что автору их всего тридцать лет. Это зрелый возраст для поэта, но прозаики складываются, как правило, поздней. Попеску написал два романа, повесть, рассказы, пьесу; фильм «Улыбка в разгаре лета», поставленный по его сценарию, недавно шел в нашей стране. Написал, вообще говоря, немало. Но лучшая его книга, думается, еще впереди. Лучшая, как ее, наверно, представляет себе сам автор.



Тут следует заметить, что каждый писатель, если он продолжает писать, особенно любит свою будущую книгу, даже мечту о ней. Вот эту не написанную еще книгу он считает главной своей книгой, на нее возлагает особенные надежды, и случается, что ее-то и не успевает написать.

Хотя Попеску сделано уже немало, и в сборнике, переведенном на русский язык, есть большая повесть, мне хочется в первую очередь остановиться на его самом маленьком рассказе «Когда поспевают груши». Это действительно короткий рассказ: всего восемь страничек. И герои его — совсем маленькие дети, которые даже еще не умеют считать дни. Правда, один из мальчиков, Трикэ, в конце рассказа уже взрослый. Его отца убили на фронте, и осенью, надев отцовский пиджак, рукавами подметая улицу, он идет пасти волов. «Жизнь, мать ее...— сказал Трикэ, и мы глядели на него с гордостью: да, Трикэ стал взрослым, научился ругаться».

Это страшная жизнь, если смотреть глазами взрослого человека, потому что нет ничего более несовместимого, чем война и дети. Но дети видят жизнь своими, детскими глазами. Когда пришло известие, что отец убит, Трикэ «плакал, и жаловался, и всхлипывал. Отец обещал привезти ему конфет, когда вернется с фронта...» Но младший, Мариникэ, и этого даже еще понимать не мог: он только начинал ползать и еще не умел говорить. Он сидел в канаве и гладил козочку.

«И я дал ему яблоки, два яблока дал, а Илинка принесла ему ломоть арбуза.

— На, Мариникэ! Ешь, тебе надо расти,— сказала ему Илинка.

И мы смотрели, как он ест и ничего не знает, и жалели его».

Дети не видят то, что видно взрослому, но и то, что видят, не всегда способны понять. Оттого, наверно, взрослые считают, что дети жестоки.

Они не понимают, например, эти маленькие дети, почему женщины в их деревне, завидев старуху почтальона, прячутся за угол дома, за шелковицу и оттуда следят за ней, пока она не пройдет мимо. «Она ходила вечером, когда женщины возвращались с работы, чтобы застать их дома. И если она останавливалась у чьих-нибудь ворот, слышался крик, словно человека ошпарили кипятком. И женщина во дворе начинала голосить, и соседи голосили, а мы не знали — почему. Нам хотелось запустить камнями в голову старухе, чтобы она боль-

КНИГИ МОЛОДЫХ

ше не совала руку в сумку своего сына-почтальона и не вытаскивала оттуда бумажки». Но старуха, проходя мимо детей, давала каждому по яблоку «за упокой души Ионикэ». Ионикэ был ее сын, почтальон».

И хотя трое из них стали в это лето сиротами, а женщины в деревне «высохли и состарились, точно ивы без воды», все же для детей это было счастливое лето, потому что дедушка нашел в лесу и принес им маленькую белую козочку. И когда он пас ее, дети шли за ним по деревне, а Илинка ухватила его за локоть, «как будто это был ее дедушка». Она была такая маленькая — козочка Минодора, что даже еще не умела сама пить молоко. И все лето они кормили ее и играли с ней, а горе пришло осенью, когда поспели груши и лес запах ими. Было слышно вечерами, как они падают в лесу и громко ударяются о землю, и однажды утром Минодоры не оказалось во дворе: ее детство кончилось раньше. Но она еще вернулась к ним, прежде чем уйти навсегда. «И все дети столпились вокруг нее и плакали от радости, точно дураки. А Илинка сплела из цветов венок и надела на шею Минодоры. И мы целый день играли, Трикэ не пошел пасти волов... И пока не выглянули звезды, все дети сидели у нас во дворе, словно пришел какой-нибудь родственник или брат. Но пришла всего лишь Минодора».

В эту осень кончилось детство не только Минодоры, но дети еще не знали этого, они многого не понимали еще. И тем не менее мир, увиденный их глазами, оказался необыкновенно емким. Написанный по свежей памяти, с тончайшим проникновением в психологию ребенка, зримо во всех своих подробностях, маленький рассказ этот вместил целую жизнь. От каждой страницы его веет искренностью и человечностью.

Впрочем, истинный талант всегда человечен. Потому что талант в конечном счете движим любовью, а не ненавистью, он всегда во имя человека, во имя жизни, а не во имя истребления ее.

Есть у Попеску еще одно качество, присущее подлинному художнику: потребность правды. Он пишет жизнь не с точки зрения сложившихся представлений о ней, которые по сравнению с жизнью всегда кратковременны, а пишет ее так, как сам видит и понимает ее. Пишет предметно, точно, во плоти ее и крови. И читатель становится участником происходящих событий.

В повести «Белый дождь», давший название книге, есть сцена, в которой голодные люди постепенно приближаются к тому, что готовы уже убить человека, чтобы поесть на его поминках. Это написано настолько достоверно, так страстно и сильно, так глубоко, что возникают мысли, далеко выходящие за пределы данного конкретного случая. Мысли о фашизме, о том, какими, в сущности, несложными способами превращают человека в зверя; о том, что произошло в мире в эту войну и что грозит людям сегодня.

Это тоже повесть о времени, ставшем уже прошлым, как и большинство вещей, включенных в книгу. О прошлом и рассказ «Моря под пустынями», удивительно светлый рассказ. Он охватывает всего несколько часов — последние часы перед отступлением немцев из румынского города. Герой его в том возрасте, когда человек открывает все, к чему бы ни прикоснулся. Он только входит в жизнь, и все значительно, необычайно значительно все, что происходит с ним. Он открывает любовь, какой еще не знали до него люди. И это обострено тем еще, что жить ему осталось, быть может, последние часы.

«Дети продолжали петь, словно в мире все было безмятежно. Каштан бросал тень, и солнце двигалось, как всегда. И дети хлопали в ладоши». И девушка, которую он любит, после его ухода будет читать книгу с той же страницы, на которой остановилась. Она не знает, куда идет он и что ждет его. Он обещал, что на воскресенье возьмет билеты в кино. И она еще очень молода, чтоб сердце ее само почувствовало тревогу, как чувствует сердце матери. Он смотрит на губы ее, которые не целовал ни разу и не поцелует сейчас, потому что на это у него не хватает смелости, хоть он и не боится взорвать мост.

Только в его возрасте такой бесконечной видится впереди жизнь, только для человека, который полюбил впервые, она так прекрасна. И он уходит, как уходили всегда лучшие, чтоб жизнь продолжалась.

Прошлое это? Да, прошлое Но это такое прошлое, которое не должно исчезнуть вместе со временем. Оно должно вновь и вновь возрождаться в будущем, потому что это лучшее, что есть в человеке: его способность к самопожертвованию, его любовь к жизни и к людям, более сильная, чем любовь к самому себе. И с каждым новым поколением вновь возрождается тревога: окажутся ли они способны взять с собой в дальнюю дорогу все лучшее, что создано людьми до них, донесут ли, приумножив, а не растеряв? Потому что нет будущего вне тех, кто будет жить после нас. Будущее — это они, и оттого так тревожно за них сегодня.

Сколько существует мир и сколько суждено ему существовать, столько живет и будет жить эта тревога, временами особенно острая. Она бесконечна, как сама жизнь, пока поколение сменяет поколение, и она очень кратковременна для одного поколе-

ния, взятого отдельно. Это только говорится, что дети растут медленно. Дети растут так быстро, что порою успевают стать взрослыми раньше, чем становятся людьми.

И все-таки, хотя проблема эта, тревога эта существовала всегда, нам кажется, быть может и не без основания, что она особенно остра в наш век, после всего, что пережило человечество в недавнем прошлом. Остра потому, что прошлое не исчезает, оно стремится стать будущим, возродиться в грядущих поколениях. Будущим стремится стать и то, с чем боролись люди, жертвуя самым дорогим, и то, ради чего люди живут.

Литература не может непосредственно воздействовать на жизнь, изменять жизнь, как нам бы того хотелось. Но она может менять взгляд человека на жизнь, помочь ему отличить истинные ценности от мнимых. В трудное время она может помочь людям остаться людьми.

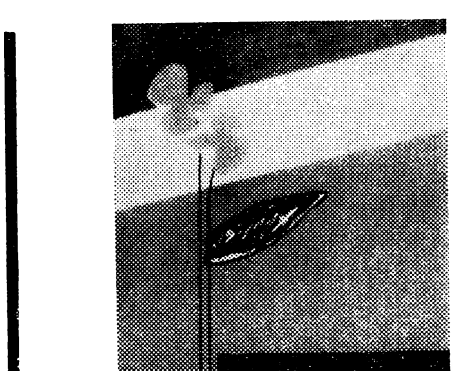
Книги Думитру Раду Попеску, который сам еще недавно был очень молодым, книги человечные, написанные с большой силой искренности, ценны как раз тем, что они помогают человеку на его трудном пути.

Григорий Бакланов

ЗРЕЛАЯ МОЛОДОСТЬ

Веснянка. Рассказы молодых венгерских писателей. Перевод с венгерского. Составитель Е. Малыхина. Предисловие Марии Прилежаевой. Москва, «Молодая гвардия», 1965. 272 стр.

Присмотритесь, читатель, к суперобложке. Белая, чуть наискось вытянутая полоса отделяет на ней верхнюю, темно-розовую, часть от широкого и зеленого поля. Слева его прорезают два черных стебелька с двумя голубыми цветками. Справа внизу белыми буквами по черной полоске — «Веснянка».



Название достаточно символично, чтобы легко расшифровать мысль художника И. Блиоха — к тому же вовсе не зашифрованную. И все-таки не думайте, что символ разгадан до конца, что перед вами живописный намек на весенний расцвет и утреннюю зарю. Красное, белое, зеленое — это цвета национального флага Венгерской Народной Республики. И книжке с поэтичным названием они придают политический оттенок. Он оправдан: книга, составленная из пятнадцати рассказов молодых венгерских писателей, издана к двадцатилетию народной власти.

На мой взгляд, искусство гораздо точнее статистики. Нет такого стихотворения или романа, где можно утаить от читателя ложность идеи, неискренность чувства. В самом наивном, неопытном произведении зачастую независимо от воли автора, а порою и вопреки ей обнажаются черты реальности. И поэтому юбилейный сборник, для которого тщательно отобраны пятнадцать рассказов молодых прозаиков, должен быть ценным свидетельством искусства о жизни братской Венгрии. И в то же время в той же степени — свидетельством роста ее искусства, аттестатом на идейную зрелость взращенных страною за эти годы художников. Иными словами — отчетом молодого поколения о родине, о времени и о себе.

В такой книге существенно все — от выбора тем и уровня мастерства, до выражения лиц на авторских портретах и содержания коротеньких справок «о жизни и творчестве». Кстати, дельная мысль — завершить сборник портретами и лаконичными биографиями; нам вовсе не вредно видеть и знать, кого читаем. Так кто же они, эти авторы?

Они не так уж и молоды. Их средний возраст 34 года 11 месяцев. По дантовским исчислениям, всего лишь тридцать дней не достает им до середины жизни. Но для венгерской, так же как для советской прозы, это действительно молодость. Видимо, социальная и духовная зрелость теперь приходит к художнику позднее, чем в те времена, когда, кажется, самая эпоха и общество бывали романтически юны.

Если даже судить по одним лишь данным анкеты — не понаслышке знают они жизнь. Чернорабочий и токарь, солдат-доброволец и чугунолитейщик — вот с чего начинали они почти все. И если, не заглядывая в анкету, только всмотреться в чуть суровые, напряженные лица на фотографиях — интеллигента в них не отделишь от рабочего или крестьянина. За плечами почти у каждого получившие известность книги. Четверо участников «Веснянки» — лауреаты премий имени Аттилы Йожефа. Понятно, все эти факты нельзя не принимать во внимание, их непременно вспомнишь, когда вчитаешься в рассказы.

Автор предисловия, Мария Прилежаева, говорит, что «молодые венгерские писатели

видят главную опасность в мещанстве». В самом деле, многоликий мещанин, десятки раз перекрасившийся, одетый непременно по погоде и, однако же, фатально попадающий впросак, частенько высовывает свое мурло и уши со страниц рассказов — то лирических и немного лукавых («Желтый подъезд» Эрвина Лазара, «Медленно движется каток» Габора Чонтоша), то откровенно иронических («Стыдливые атеисты» Ласло Камонди) и полных сарказма («Под несчастной звездой» Гергеня Ракоши, «Игнац Воно» Эндре Фейеша), то драматичных («Тирпаки» Лайоша Галамбоша) и подымающихся до подлинного трагизма («Вдовы» Яноша Фюлепа). Именно «Тирпаки» Галамбоша и «Вдовы» Фюлепа кажутся нам лучшими в сборнике.

Отнюдь не вступая в спор с М. Прилежаевой, я все же назвал бы главной темой книги — революцию. Она в остроте социальных конфликтов, на которых строятся рассказы, в самом характере отношений между героями.

Отзвук прошлых классовых битв явственно слышен не только во «Вдовах» (рассказ слишком хорош, чтобы портить его пересказом), но и в самой что ни на есть прозаической коммунальной склоке из-за корыта, электросчетчика и т. п., разыгравшейся между бывшей владелицей роскошной квартиры — и вообще одной из «бывших» — Маргит Шикулой и новыми, поселившимися теперь рядом с нею «пролетарскими жильцами».

Дыхание революции, ее демократическая мораль, труднее побеждающая в будничных стычках, чем в исторических битвах, во всяком случае не столь очевидно, ощутимы и в такой, на первый взгляд, незначительной сценке, какая разыгралась в ресторанчике гостиницы (рассказ Тамаша Пинтера «Черное и белое»). Он — грузчик на железной дороге, сейчас — в нейлоновой рубашке с набитым бумажником. Она — прелестная девушка, с которой он танцевал весь вечер, называя ее Стеклянной вишенкой, из заводской конторы. Сам он назвался журналистом. Она «здорово отшила» какого-то парня из литейного, тоже осмелившегося пригласить ее танцевать. «Журналист» не осознал, он всеми клетками почувствовал классовую симпатию к этому «наглецу» и презрение к Стеклянной вишенке.

Но это лишь штрих, деталь. Главный же пафос революции, конечно, в исторической битве социального переустройства, в динамичности и ритме жизни, который нельзя искусственно создать в литературе, если его нет в действительности.

Революция выступает в рассказах как все обновляющая, созидающая, неутомимая сила. У нее огромный напор. Она всех захватывает в свою орбиту, даже холодных созерцателей, равнодушных скептиков. Людей безучастных в рассказах нет. Есть трудовая Венгрия, которая строит дома, ремонтирует автомобили, разумеется, она распевает песни, смеется, ворчит, иногда подхалтуривает, а порой вовсе не прочь выпить; ее быт меняется на глазах. Она живет полнокровно и напряженно.

Одно время революция была готова обогнать самое себя и любой ценой, не считаясь с людьми, с их чувствами и даже жизнью, вырастить «райский сад» — понятно, для их же блага. На эту подсказанную периодом культа личности тему написан рассказ «Тирпаки», появление которого в сборнике, думается, принципиально важно. Оно говорит о том, что опыт трудных лет осознан. Никто из участников сборника не превращает героя в средство для выполнения производственного задания. Человек здесь в центре, а все остальное — дело рук его. Именно он — цель и высший смысл, «венец творения». Именно выстраданным и активным гуманизмом можно объяснить, почему столь часты в рассказах столкновения между высоким идеалом и низменным интересом, чувством товарищества и шкурным расчетом. Авторы вовсе не склонны стыдливо или бесстыдно умалчивать, что есть вокруг них беззастенчивые хапуги, лицемеры, бюрократы, людишки «со всячинкой». Очевидно, молодая проза Венгрии хорошо сознает, что изменить правде значило бы изменить революции, и, сознавая это, учится трудному искусству верности, искусству видеть и говорить правду.

Конечно, эта проза реалистична: отношение авторов к жизни слишком серьезно, чтобы размениваться на такие пустяки, как формалистические изыски.

Закрывая книгу, гораздо яснее, чем прежде, видишь страну, прошедшую не простой и не легкий путь к социализму, путь, освещенный с трезвых и мужественных позиций. Видишь перед собою строящую и мыслящую Венгрию, ее молодежь, чувствуешь зрелую молодость ее искусства.

М. Кораллов

В ПОИСКАХ НОВОГО СЛОВА

Auswahl 64. Neue Lyrik, neue Namen. Berlin, Neues Leben, 1964.

Время от времени в литературе возникает понятие «поколение». Слово это неточное, и все-таки оно оправданно, когда речь идет о людях, связанных общностью биографий и направлением литературной работы. В немецкой социалистической поэзии все заметнее сейчас поколение поэтов, родившихся в десятилетие от 1930 до 1940 года. Общность этих поэтов не только возрастная; об этом говорят их стихи, изданные ими коллективные сборники «Проба. 1963», «Солнечные кони и астронавты» и особенно недавняя «Антология 1964 года», вышедшая с подзаголовком «Новые стихи, новые имена».

Есть особый смысл в том, что такие книги, как «Антология 1964 года», появляются именно сегодня и становятся серьезным

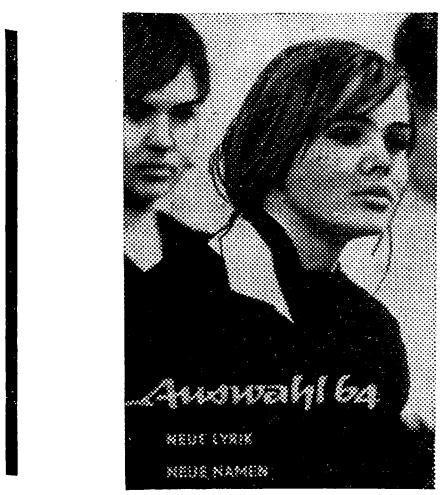
литературным фактом. (Это не значит, что в антологии нет случайных и слабых стихов, они есть, но дело не в них.) Те, кто читал, например, «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля или новую прозу Эрвина Штриттматтера, знают, что немецкая литература вступила сегодня в полосу новых исканий и новых открытий. В этом обновлении участвуют и молодые писатели.

Немецкая поэзия прошлых лет в годы бурного и трудного обновления часто воспевала человеческие толпы, массы, в которых отдельное лицо разглядеть было почти невозможно. В известном смысле это было закономерно, но постепенно, переходя из стихотворения в стихотворение, прежние формулы теряли часть своей силы, воспринимались как слишком знакомая всем литература.

Уже в размышлениях Бехера о поэзии начала пятидесятых годов, пишет молодой немецкий критик Ганс Рихтер, был высказан «новый взгляд» на литературу, трезвый и требовательный, удививший многих; была дана новая программа работы. Сегодня эта программа из наброска, гипотезы, поэтической формулы становится реальностью. Интерес к поэзии велик, как никогда раньше. Почти в каждом свежем номере журнала появляются имена молодых поэтов.

Эти поэты не похожи друг на друга. Юрген Ренерт (год рожд. 1943) или Герд Эггерс (год рожд. 1945) печатают сегодня свои первые стихи, а Гейнц Калау уже 10 лет работает в литературе. Но общее между ними есть.

Никто из этих поэтов не стремится писать исключительно о себе, но каждый из них знает, что без его собственной биографии биография страны не будет полной. Он хочет найти в своей биографии, в своем опыте то, что может быть интересно для всех. Так в лучших стихотворениях образуется сплав личного опыта и истории.



Действительность новой Германии, ее историческая правота стала для этой молодежи тем отправным пунктом движения мысли, который не нуждается в обязательном повторении. Но именно это и придает писателям смелость. В своих стихах молодые люди — студенты, библиотекари, врачи, рабочие или дети рабочих — открывают заново и закрепляют и свое поэтическое «я», и ту живую современность, которая властно требует от них нового слова.

Другая особенность этих стихов — внимание к слову. Каждое слово должно бороться за свое место в стихотворении; в этой борьбе естественно искать союзников. И если в некоторых стихотворениях можно найти отголоски прочитанного: то Брехта, то раннего Бехера, то экспрессионистов, а иногда и Элюара, Лорки, Пабло Неруды, иногда, наконец, следы чтения современных западногерманских поэтов (таких, как Энценсбергер),— то не следует ставить на этих стихах штемпель подражательности. Это путь к своей теме. Тем более что среди молодых поэтов очень заметно и стремление найти свои, ни на кого не похожие слова, например, в стихах молодых лириков Уве Грессмана и Франка Титтмана.

Настоящая поэзия узнается по первой строке, первому слову. Когда Гюнтер Вюнше пишет свой городской пейзаж с бурным солнечным закатом: «падающее солнце зацепилось за высокие трубы» и «алая медная капля по закопченной травинке сбегает в черную чашу ночи»,— здесь сама неожиданность сопоставлений высекает поэтическую искру. Мы словно резче видим небо, фабричные трубы, красный обломок солнца, весь этот небольшой, но отчетливый фрагмент из пейзажа немецкой столицы. Когда Анжелика Круммахер, двадцатилетняя художница, пишет в своем стихотворении, что ветер мчит мысли, как крупные пестрые листья,— мы запомним и эти стихи. Запомним метафору, соединившую мысль человека с переменами осенней природы. Когда Бернд Йенцш, обращаясь к годам нацизма, пишет: «в чащах мертвых улиц и чертежах птичьих полетов — мы пробудились»,— то и в этих строках, неожиданных, как выстрел, в стихах, где сформулирована духовная биография многих молодых немцев, ощутим поэтический заряд. И когда, наконец, Фолькер Браун в яростных, бурно-наступательных, захлебывающихся от волнения строках (в их широком и сильном движении слышится как бы дальний отголосок мощных поэм Уолта Уитмена) говорит о «море ожиданий», играющем плотными мускулами, о дерзких замыслах молодости, когда поэт спрашивает у притихшего обывателя:

Кто здесь тоскует по эполетам кайзера?
Звездное небо надело на плечи нам свои
эполеты!

— в этих стихах мы слышим не только новый поэтический тон. Здесь есть новое ощу-

щение жизни, ощущение человека, который чувствует себя кузнецом своей судьбы, своего счастья.

Наступательная сила молодой немецкой поэзии неоспорима. Наступательны ее образы, ритмы и самый ее смысл, обращенный, как призыв, к сознанию каждого человека. Эти стихи хотят преодолеть инерцию обычных представлений, они хотят пробиться к сознанию человека, который обычно никаких стихов не читает. Конечно, эта наступательная сила ощутима и в стихах старших участников антологии, в стихах Йенса Герлаха о судьбе Германии, о ее «расколотом небе», в коротких стихотворениях Иоганнеса Бобровского, значительных и по замыслу и по своей сдержанной, сильной поэтической дикции, в двух стихотворениях Пауля Винса, написанных в духе стихотворных «назидательных историй» Бертольта Брехта. Но если уж вспоминать о Брехте, то нельзя не сказать о двух талантах, двух поэтах, которые особенно многим обязаны Брехту, его поэтическому примеру и его личному участию в их судьбе. От Брехта и подчеркнутый демократизм их лирики, которая полностью посвящена «славе безымянных людей», и ее трезвый, будничный тон, нелюбовь к фразе, и ее рассудочность, иногда чрезмерно суровая. Эти два поэта — Гейнц Калау и Гюнтер Кунерт. Оба еще молоды: Калау родился в 1931 году, Кунерт — на два года раньше. Гейнцу Калау в прошлом году была присуждена премия имени Генриха Гейне.

Стихи Калау часто написаны без рифм, подобно многим стихам Брехта, они просты, как газетное объявление, но в них есть немногословная теплота и важная мысль, которая и делает эти простые слова поэзией.

Такая же строгость, сосредоточенность на самых трудных, на самых наболевших темах еще резче выражена в лирике Гюнтера Кунерта. Слово «лирика» — в обычном значении — к его стихам как будто мало подходит; сам поэт предостерег читателя на этот счет, озаглавив свой первый, давнишний сборник очень прозаично: «Надписи и дорожные указатели». И все же эти стихи — трезвые, рассудочные, обладающие значением и весом точного факта,— не холодны, не бесстрастны; в них есть большая внутренняя сила. Действительно эти стихи сегодня стали предостерегающими знаками на тех дорогах, по которым не так давно шли миллионы немцев.

В стихотворениях молодых немецких поэтов мысль нередко преобладает над непосредственным впечатлением. Хорошо это или плохо? Нельзя на этот вопрос дать универсальный ответ; но эта черта вообще глубоко свойственна немецкому искусству, ее можно найти у многих писателей — от Гете до Брехта. Задолго до того, как Брехт предложил драматическим писателям отказаться от методов внушения и искать «аргументы», Винкельман писал: «Кисть, которой работает художник, должна быть погружена в разум». Если у такого художника «будет сюжет, избранный им самим... то искусство вдохновит его и пробудит в нем тот огонь, который Прометей похитил у богов. У знатока будет над чем призадуматься, а обычный любитель научится думать».

Это было написано давно, в 1754 году. Но это живые слова, к которым стоит прислушаться сегодня. Нет сомнения, что великий немецкий мыслитель, говоря о «разуме», имел в виду не какую-нибудь предвзятую и отвлеченную истину, а живой разум, который учит художника не бояться трудностей и искать правду. В стихах поэтов ГДР нас волнует не только молодость чувств, но и свидетельства мысли.

Г. Громан

ПЕРЕСТУПИ ЧЕРТУ...

Онуора Нзекву. Жезл Офо. Роман. Перевод с английского Б. Носика. Предисловие В. Ивашевой. Москва, «Молодая гвардия», 1964. 208 стр.

Таинственная, необъяснимая смерть унесла юную Ннеку в канун ее свадьбы. Внезапная кончина девушки взбудоражила всю деревню. На похоронах люди толковали о том, что Ннека была, видимо, одной из тех «злокозненных душ», которые лишь на время поселяются на земле и в определенный день должны вновь вернуться в мир духов. В действительности же, конечно, все обстояло проще и трагичнее — Ннека покончила жизнь самоубийством. Когда-то торговка прокляла на рынке беременную женщину и ее будущего ребенка. Этим ребенком и была Ннека. По древнему преданию в день свадьбы девушки должен был умереть ее муж. Узнав об этом, Ннека решила уйти из жизни и тем самым спасти возлюбленного.

Тесное переплетение современного образа жизни с древними обычаями и верой в неограниченную власть жрецов, характерную для многих стран Африки, показал в романе «Жезл Офо» молодой нигерийский писатель Онуора Нзекву. Буквально на каждой странице романа идет борьба нового со старым, с темными силами суеверия и предрассудков. Но, увы, победа остается зачастую на стороне темных сил. В предисловии к русскому изданию романа В. Ивашева говорит о том, что тяжелый конфликт, в который оказались втянуты герои Нзекву, «воспринимается африканским читателем как явление почти повседневное. Он чрезвычайно типичен и не содержит в себе никаких преувеличений автора».

Герои романа «Жезл Офо» Питер Обизи и его невеста Ннека — представители молодой африканской интеллигенции. Питер — журналист, он живет и работает в большом городе Лагосе, Ннека — сельская учительница. Эти молодые люди в чем-то важном

и принципиальном отошли уже от дедовских обычаев, освободились от многих предрассудков. Оба они считают, что главное сейчас — образование, что брак должен основываться прежде всего на взаимной любви, хотя из поколения в поколение вопрос этот решает совет родственников. «Времена переменились. Старый образ жизни уступает место новому»,— говорит Питер Обизи. И тем не менее он сам и его невеста Ннека не переступили еще черты прошлого, над ними еще господствует страх перед всемогущим идолом Ийи Оча. Это и губит Ннеку, ломает жизнь Питера.

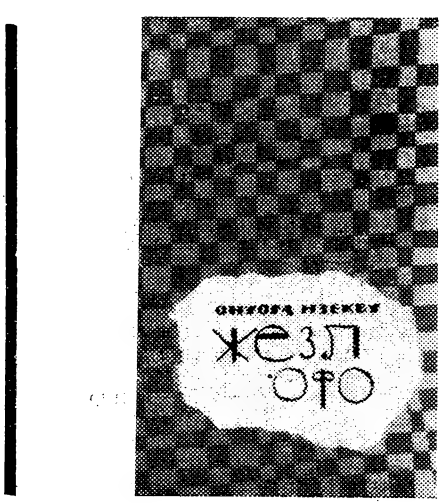
Роман Нзекву знакомит читателя с бытом, нравами, обычаями народа ибо, одного из основных народов Нигерии, с его ритуалами и обрядами — свадебными, праздничными, похоронными. Все это воссоздает перед глазами читателя живые картины Африки. В отличие от тягостных религиозных обрядов светел и поэтичен праздник полнолуния, который стал ночью первого свидания влюбленных Питера и Ннеки. Деревенская площадь, окруженная вековыми деревьями, величественна в своей первозданной красоте. Поющие в ночи голоса созывают народ:

Кто веселиться под луной
На праздник не придет,
Пусть рыбья косточка тому
В горло попадет.

Даже дети не спят в эту ночь, до рассвета они играют, поют и танцуют на площади...

«Жезл Офо» — первая книга журналиста Онуоры Нзекву, снискавшая ему признание и популярность. И хотя литературное мастерство молодого писателя в ней еще недостаточно совершенно, это произведение представляет интерес своей злободневностью, свежестью, показом конфликтов, возникающих на пути африканских народов к новой жизни.

Л. Бакашова



ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

В 1960 году издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет книгу стихов молодых поэтов Индии, сборник этот положил начало интересной серии — «Молодые поэты мира». Пока на ее литературной карте много белых пятен: Африку представляют поэты арабских стран, Азию — Индия и Индонезия; из двух Америк — только Южная, из европейцев — одни болгары.

Не все сборники одинаково удачны: латиноамериканцы явно сильнее. Но дело в конце концов не в том, чтобы выявить солистов, да это и невозможно — поэты представлены в этих сборниках, как правило, одним-двумя стихотворениями — надо услышать хор. Его разноязычность оглушает.

Но вот наступает момент, когда в этом нестройном хоре самых разнообразных чувств тебе открывается строй. Поначалу самый элементарный: просто начинаешь отмечать, какие в чужеземной речи чаще всего употребляются слова.

Чаще других — «голод».

Казалось бы, это можно было предвидеть: большинство переведенных поэтов либо из колониальных стран, либо из стран, только недавно сбросивших колониальное иго. Однако даже примелькавшееся на газетных страницах и в кинохрониках, безликое в статистических сводках, в поэтической «оркестровке» оно звучит оглушительно.

Индия: «Дети спят на соломе, и сны их — только о хлебе».

Индонезия: «День встает над тобой с пересохшим ртом»...

Ливия: «Здесь дышат грязью и позором, здесь голод бродит по земле, здесь недоношенные дети рождаются в подвальной мгле».

Марокко: «Голод и смерть — ангелы-хранители всюду следуют за тобой».

Аргентина: «Господи... Если ты есть, сойди с вышины, потому что я умираю от голода...»

Уругвай: «...драма человека и пустых карманов, драма просящего есть башмака, драма урчащих упрямо пустых животов, не внемлющих добрым советам голода».

Голод — это будни:

А день —
весь в морщинах,
как твое лицо.
А лицо твое —
как твоя еда.
А еда
пуста,
как твои шаги.

(Мухаммед Азиз Лахбаби, «Феллах». Перевод М. Курганцева)

Невозможно разорвать эту цепь... Но голод — это еще и один из ликов какого-то зловещего божества:

Одна голова — пламя,
другая — голод,
третья — изгнанье.
Перья топорщатся яростно
над жилищами из камыша...

(Педро Лайа «Родина лета». Перевод М. Самаева)

Там, где висит в воздухе эта трехглавая птица,— полюс отчаяния, за ним—ничейная полоса, полоса страха:

Существованье шепотом, а после — смерть
вполголоса,
Язык и галстук, скрытые распахнутой
газетой,
И всюду люди с пальцами, прижатыми
к губам.
И тишина бледнее, чем пекарь в час
кончины.
. . . . . .
На что уж этот стих — и тот от страха
бледен.

(Карлос Кастро Сааведра, «Страх». Перевод П. Грушко)

Но сквозь фантасмагорию страха пробивается слово, по которому сегодня настраивается надежда. Слово это — революция, «брод в бездонной реке печали».

Революцией беременны воздух, вода, земля. Даже цветок — не цветок: «крик растения, которое хочет взмыть из земли, чтобы достать до небес, коснуться воздуха, звезд».

Революция — «костер, разгорающийся на холодной равнине», чтобы вдруг вспыхнуть, как вспыхнул он на тростниковой Кубе, превратив ее в «пылающий остров».

Революция — это сегодня, революция — это реальность. Революция «врывается в стих», вписывает в него свои лозунги. «...Нужно переделать мир — очистить его, словно старый котел, на котором столетняя сажа» (Марокко). «Начинается новая эра — эра Сорванных Пут, и Разбитых Оков, и Расправленных Плеч» (Судан). «Пепел Марти стучится в сердце мое» (Индонезия).

«Товарищам потомкам» стихи эти, быть может, покажутся архаичными и даже недостаточно поэтичными, но эстетические нормы устанавливает время. А по сегодняшним эстетическим нормам революция и поэзия «рифмуются», и кубинские молодые поэты рифмуют их превосходно. В их сборнике почти нет просто стихов — гимны в честь героев и жертв революции.

Молодые поэты Индии. Составление, предисловие и примечания Е. Челышева. Москва, «Молодая гвардия», 1960. 160 стр.

Они были бы высокопарными, если бы чувство, родившее их, не было так откровенно, так молодо, так естественно: для кубинских поэтов революция стала судьбой: бездомным она вернула родину, униженным — достоинство, отчаявшимся — смысл жизни, разделив их «время» на «до» и «после».

Существование этих двух полюсов — полюса надежды и полюса отчаяния—определяет сегодня выбор пути. Сегодня нет, наверно, ни одного поэта, который бы верил, что время можно переждать, перехитрить, обыграть в жмурки.

Старый рылеевский стих: «Я не поэт, я — гражданин» время переписывает второй раз: если хочешь быть поэтом, будь гражданином. Иначе тебе не спастись, не сохранить себя, иначе станешь «марионеткой»...

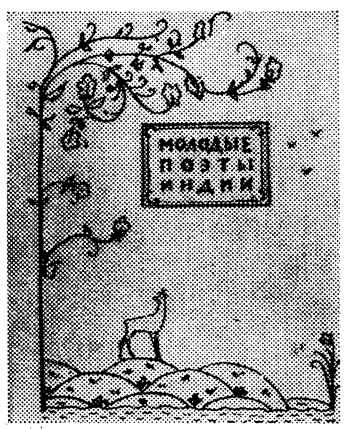
Наверно, поэтому сегодня имеет такой резонанс поэзия Маяковского. Единственный, «ни с кем не схожий», «умноженный на всех», как единица в цифре 1 000 000, таким он видится перуанцу Хуану Гонсало.

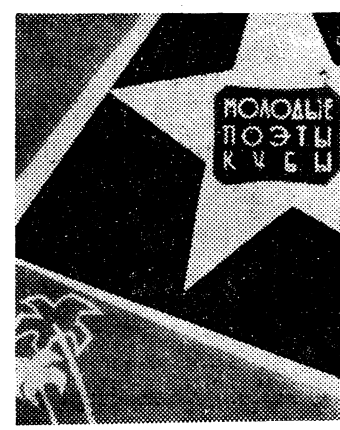
Став знаменем Революции, которому присягают на верность, Маяковский перешагивает с континента на континент — «посол поэтов России, великан из легенды», сам легенда — легенда о Маяковском обгоняет его стихи. Став легендарным, он словно бы утратил подробности — почти символ, как его Иван из «150 000 000».

В этом ничего удивительного нет, удивительно другое: в стихах многих латиноамериканцев Маяковский говорит, «как живой с живыми». Поэтам Латинской Америки пришлись впору и его свободные ритмы, и его монументальные образы, и его страстность, и его максимализм.

Выбор направления, естественно, определяет и характер поэзии. Сегодняшняя молодая поэзия мира сознательно, декларативно

Молодые поэты Кубы. Перевод с испанского под редакцией Д. Самойлова. Предисловие Эберто Падильи. Москва, «Молодая гвардия», 1963. 104 стр.





предпочитает поэзию «полезную, похожую на прозу», поэзию, «преданную суровым вещам», поэзию, которая не опускает «перед правдой глаз», поэзию, которую народ любит «за прямоту, за откровенность», поэзию, сеющую «жестокой правды семена».

Эти слова принадлежат четырем поэтам из четырех стран: иракцу Абд аль-Ваххаб аль-Баяти, кубинцу Роберто Фернандесу Ретамару, индонезийцу Азизу Акбару и индийцу Пурушоттаму Шиварану Реге.

Четыре разные поэтические традиции — и такое удивительное единодушие во взгляде на задачи современной поэзии!

Сегодня главное — знать,
откуда займется пожар,
откуда исходит боль,
какими путями стремятся
исполинские ветры.

Сегодня главное — знать,
к чему приведут усилия,
где останется небо,
и выяснить, почему,
почему не имеют хлеба
те, кто хлеб собирает...

(Атилио Хорхе Кастальподжи, «Мокрые спины». Перевод Е. Солоновича)

Это сегодня в крови — невозможность любить только «розы», июньские приливы и «лунный свет», время, сформировавшее душу, сформировало ее таким образом, что она может любить

цветы и справедливость,
прибой и справедливость,
луну и справедливость...

(Хуан Гонсало, «Письмо к Марии Тересе». Перевод Г. Кикодзе)

Строчки эти, написанные латиноамериканским поэтом,— почти формула. С ее помощью можно записать и суть того процесса, который в последние годы изменил характер нашей молодой поэзии, резко повысил ее гражданский тонус. Поэмы «Братская ГЭС» Е. Евтушенко, «Лонжюмо» А. Вознесенского, «Моя родословная» Б. Ахмадулиной рождены желанием выяснить, «к чему приведут усилия».

На первый взгляд, этим фактам противоречит отчетливо обозначившийся в советской молодой поэзии спрос на поэзию мечтательную, романтическую, пренебрегающую, если вспомнить пушкинского Моцарта, «презренной пользой» (успех «Кораблика» Новеллы Матвеевой мне представляется не случайным). Но это противоречие кажущееся: на мой взгляд, успех этот наверняка означает только одно — время разрешило и поэту, и читателю свободу выбора.

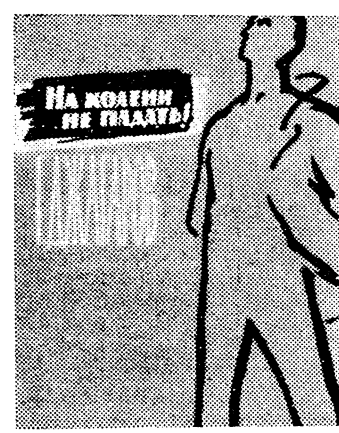
А впрочем, среди поэтов всегда были чудаки и мечтатели, умеющие «достать жемчужину» со дна чайного стакана... Мне эти слова Новеллы Матвеевой вспомнились в связи со стихотворением индийского поэта Шунила Гонгопадхая о чудаке-поэте, которого трезвые и деловые люди считают «глупцом и ребенком», «болтающим о чудесах», о чародее в «поношенной куртке», обитателе странного дома, в котором «огромная крыша и нету стен». Вообще индийцы знают цену «опьянению жизнью», знают, что есть не только цвета, но и оттенки. Но это уже из стихотворения индонезийского поэта Аипа Росиди:

Шел за цветом одним, но оттенков так много.
Был однолюб, но так разнолика любовь!
Рядом — немилые, близкие — слишком далеко.
. . . . . .
Я считаю все звезды, с которыми расстаюсь.
Я все луны кладу на ладонь, чтобы взвесить.
Путь нахожу среди множества разных дорог
и заблудиться могу на дороге одной.

(«Паку Саиду, учителю». Перевод Т. Сарыщевой)

Дамян Дамянов. Пусть окно распахнется. Стихи. Составитель Т. Карпова. Перевод с болгарского М. Кудинова. Москва, «Молодая гвардия», 1962. 76 стр.

Г. Джагаров. На колени не падать! Стихи. Составитель Н. Глен. Авторизованный перевод с болгарского Е. Евтушенко. Москва, «Молодая гвардия», 1961. 64 стр.



Но голоса «в тональности» Росиди заглушаются все-таки хором; у хора другие песни:

В моем краю рассвет расстрелян смертью.
Пока во мраке выстрелы слышны,
писать стихи могу я только кровью,
я — рана на груди моей страны.

(Карлос Кастро Сааведра, «Колумбия в огне». Перевод П. Грушко)

Твои глаза не смеют любоваться
чарующим мерцанием ночей,
пока тоска, отчаянье и рабство
глядят на мир из тысячи очей.

(Иссам Хаммад, «Так говорила природа поэту». Перевод М. Курганцева)

Аип Росиди... Шунил Гонгопадхай — это «оттенки»; цвет, за которым идет большинство,— один.

Революция
В двери стучится.
Революции надо помочь,—

пишет иракский поэт Абд аль-Ваххаб аль-Баяти в своей «Песне Багдаду».

Тот, кто взялся «помочь революции», говорит и индонезиец Ардан С. М., тот должен помогать делом. «Ведь иначе нельзя. Иначе — предательство».

Но поэт не ставит здесь точку:

...есть конец дороге этой длинной.
Надежда есть, что все-таки иссякнет
источник слез.
. . . . . .
Мы свечи.
Мы и звезды.

(«Вечерняя прогулка». Перевод Н. Коржавина)

Пока половина человечества голодает, пока жизнь, замордованная унижением и голодом, уступает себя «за сходную цену», пока война «пахнет платьем девочки сожженной», поэт, чтобы не предать самого высокого в себе, должен стать «свечой», чтобы осветить, накормить, поднять с колен.

Молодые поэты арабских стран. Переводы с арабского и французского. Переводчик стихов и автор предисловия Михаил Курганцев. Редактор переводов В. Костров. Москва, «Молодая гвардия», 1965. 152 стр.

Слушайте! Стихи молодых поэтов Латинской Америки. Составитель сборника П. Грушко. Переводы с испанского, португальского и французского под редакцией В. Столбова. Предисловие Л. Осповата. Примечания П. Грушко и М. Самаева. Москва, «Молодая гвардия», 1961. 239 стр.

Как бы благородна ни была миссия «накормить, осветить, поднять с колен», не она дальняя, главная цель революции, так же как служение «пользе» — не единственная цель поэзии. Придет конец длинной дороге голода и горя, и поэты будут, наверно, чаще вспоминать, что они не только «свечи», но и «звезды».

А. Марченко

Молодые поэты Индонезии. Составление, предисловие и примечания Вил. Сикорского. Редактор переводов М. Самаев. Москва, «Молодая гвардия», 1965. 134 стр.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1965 год (№№ 1—12)

К 95-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Дюрко, Ласло — С мыслью о Ленине, № 4.

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ МИРА

Альберти, Рафаэль — Друзьям. в Испанию, № 5.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, КИНОСЦЕНАРИИ

Абрахамс, Питер — Венок Майклу Удомо (Роман. Вступление Евг. Долматовского), №№ 2—4.
Апдайк, Джон — Кентавр (Роман. Послесловие Д. Гранина), №№ 1—2.
Барстоу, Стэн — Любовь... любовь? (Роман), №№ 11—12.
Берланга, Луис; Аскона, Рафаэль; Флайано, Эннио — Палач (Киносценарий. Послесловие М. Ромма), № 11.
Блажкова, Ярослава — На попутных машинах (Новелла), № 4.
Бош, Хуан — Две новеллы, № 11.
Ван Ан — Рассказ о единственном сыне (Рассказ), № 11.
Виейра, Луандину — Как заколдовали предателя (Рассказ), № 8.
Гари, Ромен — Я ем ботинок (Рассказ), № 7.
Грин, Грэхем — Бедняга Мэлинг (Рассказ), № 1.
Де Мумма, Кар — Церквушка. Подающий надежды (Рассказы). № 7.
Диас Гомес, Алфредо—Вторжение (Пьеса), № 1.
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЫ (Рассказы), № 4.
Ионеско, Эжен — Носорог (Пьеса. Послесловие Н. Наумова), № 9.
Камонди, Ласло — Последняя игра (Рассказ), № 1.
Кёппен, Вольфганг — Смерть в Риме (Роман), № 10.
Килленз, Джон Оливер — И тогда мы услышали гром (Роман), №№ 4—6.
Ла Гума, Алекс — И нитка, втрое скрученная... (Повесть), № 12.
Лец, Станислав Ежи — Непричесанные мысли (Афоризмы), № 1.
Маршалл, Алан — Искусство отвечать и другие рассказы № 1.
Мештерхази, Лайош — Свобода (Рассказ), № 4.
Миллер, Артур — Это случилось в Виши (Пьеса. Вступительная статья Т. Кудрявцевой), № 7.
Минь Тхюи — Выстрелы в день перемирия (Рассказ), № 11.
Мнячко, Ладислав — Марксова улица (Рассказы из любимой книги), № 2.
Молнар, Золтан — Вступление в должность (Рассказ). № 4.
Накадзоно, Эйсукэ — Доброволец Корпуса мира (Рассказ), № 8.
Нарайан, Р. К.— День астролога (Рассказ), № 8.
Нарайан, Р. К.— Как я боролся с дорожным катком (Рассказ), № 1.
Нгуен Динь Тхи — Пленный негр (Рассказ), № 11.
Отеро Сильва, Мигель — Пятеро, которые молчали (Роман), № 3.
Пристли, Джон Б.— Сэр Майкл и сэр Джордж (Роман), №№ 8—9.
Райв, Ричард — Кафе у дороги (Рассказ), № 8.
РАССКАЗЫ ВЬЕТНАМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 11.
Руткевич, Мария — Граница бытия (Повесть), № 5.
Сабо, Иштван — Весенним днем (Рассказ), № 4.
Ставинский, Ежи — Пингвин (Повесть), № 12.
Фан Ты — Братья (Рассказ), № 11.
Фекете, Дюла — Старый доктор (Повесть), № 9.
Фриш, Макс — Бидерман и поджигатели (Поучительная пьеса без поучения, с эпилогом), № 5.
Фучеджиев, Дико — Небо над Велекой (Повесть), № 6.
Фуэнтес, Карлос — Смерть Артемио Круса (Роман), №№ 7—8.
Шаллюк, Пауль — «Смерть запаздывает» (Рассказ), № 7.
Шекли, Роберт — Фантастические рассказы (Предисловие А. и Б. Стругацких), № 5.
Штриттматтер, Эрвин — Оле Бинкоп (Роман), №№ 7—10.
ЮМОР, №№ 1, 7.

СТИХИ

Арагон — Меджнун Эльзы (Одержимый Эльзой), № 4.
Аргези, Тудор — Возвращение к борозде. На грани дня и ночи. Ушла. Грядущим поколениям, № 11.
Бенюк, Михай — Сорок ступеней. На струнах времени. Цветы и шипы. Пробуждение Дон-Кихота, № 11.
Ботез, Демостене — Партии. Словам. Кизил. В Мадриде, № 11.
Буми-Папа, Рита — Признание. Самой себе. Дочь привратника, № 3.
Вреттакос, Никифорос — Песнь хора. Лицо. Без отдыха. Крупица из того, что видит солнце. На перекрестке улиц Эола и Виссы. Пять улиц и человек. Рождение. Глубина капли. Зеленый сад. Упрек, № 3.
Гальегос Мансера, Эдуардо — Луна-партизанка, № 5.
ГОЛОСА, ЗОВУЩИЕ К МИРУ, № 5.
ДА, ЛЕНИН ЖИВ! № 4.
Джуранович, Петар—Мамаев Курган (Поэма), № 11.
Доржпалам, С.— О дружбе, № 7.

Дэвис, Фрэнк Маршалл — Мир — это хрупкая чашка, № 5.
Жебеляну, Эуджен — Песни против смерти (Вступительная статья Ю. Кожевникова), № 7.
Завада, Вилем — Стихи разных лет (Вступление Л. Будаговой), № 5.
Зианг Нам — Деревни ночами не спят, № 9.
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление С. Ильинской), № 3.
Карем, Морис — Маленькие легенды, № 4.
Каррера Андраде, Хорхе — Познавая мир (Вступление О. Савича), № 2.
Касми, Ахмад Надим — Судьба солдата, № 5.
Кларк, Джон — И все-таки в сердце песня... Первый дождь в году. Мосту Иддо. Стада фулани. Ибадан, № 6.
Ливадитис, Тасос — Подвал. Ода. Музыка. Многоликий век. Женщина, № 3.
Лунсайни, Каба — Песня-спутница, № 10.
Незвал, Витезслав — Крылья (В переводах Инны Кашежевой, Юрия Ряшенцева, Игоря Волгина, Юнны Мориц, Валентина Корчагина, Риммы Казаковой), № 12.
Нету, Агостинью — Стихи, № 1.
Не убить, не сломить нашей воли!.. (Из немецкой антифашистской поэзии. Вступление Льва Гинзбурга), № 5.
Новомеский, Лацо — Вилла Тереза (Из поэмы. Предисловие Бориса Слуцкого), № 1.
Обрегон Моралес, Роберто — Моя Гватемала, № 6.
Окара, Гэбриел — К Адиамбо. Снежинки падают медленно. Зов реки Нун. Барабаны и фортепьяно, № 6.
Окигбо, Кристофер — Глаза видят звезды. Любовь в разлуке, № 6.
Параскивеску, Мирон Раду — Камни. Антиколониализм. Плоды света. Хаос и точность, № 11.
Пасиардис, Михалис — Тот, кто пал. Весна, 1964. Убитый ребенок, № 8.
Пеониду, Элли — Кипр. Первый дождь. Камень в Салониках. Ожидание, № 8.
Петров, Валерий—Погожей осенью (Вступление в поэму), № 2.
Пиеридис, Феодосис — Жажда. Отдаленная деревушка. Есть у меня брат... № 8
Пилиотис, Ахиллеас — Смерть певца, № 8.
Поптонев, Стефан — Рождение, № 4.
ПОЭТЫ КИПРА, № 8.
Рицос, Яннис — Древний театр. Ведро. Забвение. Будни, № 3.
Ромеро, Эльвио — Побеги расплаты, № 10.
Саба, Умберто — Короткий рассказ, № 5.
Санчес Васкес, Адольфо — Народный романс о Ленине, № 4.
СТИХИ МОЛОДЫХ (Стефан Цанев, Ада К. Агву, Микулаш Ковач, Наоки Усами, Деннис Брутус, Гейнц Калау, Кошта Андради, Любомир Левчев, Микаэлла Лафонтан, Морин Даффи, В. С. Рендра, Додонг Дживанпраджа, С. Анантагуна, Ференц Барани, Светлана Лилова-Тихомирова, Гаусу Диавара, Эрих Фрид), № 12.
СТИХИ РУМЫНСКИХ ПОЭТОВ, № 11.
Сэндберг, Карл — Позовите следующего свидетеля, № 5.
30 СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ (Роберт Фицджеральд, Ежи Харасымович, Одри Лорд, Давид Шайнерт, Эжен Гийевик, Артур Лундквист, Гейнц Калау, Коррадо Говони, Леопольд Стафф, Бернд Йенцш, Жак Превер, Элио Пальярани, Андре Френо, Эуджение Монтале, Арман Монжо, Эрик Линдегрен, Тадеуш Кубяк, Ингеборг Бахман, Джордж Лав, Карл Сэндберг, Орхан Вели, Элли Пападимитриу, Мэй Сартон, Леопольд Седар Сенгор, Радован Зогович, Роберто Фернандес Ретамар), № 12.
Тувим, Юлиан — Мать, № 5.
Тудэв, Лодойн — Стихи о родине, № 3.
ЧЕТЫРЕ НИГЕРИЙСКИХ ПОЭТА (Вступление Андрея Сергеева), № 6.
Шойинка, Воле — Смерть на рассвете. К ночи. Телефонный разговор, № 6.
Эскалона, Хулия Агустина — Мир будет цвести для нас! № 5.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Данте, Алигьери — Из книги «Рифмы» (К 700-летию со дня рождения), № 6.
Хемингуэй, Эрнест — О любви (Две поэмы), № 9.
Чапек, К.— Портреты и зарисовки, № 1.

КРИТИКА

Анисимов, И.— Эстетика Бехера, № 3.
Гамарра, Пьер — Заметки романиста, № 9.
Гароди, Роже — О реализме и его берегах, № 4.
Днепров, В.— Устарело ли классическое искусство? (Из опыта западного романа), №№ 2—3.
Дымшиц, Александр — Поэзия борьбы и открытий (О романе Эрвина Штриттматтера «Оле Бинкоп»), № 10.
Затонский, Д.— Искусство и миф. № 6.
Карху, Э.— Против призраков прошлого (Заметки о послевоенной финской прозе), № 1.
Кин, Ц.— Зловещие тени прошлого, № 4.
Книпович, Е.— Художник и история, № 8.
Мику, Думитру и Манолеску, Николае — Герой — наш современник, № 9.
МОЛОДЕЖЬ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ И ЛИТЕРАТУРА О НЕЙ («Круглый стол» редакции журнала «Иностранная литература»), № 12.
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОМАНА, №№ 6, 9.
Олдридж, Джеймс — Будущее романа, № 9.
Павлова, Н.— Театр и действительность (О творчестве Фридриха Дюрренматта), № 7.
Песис, Б.— Арагон-поэт, № 4.
РАССКАЗ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА (Форум новеллистов стран Азии и Африки), № 10.
Россиянов, О.— Мертвый хватает живого, № 4.
Старцев, А.— Горькая судьба Фицджеральда, № 2.
Страда, Витторио — Мысли об итальянском романе, № 9.
Сучков, Б.— К спорам о реализме, № 1.
Тертерян, И.— Существует ли «галлюцинирующий» реализм? № 7.
Топер, П.— Жизнь против смерти (Читая новые книги о второй мировой войне), № 5.
Тугушева, М.— Солдаты Джона Брауна, № 6.
Штолл, Ладислав — Коммунизм — ведущая идея будущего (Зденек Неедлы, ученый, борец), № 11.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Абэ, Кобо и Оэ, Кэндзабуро — Время «малых жанров»? № 8.
Бош, Хуан — Возможности рассказа, № 8.
Об искусстве рассказа, № 8.
Призвание художника (Из писем Томаса Манна. Предисловие Т. Мотылевой), № 11.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Лури, Саша — США: Новые книги, новые читатели, № 3.
Моруа, Андре — Новая книга Арагона, № 10.
Наг, Мартин — Куда идет норвежская литература? № 8.
Саболчи, Миклош — Споры вокруг документальной литературы, № 4.
Уотен, Джуда — Прогрессивные течения встречают поддержку, № 7.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Бакашова, Л.— На вулкане. № 2.
Бакашова, Л.— Переступи черту... № 12.
Бакланов, Григорий — Вечер. Ночь, № 1.
Бакланов, Григорий — Искренний талант, № 12.
Беглов, С.— Репортаж с винтовкой в руках, № 5.
Боровик, Генрих — Где поют песни Чангмарина, № 1.
Важдаев, Виктор — Сказки народов — сказки о жизни, № 11.
Воронкина, Т.— Имре Мадач в русском переводе, № 4.
Галлай, М.— Прочитав «всего Сент-Экзюпери»... № 7.
Гордышевская, М.— Свидетель обвинения, № 6.
Злобин, Степан — Славный образ героя, № 5.
Копелев, Лев — Райнер Мария Рильке на русском языке, № 7.
Кораллов, М.— Зрелая молодость, № 12.
Ломидзе, Г.— Талантливое исследование, № 2.
Макаренко, В.— Шум волн гнева народного, № 10.
Марченко, А.— Говорят молодые поэты, № 12.
Матусевич, Вл.— Двадцать лет спустя, № 11.
Петриковская, А.— Дерево крепкой породы, № 3.
Самойлов, Д.— Ронсар в наше время, № 1.
Сельвинский, Илья — Обновленная земля, № 1.
Слуцкий, Борис — Короленко — переводчик Сенкевича, № 11.
Слуцкий, Борис — Плутовской роман, ставший историческим, № 4.
Смурова, Н.— Дверь в новую жизнь, № 3.
Соколов, Вадим — Человек на перекрестке, № 8.
Тертерян, И.— Еще родятся сыновья... № 2.
Тишков, А.— Роман о монгольской молодежи, № 6.
Турков, А.— Жизнь и ее творцы, № 4.
Турков, А.— Отшельник, ушедший к людям, № 6.
Тушнова, Вероника — Голос поэтов Израиля, № 2.
Тэн, А. — У истоков корейской художественной прозы, № 8.
Фейгина, Л.— В борьбе за власть, № 3.
Фейгина, Л.— В пути, № 10.
Эйдлин, Л.— Все живое, № 11.
КНИГИ О ВОЙНЕ, КНИГИ ПРОТИВ ВОЙНЫ, № 5.
КНИГИ О МОЛОДЕЖИ, КНИГИ МОЛОДЫХ, 12.
НОВЫЕ КНИГИ ВЕНГЕРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 4.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Балашова, Т.— Трагическое соло, № 8.
Бочарникова, Е.— Маленькие рассказы Белы Иллеша, № 4.
Василевский, Лев — Рыцарь испанской революции, № 10.
Вильмонт, Н.— Большая игра, № 2.
Вылкован, К.— Репортаж румынского журналиста, № 7.
Гальперина, Е.— Белое и черное, зеленое и красное, № 6.
Голик, И.— Против угрозы новой войны, № 5.
Головин, Е.— Знакомьтесь: шведский клуб лирики, № 1.
Громан, Г.— В поисках нового слова, № 12.
Дашкевич, Юрий — Поэма о человеке, № 1.
Двойченко-Маркова, Е. М.— Толстой в Румынии, № 2.
Долматовский, Евг.— Песнь о независимости, № 10.
Дюрко, Ласло — О «Двадцати часах» Ференца Шанты, № 6.
Жучкова, Галина — Ради свободы народа, № 6.
Злобин, Г.— Люди, обокравшие самих себя, № 7.
Ивашева, В.— Голос искателя правды, № 11.
Ивашева, В.— Завершение трилогии, № 3.
Игнатов, М.— Пропуск в историю, № 5.
Ильинская, С. — Выбор — Сопротивление, № 5.
Ипатов, Е.— На стороне правды, № 5.
Исбах, Александр — Лицом к огню, № 5.
Карельский, А.— Блеск и нищета сатиры, № 6.
Корниш, Пал — В первых рядах, № 4.
Кулаковская, И.— Больше не должны звучать горны, № 5.
Литвинова, Т.— Океан Джона Чивера, № 2.
Малевич, О.— Традиции реализма, № 8.
Мартынов, Леонид — Перевожу новые стихи Гидаша, № 4.
Млечина, И.— Дети и отцы, № 5.
Олегов, Р.— Гонимая поэзия, № 4.
Орлова, Р.— «Скоро, в одно прекрасное утро...», № 3.
Радо, Дёрдь — «Артисты» Габора Гараи, № 4.
Рубин, Вл.— Кэт Уокер — дочь Австралии, № 11.
Ружа, Дюла — Правдивые мемуары, № 4.
Самойлов, Д.— Свидетель правды Миклош Радноти, № 4.

Сепеда, Эраклио — Росарио Кастельянос рассказывает, № 3.
Скороденко, В.— Английский писатель о сицилийской мафии, № 7.
Соколовская, Н.— Агнешка Жванец, учительница, № 1.
Соколовская, Н.— В муках рожденная, № 10.
Соколовская, Н.— Это не стало прошлым, № 3.
Степанов, Л.— Поэзия далекого Сомали, № 11.
Стоянов, Людмил — Главная тема — современность, № 3.
Ульрих, М.— Только в труде красив человек, № 4.
Фиш, Р.— Поэтические выставки Нэфзата Устюна, № 10.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Анастасьев, Н.— Смысл диалога, № 6.
Апт, С.— Лицо переводчика, № 9.
Ваксмахер, Морис — Зерно, в котором зреют колосья, № 4.
Васильев, П.— Принципиальная непринципиальность, № 1.
Владимиров, Н.— О мистификациях, свободе и многом другом, № 6.
Карельский, А.— Диалог о свободе и долге писателя, № 4.
К. И.— Нельзя оставаться в стороне, № 1.
Неделин, В.— Барбарелла и летчики с напалмом, № 9.
Неделин, В.— Миф о «добровольном самоконтроле», или Реваншистская «алхимия логики», № 1.
Орлова, Р.— «Расхождения в стратегии», № 1.
Симонян, Л.— Корни уходят вглубь, № 6.
Тертерян, И.— Мигель де Унамуно и модернизм, № 4.
К 10-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА», № 7.

ПУБЛИЦИСТИКА

Абош, Гейнц — Преступление без возмездия, № 5.
АМНИСТИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ, № 5.
Атаров, Николай — Тинэйджеры, № 12.
Бесси, Альва — Эстафета антифашизма, № 5
Боноски, Филлип — Кто виноват? № 6.
Выгодский, Станислав — Когда решение однозначно, № 5.
ВЬЕТНАМ БОРЮЩИЙСЯ, № 5.
Голуб, Мирослав — Ангел на колесиках (Главы из книги), № 3.
Гутьеррес, Хоакин — Уроки Берлина и Хиросимы, № 6.
ИЗ ДНЕВНИКА ПОЛЬСКОГО ЮНОШИ, № 12.
ИЗ ПРАЖСКОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «Млады свет», 1965, № 12.
Кабьесес Доносо, Мануэль — Венесуэла — о'кэй! (Главы из книги), № 1.
Кеттл, Арнольд — Английская интеллигенция и марксизм, № 3.
Клюге, Александр — Описание одной битвы (Предисловие Константина Симонова). №№ 5—6.
Конан Дойль, Артур — Преступление в Конго (Предисловие и послесловие Виктора Маевского), № 2.
Кунихэн, Ноэл — Слово художника, № 6.
Кьюсак, Димфна — Оружие, несущее жизнь, № 6.
Лалич, Михайло — Естественно, как дыхание, № 5.
Лану, Арман — Трезвость взгляда, № 5.
Лоусон, Джон Говард — История и современность, № 5.
МОЛОДЫЕ О СЕБЕ, № 12.
Мюрдаль, Ян — Чувство ответственности, № 5.
Окамура, Акихико — Пусть люди узнают, № 12.
Оляча, Младен — Это было в Крагуевацe... (Послесловие Бориса Слуцкого), № 5.
Письмо, полученное из Южного Вьетнама, (Писатель Ань Дык — писателю Нгуену Туану), № 5.
ПОКОЛЕНИЕ ИКС (Интервью и письма английских тинэйджеров), № 12.
Прайс, Филипс — Незабываемое время... № 11.
Причард, Катарина Сусанна — Мы отстаиваем будущее, № 5.
Рекемчук, Александр — Мальчики станут отцами, № 12.
Рондьер, Пьер — Размышления о телевидении, № 2.
Саррот, Натали — Миссия художника, № 5.
Сепеда, Эраклио — Ненависть к тем, кто сеет смерть, № 6.
СЛОВО В ЗАЩИТУ МИРА (Анкета «Иностранной литературы», №№ 5—6.
СЛОВО О МОЛОДЫХ, № 12.
Старцев, А.— Джон Рид в предоктябрьские дни, № 11.
Ткачев, М.— Литература на линии огня, № 5.
ФОТОДОКУМЕНТЫ О ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВЦЕВ, № 5.
Фромм, Эрих — Наука, искусство, мир, № 5.
Цвейг, Арнольд — Война станет прошлым! № 5.
Чампи, Ив — Воспитывать ненависть к войне, № 5.
Чаплин, Чарльз — Моя биография (Главы из книги), №№ 1—2.
ЧЕТЫРЕ ИНТЕРВЬЮ — Борис Полевой, Илья Эренбург, Виктор Розов, Юрий Бондарев, № 12.

ДОКУМЕНТЫ

«ПУСТЬ ЭТИ ЛЮДИ БУДУТ ВСЕГДА БЛИЗКИ ВАМ...» (Последние письма казненных гитлеровцами чехословацких коммунистов), № 4.

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСЬМА НА ВОЛЮ (Фаиз Ахмад Фаиз — жене), № 10.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мотылева, Т.— Живой с живыми, № 3.
Новиченко, Л.— В Будапеште за «круглым столом», № 3.
Топер, П.— За «круглым столом» с писателями Финляндии, № 11.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Грюнвальд, Леопольд — Сегодня, в центре Европы... (Об одном юбилее и связанных с ним проблемах), № 7.

Де Мора, Хуан Мигель — Преступление в Санто-Доминго (Раздумья писателя), № 9.

ОЧЕРКИ

Колдуэлл, Эрскин — В поисках Биско (Главы из книги), № 10.

Лундквист, Эрик — Мать-Индия (Главы из книги), №№ 8—9.

ЭКРАН И ВРЕМЯ

Герасимов, Сергей — В спорах о самом главном, № 7.

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Важдаев, Виктор — Льюис Кэролл и его сказка (К 100-летию «Алисы в стране чудес»), № 7.

НАШИ ГОСТИ

М. В.— Пьер Гамарра, № 2.

Наумов, Н.— Роже Гароди в «Иностранной литературе», № 1.

Никитин, И.— Имре Добози: Будить мысль, № 10.

Сергеева, Е.— Ярослав Ивашкевич: Жизнь всегда побеждает, № 10.

Стояновская, Е.— Беседуя с автором «Кентавра» Джоном Апдайком, № 1.

Топер, П.— Макс Вальтер Шульц: Я смотрю на будущее романа оптимистично, № 10.

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Барбюс сегодня — Письма французских писателей (Публикация Ф. Наркирьера), № 8.

Злыднев, В.— Ученый, борец, литератор (К 75-летию Тодора Павлова), № 2.

Огонь романтики разгорится снова (Неопубликованное письмо Шона О'Кейси), № 3.

Сурков, А.— Песню нельзя расстрелять (К 50-летию со дня гибели Джо Хилла), № 11.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Виноградова, Е.— Чешский художник Ян Рамбоусек, № 11.

Зарубежная карикатура. Из альбома польского художника З. Ленгрена, № 12.

Ковтунович, О.— Египетский скульптор Махмуд Мухтар, № 3.

Макото, Уэно — Чтобы потомки помнили... (Послесловие Н. Н. Михайлова), № 8.

Мириманов, В.— Деревянная скульптура Тропической Африки, № 7.

«НЕТ!» ФАШИЗМУ, «НЕТ!» ВОЙНЕ! (Из работ современных зарубежных художников), № 5.

Светлов, И.— Скульптура народной Венгрии, № 4.

Соколова, Наталья — Из работ югославских мастеров, № 10.

Цветов, В.— Художник из «Асахи», № 1.

Тишков, А.— Новые иллюстрации к «Божественной комедии» (К 700-летию со дня рождения Данте Алигьери), № 4.

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

ПО СКАНДИНАВИИ (Рисунки художника М. Алексеева), № 6.

Судаков, Павел — В Бразилии и Мексике, № 2.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11.

КНИГИ М. А. ШОЛОХОВА ЗА РУБЕЖОМ — СЕГОДНЯ, № 5.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ (Хроника), №№ 1—11.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **В. Б. Захаров**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 14138. Сдано в производство 9/X-65 г. Подписано к печати 22/XII-65 г.

Бумага 70×108 1/16=10 бум. л.; печ. л. 27,4. Зак. 2454.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

Дорогой читатель!

Мы были рады познакомить Вас в этом году с такими произведениями зарубежных писателей, как **«Оле Бинкоп»** Эрвина Штриттматтера, **«Венок Майклу Удомо»** Питера Абрахамса, **«Смерть Артемио Круса»** Карлоса Фуэнтеса, **«Небо над Велекой»** Дико Фучеджиева, **«Смерть в Риме»** Вольфганга Кёппена, **«Случай в Виши»** Артура Миллера, **«Носорог»** Эжена Ионеско, **«В поисках Биско»** Эрскина Колдуэлла, **«Кентавр»** Джона Апдайка, **«Пингвин»** Ежи Ставинского, и многими другими.

В будущем году мы предполагаем напечатать роман Яна Отченашека **«Хромой Орфей»**, роман Жоржи Амаду **«Пастыри ночи»**, пьесу Жана-Поля Сартра **«Дьявол и господь бог»**, романы Макса Фриша **«Homo Faber»**, Эльзы Триоле **«Великое никогда»**, Кобо Абэ **«Женщина в песках»** и другие новые произведения зарубежных писателей.

Составляя планы публикаций на 1966 год, мы рассчитываем на вашу читательскую помощь и совет.

Мы будем вам благодарны, если вы напишете нам, какие произведения, опубликованные в нашем журнале в этом году, вы находите наиболее значительными и интересными;

какие произведения вам показались менее интересными и почему;

какие книги, пьесы, стихи, очерки, статьи вы хотели бы прочесть в «Иностранной литературе», какие имена вы надеетесь увидеть в оглавлении, какие проблемы общественной жизни и культуры за рубежом вас особенно интересуют.

Редакция журнала «Иностранная литература»

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394